

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Почетный академик
Н.А.МОРОЗОВ

ПОВЕСТИ
МОЕЙ ЖИЗНИ



МЕМОУАРЫ

ТОМ
ПЕРВЫЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА · 1965

Постановлением «Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова» Совет Министров СССР обязал Академию наук СССР издать в 1947—1948 гг. избранные сочинения Николая Александровича Морозова.

Издательство Академии наук СССР выпустило в 1947 г. в числе других сочинений Н. А. Морозова его художественные мемуары «Повести моей жизни», выдержавшие с 1906 по 1933 г. несколько изданий. В последние годы своей жизни Н. А. Морозов подготовил новое издание «Повестей», добавив к известному тексту несколько очерков, напечатанных в разное время или написанных специально для этого издания.

В связи с тем, что книга пользуется постоянным спросом, в 1961 и 1962 гг. было предпринято новое издание «Повестей» в двух томах, которое в основном повторяло трехтомное издание 1947 г.

Настоящее издание отпечатано с матриц 1961 г.

РЕДАКЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

С. Я. ШТРАЙХА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

проф. Б. П. КОЗЬМИН

Предисловие

Настоящее издание «Повестей моей жизни» выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Николая Александровича Морозова подготовлялось к печати при участии их автора. К прискорбию, Николай Александрович не успел завершить эту работу. Она закончена без него в соответствии с его личными указаниями.

«Повести» печатаются по тексту последнего издания, выпущенного при жизни Н. А. Морозова. Опущены незначительные по объему, не связанные с основным текстом размышления на философские и публицистические темы, подробно развитые автором в специальных произведениях после первоначальной публикации его художественных мемуаров. Вместо них добавлены очерки, написанные для настоящего издания, а также напечатанные в разное время в журналах, газетах и сборниках, тесно связанные с «Повестями» и дополняющие их. Некоторые из этих очерков характеризуют объем и содержание научных интересов Н. А. Морозова. В этом отношении особенно ценны «Письма из Шлиссельбургской крепости», в которых автор дал общедоступное изложение научных трудов, созданных им в «государевой» каторжной тюрьме.

Всем своим содержанием шлиссельбургские письма ярко рисуют ужасную обстановку, в которой выдающемуся русскому ученому приходилось при царизме осуществлять свои творческие замыслы.

В очерке «Тени минувшего» охарактеризовано моральное самочувствие Н. А. Морозова в Шлиссельбургской тюрьме и показано, как трагически отразилась ее обстановка на судьбе большинства заключенных в ней.

В приложении даны письма Н. А. Морозова к родным и другим лицам. В этом приложении большое биографическое

значение имеют публикуемые впервые письма к Л. Н. Толстому, академикам Д. Н. Анучину, Б. Б. Голицыну и другим.

В качестве вступительной главы к «Повестям моей жизни» в настоящее издание включен автобиографический очерк, содержащий наиболее сжатое и вместе с тем наиболее полное по охвату событий описание революционной и научной работы Н. А. Морозова. Он, конечно, не может заменить объективной оценки деятельности Николая Александровича. Это должно быть сделано в его биографии, материал для которой имеется в предлагаемой книге, в его ученых трудах, в обширной литературе предмета, в воспоминаниях его друзей и товарищей.

Многие из писавших о Н. А. Морозове подчеркивали спокойную мягкость его натуры. Однако он был далек от наивного прекраснодушия. Всегда, неизменно он проявлял непримиримую ожесточенность против зла и насилия во всех его видах. В упорной, длительной борьбе со злом в лице царского самовластия он не считался ни с какими препятствиями, постоянно жертвовал ради народного блага, как он его понимал, самым дорогим для себя — своими научными стремлениями — и всегда рисковал жизнью.

Однако самоотверженная борьба Н. А. Морозова, как и других лучших представителей русского революционного движения 70-х годов, не принесла и не могла принести желанных результатов вследствие глубокой ошибочности самих ее принципов.

Лишь соединение рабочего движения с социализмом могло привести и привело к победе пролетариата — к свержению самодержавия и построению социалистического общества в нашей стране. В этом состоит величайшая заслуга революционной социал-демократии, заслуга большевистской партии, созданной и выпестованной Лениным. Именно Ленин в 90-х годах XIX в. завершил начатый Плехановым идейный разгром народничества.

В. И. Ленин высоко ценил боевую революционную работу народников 70-х годов. Своей энергией, преданностью делу освобождения народа и самоотверженностью они сделали немало для того, чтобы расшатать царский престол. Именно поэтому Ленин, говоря о «предшественниках русской социал-демократии», упоминает наряду с Герценом, Белинским и Чернышевским «блестящую плеяду революционеров 70-х годов» (В. И. Ленин. Соч., т. 5, стр. 342). Автор «Повестей моей жизни» был одним из выдающихся представителей этой плеяды. Вместе с тем Ленин неоднократно подчеркивал теоретическую беспомощность этих революционеров, ошибочность и

отсталость их социально-политических взглядов, полную несостоятельность их теории.

Полемизируя с экономистами, которые мешали созданию боевой централизованной партии пролетариата и презрительно называли идею такой партии «народовольчеством», Ленин в 1902 г. в гениальной работе «Что делать?» писал:

«Не в том состояла ошибка народовольцев, что они постарались привлечь к своей организации всех недовольных и направить эту организацию на решительную борьбу с самодержавием. В этом состоит, наоборот, их великая историческая заслуга. Ошибка же их была в том, что они опирались на теорию, которая в сущности была вовсе не революционной теорией, и не умели или не могли неразрывно связать своего движения с классовой борьбой внутри развивающегося капиталистического общества» (там же, стр. 442—443).

Особенную ценность «Повестям моей жизни» Н. А. Морозова придает то обстоятельство, что современный читатель имеет возможность познакомиться по ним и с сильными и со слабыми сторонами революционного движения 70-х годов.

Оглядываясь на пройденный им революционный путь, автор «Повестей моей жизни» не идеализировал деятельности своих товарищей-народовольцев и собственной работы бок о бок с ними (хотя и не ставил себе целью последовательного разоблачения ее принципиальной ошибочности, которой к тому же отчетливо не сознавал сам).

Тонким юмором сплошь и рядом проникнуто его описание деятельности революционеров-семидесятников, как бы предупреждающее читателя от слепого, некритичного увлечения деятельностью персонажей «Повестей моей жизни».

Народническое движение было оторвано от широких народных масс; народники переоценивали роль интеллигенции, не понимали действительного соотношения между социализмом и политической борьбой, не имели правильного представления об исторической роли рабочего класса. Все это ярко обрисовывается в «Повестях моей жизни». Правда, Н. А. Морозов не всегда делает правильные выводы из тех событий, о которых рассказывает, однако приводимый им материал дает читателям полную возможность самостоятельно сделать эти выводы.

Знакомясь с воспоминаниями Н. А. Морозова, читатель убеждается, что при всем своем мужестве революционеры 70-х годов были осуждены на неизбежное поражение в борьбе с царизмом, что столь же неизбежным было постепенное вырождение народничества, по выражению В. И. Ленина, в «пош-

лый мелкобуржуазный радикализм», каким оно и стало в 80-х и 90-х годах. В стране обострялись классовые противоречия, все шире развивалось рабочее движение, распространялась теория научного социализма; по мере этого народничество меняло свой характер: из движения революционного, каким оно было в 70-е годы, оно превращалось в реакционный фактор, который задерживал освобождение русского пролетариата.

Выясняя причины неудачи революционеров 70-х годов, тщетно пытавшихся поднять крестьян на революцию, Ленин указывал, что революционная молодежь того времени «исходила из ошибочного представления, будто именно «крестьянство» является представителем трудящегося и эксплуатируемого населения, тогда как на самом деле крестьянство не представляет из себя особого класса... так как внутри его самого складываются классы буржуазии и пролетариата...» (Соч., т. 1, стр. 261).

Народники не понимали этого. «...Опираясь на теорию, что народ готов для социализма», они вели первоначальную борьбу во имя социальной революции, а позднее, убедившись на практике в том, насколько их мечты далеки от осуществления, фактически отказались от надежд на социальную революцию. В соответствии с этим их борьба превратилась в «борьбу радикалов за политическую свободу», «...из крестьянского социализма получилось радикально-демократическое представительство мелко-буржуазного крестьянства» (там же, стр. 259).

Именно это обуславливало неминуемость решительной борьбы между русским марксизмом и народничеством и идейный разгром последнего. «Повести моей жизни» Н. А. Морозова убеждают внимательного читателя в исторической неизбежности перерождения народничества и его идейного краха.

В мемуарах типа художественной повести, — а рассказы Н. А. Морозова принадлежат к этому роду литературы, — неизбежны отступления от фактической точности. Примечания в конце книги вносят поправки к наиболее существенным неточностям, замеченным при подготовке «Повестей» к печати*.

* Они отмечены в тексте арабскими цифрами, которые повторяются в примечаниях (в конце книги). Примечания автора даются под текстом, отмечены звездочками и снабжены инициалами «Н. М.» Переводы иностранных фраз в тексте, в скобках, принадлежат автору, переводы редакции даны в сносках без подписи. Разночтения в публикациях повестей (первоначально — в журналах, затем несколько отдельных изданий) не отмечаются: при каждой новой подготовке «Повестей» к печати Н. А. Морозов подвергал их значительной переработке. Исправления замеченных при подготовке настоящего издания к печати стилистических погрешностей не оговариваются.

Подробный комментарий представляется излишним в книге, автор которой сам заявляет, что он не претендует на роль историка. «Я в этих своих мемуарах хочу на собственной своей характеристике дать характеристику и родственным мне по духу товарищам моей жизни и деятельности» («Повести», гл. XV, § 4 — «Былые думы»).

Оценку художественной стороне мемуаров Н. А. Морозова дал величайший мировой художник Л. Н. Толстой. Ознакомившись с первой частью «Повестей моей жизни», Л. Н. Толстой писал их автору и — это еще важнее в данном случае — говорил своим друзьям, что прочитал их с великим интересом и удовольствием. При этом он выражал сожаление, что не имеет продолжения «Повестей».

«Повести» Н. А. Морозова не могут заменить истории революционного движения 70-х годов XIX столетия, но они дают блестящую и увлекательную, психологически верную историю молодого человека, являвшегося одним из самых талантливых представителей своего поколения, молодого человека, имевшего двуединую цель жизни — свободу трудовых масс и развитие науки.

Работа по выявлению печатных текстов и неизданных писем, а также по подбору материалов для примечаний выполнена при ближайшем содействии Надежды Владимировны Штрайх.

С. Штрайх

Автобиография¹

Я родился 25 июня (7 июля н. ст.) 1854 г. в имени моих предков Боркэ Мологского уезда Ярославской губернии. Отец мой был помещик, а мать — его крепостная крестьянка, которую он впервые увидел проездом через свое другое имение в Череповецком уезде Новгородской губернии. Он был почти юноша, едва достигший совершеннолетия и лишь недавно окончивший кадетский корпус. Но, несмотря на свою молодость, он был уже вполне самостоятельным человеком, потому что его отец и мать были взорваны своим собственным камердинером, подкатившим под их спальную комнату бочонок пороха, по романтическим причинам.

Моей матери было лет шестнадцать, когда она впервые встретилась с моим отцом и поразила его своей красотой и интеллигентным видом. Она была действительно исключительной по тем временам крестьянской девушкой, так как умела и читать, и писать, и прочла до встречи с ним уже много повестей и романов, имевшихся у ее отца-кузнеца, большого любителя чтения, и проводила свое время большей частью с дочерьми местного священника. Отец сейчас же выписал ее из крепостного состояния, приписал к мещанкам города Мологи и в первые месяцы много занимался ее дальнейшим обучением, и она вскоре перечитала всю библиотеку отца, заключавшую томов триста.

Когда я достиг двенадцатилетнего возраста, у меня уже было пять сестер, все моложе меня, а затем родился брат.

Я выучился читать под руководством матери, а потом бонны, гувернантки и гувернера и тоже перечитал большинство книг отцовской библиотеки, среди которых меня особенно растрогали «Инки» Мармонтеля и «Бедная Лиза» Карамзина и очаровал «Лесной бродяга» Габриеля Ферри в духе Фенимора Купера, а из поэтов пленил особенно Лермонтов. Но, кроме литературы, я с юности увлекался также сильно и науками. Найдя в библиотеке отца два курса астрономии, я очень заинтересовался этим

предметом и прочел обе книги, хотя и не понял их математической части. Найдя «Курс кораблестроительного искусства», я заучил всю морскую терминологию и начал строить модельки кораблей, которые пускал плавать по лужам и в медных тазах, наблюдая действие парусов при их различных положениях.

Поступив затем во 2-й класс московской классической гимназии, я и там продолжал внеклассные занятия естественными науками, накопил на толкучке много научных книг и основал «тайное общество естествоиспытателей-гимназистов», так как явные занятия этим предметом тогда преследовались в гимназиях. Это был период непомерного классицизма в министерстве графа Дмитрия Толстого, и естественные науки с их дарвинизмом и «происхождением человека от обезьяны» считались возбуждающими вольнодумство и потому враждебными церковному учению, а с ним и самодержавной власти русских монархов, якобы поставленных самим богом.

Само собой понятно, что мое увлечение такими науками и постоянно слышимые от «закоучителя» утверждения, что это науки еретические, которыми занимаются только «нигилисты», не признающие ни бога, ни царя, сразу же насторожили меня как против церковных, так и против монархических доктрин. Я начал, кроме естественнонаучных книг, читать также и имевшиеся в то время истории революционных движений, которые доставал, где только мог. Но все же я не оставлял при этом и своих постоянных естественнонаучных занятий, для которых я уже с пятого класса начал бегать в Московский университет заниматься по праздникам в зоологическом и геологическом музеях, а также бегал на лекции, заменяя свою гимназическую форму обыкновенной одеждой тогдашних студентов. Я мечтал все время сделаться или доктором, или ученым исследователем, открывающим новые горизонты в науке, или великим путешественником, исследующим с опасностью для своей жизни неведомые тогда еще страны Центральной Африки, внутренней Австралии, Тибета и полярные страны, и серьезно готовился к последнему намерению, перечитывая все путешествия, какие только мог достать.

Когда зимой 1874 г. началось известное движение студенчества «в народ», на меня более всего повлияла романтическая обстановка, полная таинственного, при которой все это совершалось. Я познакомился с тогдашним радикальным студенчеством совершенно случайно, благодаря тому, что один из номеров рукописного журнала, издаваемого мною и наполненного на три четверти естественнонаучными статьями (а на одну четверть стихотворениями радикального характера), попал в руки

московского кружка «чайковцев», как называло тебя тайное общество, основанное Н. В. Чайковским, хотя он к тому времени уже уехал за границу. Особенно выдающимися представителями его были тогда Кравчинский, Шишко и Клеменц, произведшие на меня чрезвычайно сильное впечатление, а душой кружка была «Липа Алексеева», поистине чарующая молодая женщина, каждый взгляд которой сверкал энтузиазмом².

Во мне началась страшная борьба между стремлением продолжать свою подготовку к будущей научной деятельности и стремлением идти с ними на жизнь и на смерть и разделить их участь, которая представлялась мне трагической, так как я не верил в их победу. После недели мучительных колебаний я почувствовал, наконец, что потеряю к себе всякое уважение и не буду достоин служить науке, если оставлю их погибать, и решил присоединиться к ним.

Моим первым революционным делом было путешествие вместе с Н. А. Саблиным и Д. А. Клеменцом в имение жены Иванчина-Писарева в Даниловском уезде Ярославской губернии, где меня под видом сына московского дворника определили учеником в кузницу в селе Коптеве. Однако через месяц нам всем пришлось бежать из этой местности, так как наша деятельность среди крестьян стала известна правительству благодаря предательству одного из них.

После ряда романтических приключений, уже описанных мною в первом томе «Повестей моей жизни», мне удалось бежать благополучно в Москву, откуда я отправился распространять среди крестьян заграничные революционные издания в Курскую и Воронежскую губернии под видом московского рабочего, возвращающегося на родину. Я приехал обратно в Москву и потом отправился вместе с рабочим Союзом для деятельности среди крестьян на его родину около Троицкой лавры; но и там произошло предательство, и мы оба ушли под видом пильщиков в Даниловский уезд, чтобы восстановить сношения с оставшимися там нашими сторонниками. Нам удалось это сделать, несмотря на то, что меня там усиленно разыскивала полиция. Я и Союз по неделям, несмотря на рано наступившую зиму, ночевали в овинах, на сеновалах, под стогами сена в снегу, так что, наконец, Союз заболел, и мы с ним отправились в Костромскую губернию под видом пильщиков леса и ночевали уже в обыкновенных избах. Однако здоровье Союзова так попортилось, что мы должны были возвратиться в Москву, куда мы перевезли из Даниловского уезда Ярославской губернии и типографский станок, на котором первоначально предполагали печатать противоправительственные книги в имени Иванчина-

Писарева. Он был зарыт до того времени в лесу и потом был отнесен для тайной типографии на Кавказ.

Снова возвратившись в Москву, я участвовал там в попытке отбить на улице у жандармов вместе с Кравчинским и В. Лопатиным нашего товарища Волховского, но она не увенчалась успехом, и я вместе с Кравчинским уехал в Петербург, откуда меня отправили в Женеву участвовать в редактировании и издании революционного журнала «Работник» вместе с эмигрантами Эльсницем, Ралли, Жуковским и Гольденбергом. В то же время я начал сотрудничать и в журнале «Вперед», издававшемся в Лондоне П. А. Лавровым³. Я возобновил свои научные занятия, уходя с книгами на островок Руссо посреди Роны при ее выходе из Женевского озера, но после полугодичного увлечения эмигрантской деятельностью почувствовал ее оторванность от почвы и в январе 1875 г. возвратился в Россию, причем был арестован при переходе границы под именем немецкого подданного Энгеля. Несмотря на мое пятидневное утверждение, что я и есть Энгель, меня, наконец, принудили назвать свою фамилию, арестовав переводившего меня через границу человека и заявив, что не отпустят его, пока я не скажу, кто я.

Меня привезли в Петербург, посадили сначала в особо изолированную камеру в темнице при «III Отделении собственной его императорского величества канцелярии» на Пантелеймонской улице, но, продержав некоторое время, перевезли в особое помещение из 10 одиночных камер, арендованное III Отделением в Коломенской части по причине огромного числа арестованных за «хождение в народ» в 1874—1875 гг.

Там проморили меня поистине глужим голодом около месяца и отправили в Москву, в тамошнее «III Отделение его императорского величества канцелярии». Там на допросе я, по примеру апостола Петра, решительно отрекся от знакомства со всеми своими друзьями и заявил, что не знаю никого из них и даже никогда и не слышал о таких людях и о том, что необходимо низвергнуть царскую власть, а на вопрос, что я делал в усадьбе Иванчина-Писарева, ответил, что просто гостил и не заметил там решительно ничего противозаконного. Записав в протокол эти мои показания и убедившись, что все приставаания и угрозы не могут меня сбить с этой позиции, меня не только не похвалили за отречение от своих друзей и товарищей, но отправили в особый флигель, бывший против генерал-губернаторского дома во дворе Тверской части, тоже арендованный Третьим отделением, в изолированную камеру, объявив, что, пока я не буду давать искренние показания и не сознаюсь в знакомстве с подозреваемыми людьми, мне не будут давать никаких книг для чтения.

Вскоре о моем пребывании тут узнали мои товарищи, оставшиеся на свободе, и организовали несколько попыток для моего освобождения, но все они не могли осуществиться в решительные моменты, и меня через полгода перевезли в Петербург, в только что построенный дом предварительного заключения. В нем я, совершенно измученный неудовлетворимой более полугодом потребностью умственной жизни, получил, наконец, возможность заниматься. Я читал в буквальном смысле по целому тому в сутки, так что обменивавшие мне книги сторожа решили, что я совсем ничего не читаю, а только напрасно беру их. На мое счастье в дом предварительного заключения сразу же была перевезена какая-то значительная библиотека довольно разнообразного содержания и даже на нескольких языках, и, кроме того, была организована дамами-патронессами, сочувствовавшими нам, доставка научных книг из большой тогдашней библиотеки Черкесова и других таких же. Надо было только дать заказ через правление дома предварительного заключения. Я тотчас же принялся за изучение английского, потом итальянского и, наконец, испанского языков, которые мне дались очень легко благодаря тому, что со времени гимназии и жизни за границей я знал довольно хорошо французский, немецкий и латинский. Потом я закончил то, чего мне недоставало по среднему образованию, и, думая, что более мне уже не придется быть, как я мечтал, естествоиспытателем, принялся за изучение политической экономики, социологии, этнографии и первобытной культуры. Они возбудили во мне ряд мыслей, и я написал десятка полтора статей, которые, однако, потом все пропали. По истечении года отец, узнав, что я арестован, взял меня на поруки, и я поселился с ним в существующем до настоящего времени бывшем нашем доме № 25 по 12 линии Васильевского острова, купленном после смерти отца фон-Дервизом.

Однако моя жизнь в отцовском доме продолжалась не более двух недель, так как следователь по особым делам получил от Третьего отделения «высочайшее» повеление вновь меня арестовать и держать в заточении до суда. Я вновь попал в ту же самую камеру и просидел в непрерывных занятиях математикой, физикой, механикой и другими науками еще два года, когда меня вместе с 192 товарищами по заточению предали суду особого присутствия сената с участием сословных представителей. Я отказался на суде давать какие бы то ни было показания и был присужден на год с четвертью заточения, но выпущен благодаря тому, что в этот срок мне засчитали три года предварительного заключения⁴.

Я тотчас же скрылся от властей и, присоединившись к остат-

кам прежних товарищей, поехал сначала вместе с Верой Фигнер, Соловьевым, Богдановичем и Иванчиным-Писаревым в Саратовскую губернию готовить тамошних крестьян к революции. Но перспектива деятельности в деревне уже мало привлекала меня, и, после того как прошел целый месяц в безуспешных попытках устроиться, я возвратился в Петербург, откуда поехал вместе с Перовской, Александром Михайловым, Фроленко, Квятковским и несколькими другими в Харьков освобождать с оружием в руках Войнаральского, которого должны были перевести через этот город в центральную тюрьму. Попытка эта произошла в нескольких верстах от города, но раненая тройка лошадей ускакала от освободителей с такой бешеной скоростью, что догнать ее не оказалось никакой возможности.

Мы спешно возвратились в Петербург, где мой друг Кравчинский готовил покушение на жизнь шефа жандармов Мезенцова, которому приписывалась инициатива тогдашних гонений. Мне не пришлось участвовать в этом предприятии, так как меня послали в Нижний-Новгород организовать вооруженное освобождение Брешко-Брешковской, отправляемой в Сибирь на каторгу. Я там действительно все устроил, ожидая из Петербурга условленной телеграммы о ее выезде, но вместо того получил письмо, что ее отправили в Сибирь еще ранее моего приезда в Нижний-Новгород, и в то же почти время я узнал из газет о казни в Одессе Ковальского с шестью товарищами, а через день — об убийстве в Петербурге на улице шефа жандармов Мезенцова, сразу поняв, что это сделал Кравчинский в ответ на казнь.

Я тотчас возвратился в Петербург, пригласив туда и найденных мною в Нижнем-Новгороде Якимову и Халтурина, и вместе с Кравчинским и Клеменцом начал редактировать тайный революционный журнал, названный по инициативе Клеменца «Земля и воля» в память кружка того же имени, бывшего в 60-х годах.

После выхода первого же номера журнала нам пришлось отправить Кравчинского, как сильно разыскиваемого по делу Мезенцова, за границу, и взамен его был выписан из Закавказья Тихомиров, а до его приезда временно кооптирован в редакцию Плеханов. По выходе третьего номера был арестован Клеменц, произошло организованное нашей группой покушение Мирского на жизнь нового шефа жандармов Дрентельна, и приехал из Саратова оставшийся там после моего отъезда оттуда Соловьев: он заявил, что тайная деятельность среди крестьян стала совершенно невозможной, благодаря пробудившейся бдительности политического сыска, и он решил пожертвовать своей жизнью за жизнь верховного виновника всех совершающихся политических

гонений императора Александра II. Это заявление встретило горячее сочувствие в Александре Михайлове, Квятковском, во мне и некоторых других, а среди остальных товарищей, во главе которых встали Плеханов и Михаил Попов, намерение Соловьева вызвало энергичное противодействие, как могущее погубить всю пропагандистскую деятельность среди крестьян и рабочих. Они оказались в большинстве и запретили нам воспользоваться для помощи Соловьеву содержащимся в татарсале нашим рысаком «Варвар», на котором был освобожден Кропоткин и спасся Кравчинский после убийства Мезенцова.

Так началось то разногласие в двух группах «Земля и воля», которое потом привело к ее распадению на «Народную волю» и «Черный передел».

Возмущенные невозможностью использовать средства нашего тайного общества для спасения Соловьева после его покушения на жизнь императора и видя, что он твердо решил на это, мы только доставили ему хороший револьвер. Я нежно простился с ним у Михайлова и отказался идти смотреть, как он будет погибать вместе с императором. Я остался в квартире присяжного поверенного Корша, куда обещал прийти Михайлов, чтобы сообщить мне подробности; действительно, он прибежал часа через два и рассказал мне, что Соловьев пять раз выстрелил в императора, но промахнулся и был тут же схвачен.

В Петербурге начались многочисленные аресты, вследствие которых мои товарищи послали меня в Финляндию, в школу-пансион Быковой, где я прожил первые две недели после покушения Соловьева и познакомился с Анной Павловной Корба, которая затем приняла деятельное участие в революционной деятельности, а через нее сошелся и с писателем Михайловским, который обещал писать для нашего журнала.

В это же время Плеханов и Попов, уехавшие в Саратов, организовали съезд в Воронеже, чтоб решить, какого из двух представившихся нам путей следует держаться. Уверенные, что нас исключат из «Земли и воли», мы (которых называли «политиками» в противоположность остальным — «экономистам») решили за неделю до начала Воронежского съезда сделать свой тайный съезд в Липецке, пригласив на него и отдельно державшиеся группы киевлян и одесситов того же направления, как и наше, чтобы после исключения сразу действовать как уже готовая группа. Собравшись в Липецке, мы наметили дальнейшую программу своих действий в духе Соловьева. Но, приехав после этого в Воронеж, мы с удивлением увидели, что большинство провинциальных деятелей не только не думают нас исключать, но относится к нам вполне сочувственно. Только Плеха-

нов и Попов держали себя непримиримо и остались в меньшинстве, а Плеханов даже ушел со съезда, заявив, что не может идти с нами.

В первый момент мы оказались в нелепом положении: мы были тайное общество в тайном обществе; но по возвращении в Петербург увидели, что образовавшаяся в «Земле и воле» щель была только замазана штукатуркой, но не срослась. «Народники» с Плехановым стали часто собираться особо, не приглашая нас, и мы тоже не приглашали их на свои собрания. К осени 1879 г. была организована, наконец, ликвидационная комиссия из немногих представителей той и другой группы, которая оформила раздел. Плеханов, бывший тогда еще народником, а не марксистом, организовал «Черный передел», а мы — «Народную волю», в которой редакторами журнала были выбраны я и Тихомиров.

В ту же осень были организованы нашей группой три покушения на жизнь Александра II: одно под руководством Фроленко в Одессе, другое под руководством Желябова на пути между Крымом и Москвой и третье в Москве под руководством Александра Михайлова, куда был временно командирован и я. Как известно, все три попытки кончились неудачей, и, чтобы закончить начатое дело, Ширяев и Кибальчич организовали динамитную мастерскую в Петербурге на Троицкой улице, готовя взрыв в Зимнем дворце, куда поступил слесарем приехавший из Нижнего вместе с Якимовой Халтурин. Я мало принимал в этом участия, так как находился тогда в сильно удрученном состоянии, отчасти благодаря двойственности своей натуры, одна половина которой влекла меня по-прежнему в область чистой науки, а другая требовала как гражданского долга пойти вместе с товарищами до конца. Кроме того, у меня очень обострились теоретические, а отчасти и моральные разногласия с Тихомировым, который, казалось мне, недостаточно искренне ведет дело с товарищами и хочет захватить над ними диктаторскую власть, низведя их путем сосредоточения всех сведений о их деятельности только в распорядительной комиссии из трех человек на роль простых исполнителей поручений, цель которых им не известна*. Да и в статьях своих, казалось мне, он часто пишет не то, что думает и говорит иногда в интимном кругу.

В это же самое время была арестована наша типография, и моя обычная литературно-издательская деятельность прекратилась. Видя мое грустное состояние, товарищи решили отпра-

* Деятельность и значение распорядительной комиссии, насколько я видела, были незначительны и не имели ничего общего с диктатурой. — В. Фигнер.

вить меня и Ольгу Люботович временно за границу с паспортами одних из наших знакомых, и Михайлов нарочно добыл мне вместе с Ольгой билет таким образом, чтобы ко дню, назначенному для взрыва в Зимнем дворце, мы были уже по ту сторону границы.

Так как при особенно критических событиях такие отъезды из центра уже практиковались нами и я сильно боялся за Ольгу Люботович, не хотевшую уезжать без меня, то сейчас же поехал и узнал о взрыве в Зимнем дворце из немецких телеграмм на пути в Вену.

Оттуда я отправился прямо в Женеву и поселился сначала вместе с Кравчинским и Люботович, а потом мы переехали в Кларан, где впервые близко сошлись с Кропоткиным. Написав там брошюру «Террористическая борьба», где я пытался дать теоретическое обоснование наших действий, я поехал в Лондон, где познакомился через Гартмана с Марксом⁵, и на обратном пути в Россию был вторично арестован на прусской границе 28 января 1881 г. под именем студента Женевского университета Лакьера. Я был отправлен в Варшавскую цитадель, где товарищ по заключению стуком сообщил мне о гибели императора Александра II, и я был уверен, что теперь меня непременно казнят. Я тотчас же был привезен в Петербург, где в охранном отделении узнал из циничного рассказа одного из сыщиков в соседней комнате о казни Перовской и ее товарищей, и был переведен в дом предварительного заключения, где кто-то обнаружил жандармам мое настоящее имя, вероятно, узнав по карточке. Меня вызвали на допрос, прямо назвали по имени, а я отказался давать какие-либо показания, чтобы, говоря о себе, не повредить косвенно и товарищам. Меня пробовали сначала запугать, намекая на какие-то способы, которыми могут заставить меня все рассказать, а когда и это не помогло, отправили в Петропавловскую крепость, в изолированную камеру в первом изгибе нижнего коридора, и более не допрашивали ни разу.

На суде особого присутствия правительственного сената я не признал себя виновным ни в чем и до конца держался своего метода, как можно меньше говорить со своими врагами, благодаря чему меня и осудили только на пожизненное заточение в крепости, а тех, кто более или менее подробно описал им свою деятельность, — к смертной казни*.

Через несколько дней после суда⁶, часа в два ночи, ко мне в камеру Петропавловской крепости с грохотом отворилась

* Которая была смягчена всем, кроме Суханова. — В. Фигнер.

дверь, и ворвалась толпа жандармов. Мне приказали скорей надеть куртку и туфли и, схватив под руки, потащили бегом по коридорам куда-то под землю. Потом взбежали снова вверх и, отворив дверь, выставили через какой-то узкий проход на двор. Там с обеих сторон выскочили ко мне из тьмы новые жандармы, схватили меня под мышки и побежали бегом по каким-то узким застенкам, так что мои ноги едва касались земли. Преграждавшие проход ворота отворялись при нашем приближении как бы сами собою, тащившие меня выскочили на узенький мостик, вода мелькнула направо и налево, а потом мы вбежали в новые ворота, в новый узкий коридор и, наконец, очутились в камере, где стояли стол, табурет и кровать.

Тут я впервые увидел при свете лампы сопровождавшего меня жандармского капитана зверского вида (известного Соколова)⁷, который объявил, что это — место моего пожизненного заточения, что за всякий шум и попытки сношений я буду строго наказан и что мне будут говорить «ты». Я ничего не отвечал и, когда дверь заперлась за ним, тотчас же лег на кровать и закутался в одеяло, потому что страшно озяб при пробеге в холодную мартовскую ночь почти без одежды в это новое помещение — Алексеевский равелин Петропавловской крепости, бывшее жилище декабристов.

Началась трехлетняя пытка посредством недостаточной пищи и отсутствия воздуха, так как нас совсем не выпускали из камер, вследствие чего у меня и у одиннадцати товарищей, посаженных со мною, началась цинга, проявившаяся страшной опухолью ног; три раза нас вылечивали от нее, прибавив к недостаточной пище кружку молока, и в продолжение трех лет три раза снова вгоняли в нее, отняв эту кружку. На третий раз большинство заточенных по моему процессу умерло, а из четырех выздоровевших Арончик уже сошел с ума, и остались только Тригони, Фроленко и я, которых вместе с несколькими другими, привезенными позднее в равелин и потому менее пострадавшими, перевезли во вновь отстроенную для нас Шлиссельбургскую крепость.

В первое полугодие заточения в равелине нам не давали абсолютно никаких книг для чтения, а потом, вероятно благодаря предложению священника, которого к нам прислали для исповеди и увещания, стали давать религиозные. Я с жадностью набросился на них и через несколько месяцев прошел весь богословский факультет. Это была область, еще совершенно неизвестная для меня, и я сразу увидел, какой богатый материал дает древняя церковная литература для рациональной разработки человеку, уже достаточно знакомому с астрономией, геофизикой,

психологией и другими естественными науками. Поэтому я не сопротивлялся и дальнейшим посещениям священника, пока не перечитал все богословие, а потом (в Шлиссельбурге) перестал принимать его, как не представлявшего по малой интеллигентности уже никакого интереса и тяготясь необходимостью говорить, что только сомневаюсь в том, что для меня уже было несомненно (я говорил ему до тех пор, что недостаточно знаком с православной теологией, чтобы иметь о ней свое мнение, и желал бы познакомиться подробнее).

Тогда же сложились у меня сюжеты и моих будущих книг: «Откровение в грозе и буре», «Пророки» и многие из глав, вошедших в I и II томы моей большой работы «Христос»⁸. Но я был тогда еще бессилён для серьёзной научной разработки Библии, так как не знал древнееврейского языка, и потому по приезде в Шлиссельбург воспользовался привезёнными туда откуда-то университетскими учебниками и курсами, чтобы прежде всего закончить свое высшее образование, особенно по физико-математическому факультету, но в расширенном виде, и начал писать свои вышедшие потом книги: «Функция, наглядное изображение высшего математического анализа» и «Периодические системы строения вещества», где я теоретически вывел существование еще не известных тогда гелия и его аналогов, а также и изотропов и установил периодическую систему углеводородных радикалов как основу органической жизни. Там же были написаны и некоторые другие мои книги: «Законы сопротивления упругой среды движущимся в ней телам», «Основы качественного физико-математического анализа», «Векториальная алгебра» и т. д.⁹, напечатанные в первые же годы после моего освобождения или не напечатанные до сих пор...

Революционная вспышка 1905 г., бывшая результатом японской войны, выбросила меня и моих товарищей из Шлиссельбургской крепости после 25-летнего заточения, и я почувствовал, что должен прежде всего опубликовать свои только что перечисленные научные работы, которые и начали выходить одна за другой. Почти тотчас же я встретил и полюбил одну молодую девушку, Ксению Бориславскую, которая ответила мне взаимностью и стала с тех пор самой нежной и заботливой спутницей моей новой жизни, освободив меня от всех житейских мелочных забот, чтобы я безраздельно мог отдаться исполнению своих научных замыслов.

Естественный факультет Высшей вольной школы избрал меня приват-доцентом по кафедре химии тотчас же после выхода моих «Периодических систем строения вещества», а потом меня выбрали профессором аналитической химии, которую я и

преподавал в Высшей вольной школе вплоть до ее закрытия правительством. Вместе с тем меня стали приглашать и для чтения публичных лекций почти все крупные города России, и я объездил ее, таким образом, почти всю.

В 1911 г. меня привлекли к суду Московской судебной палаты с сословными представителями за напечатание книги стихотворений «Звездные песни» и посадили на год в Двинскую крепость¹⁰. Я воспользовался этим случаем, чтоб подучиться древнееврейскому языку для целесообразной разработки старозаветной Библии, и написал там четыре тома «Повестей моей жизни», которые я довел до основания «Народной воли», так как на этом месте окончился срок моего заточения. Еще ранее этого я увлекся научным воздухоплаванием и авиацией и, поступив в аэроклуб, стал читать в его авиационной школе лекции о культурном и научном значении воздухоплавания и летанья и совершил ряд научных полетов, описанных в моей книге «Среди облаков»¹¹.

В то же время я был избран членом совета биологической лаборатории Лесгафта и профессором астрономии на открытых при ней Высших курсах Лесгафта, стал членом многих ученых обществ, а потом был приглашен прочесть курс мировой химии в Психоневрологическом институте, который продолжал вплоть до революции 1917 г. А перед этим, когда началась война, я был еще командирован «Русскими ведомостями» на передовые позиции западного фронта со званием «делегата Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам», но в сущности для ознакомления публики с условиями жизни на войне. Из статей, которые я посылал в эту газету, составилась потом моя книжка «На войне»¹². Но мое пребывание «под огнем» продолжалось не особенно долго: от жизни в землянках и окопах у меня началось воспаление легких, и я был спешно отправлен домой, в Петербург.

В 1917 г., в первые месяцы революции, у меня опять началась борьба между стремлением продолжать свои научные работы и ощущением долга — пожертвовать всем дорогим для закрепления достижений революции. Оставив на время научные работы, я участвовал на Московском государственном совещании, созванном в 1917 г., потом был членом Совета республики и участвовал в выборах в Учредительное собрание. Все это время я был тревожно настроен. Я предвидел уже неизбежность гражданской войны, бедствий голода и разрухи как ее результатов и потому сознательно занял примиряющую позицию среди враждующих между собою партий, но вскоре убедился, что это совершенно бесполезно и что удержать от эксцессов стихийный натиск взволновавшихся народных масс будет так же трудно

нашим политическим партиям, как остановить ураган простым маханьем рук. Необходимо было дать урагану пронестись, и я решил использовать это время для завершения тех исследований Библии, которые начал еще в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Я мог теперь употребить все силы для уничтожения суеверий и усиленно принялся за подготовку материалов к осуществлению своей книги «Христос», задуманной еще в шлиссельбургском заточении, но осуществить которую при старом режиме не было никакой возможности.

Я с радостью принял предложение совета Петербургской биологической лаборатории Лесгафта стать ее директором¹³, преобразовал ее с помощью своих сотрудников в существующий теперь Государственный научный институт имени Лесгафта, провел его через самые тяжелые годы народных бедствий и борьбы и теперь буду считать цель своей жизни достигнутой, если удастся укрепить его дальнейшее существование и завершить и опубликовать вместе с тем научные работы, намеченные мною еще в шлиссельбургском заточении¹⁴.

КНИГА ПЕРВАЯ

Предисловие к I книге ¹

Первая из повестей, вошедших в этот том, повесть «В начале жизни», была написана во второй половине декабря 1902 г., в Шлиссельбургской крепости.

Остальные повести были написаны уже во время заточения автора в Двинской крепости: «У таинственного порога» — в промежутках между 4 и 10 сентября 1912 г., «Лиза Дурново», «Большая дорога» и «Во имя братства» — между 10 и 22 сентября 1912 г., «Захолустье» — между 22 сентября и 5 октября 1912 г., «По волнам увлечения» — между 4 и 19 октября 1912 г.

Все эти восемь повестей перепечатаны здесь из прежних изданий с небольшими изменениями.

[1946 г.]

Н. Морозов

І. В начале жизни

Введение к рассказу «В начале жизни»²

История эта написана не для публики, а для друга. За два года до отправления Веры Николаевны Фигнер в ссылку из Шлиссельбургской крепости я спросил ее однажды, через забор, разделявший наши крошечные клетки-огородики на крепостном дворе:

— Что бы такое мне сделать тебе в подарок к новому году?

— Напиши что-нибудь из своей жизни. Ничего другого я не хочу.

Такой ее решительный ответ сначала очень меня огорчил. Писать о своей жизни в добычу окружающим нас тюремщикам мне не хотелось, и, кроме того, это отнимало часть времени от моих физико-математических работ, которым я придавал несравненно более значения, чем рассказам из своей личной жизни. Я все надеялся когда-нибудь, при счастливом для меня стечении обстоятельств передать свои научные рукописи на волю, между тем как относительно мемуаров на это не было тогда никакой надежды. Но в чем состояла бы дружба, подумал я, если бы мы не жертвовали по временам своими собственными планами для друга, если бы иногда не сворачивали для него с заранее намеченной дороги?

И я написал ей о первых годах моей сознательной жизни.

Перед своим отъездом Вера Николаевна переписала этот рассказ с заменой всех имен псевдонимами и захватила с собой в числе своих собственных рукописей.

Но, как я и предсказывал ей, рассказ мой вместе с остальными ее бумагами литературного характера не доехал с нею до Архангельской губернии. Через полгода пришел ко мне в крепость условленный знак, недоступный для наших тюремщиков, но уведомивший меня, что Воа Constrictor, или Удав, как мы звали нашего коменданта³, подчеркнул в моих воспоминаниях все свобододлюбивые места, чтобы обратить на них внима-

ние департамента полиции, как на доказательство нераскаянности Веры Николаевны и автора этой рукописи, и послал по начальству. Департамент полиции конфисковал все рукописи Веры Николаевны.

Мне это показалось ничем не вызванным враждебным действием против Веры Николаевны, потому что комендант мог просто возвратить ей все те бумаги, которые считал для себя неудобными, и предоставить ей самой решение брать или не брать их.

«Значит, надо их передать собственными силами помимо него», — подумал я. Взяв черновики моей рукописи, я пошел в переплетную камеру и смазал все их листы жидким раствором желатина. Затем я сложил их четырьмя пачками и крепко зажал под прессом. Вся рукопись превратилась в четыре листа плотного картона, расслоить который обычными способами не было никакой возможности, а рассмотреть рентгеновыми лучами, что это картон искусственный, было тоже нельзя по причине значительной прозрачности карандашных строк для рентгеновых лучей.

Затем я переплел в этот картон две из моих работ по физике и, через несколько лет, при своем освобождении 28 октября 1905 года, вывез вместе с собой на свободу.

Приехав домой, я оборвал с своих тетрадей корки переплета и положил на несколько дней в горячую воду. Скреплявший их желатин постепенно разбух и растворился, все листы отделились друг от друга и оказались вполне удобными для чтения. Настоящая повесть и напечатана с этих вывезенных мною листов.

28 октября 1906 г.

1. Дедушки и бабушки. Отец и мать. Первые годы жизни

Для того чтобы история ранних лет моей жизни была понятна, как следует, мне необходимо начать с дедушек и бабушек, потому что именно в них и находятся истинные корни всего, что произошло впоследствии, несмотря на то, что двоих из них я ни разу не видел.

Мой дедушка по отцу Алексей Петрович был блестящий артиллерийский офицер, а бабушка — светская женщина. По выходе дедушки в отставку они оба поселились в своем имении Мологского уезда, где дедушка был выбран предводителем дво-

рянства и прожил в этом звании несколько лет, давая балы местному обществу и занимаясь главным образом псовой охотой и другими видами спорта.

Ему предстояла блестящая карьера, так как по матери своей, Екатерине Алексеевне Нарышкиной, он находился в родстве с Петром Великим. Но его жизнь была рано прервана неожиданной катастрофой. Он был взорван на воздух вместе с большей частью своего дома.

О причинах этого события и его подробностях отец мой хранил все время своей жизни глубокое молчание, а немногие другие лица, помнившие о нем во время моего детства, говорили различно. Моя мать, уроженка отдаленной губернии, слышала, что причиной взрыва было жестокое обращение дедушки со своими крепостными крестьянами: он заставлял их рыть многочисленные каналы для осушения принадлежавших ему болот. И, действительно, в низменной части нашего имения, где в доисторические времена еще бушевали волны могучей Волги, отступившей теперь от того места на три версты к востоку, и до сих пор можно видеть дедушкины каналы, разделяющие четырехугольниками каждую десятину луговой земли и видные с прилегающих холмов на далекое расстояние по растущим вдоль них рядам ив. Недовольство этой насильственной канализацией, охватившее все местное крестьянство, нашло, по словам матери, отголосок в сердце дедушкина дворецкого, решившегося в сообществе с молодым камердинером отомстить дедушке за притеснения и взорвавшего его вместе с домом.

Другой (и более романтический) вариант той же самой истории я слышал от своей няни Татьяны, жившей в той самой местности.

Любимым камердинером дедушки, говорила она, был очень молодой человек, воспитанный в Петербурге и начитавшийся романов до того, что влюбился безумно в одну молоденькую уездную барышню, которая ничего и не подозревала об этом.

В один прекрасный день, когда дедушка с семейством приехал к себе в имение и давал там большой бал, этому молодому человеку, избавленному от обычной застольной службы, пришлось, за недостатком захопотававшихся лакеев, разносить за обедом какой-то соус в присутствии любимой им барышни. Это так его сконфузило, что он вылил половину блюда на подол какой-то важной дамы.

— Пошел вон, дурак! — закричал на него дедушка и, схватив за шиворот, вышвырнул из столовой.

Это унижение в присутствии предмета обожания привело юношу в такое отчаяние, что он, по словам няньки, сначала хо-

тел убить себя, а затем решил убить обидчика и, сговорившись с дворецким, ненавидевшим дедушку по другим причинам, подкатил через несколько дней под спальню дома большой бочонок пороху, вложил его в отверстие под печкой, завалил выход большими камнями и, вставив в бочонок свечку, зажег и ушел.

В полночь произошел страшный взрыв, гул которого разбудил мою няню (в то время еще девочку) на расстоянии пяти верст от дома. Большая часть здания разрушилась, упавшая печка раздавила дедушку и бабушку, а трое их детей — мой отец и две его сестры, спавшие в боковой пристройке, — уцелели, хотя стена их комнаты отвалилась и для того, чтобы достать их, пришлось приставлять лестницу.

Начавшееся дознание выяснило виновников. Прежде всего заметили, что дворецкий и камердинер побледнели и зашатались, когда настала их очередь подходить к открытому гробу для последнего прощания с умершими и целования им рук. Но это еще не вызвало у них сознания, и только потом, уже в Мологском остроге, один полицейский, посаженный к ним в виде товарища по заключению, выведал от них всю правду. Обоих судили, высекали плетью, как тогда полагалось, и сослали в Сибирь на каторгу, где они и затерялись без следа.

Отцу моему и теткам назначили опекуном их дядю Николая Петровича Щепочкина, который поместил потом девочек в институт, а мальчика — в кадетский корпус⁴. Оттуда отец вышел начитавшимся Пушкина и Лермонтова, наполовину с аристократическими, наполовину с демократическими взглядами и инстинктами, переплетавшимися у него удивительным образом: он был сторонник освобождения крестьян, но без земли и с непременным условием, чтобы дворянство было вознаграждено за это парламентом на английский манер — с двумя палатами и монархом, «царствующим, но не управляющим».

В молодости он был стройным высоким брюнетом, очень красивым, с замечательным самообладанием и умением держать себя во всяком обществе.

Знавшие его в молодости находили в чертах его лица заметное сходство с портретами Петра I, и сам он, по-видимому, очень гордился в душе этим сходством, доставшимся ему в наследство от Нарышкиных. Он относился к Петру I всегда с каким-то особенным благоговением, тогда как к остальным царям был равнодушен или отзывался о них прямо недоброжелательно. По выходе из корпуса он тотчас же попал в какую-то любовную историю (кажется, с женой своего полковника) и двадцати лет был приглашен уйти в отставку. Это его несколько не огорчило, и он, собрав пожитки, отправился обозревать свои большие имения

в Ярославской и Новгородской губерниях, где жило несколько тысяч его крепостных крестьян и крестьянок.

Мои дедушка и бабушка по матери были совершенно другого общественного положения. Это были богатые крестьяне в одном из имений моего отца.

Каким образом мой дедушка со стороны матери Василий Николаевич, по профессии кузнец, научился читать, писать и приобрел элементарные сведения по арифметике, истории, географии; каким образом он приохотился к чтению и откуда добыл себе значительное количество книг по русской литературе? Мать говорила мне, что все это передал ему его отец Николай Андреевич Плаксин, замечательный человек, выучившийся самостоятельно у дьячков всевозможным наукам и ремеслам и поживший начало благосостоянию их дома.

Таким образом, и тот и другой представляли собою первые ростки той крестьянской интеллигенции, которой суждено пышно развиться только в будущей свободной России при всеобщем и обязательном обучении по целесообразной программе.

Все это отозвалось и на моей матери. Хотя она доросла почти до шестнадцати лет без всякого правильного обучения, но природные способности, любознательность, а также и окружающая ее более интеллигентная среда наложили на нее свой яркий отпечаток. Главными подругами ее молодости были дочери священника в одном селе, где она жила у своего деда по матери, так как ее овдовевший отец женился вторично, но родственники не хотели оставлять ее одну при мачехе, опасаясь со стороны последней недоброжелательного отношения к падчерице.

В результате, когда мой отец объезжал свои владения, он вдруг встретил в них девушку шестнадцати лет, блондинку с синими глазами, чрезвычайно стройную, изящную, совершенно не в русском массивном стиле. Она его поразила своей красотой и интеллигентным выражением лица. Он в нее влюбился с первого же взгляда, а она в него.

Родные матери, заметив начинающийся роман, стали прятать ее по соседним деревням, и она сама пряталась от моего отца, чтобы пересилить свое чувство, но отец везде разыскивал ее и, наконец, увез к себе в главное свое имение в другую губернию. Он выписал ее из крестьянок, приписал к мещанкам, и они поселились затем в усадьбе, где потом родился я.

Мать получила в свои руки заведование всем домашним хозяйством и прислугой, а отец предался, по примеру дедушки, псовым охотам с соседними помещиками и другим родам спорта.

Он выписал лучшие из тогдашних литературных журналов, устроил значительную домашнюю библиотеку и обучал мать не-

которым известным ему наукам. Мать даже пробовала потом научиться и французскому языку, но не могла осилить носовых звуков и сама отказалась от этого, так как вычитала в каком-то романе, что коверкание иностранных слов производит на других смешное впечатление. Из опасения быть смешной, она дала себе зарок никогда не употреблять слов иностранного происхождения, пока не убеждалась, что понимает их правильно. Этой простотой разговорного языка, нарушавшейся в молодости только любовью вставлять в разговор цитаты из басен Крылова и стихотворений Пушкина, особенно юмористического содержания, она резко отличалась от всех лиц в ее положении, каких мне приходилось встречать потом при своих странствованиях по свету.

Отец мой одевал ее, как куклу, по последним модам, и нашил ей полный гардероб различных платьев. Но это ее нисколько не испортило, и она осталась навсегда очень скромной, мягкой и приветливой со всеми окружающими. Она постоянно заступалась перед отцом за прислугу при различных мелких провинностях. Нас, детей, она любила без ума, чрезвычайно заботилась о нас и страшно беспокоилась при малейшей нашей болезни. Она же первая научила меня очень рано читать, писать и четырем правилам арифметики.

Так как брак моих родителей не был признан церковью, то первые годы их семейной жизни сложились совершенно своеобразно. Отец был слишком завидный жених, чтобы родители взрослых дочек не пробовали время от времени простирать на него свои виды. Из знакомых только мужчины были представляемы моей матери, как хозяйке дома, и она сама принимала, угощала и занимала их, а местные дамы почти все держались первые годы в стороне, продолжая упорно считать моего отца холостым человеком.

Все это вызывало ряд неудобств, так как при значительных собраниях гостей обоего пола по различным торжественным дням и на балах, которые отец считал для себя обязательным давать раза два в год, моей матери приходилось оставаться на своей половине. Сюда к ней время от времени являлись из присутствующих гостей лица, «знакомые по-семейному», между тем как гости, знакомые «исключительно с отцом», держались в парадных комнатах дома. Я же и сестры, как маленькие, жили особо во флигеле и были знакомы лишь с детьми и женами двух-трех ближайших друзей отца. Меня почему-то одевали всегда в шотландский костюм, с голыми коленками. Крошечные старшие сестры ходили в кринолиниках, и все мы были вручены попечению няни Ульяны, и потом Татьяны — замечательной рассказчицы

всевозможных удивительных сказок, которыми она наполняла наше воображение.

Когда мне было лет восемь (в первой половине 60-х годов), для меня с сестрой была взята гувернантка, которая и принялась нас обучать французскому языку и всевозможным «манерам и реверансам». А вскоре затем совершилась и резкая перемена в нашей семейной обстановке.

К одному из помещиков соседнего уезда Зайцеву вернулась из какого-то петербургского института восемнадцатилетняя дочка, очень красивая и бойкая и, к тому же, прекрасная наездница. Не прошло и недели, как к нам явилась блестящая кавалькада, во главе которой была эта девушка в черной бархатной амазонке на гладко вычищенном, блестящем и горячем английском скакуне с коротко подстриженным хвостом.

Зайцевы были знакомы только с отцом и потому были приняты им в парадных комнатах, а вслед затем они умчались, захватив с собой и отца. Через несколько дней повторилось то же самое, затем вновь. Моя мать начала плакать у себя в спальне. Всем было ясно, что на отца имеют виды, и отец тоже это понимал, но он любил по-прежнему мою мать и не имел ни малейшего желания заводить вторую семью. А между тем, отказывать такой милой барышне поскать с ней немного верхом через поля и овраги не было никакой возможности, не впадая в грубость или неudelикатность, тем более что отец считался лучшим наездником в уезде.

Почувствовав, что нужно сделать что-нибудь решительное для того, чтобы заставить всех признать свое семейное положение, отец воспользовался днем своих именин, когда, по обыкновению, к нам съезжался, как выражалась прислуга, «весь уезд». До обеда этого дня я занимался у себя в детской, ничего не подозревая и не предчувствуя, как вдруг является к нам отец и говорит мне:

— Коля, оденься и причешись, ты будешь сегодня обедать с гостями наверху. Я пришлю за тобой Лешку.

Через полчаса приходит Лешка (один из лакеев), в новых белых перчатках, и говорит, что «папаша велели идти в столовую».

Я явился туда с трепетом в душе и расшаркался при входе, как меня научила гувернантка. Гости стояли группами у маленьких столиков с закусками по стенам залы.

— Вот Коля! — спокойно сказал гостям отец, махнув на меня рукой, и, положив в рот сардину, пригласил всех садиться за большой обеденный стол посреди залы.

Несколько мужчин и две-три дамы, уже «знакомые по-семей-

ному», подошли поздороваться со мной за руку, и затем я скромно сел на указанное мне место, против отца, единственный маленький человек среди этого блестящего общества взрослых. Едва усевшись на своем стуле, я сейчас же начал украдкой разглядывать незнакомых мне дам и нескольких расфранченных барышень, совершенно и не подозревая того эффекта, который должно было произвести среди них мое внезапное появление в роли Пьера Безухова из романа «Война и мир»⁵.

С этого момента все поняли, что если кто желает сохранить с отцом хорошие отношения, тот должен признать его семейным человеком. Виновница же всех этих и без того назревавших перемен m-lle Зайцева тотчас же уехала обратно в Петербург и через год вышла замуж за какую-то очень важную особу.

В следующие два-три месяца большинство соседей, познакомившись с моей матерью, уже стали возить к нам в гости своих детей и приглашать нас всех к себе.

С тех пор жизнь нашей семьи пошла обычным путем, ничем особенным не отличаясь от жизни остальных помещиков, кроме тех чисто внешних признаков, которые зависели от большой величины наших тогдашних владений и усадьбы, требовавшей значительной прислуги, и от исключительного богатства и вкуса во внутреннем убранстве наших комнат.

Все здания нашей усадьбы: главный дом, флигель, кухня и другие строения были разбросаны среди деревьев большого парка в английском вкусе состоявшего, главным образом, из берез, с маленькими рощицами лип, елей и с отдельно разбросанными повсюду кленами, соснами, рябинами и осинами, с лужайками, холмами, тенистыми уголками, полузапущенными аллеями, беседками и озерком-прудом, на котором мы любили плавать по вечерам на лодке. Большие каменные ворота стояли одиноко в поле, как древняя феодальная руина, и показывали поворот дороги в нашу усадьбу.

Бальная зала во всю длину дома, парадные комнаты наверху, т. е. во втором этаже, блестели большими от пола до потолка зеркалами, бронзовыми люстрами, свешивавшимися с потолка, и картинами знаменитых художников в золоченых рамах, занимавшими все промежутки стен. Под ними — мраморные столики с инкрустациями и всякими изваяниями, мягкие диваны, кресла или стулья с резными спинками в готическом вкусе. К зале примыкала комната с фортепиано и другими музыкальными инструментами. В нижних же комнатах, кроме жилых помещений, находилась будничная (семейная) столовая, большая бильярдная зала, где мне постоянно приходилось потом сражаться кием с гостями, и оружейная комната, вся увешанная средневековыми

рыцарскими доспехами, рапирами, медными охотничьими трубами, черкесскими кинжалами с золотыми надписями из корана, пистолетами, револьверами и большой коллекцией ружей всевозможных систем, от старинных арбалетов до последних скорострельных.

Прямо над спальней отца и рядом с большой залой находилась также комната с портретами предков в золоченых рамах, куда прислуга не решалась ходить по ночам в одиночку из суеверного страха.

Меня особенно пугал там прадед Петр Григорьевич своим жестким и высокомерным видом. Отец мне говорил, что он был черкесского происхождения, и самая его фамилия — Щепочкин — была переделана на русский лад из какой-то созвучной ей кавказской фамилии. Его портрет, напоминавший мне древнего до-революционного маркиза, был сделан так живо каким-то старинным художником, его взгляд был так мизантропически жесток, и он так назойливо смотрел вам искоса прямо в лицо, что каждый раз, когда я вечером или ночью должен был проходить один в темноте или при лунном свете, врывавшемся косыми полосами в два окна этой комнаты, какой-то непреодолимый страх охватывал меня, и холод пробежал по спине и затылку.

Я рано начал бороться с такими суеверными ощущениями, наваянными на меня «страшными рассказами» нянек о портретах, выходящих по ночам из своих рам, русалках, танцующих при лунном свете, и мертвецах, сидящих по ночам на своих могилах, начиная с полуночи и вплоть до того часа, когда пропоют петухи...

Чтобы освободиться от всяких инстинктивных страхов, не проходивших и после того, как я окончательно избавился от детских суеверий (я начал стыдиться их уже с десяти лет), я нарочно начал посещать по ночам все «страшные места» в нашем имении и его окрестностях. Проходя один со свечкой мимо дедушкина портрета, я нарочно поднимал свечку высоко над головой, чтобы было лучше видно, останавливался перед портретом и с минуту смотрел на него в мертвой тишине ночи, хотя волосы шевелились у меня на голове. Затем я медленно шел в соседнюю темную залу и спускался, наконец, по парадной лестнице в нижний, жилой этаж.

Точно так же я нарочно ходил по ночам один на берега нашего озерка в парке, медленно обходил его кругом, смотря в черную таинственную глубину его вод, где отражалась полная луна, и возвращался так же медленно домой.

Только на страшную лесную речку Хохотку, где, по словам окрестных крестьян и крестьянок, часто раздавался по ночам



П. А. Щепочкин — отец Н. А. Морозова

таинственный хохот над многочисленными омутами и трясинами ее пустынных окрестностей, да в болотистый Таравосский лес, где леший водил по ночам и в тумане всякого путника, пока не завлекал его в трясину с блуждающими над ней огоньками,— я ни разу не ходил после заката солнца, несмотря на страстное желание испытать и там свои силы.

Всякий раз, когда вечерний туман начинал застилать своим белым низким покрывалом отдаленные низины наших владений, когда вершины деревьев одни поднимались над ним, как островки над огромными разлившимися озерами,— мне страстно хотелось побывать в глубине этого ночного тумана и пройти в выступающий из него таинственный лес или к скрывающейся под белым покровом почти по другую сторону наших холмов таинственной Хохотке, чтобы посмотреть, что на ней делается при лунном свете. Но оба эти места были далеко от нашей усадьбы, и заблудиться в них ночью и в тумане было легко и без участия нечистой силы.

Ко всем моим детским страхам примешивалась и значительная доля любопытства. Ведь все необыкновенное, чуждое нашему реальному миру, так интересно, а опасность так привлекательна!

— Если увидишь ночью привидение,— предупреждала меня няня,— беги без оглядки и ни за что не оборачивайся назад, что ни услышал бы сзади себя!

— А если оглянусь?

— Тогда всему конец! Оно вскочит на тебя и удушит!

И вот, в противность ее совету, я, идя в одиночку по «местам с привидениями», нарочно украдкой оглядывался, но, увы! никогда ничего не видал и не слышал, за исключением криков сов да отдаленного воя волков.

Впрочем, кроме привидений, в наших краях водились и дикие звери.

Волки были тогда многочисленны в лесных и малонаселенных окрестностях нашего имения по направлению к Волге, а изредка появлялись и медведи. Вот почему возможны были и недоразумения по поводу их.

Раз, возвращаясь домой при лунном свете, я вдруг явственно увидел шагах в десяти от себя, у самой тропинки, где мне нужно было проходить, большого медведя, ставшего на задние лапы и машущего передними. Волосы зашевелились на моей голове, мелькнула трусливая мысль своротить с дороги в сторону, но что-то другое, более сильное, чем я, подсказало мне, что выражение трусости здесь только ухудшит дело, и я, не прибавляя, не уменьшая шага, продолжал свой путь по тропинке, прямо

мимо зверя, не спуская с него взгляда. И вдруг, почти в тот самый миг, когда я поравнялся с ним, он внезапно обратился в молодую кустистую сосенку с двумя ветвями, падающими вниз, как задние медвежьи лапы, и двумя другими, приподнятыми вверх и качающимися, как две передние лапы.

Это было единственное привидение, встреченное мною вне своего дома. Другое привидение было в самом доме, когда, в отсутствие отца, я ночевал в первый раз в его спальне за несгораемым денежным шкафом, обязательным притоном всякой нечистой силы, занимавшим середину комнаты и поднимавшимся почти до потолка. Там у меня случилось что-то вроде галлюцинации.

Чтобы побороть преодолевавший меня, благодаря рассказам прислуги, суеверный страх, я ночью встал с постели и решил обойти кругом этот шкаф. Но не успел я сделать и полуоборота, как, очутившись перед письменным столом отца, я увидел огромную черную собаку, выходящую из-под него и направляющуюся прямо ко мне. Я простоял несколько секунд перед нею, а она передо мной, смотря мне прямо в глаза, затем она заворчала и пошла в темноту угла, а я повернул обратно и, не в силах продолжать своего кругового путешествия, лег в постель и с головой закутался в одеяло.

Так я лежал, не помню сколько времени, не шевелясь ни одним членом, пока, наконец, не заснул.

Проснувшись утром, я нарочно осмотрел всю комнату, но в ней никого не было, а дверь была заперта мною еще с вечера на ключ. Я осмотрел ее, стараясь себе представить, как ее могли бы отворить и снова запереть снаружи, но убедился, что это было невозможно.

В то время мне уже было лет четырнадцать, и я не верил в сверхъестественные явления, но привитый в детстве суеверный страх, как бы превратившийся в инстинкт, еще сильно давал мне чувствовать себя, когда я находился в родном имении. Интересно, что он сильно уменьшался и даже совершенно исчезал, когда у меня находилось в руках огнестрельное оружие; тогда я готов был встретиться с кем угодно, даже с привидениями, хотя мне и твердили в детстве, что против них бессильно все земное, за исключением «крестного знамения» да восклицания: «Свят, свят, свят господь бог Саваоф, исполнь небо и земля славы твоея!»

Но стоило только мне уехать в какое-либо другое место, как всякое суеверие у меня тотчас пропадало. Оно целиком было связано с родными краями.

Мать моя очень хорошо вошла в роль хозяйки нашей боль-

шой усадьбы. Она с успехом угощала, занимала и развлекала гостей и очень скоро заслужила общую симпатию.

Мою гувернантку вскоре предоставили сестрам, а мне назначили гувернера, полуфранцуза Мореля, который приготовил меня во второй класс гимназии. Потом взяли для сестер двух новых гувернанток, очень молодых девушек, из которых одну скоро сманили соседи. В другую же я тотчас влюбился и хранил, как святыню, случайно попадавшие мне в руки обрывки ее ленточек, кусочки кожи от ее башмаков, ветки подаренных мне ею цветов и все, что ей когда-нибудь принадлежало. Я тайно ставил ей на окно букеты из васильков и других полевых цветов и готов был отдать за нее свою жизнь.

Ближайшие друзья дома, еще до моего официального появления в обществе, расхваливали отцу мою мать и уговаривали его совершить формальности, требуемые церковью, чтобы прекратить ее неопределенное положение в обществе. Отец соглашался, что это нужно рано или поздно сделать, но по какой-то инертности откладывал дело год за годом.

Что же касается самой матери, то она никогда, ни единым словом не намекала отцу о церковном браке, из характеризовавшей ее своеобразной гордости, опасаясь, что это может быть принято за простое желание попасть в привилегированное состояние.

Однако тревога за необеспеченное положение детей часто овладевала ею, и она начала по временам впадать в меланхолию.

Однажды, во время особенно сильного припадка недуга, когда мой отец заботливо расспрашивал ее о причинах ее нездоровья, мать призналась ему в своем беспокойстве о нашем будущем в случае его неожиданной смерти, и отец, собрав своих знакомых, сейчас же составил завещание. Все его денежные суммы и благоприобретенное недвижимое имущество делилось по этому завещанию на две равные части, одна из которых должна была идти в раздел между его сыновьями, а другая между дочерьми, тогда как вся внутренняя обстановка жилищ завещалась матери.

Все это случилось, когда мне, старшему сыну, было лет десять, а сестрам и брату еще менее того.

Отец был мало экспансивен в своих родительских чувствах. Он, кажется, немного стыдился их выказывать, как признак слабости. Наши детские интимные отношения с ним ограничивались поцелуями утром и вечером да несколькими шутивными вопросами с его стороны за обедом и чаем или при его ежедневных посещениях нашей классной комнаты во время уроков на

четверть часа. Маленькие случайные подарки, служащие в глазах детей мерилom родительской любви, были с его стороны очень редки, и потому мне казалось, что он к нам довольно равнодушен, хотя на самом деле ничего подобного не было. Это была только манера вести себя, неуменье со стороны взрослого человека войти в детскую душу.

На именины и дни рождения он нам всегда что-нибудь дарил: сестрам — куклы или шляпки, а мне — различные предметы спорта: сначала детское оружие и деревянных верховых коней, затем настоящие пистолеты и маленького пони для приучения к верховой езде, потом отличное охотничье ружье и т. д. Для приучения к спорту он часто водил меня с собой на охоту, или стрелять в цель из штуцеров, или играть на бильярде в нашей бильярдной комнате, где я скоро стал его обыгрывать и этим отбил у него охоту играть со мною. Он также часто брал меня проезжать рысаков, до которых был страстный охотник. У нас их было до полутора ста, и содержались эти лошади, при которых состояло десятка два конюхов, исключительно для удовольствия.

Для лучших из них была построена роскошная каменная конюшня, а остальные лошади содержались в находившейся за нею в поле деревянной конюшне. Время от времени некоторые из них посылались в Петербург или Москву на состязания, где они брали призы и часто продавались там же за большие деньги. Каждый рысак имел свой специальный диплом на пергаменте, обведенном золотыми рамками, где стояло название нашего завода, имя рысака и время его рождения. Здесь же перечислялись все его родоначальники и предки до десятого поколения, а затем следовала подпись и печать отца с его гербами.

На окружающих людей отец производил очень сильное впечатление благодаря твердому характеру и умению без всякого заметного по внешности усилия поставить себя с каждым в такие отношения, каких он сам желал. В конце шестидесятых годов он был выбран предводителем дворянства в нашем уезде, и его время начало проходить в постоянных переездах из города в деревню и обратно.

Мне было лет десять, когда я впервые ясно понял отсутствие в нашей семье тех формальных связей, которые сковывают вместе всех членов других семейств, независимо от их собственной воли, и происходящую отсюда неопределенность общественного положения моей матери, которую я сильно любил. В это время у меня уже появились религиозные сомнения, главным образом из-за того, что не оказалось над землей кристаллического небесного свода или тверди, которую, по словам библии, создал бог

во второй день творения, чтобы разделить верхние воды от нижних, да и самих верхних вод тоже не оказалось.

Эти сомнения стали меня сильно мучить, тем более, что мне решительно не с кем было поделиться ими. Мои сверстники и товарищи детства все были ниже таких размышлений, а взрослые не захотели бы говорить о них со мной серьезно. Точно так же мне стали приходиться в голову различные вопросы вроде того, справедливо ли, что один живет благодаря простой случайности рождения в богатстве и роскоши, а другой — в нищете и голоде.

Размышляя о том, что отец не обвенчался с моей матерью, я пришел к совершенно справедливому заключению, что и он несколько не верит в церковные таинства. Однако видя, что это огорчает мать, и вспомнив, что в некоторых случаях я видал ее тайно плачущей у себя в комнате, я в первый раз отнесся к отцу с неодобрением.

«Если мать во все это верит и это ее волнует, почему бы не сделать ей удовольствия?» — думал я.

Понемногу я начал становиться замкнутым перед отцом относительно всего, что касалось моей внутренней жизни, начал замечать и преувеличивать слабые стороны его характера и даже давать в душе превратные толкования мотивам тех или других его поступков.

Я знал, как и все остальные, о духовном завещании отца, где почти все имущество оставлялось матери и нам, но эта материальная часть очень мало меня интересовала, и я стал по временам мечтать о том, что, когда я вырасту большим, я не воспользуюсь завещанием и сам пробью себе дорогу в жизни исключительно своими личными усилиями без всякой посторонней помощи.

Однако если кто-нибудь подумает, что эта аномальная сторона, о которой я так много говорю, теперь накладывала какой-либо постоянный отпечаток на нашу обыденную семейную жизнь, тот очень сильно ошибется.

Мы жили, как и все другие семьи, главным образом впечатлениями текущего дня, его радостями и заботами, редко вспоминая о вчерашнем или думая о завтрашнем дне. Отец просматривал счета или занимался спортом, мать всецело отдавалась заботам о детях и домашнем хозяйстве или с жадностью читала романы, на которых она, наконец, испортила себе зрение. Мы, дети, готовили свои уроки. В сношениях со знакомыми не чувствовалось никакой натянутости, и по торжественным дням к нам собирались гости с женами и детьми, и мы все прыгали, танцевали. играли в жмурки, в прятки и возились по всему дому.

Для анализа «собственной души и ее отношений к богу и к окружающим», как выразился бы Лев Толстой, оставались в году лишь отдельные часы раздумья.

В будничные дни после уроков мы, маленькие, разбегались по парку, делали себе пирожки из глины и песка, пускали воздушных змеев, отправляли плавать в пруд кораблики на бумажных парусах, забирались через манеж, прилегавший к одной из трех наших конюшен, в каретный сарай, где стояло штук двадцать всевозможных экипажей, от колясок и карет до простых беговых санок и дрожек, и с большим увлечением изображали в них путешественников, усиленно раскачиваясь на ресорах.

Отец сначала с увлечением предавался охоте. С восхода солнца отправлялся он в хорошую погоду блуждать со мной и своим егерем Иваном по прилегающим к берегу Волги болотистым местам нашего имения, переполненным несметными роями мошек и комаров.

Взлетел бекас...

Бац! раздавался выстрел отца...

Бац! раздавался мой выстрел...

И если при этом отец и я не попадали, то из-за нашей спины раздавался выстрел егеря, бекас падал, а егерь утверждал, что убил его я...

Но, впрочем, очередь до егеря доходила редко.

Отец также держал большую псарню с несколькими десятками гончих и борзых, но потом, когда мне было лет десять, уничтожил это учреждение, после того как собаки одного нашего соседа растерзали на его глазах крестьянина, попавшего случайно на линию охоты и бросившегося бежать, несмотря на то, что отец и все остальные кричали ему:

— Не беги,— разорвут!

Сильно пораженный таким несчастным случаем, отец больше не ездил на псовую охоту, а потому и я не имею о ней никакого понятия, так как после упомянутого случая этот вид спорта в нашем уезде совсем прекратился. Помню только, как в раннем детстве я не раз вскакивал на рассвете со своей постели при доносившихся сквозь стекла звуках охотничьих рогов и видел в полутьме из окошка своей детской, как конюхи приводили к главному подъезду оседланых лошадей. Гончие собаки на своих потягивались и зевали, широко раскрывая свои длинные тонкие морды. Затем на подъезд выходили отец и гости, все садились в седла и один за другим исчезали при звуках труб за деревьями парка.

2. В отцовском доме. Гимназия. «Общество естествоиспытателей» и что из него вышло

Вопросы «почему и отчего» волновали меня с самого детства, но я почти никогда не получал на них ответа ни от отца, ни от матери и ни от кого из окружающих. Они так сильно привлекали меня к себе, что многие из этих вопросов во всех деталях и самые слова ответов на них до сих пор остались у меня в памяти, хотя некоторые из них были, очевидно, сделаны в самом раннем детстве.

— Из чего состоит золото? — спросил я раз свою старую няню Татьяну, которая тогда казалась мне несравненно мудрее матери и отца, и ясно помню, что при этом я сидел посреди большой комнаты нашего флигеля на полу и выстругивал столовым ножом из лучины что-то вроде стрелы для лука или крыла для ветряной мельницы, а нянька вязала чулок у окна на стуле.

— Из золота, — ответила она.

— А серебро?

— Из серебра.

— А почему же хлеб состоит из муки?

— А хлеб состоит из муки, — также невозмутимо ответила она.

— Как произошло солнце? — спрашивал я в другой раз, вероятно, значительно позже.

— Бог сотворил.

— А бога кто сотворил?

— Никто. Он существовал и будет существовать вечно.

Это слово «вечно» производило на меня во все время детства чрезвычайно сильное впечатление и вызывало мысли о беспредельности времени и пространства. И в этот раз произошло то же самое, а вместе с тем неволью явилась мысль: если бог существовал всегда, то почему же не могли бы существовать вместе с ним и солнце, и земля, и звезды? Ведь богу было бы скучно летать неведомо с каких пор одному в пустоте и непроглядной тьме, как мне говорили об этом старшие.

Но я уже не задавал более няне этих вопросов, так как к тому времени, очевидно, научился понимать, что мне их никто не разъяснит. Этот самостоятельный склад ума, очевидно, постепенно подготовлял у меня почву и для последующих занятий естественными науками.

Любовь к природе была у меня прирожденной. Вид звездного неба ночью всегда вызывал во мне какое-то восторженное состояние. Пробуждение природы ранним утром или при первом появлении весны, глубокое безмолвие зимнего леса в тихий

морозный вечер, волнуемая даль беспредельной равнины в жаркий летний день — все это как будто звало меня куда-то далеко и казалось проявлением какой-то всюду скрывающейся таинственной жизни.

Одухотворение природы доходило у меня в детстве до такой степени, что, выбегая утром в парк, я мысленно здоровался с каждым предметом, который попадался мне на глаза: с речкой, пригорком, облачком, деревом, галкой, солнцем, зарей и т. д., а по вечерам не забывал и попрощаться со всеми окружающими меня предметами. И мне казалось, что все они меня вполне понимают. Это со временем так вошло у меня в плоть и кровь, что даже и теперь почти всякий раз, когда мне приходится увидеть луну или звезды, поочередно проходящие в высоте перед моим окном в Шлиссельбургской крепости *, я машинально говорю им, как это делал в детстве:

— Здравствуй, луна! Здравствуйте, звезды! — хотя и понимаю, что для других это должно казаться большой наивностью.

Когда мне попала первая популярная книжка по естествознанию — брошюрка о пищеварении, дыхании и кровообращении, — она мне показалась каким-то откровением. Две старинные астрономии Перевощикова и Зеленого ⁶ (лекции морского училища) я перечитывал не раз до тринадцати лет, как только губернёр успел познакомить меня с элементарными основаниями физической географии. Почти всю нематематическую часть этих книг я понял и запомнил, а таинственный вид формул и чертежей вызвал у меня страстное желание учиться математике и затаенное опасение, что я никогда не буду в силах понять такой премудрости.

Большинство видных представителей русской литературы: Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Кольцова, Гоголя и затем Некрасова, всегда производившего на меня вместе с Лермонтовым особенно сильное впечатление, и часть иностранных, главным образом английских писателей в русских переводах, я знал еще до гимназии, так как их произведения имелись в нашей библиотеке.

Никакого выбора чтения отец для меня не делал, и я брал всякую книгу, заглавие которой казалось для меня интересным. Майн-Рид, Эмар, Купер и особенно Габриель Ферри своим романом «Лесной бродяга» сильно развили романтическую сторону моей натуры и наполнили воображение всевозможными приключениями, так что впоследствии, по поступлении в гимназию,

* Эти мемуары писаны в Шлиссельбургской крепости в 1902 г. — Н. М.

я тоже, как и многие мальчики моего времени, не избежал «сборов к индейцам» и одно время специально и детально изучал с этой целью географию Северной Америки. Для того же самого я долго практиковался с одним товарищем в метании дротиков, стрельбе из сарбаканов, в путешествиях по незнакомым лесам с помощью компаса и в прочих «полезных приемах лесной жизни».

Никаких книг по общественным наукам, кроме скучной Истории Карамзина да статей в журналах, не было в отцовской библиотеке, а потому в догимназический период моего детства мне приходилось довольствоваться лишь собственными мыслями, когда разговоры взрослых побуждали меня задумываться о тех или иных общественных отношениях.

От кого впервые услышал я, что, кроме монархии, существуют и республики; каким путем непосредственных размышлений убедился я, что республиканский строй, как основанный на постоянном проявлении всенародной воли, справедливее монархического, основанного на случайности рождения; каким образом узнал я затем, что, кроме абсолютных монархий и республик, есть еще и конституционные монархии, и сразу отнес их к разряду паллиативов,—ничего этого я уже не могу припомнить. По всей вероятности, все это совершилось у меня в период между двенадцатью и тринадцатью годами и легло в основу моего дальнейшего развития.

Девиз старинных французских республиканцев — свобода, равенство и братство — сразу покрылся в моих глазах ореолом, но только я прибавлял к нему еще одно слово: наука, понимая под нею главным образом естествознание, которое, по моему убеждению, одно могло рассеять суеверие и предрассудки, помрачающие человеческие умы.

В какое время и каким образом я узнал, что симпатичный для меня по моим соображениям отвлеченной справедливости республиканский образ правления был достигнут в иностранных государствах путем тяжелой борьбы, от кого я услышал впервые или прочел где-нибудь, что в России были декабристы, пытавшиеся добиться того же и для нас, но погибшие в тюрьмах и в Сибири; кто мне рассказал, может быть, со спасительной целью устрашения, что существует Петропавловская крепость, и наполнил мое воображение ужасными картинами жестокостей, которые там творятся над всеми, любящими свободу, а мое сердце жалостью и сочувствием к заключенным в ней узникам,—это я тоже не в состоянии припомнить.

По всей вероятности, все это относится к первым годам моей гимназической жизни, а все то, что мне приходилось слышать о таких предметах ранее, не оставляло в моей голове никако-

го прочного следа или не возбуждало серьезных размышлений.

Но несомненно, что такие разговоры окружающих или заметки в прочитанных мною романах и книгах рано вызвали во мне потребность познакомиться с историей периодов общественной борьбы, хотя к обычной истории с ее бесконечной перипетией войн, пограничных и династических изменений, без указания каких-либо законов общественного развития, я никогда не имел особенной склонности и, подобно большинству, предпочитал знакомиться с жизнью человечества непосредственно по романам.

Только книги по истории революционных периодов я брал время от времени из библиотек уже со средних классов гимназии и до восемнадцати лет перечитал, вероятно, все, что имелось по этому предмету в русской литературе. Таким образом, несмотря на свое постоянное увлечение естественными науками я передумал по общественным вопросам почти все, что было передумано и перечитано большинством современной мне развитой молодежи.

Когда впоследствии, весной 1874 года, я впервые познакомился с радикалами (как называли себя в то время те, кому в обществе давали кличку нигилистов), то оказалось, что почти вся цитируемая ими в разговорах легальная литература была мне уже хорошо известна.

Но главной моей пищей в периоды отдыха или переутомления всегда были романы, и им, несомненно, принадлежит главная роль в развитии моих симпатий и антипатий в области человеческих отношений. «Один в поле не воин» и «Загадочные натуры» Шпильгагена; «Девяносто третий год» и другие романы Виктора Гюго; «Что делать?» Чернышевского; романы из деятельности карбонаров, как, например, «Доктор Антонио», и остальные в этом роде вызывали во мне глубокое негодование против всякого угнетения и настоящую потребность пожертвовать собою для блага и свободы человечества. Благодаря этому первая же встреча с людьми, занимающимися подобной деятельностью, неизбежно должна была подействовать на меня чрезвычайно сильно.

Однако никаких таких людей я еще не встречал. Вплоть до девятнадцати лет я думал, что, кроме меня да нескольких друзей из моих товарищей-гимназистов, не было в России никого, разделяющего эти мнения и чувства. Из двух путеводных звезд — науки и гражданской свободы, которые светили для меня в туманной дали будущего, я почти целиком отдавался первой.

Во все время моей гимназической жизни, еще со второго или третьего класса, я по целым дням и ночам просиживал над естественнонаучными книгами, ища в них не одних сухих знаний, часть которых давала мне и гимназия, но больше всего разъяснения мучивших меня почти с двенадцати лет вопросов: как начался окружающий меня мир? Чем он кончится? В чем сущность человеческого сознания и что такое наша жизнь, которая в одно и то же время есть мгновение в сравнении с вечностью, и целая вечность в сравнении с одним мгновением?.. Стоит ли жить или не стоит? Так ли чувствуют другие люди, как я, или каждый на свой лад, и потому никто друг друга не понимает, а только воображает, что понимает?

Я не хочу сказать, чтобы эти вопросы составляли всю мою жизнь. Нет! Как у всякого другого, они прерывались у меня и посторонними впечатлениями окружающей жизни.

Стоило увидеть хорошенькое личико девушки, и у меня сейчас же появлялся к ней порыв симпатии, и я чувствовал полную готовность в нее влюбиться, и, наконец, в шестнадцать лет я нашел свой идеал, как уже упоминал, в гувернантке моих младших сестер, только что вышедшей из института очень молодой и славной девушке... Стоило увидеть студента с особенно серьезным видом и некоторыми признаками бороды, как я сейчас же начинал чувствовать к нему чрезвычайное благоговение и готов был идти для него куда угодно.

Все это было в младших и средних классах гимназии. На взрослых людей, как я заключаю теперь по множеству их отдельных фраз, оставшихся в моей памяти, я производил впечатление юноши более развитого, чем это полагалось по моему возрасту, хотя какая-то никогда не оставлявшая меня стыдливость — выставлять напоказ другим свои знания — заставляла меня прямо прятать их от более взрослых, особенно если старшие чем-нибудь обнаруживали, что смотрят на меня покровительственно, сверху вниз. Тогда — всему конец! В их присутствии я окончательно замыкался в себе, говорил очень мало и весь сосредоточивался в слухе.

Среди товарищей и сверстников я пользовался всегда большой любовью и сочувствием, быть может, благодаря моей быстрой готовности помогать им в затруднениях и неприготовленных уроках.

Всякий раз, когда я приходил в гимназию и приближался к тому уголку, где собирался наш класс в общей зале, несколько десятков рук уже протягивалось в моем направлении, и все лица прояснялись улыбками. А затем, после приветственных беглых фраз, я садился на корточки, окруженный со всех сторон

товарищами, и начинал переводить им латинские уроки или объяснять математические задачи на этот день.

Еще со второго или третьего класса моя страсть к естественным наукам начала увлекать многих из более выдающихся по способностям товарищей по классу, и скоро у нас образовалось тайное общество с целью занятий естествознанием.

Помню курьезный эпизод при основании нашего общества. Для него я написал устав, в котором говорилось, что каждый из нас обязуется заниматься естественными науками, не щадя своей жизни; затем указывалось, что от процветания и развития этих наук зависит все счастье человечества, потому что они позволят человеку облегчить свой физический труд и этим самым дадут ему возможность посвятить свободное время умственному и нравственному совершенствованию. Без этого же человек всегда останется рабом. Словом, устав наш был очень хорош даже и не для полудетей, какими мы тогда были. Но вот и чисто детская черта! Поднялся вопрос, как назвать общество. Я предложил: «Общество естествоиспытателей второй московской гимназии». Но одному из товарищей Шарлю Морелю, брату моего бывшего гувернера, а теперь репетитора, это название показалось слишком эффектным.

— Нужно проще, — сказал он, — чтобы не показалось кому-нибудь из взрослых хвастовством. Назовем лучше: «Общество зоологических коллекций» (мы собирали главным образом коллекции насекомых и окаменелостей).

Мне это название очень не понравилось с эстетической точки зрения, но я не любил спорить из-за слов и потому сейчас же согласился.

Мне, как умевшему немного гравировать, было поручено вырезать из грифельной доски печать для общества с надписью О. З. К. (Общество зоологических коллекций), и я тут же принялся ее выцарапывать концом перочинного ножика, делая сажей на бумаге пробные оттиски по мере воспроизведения мною каждой буквы на печати отдельно.

Первая буква О, как симметричная, вышла удачно на оттиске, но зато вторая буква З отпечаталась на бумаге в обратном виде, как Е, потому что на печати я выгравировал ее машинально в обычном, не вывернутом наизнанку виде. Что тут делать?

Шарль, подумав, сказал:

— У нас уже есть семь ящиков коллекций, и теперь мы собираем восьмую. Можно просто переделать неудачное изображение Е на цифру 8, и тогда выйдет: «Общество 8-й зоологической коллекции».

У меня заскребло на душе от такого названия, но бросить начатую печать было жалко. Я докончил ее как он говорил, и мы начали все коптить ее на свечке и прикладывать на листе бумаги. Скоро весь лист покрылся оттисками, и мы обступили его, любуясь своими произведениями.

В эту минуту вошел старший Морель, не репетитор мой, а другой, его брат, студент Жозеф, очень желчный и саркастический человек. Его я не любил за постоянные насмешки над нашими естественнонаучными занятиями, которые он считал простым мальчишеством.

— Что такое значат эти буквы? — сказал он.

— «Общество 8-й зоологической коллекции», — ответил Шарль с серьезным, деловым видом.

— Это, вероятно, то самое общество, которое сидит у нас на булавках в 8-й коллекции? — иронически спросил Жозеф.

Я был так глубоко обижен этой насмешкой над изучением природы, над нашим постоянным занятием, которое считал самым святым и высоким делом в своей жизни, что тотчас же встал и гордо вышел из комнаты, не сказав ни слова.

Но общество все же состоялось, хотя и не под таким, а под моим прежним названием.

Я нарочно пишу все эти мелочи, относящиеся, по-видимому, еще к третьему или даже второму классу гимназии. Именно здесь находятся первые проблески всех тех идеальных стремлений, которые впоследствии привели меня в Шлиссельбургскую крепость. Достаточно было в то время кому-нибудь насмешливо отнестись к нашим занятиям естественными науками или, еще хуже, к самим этим наукам, и я уже не мог ни забыть, ни простить тому человеку, как верующий не прощает насмешки над своим божеством или влюбленный над предметом своей любви. Но зато всякое недоверие к моим личным качествам или способностям не возбуждало во мне ничего, кроме огорчения. Я сам еще не мог определить, несмотря на ежегодные награды, получаемые мною в гимназии, что я такое — способный человек или еще не разгаданный никем идиот? Иногда, когда мне удавалось одолеть в науках что-нибудь особенно трудное, мне казалось:

— Да! у меня есть способности! Я могу принести пользу науке!

И я радовался. А в другое время, когда я натыкался на неразрешимые вопросы, мне казалось, что я совсем идиот.

Раз, кажется в четвертом классе, я познакомился с одним студентом, исчезнувшим потом с моего горизонта неизвестно куда. Зайдя к нему, я с восторгом увидел у него значительную библиотеку по естественным наукам. Я попросил у него физио-

логию Фохта, продержал дней восемь, прочел всю, сделал несколько выписок, перерисовал с десятков рисунков, а затем прибежал к нему возвратить и взять другую книгу. Он угостил меня кофе и начал разговор с похвал книге, очевидно, не доверяя, что я ее прочел. Я это отлично видел и так как не был уверен, помню ли все, что в ней было, то очень трусил, как бы не осрамиться в разговоре с ним.

Однако студент ограничился лишь общими местами, хотя все-таки успел повернуть дело так, что я целую неделю ходил унылый, считая себя безнадежным глупцом, а его и всех ему подобных — гениями.

— Для того чтобы извлечь полную пользу из чтения таких книг, нужно уметь обобщать прочитанное,— сказал он.— Скажите, когда вы читали, например, о пищеварении и питательных веществах, приходило вам что-нибудь в голову об ирландском народе?

— Нет,— отвечал я с отчаянием в душе, но спокойным тоном,— ничего не приходило.

— Я так и думал,— покровительственно улыбаясь, сказал он.— А между тем, тут прямое соотношение! Вспомните только, что в картофеле большая часть — малопитательный крахмал, а в Ирландии питаются главным образом картофелем, и вы придете к выводу, что ирландский народ должен вырождаться....

Уходя от него, я был в таком отчаянии за необыкновенную узость своего ума, что даже теперь мне жалко себя вспомнить в те дни. Почему я такой несчастный, узкоголовый, без всяких самостоятельных идей! Вот они, настоящие люди! Он читает о картофеле в физиологии Фохта, а его ум носится в это время по всем областям знания и вдруг направляется — куда бы вы думали? — в Ирландию! и тотчас определяет будущие судьбы ирландского народа! Никогда я не выработаю себе такой широты мысли... Но в таком случае стоит ли мне заниматься науками? Не лучше ли просто умереть, чем жить таким идиотом?

С начала пятого класса гимназии (в котором я был оставлен на второй год ненавидевшим меня за свободомыслие учителем латинского языка, несмотря на то, что я считался лучшим знатоком этого предмета и все товарищи обращались ко мне за разъяснениями темных мест) мое воспоминание рисует наше «Общество естествоиспытателей» развившимся и окрепшим, а нас самих — уже почти взрослыми юношами.

Из первоначальных основателей остался в это время только я, а остальные члены постепенно обновлялись, и вновь вступившие уже ничего не знали о прежнем уставе.

Вся формальная сторона теперь совершенно исчезла, но цели

и стремления кружка остались те же самые. Свобода, равенство и братство и их осуществление в жизни путем реорганизации общественного строя, думали мы, важны и необходимы только с точки зрения справедливости, но они не принесут человечеству, взятому целиком, никаких материальных выгод. Это то же, что привести в новый порядок перепутанную мебель в своем жилище, но, как бы мы ее ни перераспределяли, от того не прибавится ни одного нового стула, ни одной новой кровати... Только изучение законов природы и обуславливаемая знанием истины власть человека над ее силами могут увеличить общую сумму жизненных благ и, сняв с человечества всю тяжесть физического труда, превратить его в простое развлечение, в одно из удовольствий, подобных танцам и играм, которого никто не захочет чуждаться, а, наоборот, все будут к нему стремиться наперерыв.

Каждое новое открытие в области естествознания,— проповедовал я тогда при всяком случае,— это то же, что прибавка новой мебели в жилище и нового окна для большего доступа в него воздуха и света. Вот почему работа естествоиспытателя не менее важна, чем и работа революционера или реформатора... В таком именно смысле я сделал даже специальный доклад на одном из собраний нашего кружка, и все товарищи согласились с моей формулировкой.

Труженики науки рисовались в моем воображении такими же героями, как и борцы за свободу. Перед теми и другими я готов был сейчас же стать на колени взамен отвергнутых христианских святых раннего детства.

До сих пор помню, как будто это случилось только вчера, свой неопишуемый восторг и умиление, когда один из таких героев (известный популяризатор и педагог того времени Федор Федорович Резенер) подарил мне на память только что переведенную им книгу «Микроскопический мир» Густава Эгера, и я прочел на первой странице надпись, сделанную специально для меня: «На память от переводчика».

У меня буквально закружилась голова от восторга:

— Мне от переводчика!!! Может ли быть что-нибудь на свете выше такого счастья!

Но мой восторг достиг своей кульминационной точки, когда я прочел первые строки этой книги, где возвеличивается звание натуралиста и говорится, между прочим, что в скромном человеке, собирающем растения с котомкой за плечами или уединенно наблюдающем звезды в обсерватории, скрывается победитель мира.

Все это так соответствовало моему собственному настроению, что начало книги Эгера до сих пор осталось в моей памяти, как заученное стихотворение.

В то время я жил в здании московского вокзала Рязанской железной дороги с товарищем по гимназии и по обществу Печковским, брат которого был инженером на этой самой дороге. Перешел я к нему самовольно, не спросив отца, который, впрочем, уже предоставлял мне тогда известную долю самостоятельности в выборе жилища, с тем единственным условием, чтобы окружающие меня люди не были дурного тона, т. е. очень бедные и грубые.

Как раз тогда отец решил приобрести дом или два в Петербурге, и по окончании гимназии мне предназначалось поступить в Петербургский университет.

С Печковским, очень добрым и даровитым юношей, увлекавшимся главным образом физикой и относившимся ко мне благодаря тому, что был на два года моложе меня, как к авторитету по естественнонаучным вопросам, я занимал в здании вокзала отдельное Помещение в три комнаты с особым выходом исключительно для нас двоих. С квартирой его женатого брата эта часть соединялась только посредством перегороженного дверью коридора и комнаты для прислуги, состоявшей из нескольких человек. В нашем распоряжении был лакей, который чистил нам сапоги и платье и носил обед, завтрак и чай на заграничный манер, т. е. совершенно особо от брата инженера и его жены, благодаря чему и мы и они могли свободно принимать кого угодно, не стесняя друг друга.

Общие обеды были лишь по торжественным дням.

Лакею за услуги я приплачивал три рубля в месяц, а сколько платил самому инженеру за содержание теперь не помню. Помню лишь одно, что он не хотел брать с меня трехсот рублей за зиму, как я раньше платил Морелям, на том основании, что издержки на мое продовольствие, по счетам его жены, не достигали этой суммы, а он не желал иметь специального дохода от моего пребывания, которое доставляло удовольствие его брату. Таким образом, к моим карманным деньгам прибавлялась еще некоторая сумма, и я целиком употреблял ее на покупку естественнонаучных книг.

Конец этого периода моей жизни, продолжавшегося вплоть до знакомства с радикалами, как называли себя тогдашние революционеры в отличие от мирных либералов, был ознаменован наиболее кипучей умственной деятельностью, и все мое жилище скоро приняло самый ученый вид. Стена над кроватью в моей комнате была установлена сотнями двумя естественнонаучных книг, часть которых была очень редких изданий. Стена напротив — вся увешана витринами с коллекциями собранных мною насекомых. Этажерка в углу была наполнена связками гербариев, тетрадами

с выписками и заметками по естествознанию и целой кипой сделанных мною рисунков, большею частью переснятых из книг. В другом углу комнаты стояло друг на друге с десятков очень больших плоских ящичков. Половина из них содержала палеонтологические коллекции, частью собранные мною на Волге, в окрестностях родного имения, и под Москвой, а частью составленные из окаменелостей, выменянных в Московском университете на мои находки.

В университет я начал постоянно бегать еще с 1871 года, накидывая на себя плед и надевая кожаную фуражку по обычаю тогдашних студентов, не имевших еще формы.

Другая часть ящичков в моей квартире была наполнена большим количеством раковин. На окне стоял микроскоп, несколько луп и ряд склянок с настоями для инфузорий.

Сам я в это время мечтал только об одном — быть профессором университета или великим путешественником.

Последняя деятельность, по моим соображениям, не требовала таких необычных умственных способностей, как первая, и могла мне пригодиться, думал я, на тот случай, если я окажусь лишенным научного творчества и умственной инициативы, а потому негодным в профессора или ученые. В отношении же этого будущего счастья я весь отдавался своим наукам, предоставив гимназической латыни и остальной классической схоластике (которую я возненавидел из-за вышеупомянутого добровольного шпиона-латиниста) как можно меньше времени, — лишь бы не получать дурных отметок.

Конечно, находилось время и теперь для чтения романов, до которых я был по-прежнему большой охотник, но это служило лишь как бы отдыхом.

Каждую субботу происходило очередное заседание нашего «Общества естествоиспытателей», в котором насчитывалось пятнадцать или двадцать членов. Это происходило очень торжественно.

В одной из наших комнат раскрывался длинный стол, вокруг которого чинно устанавливался ряд мягких стульев. На столе в больших подсвечниках зажигались две стеариновые свечи, а четыре другие свечки расставлялись по углам комнаты. Перед столом выдвигалась настоящая, как во всех аудиториях, черная доска для писания мелом чертежей и формул. На столе находились чернильницы, карандаши и листы бумаги для заметок; и все это отражалось в огромном зеркале, занимавшем противоположную стену комнаты.

Понятно, что при такой обстановке мы, члены, должны были вести себя в высшей степени серьезно. Каждый раз, когда я

замечал, что кто-нибудь сойдет во время заседания с своего места и развалится на диване, я приходил в самое сильное огорчение, видя в этом признак несерьезного отношения к делу. Моя физиономия принимала тогда настолько укоризненное выражение, что negliжирующий член обыкновенно чувствовал упрек без слов и возвращался на место.

Доклады обыкновенно происходили в виде чтения заранее приготовленных статей, которые нередко демонстрировались коллекциями и в общем представляли недурные популяризации. При окончании каждого заседания поднимался вопрос о чтениях на следующий раз, и без нескольких докладов не проходило ни одного заседания. В конце же каждого заседания являлся наш лакей с подносом, уставленным стаканами с чаем и булками, и вечер оканчивался дружеской болтовней, длившейся иногда за полночь.

Из своих собственных докладов я припоминаю, между прочим, один, который произвел большой фурор. В нем, исходя из гипотезы Лапласа, я доказывал, что если количество атомов в каждой изолированной звездной системе ограничено, то должно быть ограничено и число их комбинаций в пространстве. Но всякий звездный мир с механической точки зрения сводится к комбинациям атомов, и вся его дальнейшая жизнь, до последних мелочей, определяется этими комбинациями. Из одинакового развивается одинаковое, а в таком случае история одной мировой системы должна в точности повторяться в бесчисленном количестве других систем, прошлых, настоящих и будущих, так что в бесконечности времени миры должны сменяться мирами, как волны в океане. Таким образом, через то или другое число квадрильонов лет после нашей смерти — закончил я свою речь — мы можем вновь оказаться сидящими в этой самой комнате и обсуждающими эти самые вопросы, не подозревая того, что мы уже здесь были и обсуждали все это, как мы ничего не подозреваем теперь о том, что было с нами до рождения, — все в жизни природы должно совершаться периодически...

Когда наступала весна или когда мы съезжались в гимназию осенью, почти каждый праздничный день был посвящаем у нас экскурсиям в окрестности Москвы, главным образом с палеонтологическими целями. Геологию, особенно юрской и каменноугольной эпох, я знал тогда несравненно лучше, чем теперь. Больше всего ездил я с одним из моих товарищей — Шанделье (классом моложе меня) и добыл с ним десятка два очень ценных окаменелостей, которые и до сих пор хранятся в Московском университетском музее.

Особенный фурор произвели там среди геологов челюсти ящера, которые мы первые нашли в юрской системе, между тем, как

до тех пор его считали характерным для последующей, меловой. За него нам предоставили выбирать в геологическом кабинете любые окаменелости для пополнения своих коллекций из имеющихся там дубликатов. Определили его тогда, как *Polurtychodon interruptus*, но теперь он значится в Московском университете под одним из видов плезиозавра.

Камень с челюстями тотчас же был тщательно перерисован на полулисте и помещен, кажется, в «Университетских известиях» вместе с кратким описанием находки и с именами нашедших.

Ректор университета, геолог Щуровский, сейчас же поскакал в своей коляске вместе с Шанделье, который один оказался лицом в университете, на место находки, но ничего не нашел нового. Да и трудно было найти, так как мы сами обыскали уже все это место несравненно тщательнее его.

Мы лазили и карабкались при всех наших изысканиях, в буквальном смысле слова, как кошки, по огромным береговым обрывам Москвы-реки, падали вниз, расцарапывали в кровь руки, разрывали платье и доводили себя часто до такой степени изнеможения и усталости, что валялись на землю, где попало, не будучи в силах пройти и десяти шагов. Благодаря этому мы и находили всегда больше интересного, чем пожилые солидные люди, дорожащие своими членами и шютруками.

В обоих музеях, геологическом и зоологическом, мы скоро стали своими людьми, и я каждую неделю аккуратно занимался там по вечерам часа по четыре и более. Особенно подружились мы с хранителем первого — профессором Милашевичем. Он был чахоточный и, верно, давно уже умер. Но тогда это был замечательно простой и симпатичный человек. По временам я бегал также заниматься со знакомыми медиками в анатомический театр и, желая изобразить из себя завязанного анатома, там же и ужинал хлебом с колбасой, которую разрезал своим скальпелем, впрочем тщательно вытирая его перед этим.

На лекции мне тоже ужасно хотелось ходить, но так как они совпадали с урочным временем в гимназии, то мне пришлось побывать на них лишь несколько раз за все время гимназической жизни.

Моему обычному товарищу по геологическим экскурсиям Шанделье судьба, казалось, всегда готовила какие-нибудь приключения. Раз, в конце августа, под селом Троицким, он чуть не утонул на моих глазах в Москве-реке, где мы захотели выкупаться от жары. Ниже нас по течению почти весь фарватер был занят огромными плотами из бревен, которые гнали в Москву, но почему-то оставили на якорях в этом месте. Они, казалось, были довольно далеко, и потому Шанделье не обратил на них

внимания. Он вздумал мне показать, как хорошо плавает, и поплыл на спине вниз по течению, не догадываясь, что река и без того несет его прямо на плоты. Я начал ему кричать:

— Шанделье, утонешь, утонешь!

А у него уши в воде — ничего не слышит. Я попробовал бежать к нему, но бежать в воде оказалось совсем невозможно. Я бросился на берег, но едва лишь выскочил, как увидел с ужасом, что Шанделье уже ударился головой о бревно, и течение тотчас же подвернуло его прямо под плоты. Я бежал к нему изо всех сил, и мне казалось, что все теперь кончено. Однако не прошло и секунды, как, к моему невыразимому облегчению, из воды показались его руки и схватились за край бревна. Вслед за руками вынырнула голова, и, раньше чем я успел добежать до него, Шанделье уже сидел на плоту, схватившись обеими руками за свое темя.

— В первую минуту мне показалось, — сказал он, — что ты швырнул мне камнем в голову.

На этот раз, однако, дело окончилось только огромной шишкой на темени.

Второй раз было хуже.

Под впечатлением похвал со стороны Милашевича и Щуровского по поводу обилия наших палеонтологических находок, а также и собственного увлечения мы дошли, наконец, до того, что даже в зимние праздники уезжали из Москвы в окрестные каменоломни и выдалбливали там окаменелости из не покрытых снегом обрывов и из больших глыб, оторванных камнетесами, или прямо разрывали снег.

В одну из таких поездок высадились мы вечером на полустанке Рязанской железной дороги в сорока верстах от Москвы, чтобы поехать в славящееся своими каменоломнями село Мячиково, верст за десять от этого места. Но едва мы успели отойти в полутьме сотни две шагов от полустанка, направляясь параллельно полотну в соседнюю деревню к возившему нас уже несколько раз крестьянину, как сзади раздался громкий свист локomotива и вслед за ним чей-то отчаянный крик:

— Берегись, берегись!

Я шел сзади, в десяти шагах от Шанделье, и только что успел обернуться назад, как вижу — прямо на меня мчится во весь дух тройка перепуганных лошадей, запряженных в большие сани. Все, что я успел сделать, это крикнуть:

— Шанделье!

Затем я подпрыгнул и, схватившись обеими руками за верх соседнего забора, поджал свои ноги, чтобы их не обломало санями, отводы которых как раз скребли по низу забора. В то же

мгновение и лошади и сани промчались подо мною, и я, висая в высоте, с ужасом увидел, как мой товарищ бросился прямо вперед, но тут же был сбит с ног лошадьми, подмят под их ноги и выброшен кувырком из-под саней на несколько шагов в сторону от дороги.

Я думал, что он убит, бросился к нему и поднял его с земли. Шанделье не обнаруживал никаких признаков жизни, и все члены его висели, как плети. Его тело выскользывало у меня из рук, и я почти не в силах был нести его.

В полутьме показался в стороне какой-то крестьянин, и я закричал ему:

— Помогите! Сейчас задавили человека!

Но он, услышав эти слова, бросился бежать со всех ног и тотчас же скрылся в темноте, оставив меня одного с моей ношей. Напрягая все свои силы и останавливаясь после каждых десяти шагов, я ташил, как мог, Шанделье на станцию и, только подойдя к ней, почувствовал, что он шевелится у меня на руках и хватается со стоном за голову, еще не понимая, что с ним.

Но мало-помалу к Шанделье возвратилось сознание, и он, шатаясь, попробовал с моей помощью войти на станцию.

Оказалось, что, благодаря большой мягкости снега он, по словам вызванного для нас начальником станции местного фельдшера, не получил никаких переломов. Лошади перескочили через него, и только одна сильно ударила его при этом копытом по голове, почему он и лишился чувств. Кроме нескольких других слабых ушибов, он получил лишь сильный удар по бедру толкнущим его передком саней.

— Последнее мое впечатление, — рассказывал Шанделье, — было воспоминание из одного романа Диккенса о том, как поезд налетел и расшвырял по кускам какого-то очень скверного человека. Мне вдруг показалось, что я и есть этот самый человек, а затем все для меня потемнело и исчезло.

Мы стали обсуждать, как теперь нам быть.

Полустанок был совсем холодный. Ближайший поезд в Москву должен был пойти только на следующее утро, а более всего удручало нас сознание неудавшейся экскурсии (как мы называли все наши поездки с научными целями). Это последнее чувство так преобладало у нас обоих над всем остальным, что, едва Шанделье почувствовал, что его кости целы и он еще может кое-как двигаться, хотя бы и с посторонней поддержкой, он сейчас же сам предложил мне не отказываться из-за него от начатой экскурсии, тем более что впереди представлялось два или три праздничных дня — событие, которое встречается не каждый месяц.

— Сделаем так, — сказал он. — Поедем оба в Мячиково. На саях и сене мне не будет больнее, чем на постели, а затем я лягу у Ивановых (наших знакомых крестьян), а ты будешь искать окаменелости, и все, что найдешь, мы разделим пополам.

Это меня чрезвычайно растрогало, так как вполне соответствовало тому параграфу нашего первоначального устава, по которому каждый из нас должен заниматься естественными науками, «не щадя своей жизни». Правда, что таких красноречивых параграфов уже давно не существовало в нашем позднейшем обиходе, но чувство, вызвавшее эту фразу лет пять тому назад, когда мы были еще детьми, осталось и теперь в полной силе.

Сказано — сделано. Я побежал к нашему обычному вознице, наложил обильно в сани сена, и мы тотчас понеслись в полумраке зимней ночи по назначению.

Однако дело оказалось совсем не таким легким. Чуть не с каждой минутой опухоль на ноге и затылке Шанделье вздувалась все более и более, а страдания становились сильнее. При каждом раскате и сугробе у несчастного начали вырываться стоны, и, когда я довез его до Мячикова, он уже опять находился в полубесчувственном состоянии. Снова вызвали местного фельдшера и наложили компрессы на обе главные опухоли. На затылке скоро выросла шишка величиной в кулак, а нога раздулась сплошь, как бревно, страшно было смотреть.

Вся ночь и следующий день прошли в столах и ежеминутных просьбах повернуть его на куче сена на другой бок. Только на третий день боль стала уменьшаться, и мне удалось пойти с молотком и долотом в ближайшие каменоломни и кое-что добыть для обоих, а затем я перевез его обратно на мою квартиру, которая находилась, к счастью, как раз на вокзале этой самой железной дороги.

Здесь он пролежал еще дней десять, прежде чем получил возможность переехать домой, а для успокоения родителей послал им записку, говоря, что поскользнулся у меня на лестнице и слегка вывихнул ногу. Мать приехала его навестить, но так ничего и не узнала о действительных причинах болезни, пока он совсем не выздоровел.

Я не буду описывать подробно всех этих экскурсий и приключений. Нам часто приходилось ночевать на сеновалах, мокнуть под дождем и под грозою и даже подвергаться серьезной опасности сломать себе шею. Масса отдельных эпизодов ничего не прибавила бы к моему рассказу, кроме пестроты. Достаточно сказать, что за последние два года моей гимназической жизни не проходило почти ни одного праздника, рассвет которого не ставал бы меня в окрестностях Москвы, нередко верст за сорок от

нее, с тем или другим товарищем, судя по роду экскурсии, так как я интересовался и собирал коллекции не по одной палеонтологии, но и по другим наукам, между тем как остальные члены были более односторонни. Могу только сказать, что никогда в другое время моя жизнь не была полна такой кипучей деятельности и оживления, как в этот период, когда мне было около семнадцати лет.

Хотя я и бегал еженедельно раз или два на несколько часов в Московский университет, но с тогдашними революционерами совершенно не был знаком и даже не подозревал, что нечто подобное существует в университете. Только в начале семьдесят четвертого года мне впервые пришлось столкнуться с ними совершенно неожиданным образом, благодаря тому же «Обществу естествоиспытателей», постепенно приобретающему, под влиянием отравлявшего нашу жизнь классического мракобесия, все более и более революционный характер⁷.

Как случилось мое последовательное революционизирование, я не мог бы рассказать. Все было так постепенно и незаметно, и так вели к этому все условия русской жизни... Когда я впервые прочел Писарева и Добролюбова, мне казалось, что они выражают лишь мои собственные мысли.

Прежде всего нужно сказать, что, не довольствуясь нашими суботними заседаниями, мы решили завести рукописный журнал, в котором помещались наши естественнонаучные работы и рефераты, а также лирические стихотворения, которые писал один из нас — Гимелин, и статьи по политическим и общественным вопросам, всегда радикального направления. Их писал исключительно я да еще один молодой человек Михайлов, сын зажиточного пробочного торговца, разошедшийся со своим отцом из-за чтения радикальных журналов. Познакомился я с ним совершенно случайно, когда ехал после экзаменов в Петербург, вызванный отцом для того, чтобы развлечься и побывать с ним в концертах и в театрах, а также осмотреть различные художественные галереи, выставки, Зимний дворец, Петергоф и другие петербургские достопримечательности.

При первом знакомстве с Михайловым меня несколько покоробила аффектированность его манер и страсть вставлять в разговор латинские выражения вроде *qui pro quo**, которое он произносил притом же не так, как везде учат, а на французский манер — *ki pro ko*, чем сразу обнаруживал, что такие фразы он вставлял претенциозно. Потом я понял, что это объяснялось обстоятельствами его воспитания. Я догадался, что он получил

* Путаница, неразбериха, недоразумение.

лишь начальное образование, вероятно, в городском училище, но как недюжинный человек старался наперекор старомодной семье достигнуть более высокого умственного развития путем усердного чтения.

В этом отношении он, бесспорно, добился очень многого и перечитал все передовые журналы шестидесятых годов. Но ложный стыд, что у него нет никаких официальных дипломов, заставлял его прибегать именно к вычурно неестественному языку, чтобы показать, что он человек образованный. А на деле это только портило первое впечатление при знакомстве с ним до такой степени, что я не решился даже представить его моим товарищам со всеми его кресчендо, *ultima ratio, tant pis pour eux** (причем *tant* с неумеренным носовым звуком и вся фраза с заметным напряжением в голосе).

Я держал знакомство с ним про себя, пользуясь его прекрасной библиотекой, где собраны были все лучшие русские журналы, и получая от него для своего сборника статейки политико-беллетристического содержания и стихотворения. Большинство из них были недурны, хотя и страдали недостатком литературной отделки.

Кроме того, Михайлов занимался пропагандой среди рабочих, преподавая им вместе с общественными науками основы географии, истории и даже математики. Когда я потом встретился у него с одним из таких рабочих, то пришел в неописанный восторг, слыша, как простой фабричный очень правильно толкует о современных политических и экономических вопросах. Однако эта пропаганда была совершенно одиночна и вне всякой связи с остальным движением 70-х годов, так как сам Михайлов желал оставаться в стороне. Потом, через несколько лет, он совсем разочаровался в своей деятельности и, женившись по смерти отца, обратился в простого семейного человека в обломовском роде.

Рабочие же его, получив образование, выродились, как он говорил мне потом, в простых лавочников в своих деревнях.

Меня лично его деятельность, как я уже сказал, поразила и привела в восторг. Однако она не вызвала во мне никакого стремления к подражанию. Я был слишком романтичен, и занятия азбукой, географией и арифметикой со взрослыми рабочими казались мне слишком мелким и прозаичным делом в сравнении с деятельностью профессора, перед которым находится аудитория несравненно более подготовленных умов и более пылких к науке сердец. Притом же и идеи, которые можно было проповедовать в высшем учебном заведении, казались мне более широкими и

* Последний довод; тем хуже для них.

глубокими. Что же касается утверждения, будто начальное образование, даваемое простому народу, полезнее в общественном смысле, чем среднее и высшее, то я об этом еще ничего не слышал тогда, да едва ли и согласился бы с этим.

Ко всем безграмотным и полуграмотным людям я относился в то время совершенно отрицательно. Серая народная масса представлялась мне вечной опорой деспотизма, об инертность которой разбивались все величайшие усилия человеческой мысли и которая всегда топтала ногами и предавала на гибель своих истинных друзей. Если б меня спросили в то время, в ком я думаю найти самого страшного врага идеалов свободы, равенства, братства и бесконечного умственного и нравственного совершенствования человека, то я, не задумываясь, ответил бы: в русском крестьянстве семидесятых годов, так как я привык мечтать о будущих поколениях человечества, как стоящих на еще большей ступени умственного и нравственного развития, чем самые образованные люди современности, и всю массу будущего народа представлял себе ничем не отличающейся от интеллигентных людей. Помню, как однажды стоял я со своим семейством в нашей приходской церкви во время какого-то праздника. Прислонившись плечом к стене, я наблюдал окружающую публику и не моллся. Одна крошечная старушка в черном платье и платке посмотрела на меня, как мне показалось, с укоризной.

«Что думает обо мне добрая усердная старушка? — пришло мне в голову. — Что она сказала бы, если бы узнала все мысли, которые меня мучат, все мои сомнения и колебания — верить или не верить, где правда и где ложь, и справедливо ли то, что существует кругом?»

«Она, — ответил я сам себе, — сочла бы за грех даже слушать это и строго осудила бы меня. И так же строго осудили бы меня и все окружающие мужички и все другие, стоящие теперь по церквям нашей России, и почти никто из них не понял бы моих чувств, мыслей и желаний, как не поняла бы несчастная кляча на улице, по каким мотивам защищают ее от побоев члены общества покровительства животным. Только с народом, пришло мне в голову, было бы несравненно хуже: кляча не оказала бы своим защитникам никакого сопротивления, а эти несчастные, наверно, приписали бы им какие-нибудь своекорыстные мотивы и постарались бы нарочно испортить им дело».

Все эти мысли у церковной стены и образ самой старушки, которая их вызвала, почему-то очень ярко сохранились у меня в памяти, и я привожу их теперь исключительно для того, чтобы показать, что не приписываю себе бессознательно в настоящее время таких взглядов и чувств, каких у меня не было тогда.

Я даже задал себе вопрос:

«Очень ли огорчило бы меня такое всеобщее осуждение?»

И в ответ на свой вопрос я почувствовал, что нисколько не огорчился бы, что мнение всех неразвитых людей мне было совершенно безразлично.

Однако если бы кто-нибудь сделал из этих признаний вывод, что у меня было презрение к простому народу, то он в высшей степени ошибся бы. Еще с четырнадцати или пятнадцати лет я задавал себе вопросы о современных общественных условиях и решал их вполне определенно.

«Чем,— думал я,— разнится простой мужик от князя или графа?»

«На анатомическом столе,— отвечал я мысленно,— лучший профессор не был бы в состоянии отличить одного от другого, как бы он ни разрезал их мозги или внутренности. Значит, все дело только в образовании и широте взглядов, которую доставляет образование. А умственное развитие заключается вовсе не в дипломах, а в одной наличности развития. Кольцов был погонщиком волов, а между тем его стихи больше трогают меня, чем стихи Пушкина, и знакомство и дружбу с ним я предпочел бы дружбе с любым князем. Значит, думалось мне, зачем же употреблять бессмысленные названия: дворяне, духовенство, крестьяне, рабочие, мещане? Не лучше ли просто разделить всех на образованных и невежд, и тогда все стало бы сразу ясно, и всякий невежда, позанявшись и подучившись немного, сейчас же присоединился бы к образованному классу...»

О сословных интересах, о борьбе классов как главном двигателе истории в то время не было у меня даже и малейшего представления. Все сословные и имущественные различия людей я смело и решительно относил в область человеческой глупости и не желал даже заниматься ими.

3. Конец гимназической жизни. Первое знакомство с революционерами

Наступила зима. Начался семьдесят четвертый год, и с его началом дела нашего «Общества естествоиспытателей» блеснули, наконец, таким ослепительным светом, что часть членов должна была, так сказать, зажмурить глаза и объявить, что не может его вынести. Случилось это событие, повернувшее всю мою жизнь совсем в ином направлении, следующим образом.

Шанделье, который был сыном инженерного генерала, состоявшего начальником Московской пробирной палаты, вдруг

почувствовал в душе некоторую зависть по поводу того, что заседания общества, и притом в такой торжественной обстановке, происходили всегда у меня и Печковского. Он захотел иметь их также и в своем доме. Воспользовавшись предложением прочесть нам большую лекцию о юрских окаменелостях и тем, что для демонстрации этих предметов ему необходимо иметь под рукой всю его огромную коллекцию, он попросил своего отца предоставить нам на субботние вечера залу для ученых заседаний, находящуюся в Пробринной палате.

Его просьба была охотно удовлетворена отцом, уже давно знавшим о нашем обществе.

До сих пор в этом семействе бывал только я один, и мне часто приходилось ночевать там, когда мы с Шанделье возвращались, утомленные и измученные, со своих экскурсий. Я даже заслужил, не знаю чем, особое благоволение его матери, пышной барыни лет сорока и самых либеральных взглядов. Она называла меня не иначе, как *monsieur Cold*, что по-английски означает холодный, и прожужжала мне уши всевозможной болтовней. Когда мне приходилось оставаться у них обедать, она даже начала выбирать меня посредником при своих перекорах с мужем, и не раз по моему адресу велись приблизительно такие разговоры:

— Вот, *monsieur Cold*,— обращалась она ко мне, кивнув головой на своего мужа,— полюбуйтесь на него, какой он у меня вертопрах! Весь седой, а волочится за горничными!

— Вздор, Николай Александрович,— отвечал генерал.— Все это — одна бессмысленная ревность!

— Как ревность? Нет? Вы послушайте только *monsieur Cold*! Иду я вчера по коридору на кухню и — вообразите себе! — застаю его облапившим Машу на площадке черной лестницы и лезущим к ней с поцелуями! Та отбивается от него и, увидав меня, вырвалась совсем и убежала!

Можно себе представить, каково было мне, восемнадцатилетнему юноше, при таких обращениях! Куда глядеть, кроме как в свою тарелку, что делать, как не пытаться перевести каким-нибудь случайным замечанием подобный разговор на посторонний предмет?!

Но возвращаюсь к делу.

С наступлением назначенной субботы зал для ученых заседаний был для нас приготовлен и роскошно освещен, а швейцар получил приказание провезать прямо в него приходящих членов нашего общества. Когда я туда явился, часть их уже была в сборе, и Шанделье ходил среди них, от группы к группе, весь сияющий. В ожидании прибытия остальных я пошел в гостиную,

находившуюся через несколько комнат от этого зала, чтобы поздороваться с хозяевами и поблагодарить генерала от имени членов за предоставление зала.

Вхожу и вижу, что у них полная комната гостей. Одну их часть — медика четвертого курса и пожилого кандидата естественных наук с женой — я уже встречал здесь ранее. Из остальных три или четыре расфранченные барыни были мне совершенно незнакомы. Не успел я подойти, как madame Шанделье уже говорила мне со своего места:

— Ах, monsieur Cold! А мы только что разговаривали о вас. Нельзя ли нам присутствовать в качестве публики на заседании вашего общества?

У меня сердце сильно стукнуло в груди... «Переконфузимся, однако, мы все, делая свои доклады при такой публике. Как бы еще на кого не нашел столбняк среди речи. Вот будет срам-то». Однако, забрав себя мысленно в руки, я ответил спокойным по внешности тоном:

— Отчего же нельзя, если это доставит вам удовольствие! Даже очень рады!

— Нет, вы лучше пойдите и спросите всех, может быть кто-нибудь не пожелает.

Я пошел с тоской в душе обратно в зал для ученых заседаний, но при первых же словах о публичности все члены (мы были в возрасте от семнадцати до девятнадцати лет) пришли в панический страх. Несколько человек, приготовивших рефераты на этот день, отказались читать их публично.

— Лучше умереть! — говорили они, — или, еще проще, разойтись всем по домам до начала заседания!

С большим трудом удалось мне уговорить товарищей не делать скандала уходом.

— Реферировать, — сказал я, — будем только я и Шанделье, да еще кто-нибудь посмелее пусть прочтет маленькую заметку... Все остальные освобождаются на этот вечер от всяких дебатов.

Уладив кое-как дело, я возвратился в гостиную и пригласил в зал публику от имени всех. Мы уселись на стульях для членов, а публика на креслах, отведенных для почетных посетителей.

Заседание тотчас началось длинной лекцией Шанделье, состоявшей из обзора множества юрских окаменелостей, которые тут же демонстрировались им на образчиках и описывались во всех подробностях. Изложение пестрило латинскими названиями и потому страдало, как и большинство читавшихся у нас рефератов, значительной сухостью и отсутствием общей идеи, проходящей через все изложение. К концу лекции публика явно

начала утомляться и у некоторых дам появились признаки зевоты. Затем один товарищ, кажется Печковский, прочел маленькую вещицу по физике, и наступила моя очередь.

В отличие от других, я редко брал для своих докладов чисто специальные темы. Так и в данном случае у меня был заготовлен реферат о значении естественных наук для умственного, нравственного и экономического прогресса человечества. Он отличался юношеской восторженностью и был иллюстрирован многими примерами из истории науки.

В конце концов доказывалось, что без естественных наук человечество никогда не вышло бы из состояния, близкого к нищете, а благодаря им люди со временем достигнут полной власти над силами природы, и только тогда настанет на земле длинный период такого счастья, которого мы в настоящее время даже и представить себе не можем.

Этот реферат я прочел почти весь по своей тетрадке с заметками, так как несколько волновался. Но он явно оживил публику, и заседание окончилось рукоплесканиями и поздравлениями.

Все члены нашего общества были приглашены хозяевами к чаю, но, выпив по стакану, поспешили разойтись по домам под предлогом позднего времени. Торжественность обстановки им так не понравилась, что они, по словам Печковского, клялись и божились никогда более не переступать через порог этого здания для дальнейших ученых заседаний. Я же остался по обыновению ночевать и потому весь вечер вместе с Шанделье пожинал лавры.

Кандидат естественных наук увлек меня в уголок и почтил долгой беседой, ведя разговор явно на равной ноге, без всякого покровительственного оттенка, и это сразу чувствовалось. Затем медик вручил мне свой адрес и просил зайти на днях к нему на квартиру «потолковать о разных предметах» и принести также какой-нибудь номер издаваемого нами журнала.

Дня через два я уже сидел у него за кофе. При уходе он дал мне адрес некоего Блинова, студента-малоросса, у которого находилась тайная студенческая библиотека, а в ней, по словам медика, было много всяких книг и по научным и по общественным вопросам как русских, так и заграничных. Он добавил, что уже рекомендовал меня в библиотеке и получил полное согласие на принятие меня в число пользующихся книгами с тем, конечно, условием, что я это буду держать в секрете, а иначе дело может кончиться «гибелью многих».

Я, конечно, сейчас же обещал все и на другой день явился по указанному адресу. Я познакомился с Блиновым и с

содержанием библиотеки и взял с собой несколько естественнонаучных книг. На следующий раз мне уже были предложены и заграничные запрещенные издания: номер журнала «Вперед», редактировавшийся Лавровым, и «Отщепенцы» Соколова⁸.

Можно себе представить, с каким восторгом возвращался я домой, неся в руках эту связку! При встрече с каждым городовым на улице мне делалось одновременно и жутко и радостно, и я мысленно говорил ему:

«Если бы ты знал, блюститель, что такое у меня здесь в связке, как бы ты тогда заговорил!»

С величайшей жадностью набросился я на чтение этих еще невиданных мною изданий и обе книжки проглотил в один вечер.

Мне казалось, что целый новый мир открылся перед моими глазами, и столько в нем было чудесного и неожиданного! «Отщепенцы» — книжка, полная поэзии и восторженного романтизма, особенно нравившегося мне в то время, возвеличивавшая самоотвержение и самопожертвование во имя идеала, — унесла меня на седьмое небо. Во «Вперед» особенно понравились мне не те места, где излагались факты, — мне казалось, что почти то же можно найти и в газетах, а как раз те прокламационные места, где были воззвания к активной борьбе за свободу.

Эти страницы я перечитывал по несколько раз и почти заучил наизусть. Их смелый и прямой язык, сыплющий укору земным царям, казался мне проявлением необыкновенного, идеального геройства.

«Вот люди, — мечтал я, — за которых можно отдать душу! Вот что делается и готовится втайне кругом меня, а я все думал до сих пор, что кроме нашего кружка нет в России никого, разделяющего наши взгляды!»

Места тогдашних социально-революционных изданий, где возвеличивался серый простой народ, как чаша, полная совершенства, как скрытый от всех непосвященных идеал разумности, простоты и справедливости, к которому мы должны стремиться, казались мне чем-то вроде волшебной сказки.

Все здесь противоречило моим собственным юношеским представлениям и впечатлениям из окружающей деревенской жизни, и все, между тем, было так чудно-хорошо! При чтении этих мест мне невольно хотелось позабыть о моих собственных глазах и ушах, которые — увы! не помогли мне вынести из случайных соприкосновений с крестьянами никаких высоких идей, кроме нескольких непристойных фраз, невольно прилипших к ушам вследствие повсеместного употребления... Мне страстно хотелось

верить, что все в простом народе так хорошо, как говорят авторы этих статей, и что «не народу нужно учиться у нас, а нам у него».

Несколько дней я ходил, как опьяненный. Я читал полученные мною книжки или, лучше сказать, их избранные места моим товарищам и был страшно поражен, что эти идеи, по-видимому, не вызывали у них такого необычайно сильного душевного отклика, как у меня. Все они вполне сочувствовали им, но говорили, что такие идеалы едва ли осуществимы в жизни.

— Для миллионов современного нам поколения,— говорили они,— стремления современной интеллигенции должны быть совершенно непонятны.

Я сам это чувствовал, но это не только не уменьшало моего энтузиазма, а даже увеличивало его!

«Разве не хорошо погибнуть за истину и справедливость? — думалось мне.— К чему же тут разговоры о том, откликнется народ или не откликнется на наш призыв к борьбе против религиозной лжи и политического и общественного угнетения? Разве мы карьеристы какие, думающие устроить также и свои собственные дела, служа свободе и человечеству? Разве мы не хотим погибнуть за истину?»

Когда я отнес через несколько дней обе книги в библиотеку, Блинов сказал мне:

— С вами хотели бы познакомиться некоторые люди, занимающиеся революционной деятельностью, но только вы должны держать эти знакомства в строгой тайне, потому что иначе все дело погибнет.

— Я ничего никому не скажу,— тотчас же ответил я, и, действительно, я чувствовал, что никакие пытки не вырвали бы у меня подобного секрета.

— В таком случае приходите на следующий день в библиотеку, когда будет смеркаться.

— Непременно приду,— ответил я.

В назначенное время я был уже там. За мной явился какой-то человек студенческого вида. Он отвел меня на другую квартиру, но ее хозяина не оказалось дома, а была какая-то девушка, которой он препоручил меня, и ушел. С ней мы перекинулись только несколькими незначительными фразами, а затем просидели с четверть часа молча, так как она принялась читать какую-то книгу. Наконец, дверь отворилась, и в комнату к нам вошли два человека. Один с густой темной бородой, оказавшийся Николаем Алексеевичем Саблиным, поздоровался со мной без объявления своего имени и очень серьезно предупредил меня опять:

— Место, куда мы теперь пойдем, вы должны держать в самом строгом секрете, иначе погибнет много хороших людей.

Затем оба незнакомца повели меня куда-то по бульварам в совершенно незнакомую часть Москвы.

Все эти таинственные переходы из одного неизвестного места в другое, еще более скрываемое, наполнили мою душу таким восторженным трепетом, что я в буквальном смысле не чувствовал под собою ног.

Наконец, мы пришли ко входу в большой белый дом, вошли в подъезд и, не подымаясь вверх по начавшейся тут парадной лестнице, направились в небольшой коридор направо и вошли в маленькую переднюю, где сняли пальто и калоши. Затем меня ввели в большую комнату, вроде гостиной, с роялем у одной из стен, с мягкой мебелью и несколькими окнами, завешенными драпировками. Направо в полуотворенную дверь виднелась часть другой, тоже освещенной комнаты. На левой же стороне, против двери, стоял большой эллиптический стол с диваном за ним и стульями кругом.

На диване сидела чудно красивая и очень стройная молодая женщина лет двадцати двух в красной блузе и с двумя огромными темнорусыми косами, перекинутыми на плечи и свешивавшимися ей на грудь. По бокам ее сидели две белокурые девушки, тоже очень стройные и хорошенькие, напоминавшие мне двух Маргарит в «Фаусте». Молодая женщина оказалась потом Липой Алексеевой, женой богатого тамбовского помещика, безнадежно сошедшего с ума на третьем году ее замужества и находившегося в это время в доме умалишенных. А две Маргариты оказались впоследствии Батюшковой и Дубенской.

Кроме них, здесь находились еще несколько девушек, менее бросившихся мне в глаза, и десятка два мужчин в возрасте между двадцатью и тридцатью годами, всевозможных видов и во всевозможных костюмах. Один из них сразу обратил на себя мое внимание. Это был высокий, крепко сложенный человек лет двадцати пяти с шапкой курчавых волос на голове, небольшой курчавой же бородой и усиками, с огромным лбом и блестящими черными глазами. Казалось, какой-то великий художник вырубил в минуту вдохновения его голову простым топором, да так и оставил ее недоделанной. Впоследствии он оказался одним из самых выдающихся деятелей революционного движения семидесятых годов — Кравчинским.

Молодая женщина с темнорусыми косами встала при моем входе, подошла ко мне, не называя себя, и крепко пожала мне руку. Остальные сделали то же самое, не спрашивая моей фамилии и не называя своих. Едва я сел у столика на пододви-

нутый мне стул, как хозяйка этой странной гостиной открыла ящик эллиптического столика и, вынув оттуда номер издававшегося мною рукописного журнала, показала мне в нем мою собственную статью: «В память нечаевцев».

— Не можете ли вы сказать, — спросила она, — кто автор этой статьи?

Собрав все мои силы, чтобы не обнаружить волнения, я ответил ей:

— Я...

— Но, знаете, ведь она очень хорошо написана. Просто и очень трогательно.

Мое сердце застучало, как молоток, от удовольствия, но, чувствуя, что дальнейший разговор на эту тему должен будет совсем меня переконфузить, я сейчас же постарался перевести речь на другой предмет. Указывая в том же номере статью «О международной ассоциации рабочих» того самого Михайлова, который любил неловко вставлять в свою речь иностранные выражения, я спросил ее:

— Ну, а эта статья, как вам нравится?

— Эта слишком фразиста. Она не ваша?

— Нет, одного из моих знакомых.

Мне предложили чаю, и разговор сделался общим. Я им рассказал о нашем «Обществе естествоиспытателей», а они мне сообщили, что в настоящее время началось большое движение в народ.

Я не помню всех перипетий этого разговора, но через полчаса или час я застаю себя в моем воспоминании уже стоящим посреди комнаты, облокотившись рукой на рояль, и вовлеченным против моей воли в спор с человеком лет двадцати пяти с маленькими белокурыми усиками и бородкою и с прямолинейными чертами лица, напоминавшими мне что-то сен-жестовское. Отсутствие одного из верхних зубов бросалось у него как-то особенно в глаза. Он мне доказывал, что нечаевцы стояли на ложном пути, потому что вели пропаганду среди интеллигенции, а интеллигенция — это аристократия и буржуазия, испорченные своим паразитизмом на трудящихся классах и ни на что не годные.

— Нужно сбросить с себя их ярмо, — говорил он, — забыть все, чему нас учили, и искать обновления в среде простого народа.

Это было то самое, что я уже читал в журнале «Вперед» и других заграничных изданиях. Оно мне нравилось как поэзия, но на практике казалось большим недоразумением или ошибкой. Я собрал все свои силы и мужественно возражал ему, что

пропаганда нужна во всех сословиях, что хотя привилегированное положение должно, действительно, сильно портить интеллигентные классы в нравственном отношении, но зато наука дает им более широкий умственный кругозор и привычка к мышлению развивает в них более глубокие чувства, а подчас и такие великодушные порывы, которые совсем неведомы неразвитому человеку.

Я был в полном отчаянии, что с первого же знакомства с этими замечательными людьми, с которыми мне так хотелось сойтись, я должен был им противоречить и, казалось мне, навсегда уронить себя в их мнению. Кроме того, я никогда не был спорщиком ради спора и всегда старался находить и указывать всем, с кем мне приходилось сталкиваться в жизни, пункты согласия между собою и ими, а не отмечать разноречия, особенно с первого же знакомства. Мне всегда казалось, что при дальнейшем сближении всякие частные разноречия сами собой как-нибудь сгладятся и устроятся постепенно.

— Но что же мне остается делать в этом случае?— думалось мне.— Не могу же я лгать и притворяться перед ними.

Все остальные в гостиной замолчали при начале нашего спора, и я думал с грустью, что они тоже против меня. Однако оказалось, что это не так. Мне на помощь выступил вдруг тот самый человек с шапкой курчавых волос на голове, оригинальная физиономия которого так бросилась мне в глаза с самого начала, и стал говорить моему оппоненту, что в моих словах много правды.

У меня отлегло немного на душе, и, воспользовавшись завязавшимся между ними спором, я незаметно ушел со своего видного места и сел около одного из дальних окон, под самыми драпировками. Хозяйка подошла ко мне и спросила, кивая на присутствующих:

— Как они вам нравятся?

— Очень,— ответил я.— Только неужели, в самом деле, вы отвергаете науки? Ведь без них нам никогда и в голову не пришли бы те вопросы, о которых они теперь говорят!..

Она порывисто положила свою руку на мой рукав.

— Не придавайте этому серьезного значения. Они отвергают только казенную, сухую науку, а не ту, о которой вы думаете.

— А! — ответил я с облегчением.— Значит, что они говорят только о латыни и греках, о законе божием и тому подобном. Но такую науку я и сам конечно, отвергаю...

— Ну да, ну да!..— ответила она мне, успокоительно улыбаясь, и начала расспрашивать о моем семействе.

Тем временем спор сделался общим, и Кравчинский, оставив собеседников, тоже подсел ко мне в уголок:

— Нельзя ли устроить пропаганду революционных идей и крестьянскую организацию в имени вашего отца, поступив туда в виде рабочего?

Я должен был ответить ему с огорчением, что это совершенно невозможно.

— Имение наше не в деревне, а совершенно особняком, в большом парке. С окружающими деревнями у нас нет никаких связей, а все жители нашей усадьбы, от конюхов до отца, связаны между собою в одно целое через судомоек, лакеев, горничных и других слуг. Все, что делается в одном конце усадьбы, скоро доходит до другого.

— Как это жаль! А я уже собирался поступить к вам конюхом,— сказал он улыбаясь...— Значит, ваш отец реакционер?

— Нет! Мой отец находится в сильной оппозиции к правительству, но главным образом за то, что реформа 19 февраля сделана, по его мнению, как разбой. Он никогда не называет ее освобождением крестьян, а передачей их в крепостную зависимость станovým и исправникам и утверждает, что все это было сделано под влиянием нигилистов... По своим взглядам он англофил,— закончил я свой рассказ о нашей деревенской жизни,— и я даже представить себе не могу, что он делает, если узнает, что в его имении завелась пропаганда. Наверное сейчас же вызовет военную команду из уезда.

Потом мы говорили с ним о других предметах и, к моей величайшей радости, всегда и во всем соглашались. Через полчаса разговора я почувствовал к нему невообразимую дружбу.

Тем временем Алексеева подошла к роялю и, проиграв на нем какой-то бурный аллюр, вдруг запела чудным и сильным контральто, какого мне не приходилось слышать даже в театрах:

Бурный поток,
Чаща лесов,
Голые скалы,—
Вот мой приют!

Далее я уже не помню теперь этой песни, но что со мной было в то время, нельзя выразить никакими словами!.. Хорошее пение всегда действовало на меня чрезвычайно сильно, особенно когда песня была идейная, с призывом на борьбу за свет и свободу. А это было не только хорошее, но чудное пение, и все черты прекрасной певицы и каждая интонация ее голоса дышали беспредельным энтузиазмом и вдохновением.

Во время пения она была воплощением одухотворенной красоты.

Мне казалось, что я попал в какое-то волшебное царство, что это во сне, что я проснусь внезапно, окруженный снова обычной житейской прозой. Особенно беспокоила меня мысль, что, разочаровавшись во мне из-за противоречий, эти люди более не захотят со мной видиться, и мне некого будет винить, кроме себя...

«Ах, зачем я не был более сдержан в споре!», — думал я с огорчением в промежутки порывов своего энтузиазма.

А между тем Алексеева все пела новые и новые песни в том же роде. Я помню из них теперь особенно хорошо «Утес Стеньки Разина» и «Последнее прости» умершего в Сибири на каторге поэта Михайлова:

Крепко, дружно вас в объятья
Я бы, братья, заключил
И надежды и проклятья
Вместе с вами разделил!
Но тупая сила злобы
Вон из братского кружка
Гонит в снежные сугробы,
В тьму и голод рудника.
Но и там, на зло гоненью,
Веру лучшую мою
В молодое поколение
В сердце свято сохраню.
В безотрадной мгле изгнанья
Буду жадно света ждать
И души одно желанье,
Как молитву, повторять:
Будь борьба успешней ваша,
Встреть в бою победа вас!
И минуй вас эта чаша,
Отравляющая нас!

В самом начале пения я поднялся с своего места и снова встал у рояля против Алексеевой, смотря с восхищением на ее вдохновенное лицо и большие карие, светящиеся глаза. Вся моя собственная фигура, должно быть, выражала такой неподдельный восторг, что она улыбнулась мне несколько раз во время пения и потом снова запела, прямо глядя мне с дружеской улыбкой в глаза:

По чувствам братья мы с тобой:
 Мы в искупенье верим оба...
 И будем мы с тобой до гроба
 Служить стране своей родной!
 Любовью к истине святой
 В тебе, я знаю, сердце бьется.
 И верю я, что отзовется
 Оно всегда на голос мой!
 Когда ж наступит грозный час,
 Восстанут спящие народы —
 Святое воинство свободы
 В своих рядах увидит нас!

Когда я вышел вместе с последними гостями на улицу, у меня буквально кружилось в голове, и я не помнил, каким образом добрался до своего дома.

Я получил при уходе от Алексеевой приглашение бывать у нее и впредь и не забыл заметить номер дома, который оказался большой гостиницей с отдельными квартирами внизу, одну из которых и занимала Алексеева. Всю ночь я провел в мечтах при свете луны у окна своей комнаты, загасив лампу и смотря сквозь стекло до рассвета на занесенную снегом площадь пред вокзалом и на окружающие эту площадь заборы и крыши зданий. Несмотря на дружеское прощание и на очень сильное рукопожатие со стороны Алексеевой и Кравчинского, я все еще боялся, что испортил дело тем, что с первого же знакомства стал противоречить и спорить.

А между тем, как мне сказали потом, произведенное мною впечатление вовсе не было особенно дурным. Правда, были и неблагоприятные мнения. Из последующих разговоров я узнал, что кроме лиц, которых я здесь видел, были и другие. В темном алькове, прилегающем к гостиной Алексеевой, скрывался еще один замечательный человек, Клеменц, рассматривавший меня через драпировку. Ему я не особенно понравился при этом первом дебюте... Когда на следующий день все, кроме меня, сошлись вместе и начали обсуждать мою особу, он сказал:

— В нем много самомнения... Одна Афина-Паллада вышла из головы Зевса во всеоружии...

Похожий на Сен-Жюста и оказавшийся потом Аносовым говорил, что я слишком привязан к благам, которые дает привилегированное положение, и потому ничего путного из меня не выйдет.

Кто-то обратил внимание даже на мой костюм и приписал мне склонность к франтовству — утверждение, которому едва ли даже поверят те, кто знал меня потом. Но дело в том, что я жил

с Печковским на полном попечении прислуги и лакея, чистившего нам аккуратно по утрам платье и сапоги и клавшего на стул у наших кроватей чистое белье, когда полагалось. Поэтому какими замарашками мы с Печковским ни возвращались бы по вечерам со своих экскурсий, на следующее утро мы оказывались всегда одетыми, как на бал. В противовес этим неблагоприятным мнениям, Кравчинский и затем еще один из присутствующих — Шишко, бывший, как и Кравчинский, артиллерийским офицером и замечательно образованным человеком, стали решительно за меня, особенно вследствие моей готовности отстаивать свои основные убеждения, даже попав в толпу совсем незнакомых людей. Что же касается дам, то я им всем понравился без исключения, хотя, конечно, и не в такой степени, в какой понравились мне они сами.

Являться к Алексеевой на следующий день я, как мне ни хотелось этого, не решился.

«Так,— думал я,— не принято в обществе, а потому я должен выждать, по крайней мере, дня два или три, чтобы не показаться не имеющим понятия о приличиях».

Но на четвертый день, еще задолго до назначенного времени, я уж ходил по соседним бульварам, ежеминутно поглядывая на часы. Я вошел минута в минуту и секунда в секунду в указанный мне час, и первые слова, которые я услышал от улыбающейся мне хозяйки, были:

— А мы думали, что вы совсем о нас забыли!

— Значит, мне можно приходить и чаще? — спросил я.

— Конечно, хоть каждый день.

— Ну, так я буду приходить к вам каждый день,— ответил я.

И я стал бывать у нее ежедневно часов от восьми или девяти вечера и возвращался домой далеко за полночь. Ходить ранее мне не позволяли обычные занятия, да я и не знал еще в первое время, что своеобразный салон Алексеевой был полон посетителями с утра до ночи...

Мало-помалу я стал различать физиономии отдельных членов этого кружка; быстро подружился с Кравчинским, Шишко и еще одним молоденьким безусым студентом, Александром Лукашевичем, замечательно симпатичным, всегда улыбавшимся юношей, казавшимся лишь немного старше меня, так что в первое время я был даже разочарован, встретив такого молодого человека в таком серьезном обществе, где, кроме нас двоих, не было ни одного безусого и безбородого.

Особенно сильное впечатление произвел на меня тогда Клеменц, которого я встретил здесь лицом к лицу лишь через несколько дней. В это время ему было лет двадцать семь, но, судя

по физиономии и какой-то солидности и деловитости во всех ма-
нерах, разговоре и обращении, ему можно было дать не менее
тридцати. Когда в комнату к нам вошел однажды типический сим-
бирский мужичок в засаленной фуражке, черном кафтане нарас-
пашку, под которым виднелась пестрядинная крестьянская руба-
ха навыпуск, в жилете с медными пуговицами и в синих полоса-
тых портках, вправленных в смазные сапоги, я отдал бы голову
на отсечение, что это сельский староста, только что вышедший из
своей деревни и совершенно чуждый всякой цивилизации. Все
в нем, от желтоватого цвета лица и окладистой бородки до ред-
ких прямых волос, подстриженных скобкой, по-мужицки и плотно
примазанных постным маслом к самой коже головы, говорило за
его принадлежность к крестьянскому званию, и только огромный
лоб показывал, что этот мужичок должен быть очень умным и
дельным в своей среде.

Поздоровавшись со всеми несколько скрипучим крестьянским
говором на о, он повел речь о разных предметах, и я заметил, что
его слушали с особенным уважением.

— Как он вам понравился? — спросила меня лукаво Алек-
сеева, когда он ушел.

— Замечательно умный рабочий! — ответил я.

— Да он вовсе и не рабочий! — рассмеялась она. — Он даже
не из народа. Это Ельцинский. А настоящая его фамилия Кле-
менц. Он из привилегированного сословия. И кроме того, — при-
бавила она шепотом, — его более полугода очень сильно разыски-
вает полиция, его нужно особенно беречь. Никогда не говорите
о нем с посторонними.

Через несколько дней я узнал, что еще два человека из этой
компании сильно разыскивались полицией: Кравчинский и Шиш-
ко. Это обстоятельство заставило меня смотреть на них тронх с
особенным благоговением, как на необыкновенных героев, и я, ко-
нечно, не обмолвился о них ни единым словом ни одной живой
душе.

«Вот, — думал я, — все, кто попадаетея, бегут обыкновенно за
границу, а они не хотят и ничего не боятся. А полиция гоняется
за ними повсюду, встречает их постоянно на улицах и каждый раз
остается не при чем. Как это удивительно хорошо с их стороны...»

О том, что скоро будут также разыскивать и меня, мне тогда
даже и в голову не приходило...

Теперь я должен перейти к очень затруднительному месту.
В последующее время меня часто спрашивали:

— Кто были эти люди, а с ними и все участвовавшие в дви-
жении семьдесят четвертого года: социалисты, анархисты, комму-
нисты, народники или что-либо другое?

И я всегда останавливался в недоумении и не знал, что отвечать...

Я говорю здесь только то, что сам пережил, что видел и слышал от окружающих. Вся волна тогдашнего движения с сотнями деятелей, как сейчас увидит читатель, прокатилась в буквальном смысле через мою голову, и, оставаясь правдивым, я не могу причислить их ни к какой определенной кличке. С первых же дней знакомства я пробовал заводить об этом разговоры, но мало получал определенного в ответ. Однажды, когда зашла речь о заграничных изданиях, уже целиком прочитанных мною, где бакунисты причисляли себя к анархистам, а лавристы — к простым социалистам, где ткачевцы называли себя якобинцами, а другие — федералистами, я задал в присутствии всей компании вопрос:

— К какой из этих партий должны причислить себя мы?

— Мы, — ответила за всех Алексеева, очевидно выражая настроение большинства, — радикалы.

И действительно, никто никогда не называл себя при мне в то время никакой другой кличкой, а слова «мы — радикалы» мне постоянно и повсюду приходилось слышать, и противопоставлялось это название слову «либерал», под которым понимались все, говорящие о свободе и других высоких предметах, но неспособные пожертвовать собою за свои убеждения, между тем как радикалами назывались люди дела. К числу либералов в то время причислялись учащейся молодежи и все передовые писатели легальной литературы, до сотрудников «Отечественных записок» — Салтыкова, Михайловского, Некрасова — включительно... Связей с обычными литераторами у нас никаких не было, за исключением знакомства с редактором «Знания» Гольдсмитом, который, впрочем, тоже относился нами к группе либералов.

Только потом уже, по прекращении движений в народ, на передовых деятелей легальной литературы стали смотреть иначе.

Нигилистами у нас назывались все ходящие в нечесанном и растрепанном виде, независимо от их убеждений, а если кто-нибудь начинал проповедовать сумбур, то говорили, что у него в голове «анархия по Прудону». Но это нисколько не значило, что к Прудону и его анархическим идеалам относились отрицательно. Иногда их дебатировали и соглашались, что, действительно, жить всем мирно и дружно, без всяких чиновников и полиции, имея все общее и всем делясь по-братски, было бы очень хорошо.

При всех моих попытках разобраться в различных социальных вопросах, которые меня интересовали, я ни от кого не получал помощи. Все считали для себя обязательным, как бы делом

приличия, выражать сочувствие к социалистическим идеалам и к социалистической литературе, но каждый раз, как заходила речь о деталях будущего общественного строя, всякое затруднение устранялось одним и тем же стереотипным ответом:

— Мы ничего не хотим навязывать народу... Мы верим, что, как только он получит возможность распорядиться своими судьбами, он устроит все так хорошо, как мы даже и вообразить себе не можем. Все, что мы должны сделать, это — освободить его руки, тогда наше дело будет закончено, и мы должны будем совершенно устраниваться.

Так говорили мне наиболее искренние представители движения, по крайней мере, им казалось в подобных случаях, что они именно так думают. Народ же, т. е. серый деревенский мужичок, представлялся им всегда идеалом совершенства.

Уже одна эта неопределенность воззрений показывала мне еще тогда, что корни революционного движения семидесятых годов находились вовсе не в одних социалистических идеях, которые дебатировались по временам среди моих новых знакомых. Чувствовалась какая-то другая скрытая пружина, которой они и сами не подозревали. И эта пружина, как я глубоко убежден теперь, была не что иное, как полное несоответствие существовавшего у нас самодержавного режима с тем высоким уровнем умственного и нравственного развития, на который успела подняться лучшая часть молодого поколения того времени. Насколько тут влияла произведенная тогда замена в средних учебных заведениях живой науки классической мертвечиной, я не знаю. Большинство деятелей того времени, мне кажется, успело миновать греко-латинское горнило, через которое прошел я. Что же касается меня, то введение классицизма сыграло очень важную роль в моей судьбе, так как оно сразу придало мне и всему нашему «Обществу естествоиспытателей» резко революционный оттенок. Но вообще для меня несомненно, что стеснение студенчества, выражавшееся в ежегодных студенческих историях, массовых высылках и преследованиях, сыграло здесь не последнюю роль.

Если бы кто-нибудь спросил меня, считаю ли я движение семидесятых годов за проявление борьбы общественных классов, то я ответил бы, что более всего я склонен в нем видеть борьбу русской учащейся, полной жизненных сил интеллигенции с стесняющим ее правительственным и административным произволом. Класс русского студенчества, если позволено так выразиться, и ряд солидарных с ним интеллигентных слоев боролись за свою свободу, которую они сливали со свободой всей страны, за свое будущее, за живую науку в университетах и других учебных заведениях. Не чувствуя за собой достаточно сил, они обратились

за помощью к простому народу под первым попавшимся идеалистическим знаменем и сделали из крестьянства себе бога.

Как равнодушно встретил их народ семидесятых годов, уже показала история.

Я же лично никогда не верил в тогдашнего крестьянина, а только жалел его. Но я создал себе бога из этих самых людей, так доверчиво обращавшихся к народу, и пошел с ними на жизнь и на смерть, на все их радости и на все их горе. Как это произошло, я и должен рассказать теперь.

С наступлением весны пульс жизни в московском революционном кружке стал биться все скорее и скорее. Члены кружка жили в различных местах города, большею частью неподалеку от университета, хотя многие и не были уже студентами или принадлежали к другим учебным заведениям, особенно к Петровской земледельческой академии, находившейся верстах в десяти от Москвы, в бывшем дворце графа Разумовского, с большим парком, значительным озером и своеобразными флигелями для студентов, часть которых жила, кроме того, в прилегающей деревне Выселках.

По воскресеньям летом в парке собиралось гулять довольно значительное общество из Москвы, и я там тоже бывал не раз с этой целью. Там был свой кружок «петровцев», к которому принадлежал Фроленко, тоже собиравшийся идти в народ и изредка заходивший к Алексеевой. Небольшая типография, где работало несколько сочувствующих барышень, принялась тогда набирать вместе с книгами легального содержания также и революционные брошюры.

В кружке или, скорее, салоне Алексеевой, служившем как бы центральным пунктом для взаимных сношений, в это время все еще больше предавались великодушным порывам и мечтам о будущей деятельности. Лишь немногие члены завели в трактирах и харчевнях сношения с несколькими молодыми рабочими, выдававшимися своим более высоким развитием.

Как сейчас помню мой первый дебют в этой деятельности.

— Если хочешь познакомиться с бытом простого народа, пойдем со мной в харчевню обедать! — сказал мне Кравчинский.

— Очень хочу, — ответил я, — но у меня нет рабочего костюма!

— У меня есть. Я тебе дам.

Я переоделся в его запасной костюм, и мы отправились в одну из самых бедных харчевен на окраине Москвы. Несколько извозчиков сидели там за грязными столами. Мы скромно разместились между ними.

— Вам чего? — спросила нас дюжая хозяйка, очевидно бой-

баба, которая без труда сумела бы вышвырнуть за дверь неисправного посетителя.

— А что у вас есть? — осторожно задал вопрос Кравчинский, не зная, как ответить.

— Шти есть.

— Ну дайте щец!

— С солониной или щековиной?

Я взглянул с любопытством на своего спутника. Что он скажет? Слово щековина мне еще совсем не было известно.

— Со щековинкой! — ответил к моему облегчению Кравчинский таким убежденным тоном, как если бы всю жизнь ничего не ел, кроме этого блюда.

Нам подали пылающие щи в общей деревянной миске и две большие деревянные ложки. В ней плавали накрошенные кусочки соленых бычачьих щек, и только тут мы оба узнали, что значит щековина.

— Только деньги вперед! — властным тоном заявила хозяйка.

Мы уплатили ей полагавшиеся с каждого из нас, кажется, четыре копейки, съели не без страха щековину и тотчас завели беседу на политические темы с соседними извозчиками. Но в этот раз попытка сближения была неудачна. Они торопились окончить свой обед и отвечали нам лишь отрывистыми, односложными фразами. Рабочие в то время еще не привлекали к себе особенного внимания. Их считали уже испорченными городской жизнью и стремились в деревню «к настоящему идеальному неиспорченному народу, который откликнется на призыв не отдельных случайными лицами, а целыми массами».

Прежде всего считали нужным научиться какому-нибудь бродячему ремеслу для того, чтобы иметь предлог путешествовать по деревням и останавливаться в каждой сколько нужно. Самое лучшее — казалось большинству в кружке Алексеевой — сделаться бродячими сапожниками.

— Но ведь учиться долго, — возражали им.

— Совсем нет! Хорошего шитья народ не требует, — отвечали защитники этого ремесла, — было бы прочно, а потому и выучиться можно в какие-нибудь две-три недели.

Так и было решено сделать. Послали в Петербург за одним сапожником-финляндцем, сочувствовавшим делу и уже учившим некоторых в Петербурге, а в ожидании его приезда продолжали свои мечты о наступающей деятельности в деревнях.

В начале апреля, как первые перелетные птицы приближающейся весны, в квартиру Алексеевой начали прибывать одни за другими временные гости.

Большинство их были совсем незнакомые люди с рекомендательными записочками из Петербурга или знакомые лишь с двумя-тремя из находившихся в Москве, и все они принимались как братья, с которыми не могло быть и речи о своем или чужом. Началось движение в народ.

В продолжение двух или трех недель с каждым поездом из Петербурга приезжало по нескольку лиц, и на вопрос: «Куда вы едете?» получался всегда один и тот же ответ:

— В народ! Пора!

Нигде не чувствовалась сильнее, чем в этом пункте, вся сила начинающегося движения. Один за другим, и отдельными лицами, и целыми группами, являлись все новые и новые посетители, неизвестно какими путями получавшие всегда один и тот же адрес — Алексеевой. Пробыв сутки или более, они уезжали далее, провожаемые поцелуями, объятиями и всякими пожеланиями, как старые друзья и товарищи, идущие на опасный подвиг, и затем без следа исчезали с горизонта в какой-то беспредельной дали. Настроение всех окружающих стало делаться все более и более лихорадочным.

— Нужно спешить и нам, — говорили они и торопили присылку из Петербурга сапожника, который почему-то все не ехал. Наконец явился и он — белокурый добродушный финляндец, лет двадцати семи⁹. Мы с Алексеевой побежали приискивать квартиру для мастерской, пробегали напрасно почти целый день по различным улицам, не находя ничего подходящего, как вдруг на одних воротах увидели надпись: «сдается квартира под мастерскую», а над надписью: «дом г-жи Печковской».

— Вот, — говорю я, — было бы отлично, ведь это мать товарища, с которым я живу. Если у дворника возникнут какие-нибудь подозрения, он ей скажет, а она — сыновьям, и мы будем тотчас предупреждены.

Алексеева тоже очень обрадовалась этому. Осмотрев немедленно квартиру, занимавшую второй этаж и содержавшую три или четыре пустые комнатки, мы сейчас же наняли ее. На следующий день я побежал с двумя-тремя из новых своих знакомых закупать инструменты, колодки и кожи. Работы тотчас начались.

Я сам не участвовал в них в первые дни, потому что переживал в это время мучительный перелом. Я уже говорил, что мое положение в семье не было скреплено теми узами, которые связывают членов других семей помимо их собственной воли. Я знал чувства моего отца, считавшего нигилистов за шайку провокаторов и голяков, из зависти желающих устроить коммунизм для того, чтобы воспользоваться имуществом лучше обставленных классов, и вовлекающих неопытных юнцов во всевозможные пре-

ступления для того, чтобы эксплуатировать их потом под угрозой доноса. Мне казалось, что мое присоединение к этой его «шайке» будет равносильно полному и безвозвратному разрыву с семьей и приведет в невыразимое отчаяние мою мать. В отце, казалось мне, гордость заглушит любовь, которую он может ко мне чувствовать. Он навсегда запретит вспоминать мое имя и привыкнет к мысли, что меня никогда не существовало. Но мать — не то. Я представлял ее себе плачущей навзрыд, уткнув лицо в подушки, и этот образ надрывал мне душу.

Затем явились мысли о моей будущей естественнонаучной деятельности, к которой я стремился всей душой и которой я придавал такое высокое значение для будущего счастья человечества. Когда я взглянул на свои коллекции, обвешивавшие все стены комнаты, на микроскоп, на окна со скляночками всевозможных вонючих настоев для инфузорий, на ряды научных книг над кроватью, на которые шли почти все мои карманные деньги за много лет, мне казалось, что с этим я не в силах расстаться.

«Вот что значит собственности! — думал я. — Как она притягивает к себе человека, и как правы о ни, когда говорят, что не человек владеет собственностью, а она им».

В эти несколько дней, когда я стоял одной ногой здесь, а другой там, я совершенно измучился и похудел. Спать я почти совсем не мог, и товарищи считали меня больным. Ни с кем я не советовался. Я хотел решить роковой вопрос один, на мою личную ответственность.

Когда я вспоминал о своей семье, мне приходило в голову, что ведь и у каждого из них есть тоже семья, и они жертвуют ею для освобождения человечества. Когда я вспоминал о своих мечтах сделать важные открытия в науке и этим принести пользу всем будущим поколениям, мне приходило в голову, что ведь они ушли по научному пути гораздо дальше меня, на несколько лет дальше. Сверх того, разве возможно заниматься наукой при окружающих условиях, не сделавшись человеком, черствым душой? А ведь черствому человеку природа не захочет открыть своих тайн.

Значит, об этом предмете теперь нечего и думать. Если я равнодушно оставляю своих новых друзей идти на гибель, я навсегда потеряю сам к себе уважение и ни на что порядочное уже не буду способен. Голос Алексеевой:

Бурный поток,

Чаща лесов,

Вот мой приют! —

Голые скалы —

звенел без конца у меня в ушах.

Мне представлялась партизанская война, которая, вероятно, начнется в это лето, и я видел моих новых друзей рассеянными по лесам и не имеющими другого приюта, кроме обрывистых берегов потоков и голых скал. Нет, хуже! Я представлял их в тюрьмах, может быть в пытках, в сырых рудниках... А я буду в это время спать в своей мягкой постели! — думал я.

Лично я вовсе не чувствовал какой-либо боязни перед ссылкой и рудниками. Совершенно напротив: мысль об опасности всегда имела для меня что-то жутко-привлекательное. Ночевки в «чаше лесов» под деревьями нашего парка я постоянно устраивал себе каждое лето, тайно вылезая через окна из своей комнаты после того, как мать уходила, попрощавшись со мной, и весь дом погружался в сон. Захватив с собою на всякий случай заряженное ружье и кинжал и завернувшись в плащ, я ложился где-нибудь в труппе парка, и мне было так хорошо там спать под светом звезд на росистой мягкой траве!

А потом, когда меня будила свежесть утра, еще лучше было чувствовать вокруг себя всеобщее пробуждение жизни природы, щебетание птиц и звуки насекомых в окружающей меня розовой дымке рассвета.

О тюрьмах я думал тоже не раз, и они меня несколько не пугали. Я представлял себя в мечтах брошенным в мрачное сырое подземелье, на голый каменный пол, с обязательными крысами и мокрицами, ползающими по стенам, или в высокой башне, куда сквозь щель вверху пробивается лишь одинокий луч света, представлял себя умирающим в пытках, никого не выдав, и это приводило меня только в умиление. Я сам себя хоронил заживо, как жертву за свободу...

«И никто об этом не узнает, — думал я. — Как все это хорошо! Это даже лучше, чем если бы все узнали, потому что тогда я не мог бы быть уверенным, что приношу себя в жертву бескорыстно».

По временам, наоборот, я думал, что выберусь из крепости и внезапно предстану перед своими друзьями, которые считали меня погибшим. Как они будут удивлены и обрадованы! Особенно, когда я покажу им знаки, оставленные кандалами на моих руках и ногах, и, еще лучше, два-три оборванных ногтя во время пытки, и расскажу им о своем удивительном освобождении...

Во всем, что я говорю теперь, я не изменяю, несмотря на давность, ни единой иоты.

Эти мысли и мечты, навеянные, может быть, массой прочитанных мной романов, составляли основу моей внутренней интимной жизни. Я здесь не только ничего не преувеличиваю, но, наоборот, много не договариваю, потому что перечислять все,

о чем я тогда мечтал в таком роде, и все, что мне приходило в голову, значило бы исписать целые томы в духе Фенимора Купера, а это здесь было бы неуместно.

Всевозможные мысли и чувства такого рода сразу нахлынули на меня и скучились в моей голове в те критические три или четыре дня моей жизни. Наконец, совершился перелом. Несколько дней я ни разу не ходил к моим новым друзьям-революционерам и вдруг почувствовал, что больше я не в состоянии их не видеть. Но видеть их — значило идти с ними, другого выхода я не мог себе представить. Дождавшись утра, я оделся, как обыкновенно, сел, как обыкновенно, пить чай с Печковским, которого я уже познакомил с Алексеевой, и сказал ему, что в последние дни я много передумал и решил идти в народ со своими новыми товарищами.

— Я это знал, — ответил он, и мне показалось, что на его глазах навернулись слезы.

Еще ночью я решил раздать товарищам по гимназии мои коллекции и имущество, чтобы ничто меня более не удерживало по эту сторону жизни, а книги отдать для основания тайной библиотеки.

Напившись грустно чаю, мы встали и начали упаковывать мое имущество, распределяя, что кому отдать. Я роздал все, даже белье и платье, оставив себе только кошелек с деньгами, часы и револьвер, потому что для чего мне было теперь остальное?... Родным я решил ничего не писать.

«Ведь столько людей тонут, проваливаются в землю и вообще исчезают без вести! Пусть думают, что погиб и я».

Затем с другим товарищем, Мокрицким, сыном одного из московских художников, я пошел в какие-то ряды подобрать народный костюм и, прежде всего, начал выбирать самый грубый.

— Тебе нельзя одеваться в подобное платье, — сказал Мокрицкий. — Возьми самый лучший из рабочих костюмов, а то будет слишком резок контраст с твоей физиономией.

Я согласился с этим, и мы выбрали суконный жилет с двумя рядами бубенчиков вместо пуговиц, весело побрякивавших при каждом моем шаге, несколько ситцевых рубаш и штанов, черную чуйку, фуражку и смазные сапоги необыкновенно франтоватого вида: верхняя часть их представляла лакированные отвороты, на которых были вышиты круги и другие узоры синими и красными нитками.

Затем, заметив, что мои волосы острижены не по-народному, мы пошли к Мокрицкому. Усадив меня под картиной какой-то нимфы, работы своего отца, он постриг мои волосы в скобку,

как у рабочих, а шею под скобкой начисто выбрил отцовской бритвой. Потом намазал мне волосы постным маслом и расчесал их прямым пробором на обе стороны. В этом костюме и виде я тотчас же явился в нашу сапожную мастерскую и, ранее чем окружающие успели опомниться, заявил им прямо:

— И я решил тоже идти в народ!

Алексеева, сидевшая посреди остальных на деревянном обручке и рассмеявшаяся сначала при виде моего переодевания, взглянула на меня при этих словах как-то особенно, и мне показалось, что на лице ее выразился испуг... Но тотчас же вспомнив про свои убеждения, она встала и, протягивая мне обе руки, сказала:

— Как это хорошо с вашей стороны!

Остальные все тоже повскакали со своих мест. Санька Лукашевич первый, осмотрев меня со всех сторон с критическим видом знатока, вдруг рассмеялся и сказал:

— Черт знает что такое! Взглянешь сзади — настоящий рабочий, а взглянешь спереди — переодетая мужичком актриса.

Я тоже смеялся и повертывался во все стороны, давая рассмотреть свой костюм во всех подробностях. Затем я сейчас же выбрал себе колодку и кожу и под руководством нашего мастера с величайшим усердием принялся вставлять щетину в дратву и шить свой первый крестьянский башмак.

О только что розданном имуществе и обо всем, пережитом мною в последние дни, я никому ничего не сказал.

4. Первое путешествие в народ

Прошло три недели. Апрель кончился. Работы в мастерской продолжались ежедневно, пока не начинало смеркаться. Они сменялись время от времени разговорами, пением «Бурного потока» и множества других песен, которые знала Алексеева, учившаяся после института еще в консерватории, и звонкий ее голос будил эхо во всех углах. По временам все пели хором:

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно,
В роковом его просторе
Много бед погребено.
Смело ж, братья, ветром полный
Парус мой направил я,
Рассечет седые волны
Быстрокрылая ладья!

Облака бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней,
Будет буря! Мы поспорим
И поборемся мы с ней!

И когда доходили до куплета:

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна;
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина...
Но туда выносят волны
Только сильного душой,—

мое сердце так и прыгало от радости.

Пели по временам и песни юмористического характера, как, например, известную бурлацкую «Дубинушку», переделанную Клеменцем на радикальный манер и вызывавшую всегда взрывы смеха¹⁰.

Успехи большинства в работе оказались совсем не блестящими, далеко ниже среднего уровня. Многие, при первом предложении к разговору, оставляли, не замечая того, свои колодки и предавались, вместо работы, спорам о грядущем общественном строе, основанном на равенстве, братстве и свободе, или обсуждению своей собственной будущей деятельности. Заметив через некоторое время, что они ровно ничему не научились, многие начали разочаровываться в самом предмете и говорили:

— К чему нам учиться шить сапоги и башмаки, когда весь народ ходит босой или в лаптях? Не лучше ли идти туда в виде странников или простых чернорабочих?

— Совершенно верно,— отвечали другие.— Что общего имеет шитье сапог с революцией?

— Своим ремеслом,— прибавляли третьи,— мы только отобьем хлеб у настоящих мастеров.

Впереди всех в работах шел я, затем Алексева, старавшаяся не отставать от меня. Остальные были далеки позади в сравнении с нами двоими. Наконец, я сделал для Алексеевой маленькие полубашмачки из козловой кожи, и, когда она их надела и стала с торжеством всем показывать, Кравчинский, работавший несколько лучше других и давно заметивший, что из нашего сапожного предприятия ничего не выйдет, сказал с торжественностью, разведя руками:

— После этого нам уже нечему учиться! Пора закрывать мастерскую!

Так и было сделано. Мои полубашмачки оказались единственным произведением, попавшим из нашей мастерской на человеческую ногу.

Тем временем я жил, как птица небесная, не имея ничего своего и никакого определенного местопребывания.

Я ночевал большей частью в квартире Алексеевой, в том самом памятном зале, куда меня привели в первый раз.

Я спал там на стульях или на ковре посреди комнаты, одеваясь, вместо одеяла, своей рабочей чуйкой и подкладывая под голову что попало. Вместе со мной постоянно ночевали тут же Саблин, Кравчинский, иногда Шишко и очень часто еще пять-шесть человек посторонних, направлявшихся из Петербурга в народ и не успевших почему-либо найти другую квартиру. Алексеева спала в своем алькове, прилежавшем к этой комнате и отделенном от нее только драпировками, которые она тщательно соединяла вместе.

Иногда мы, лежа на своем полу и стульях, чуть не до рассвета дебатировали с ней, уже улегшейся в постель, различные общественные или религиозные вопросы.

Если бы кто-нибудь сделал в это время на нее донос и нас всех накрыли бы в ее квартире, то прокуроры и жандармы немедленно сделали бы, конечно, из своей находки такой скандал на всю Россию, какого еще никогда не бывало. А между тем, по отношению к общепринятой в современном обществе и доставшейся нам в наследство от древних христианских монахов морали ни одна турчанка в своем гареме, под защитой десятка евнухов, не была в большей безопасности, чем эта молодая и одинокая женщина под нашим покровительством.

Конечно, мы не были гермафродиты, и семейные инстинкты и влечения, без которых человек, будь он мужчина или женщина, становится простым нравственным и физическим уродом, были и у нас, как у всех нормально развитых людей. Но идейная сторона совершенно обуздывала у нас физическую. Мы все признавали себя людьми, обреченными на гибель, и семейная жизнь с ее радостями казалась созданною не для нас. Когда я мысленно заглядываю в этот период своей жизни, я нахожу среди окружавших меня лиц не одну влюбленную парочку, и большинство из них, в конце концов, завершали свои влюбленные отношения браком. Природа рано или поздно брала верх над убеждениями, и конфликт между разумом и сердцем часто завершался совершенно оригинальным образом. Влюбленная парочка по-прежнему держалась мнения, что супружеское счастье не для нее, но она создавала, что ее будущее, очевидно, страшно хрупко. Первый донос политического врага или простая болтовня какого-либо мало-

душного приятеля — и оба влюбленные окажутся надолго разлученными друг с другом тюрьмой или ссылкой.

Необходимо было иметь возможность навещать друг друга в заключении или сопровождать друг друга в ссылку и на каторгу. И вот, хотя ни тот, ни другая не верили в церковные таинства и от всей души ненавидели притворство и лицемерие, оба решили обратиться к священнику, чтобы повенчаться так называемым фиктивным браком, т. е. быть по внешности мужем и женой, но оставаться на деле в братских отношениях. Этот способ брака казался особенно удобным еще и тем, что устранял для робких трудность предварительного объяснения в любви.

В результате же всегда происходило то, что после нескольких недель фиктивного сожительства парочка оказывалась в настоящих супружеских отношениях.

Я рассказываю здесь всю свою жизнь с ее радостями и печалью, с успехами и неудачами, и это не потому, чтоб я придавал ей особенно важное значение. Моя цель другая. Мне хотелось бы описать внутреннюю, интимную, идеалистическую сторону революционного движения в России и его романтическую подкладку, притягивавшую тогда к нему с непреодолимой силой всякую живую душу, приходившую в соприкосновение с его бескорыстными деятелями.

Конечно, в движении участвовали люди всевозможных характеров. Отличительными чертами одних была скромность и самоотверженность, у других обнаруживались и честолюбивые черты после первого периода бескорыстного увлечения. Одни сознательно обрекали себя на гибель, а другие надеялись на успех и даже мечтали о выдающейся роли в новом строе жизни. Но все в общем жили той же самой жизнью, как и я, а потому, рассказывая о себе, я этим самым даю характеристику интимной жизни очень многих, по крайней мере тех, к кому я был особенно близок.

У большинства моих товарищей того времени не было честолюбия, и потому всякое главарство казалось нам очень несимпатичным.

— Зачем я буду посылать других на всевозможные опасные и героические дела, когда сам могу в них участвовать? — думалось мне часто, и я никак не мог даже и представить себе иного отношения к делу.

Когда, после закрытия мастерской, мне предложили, ввиду незаподозренности моего положения и больших знакомств, остаться на лето вместе с Алексеевой в Москве для того, чтобы мы служили центром, через который все остальные, ушедшие в народ, могли бы сноситься друг с другом, я начал отбиваться от подобной ужасной перспективы и руками и ногами.

— Ни за что не останусь ни недели,— говорил я.— Если нельзя идти с кем-либо из вас, я все равно уйду один...

Увидев, что мое решение неизменно, придумали, наконец, отправить меня в Даниловский уезд, в имение помещика Иванчина-Писарева, где больше года уже велась пропаганда в деревне. На это я сейчас же согласился и, совершенно того не подозревая, попал на самое крупное и самое успешное из всех бывших когда-либо предприятий революционной пропаганды среди крестьян. Ничего подобного не было ни до, ни после него во все время движения семидесятых годов.

В первых числах мая мы с Саблиным уже мчались по Ярославской железной дороге и, пересев на Вологодскую, высадились на станции Дмитриевской. Мы были одеты в рабочие костюмы, с крестьянскими паспортами в карманах. Помню, что во время пути меня особенно беспокоила мысль, как бы мне не забыть своего имени, какого-то Семена Вахрамеева, если не ошибаюсь. Однако все прошло благополучно, и при вопросах «как тебя зовут», случавшихся во время дороги раза три или четыре, я, нисколько не колеблясь, отвечал:

— Семен Вахрамеев!

Саблин же, отличавшийся большой склонностью к комизму, все время пути балагурил с соседями и рассказывал им о нашей жизни и работах в Москве всевозможные небылицы. Когда, нанявши тележку на станции, мы подъезжали через час или полтора к помещицкой усадьбе Потапово, лежавшей особняком на опушке елового леса и еще издали указанной нам возницей, как место нашего назначения, Саблин до того развеселил этого серенького деревенского мужичка всевозможными юмористическими замечаниями и прибаутками, что тот то и дело хватался за ободок своей телеги, чтобы не свалиться с нее от смеха.

— Небось, шибко жирен ваш барин? — спрашивал Саблин.

— Не-е! — отвечал наш возница, заливаясь смехом.— Барин хороший, тонкий.

— Вишь-ты, обещал нам важный заработок. Не знаем только, не надует ли.

— Нет, этот не надует. Зачем надувать?

Прибытие наше было объяснено ему тем, что барин, нуждаясь в хороших мастерах для обучения крестьян в устроенных им столярных мастерских, послал за нами в Москву и обещал хорошо платить.

На крыльце усадьбы нас встретил белокурый человек, лет двадцати пяти, в сером пиджаке с небольшой рыжеватой бородкой. Это и был Иванчин-Писарев.

Он весело поздоровался с нами, как со знакомыми, так как

его уже предупредили письменно о нашем приезде, ввел в гостиную, убранную очень просто, и представил своей жене, тоже белокурой молодой женщине маленького роста, с веснушками на лице.

Затем, осмотрев наши особы и платье, он засмеялся и сказал:

— Это, господа, здесь не годится! Вас все узнают с первого же взгляда, потому что у меня многие из крестьян слышали, что студенты идут в народ. Нужно переодеться в обычные платья!

— Но у меня уже нет никакого другого,— ответил я.

— Это пустяки! — возразил он.— Мы почти одинакового роста, и у меня найдется достаточно лишнего платья.

И вот мы пошли в его спальню, где я снова превратился почти в то самое, чем был ранее. Только чистить мои сапоги и платье было уже некому, кроме меня самого, потому что, за исключением кухарки, горничной и работника по хозяйству, в усадьбе не было никакой прислуги.

Такое же обратное переодевание Писарев сделал, к моему облегчению, и с Саблиным.

— Напрасно думают,— говорил он при этом,— что для деятельности в народе нужно непременно переодеться мужиком. В своей среде крестьяне слушают с уважением только стариков да отцов семейства. Если молодой, неженатый, и особенно безбородый, человек начнет проповедовать им новые идеи, его только высмеют и скажут: «что он понимает? Яйца курицу не учат». Совсем другое, когда человек стоит несколько выше их по общественному положению, тогда его будут слушать со вниманием.

Его слова шли настолько вразрез с тем, что говорилось и делалось вокруг нас в столицах, что мы оба сначала не знали, что и подумать. Однако очевидная справедливость их была мне в глаза и вполне соответствовала тем представлениям, какие я составил себе о крестьянах того времени. Притом же перед нами был не теоретик революционной пропаганды, а практик, уже более года работавший с успехом в народе.

— Нет ничего лучше положения помещика средней руки в своем собственном имении,— продолжал он рассуждать,— или писаря в своей волости, или учителя, уже прожившего некоторое время в деревне и заслужившего доверие окружающих крестьян. Что же касается до этого,— добавил он, показывая на мой новый костюм франтоватого рабочего,— то такое платье самое удобное для нашей местности. Здесь большинство уходит на заработки в Петербург или Москву и возвращается в совершенно таком же виде. Ничто не мешает вам надевать этот костюм по временам, когда будете ходить к знакомым крестьянам в гости. Но ни в коем случае не следует выдавать себя здесь за простого черно-рабочего.

Чем больше говорил он, тем больше вырисовывался в нем человек очень практичный и способный импонировать людям, подходящим с ним в близкое соприкосновение. Моего отца, как обнаружилось сейчас же, он знал хорошо по слухам.

Через неделю пребывания мы все были уже на ты.

Писарев тотчас же познакомил нас с земским врачом Добровольским и акушеркой Потоцкой, жившими в большом селе Вятском, за пять верст от Потапова, и занимавшимися той же самой революционной деятельностью. Познакомил затем с десятком молодых парней своей столярной мастерской, перечитавших уже все печатавшиеся для народа за границей книги и выражавших революционерам свое полное сочувствие, и, наконец, сводил нас в ближайшие деревни к некоторым семейным крестьянам.

Одно из этих семейств особенно выдавалось среди всех остальных. Это был зажиточный дом. Его составляли седой старик-отец, с величественным патриархальным видом, и притом грамотный и даже любитель чтения, добродушная старуха-мать, две дочери и два сына. Невольное внимание обращали на себя второй сын, Иван Ильич, и его старшая сестра Елена. Иван Ильич был сначала лавочником в селе Вятском, где жил земский врач, но, придя к идее, что торговая прибыль не есть справедливый доход, он оставил свое занятие.

Его сестра Елена, высокая и очень стройная девушка, лет двенадцати, с задумчивыми карими глазами и доброй приветливой улыбкой, тоже была затронута надвигающейся цивилизацией. Она получала из Потапова и читала всевозможные книги, не только народные, но и журналы и романы.

Ее разговоры и манеры обнаруживали интеллигентную девушку, и все это еще более оттенялось ее замечательной скромностью. Мне казалось, что такова была моя собственная мать, когда она жила в доме своего крестьянина-отца в деревне, и потому я был всегда удвоенно внимателен к этой девушке. С ней и ее братом мы скоро очень подружились и постоянно бегали друг к другу повидаться.

Остальные адепты потаповских пропагандистов были очень добродушные, побывавшие в столицах парни, но они не представляли для меня особенного интереса, так как не было заметно в них той внутренней психической жизни и деятельности, которая отличает интеллигентного человека от простого, первобытного. Никакие отвлеченные и неразрешимые вопросы, по-видимому, не волновали их душ, и в теоретических разговорах они соглашались сейчас же, не спрашивая дальнейших разъяснений, со всем тем, что мы им говорили, хотя бы это и находилось в противоречии с предыдущим.

Романтический вкус, который я наблюдал в большинстве молодых революционных деятелей конца семидесятых годов, сейчас же проявился у нас и здесь.

— Надо приучаться к жизни в лесах,— сказал через несколько дней приехавший туда Клеменц.— Пойдем на ночь в лес, заберемся в самую глушь и переночуем у костра.

— Мы уже не раз так делали,— сказала Писарева и добавила несколько прозаически:

— И всегда пекли под костром картофель.

Она сейчас же поспешила на кухню, набрала в салфетку сырого картофеля, соли, масла и черного хлеба. Вооружившись всем холодным и огнестрельным оружием, какое только оказалось в усадьбе, мы, без дальнейших рассуждений, отправились в самую глубину ближайшего леса. Через несколько минут, по приходе на небольшую лесную полянку, картофель был слегка зарыт в землю, и огромный костер из натасканного нами хвороста пылал над ним своими красными языками пламени.

Большинство из нас разлеглось около него и начало обсуждать проекты будущих заговорщицких предприятий или рассказывать свои прежние ночевки в лесах и всякие приключения. Я же прилег в отдалении и с восторгом наблюдал, как красиво блестя синеватыми отливами стволы трех или четырех ружей, прислоненных к окружающим высоким елям, и как на фоне непроглядной безлунной ночи, окружавшей освещенное пространство вокруг костра, резко и фантастично выделялись живописные фигуры моих новых товарищей, с которыми мне предстояло идти в борьбу за свободу, на жизнь и смерть. Несколько звездочек смотрели на нас с высоты небес между вершинами деревьев и как будто говорили о нас между собою. Таинственный мрак резко ограничивал освещенные половины голов и плеч у сидящих напротив меня, и мне невольно казалось, что они сливаются с окружающей их ночью в одно неразрывное целое.

Клеменц поднял с земли еловую ветку и, полуоборотившись ко мне, сказал:

— Вот, мы жжем эти ветки. А между тем, сколько в каждой из них удивительного! Каждая ветка вырастает такой, какой она должна быть у ели, а не как у березы или сосны. Каждая оканчивает свой рост, когда достигнет надлежащей величины, а затем отсыхает и вместо нее вырастают новые такие же. Разве это не чудесно?

И я сразу понял, что у него в душе та же самая любовь к природе, что и у меня, и мне страстно захотелось броситься на шею своему новому товарищу, которого я считал до сих пор исключительно занятым лишь общественными вопросами.

Но я, как почти всегда бывало со мною, сдержал свой порыв, и он его не заметил, как не замечали и другие в подобных случаях. И вот теперь я часто упрекаю себя за свою прежнюю сдержанность... Я не раз видал ее и у других! И мне часто приходит в голову мысль: не лучше ли нам быть всегда экспансивными в своих добрых и дружеских порывах и сдерживать себя по принципу во всех дурных?

А между тем сколько людей поступают как раз наоборот и этим отравляют жизнь и себе и другим.

Несмотря на мое обратное превращение в «барина» (хотя о том, кто я такой, знали лишь немногие избранные), я сейчас же снова начал переодеваться в рабочее платье и принимать участие в жизни окружающих крестьян и их работах. Мне не столько хотелось проповедовать новые общественные и политические идеи, сколько изучать народные массы, войти лично в их трудовую жизнь и определить, наконец, самому, действительно ли крестьянство может оказать интеллигенции какую-либо помощь в ее трудной борьбе за свет и свободу?

Еще с первых дней своего пребывания я пробовал пахать с одним крестьянином и занимался этим дня два, после чего левая рука, оттянутая сохой, заболела у меня так сильно, что я должен был прекратить земледелие. Я быстро выучился косить траву, поставляя ее ежедневно для двух наших коров и каждое утро рубил дрова для кухни. Потом я крыл крыши соломой на крестьянских избах вместе с Иваном Ильичом, и положение на высоте мне чрезвычайно нравилось в этой работе.

В Потапове начали даже добродушно подшучивать над моим усердием.

— Аннушка видела, как он тайно ходит к речке, обливает себе лицо водой и ложится затем на солнечном припеке, чтобы жар ободрал ему кожу и сделал его более похожим на мужика,— говорил обо мне Писарев, шутливо поглядывая на меня за чаем.

— А я видел,— добавил Саблин, с самым серьезным видом,— как он, сидя на крыльце, трет свои ладони о ступени для того, чтобы они сделались жесткими.

Это несерьезное, как мне казалось, отношение к делу сильно меня огорчало, но я ясно видел, что ко мне лично все относится очень хорошо и что эти шутки объясняются лишь веселым характером моих новых товарищей.

Особенная склонность к своеобразному балагурству проявлялась у Саблина, любившего во время серьезного разговора пускать посторонние остроты, сбивавшие разговаривавших с первоначальной темы. Его остроты не всегда были очень высокой про-

бы, как обыкновенно случается, когда люди шутят ежедневно. Это были большею частью каламбуры вроде, например, неожиданного замечания, что слово «либерал» происходит от того, что какой-то немец Либ на одном собрании чрезвычайно много орал. Все смеялись, принимались разбирать, каким образом несходящаяся гласная о могла перейти в е, и разговор перескакивал на новый предмет раньше окончания прежнего.

Все это казалось мне не соответствующим серьезности нашего положения борцов за свободу, добровольно обречших себя на гибель. Я был тогда еще слишком молод для того, чтобы понять, что можно приносить себя в жертву и с видом беззаботности. Но я уже и тогда угадывал инстинктом, что под напускной внешностью вечно шутящего человека скрывалась у Саблина глубоко преданная, любящая душа.

Мало-помалу перед мною стало выясняться положение дела в нашей местности, и его результаты постепенно начали принимать в моих глазах все более и более грандиозные размеры.

Десяток рабочих-крестьян, с которыми я познакомился, жили по различным деревням волости и служили как бы опорными пунктами для проведения в народ новых общественных и политических идей.

Для одного из них Писарев выхлопотал у начальства разрешение быть книгоношей, т. е. ходячим продавцом по деревням народных изданий. Вверху его короба лежали различные божественные книжки, а внизу — революционные воззвания к народу и брошюры, издаваемые для народа же за границей. Там были все запрещенные книжки, разносившиеся пропагандистами в это лето и в других местах России. Из них интеллигенции (а не крестьянам) больше всех нравилась «Сказка о четырех братьях», где повествовалось, как четыре брата-крестьянина, родившиеся в глухом лесу и потом жившие все время на природе, не зная ни начальства, ни привилегированных лиц, вдруг вышли из леса и с удивлением увидели новый, непонятный для них общественный и политический строй. Они пошли на четыре разные стороны России для того, чтобы познакомиться с таким удивительным для них образом жизни, и начали уговаривать народ возвратиться к «первобытной справедливости», но все попали за это в руки властей и встретились на Владимирской дороге в кандалах, на пути в Сибирь¹¹.

В народе, как я заметил, эта сказка, да и вообще все произведения в сказочном тоне производили менее впечатления, чем прямые обращения, вроде прокламации Шишко, начинавшейся словами: «Чтой-то, братцы, плохо живется народу на святой Руси!»

Кроме прозаических произведений, разносились из Пота-

пова сборники революционных стихотворений, переделки общеизвестных народных песен на революционный лад, чем особенно занимался Клеменц, и брошюры псевдорелигиозного содержания, вроде сказки о Николае чудотворце, возмутившемся (кажется, уже на небе) совершающимися на земле несправедливостями и спустившемся на нее проповедовать революцию. Меня особенно сместило тогда, что на внутренней стороне обложек у всех светских революционных изданий было напечатано: «Одобрено цензурой».

А на книжках псевдорелигиозного содержания, вроде Николая чудотворца, красовалась надпись:

«С благословения святейшего синода».

Все эти книги распространялись книгоношей в значительном числе по всему уезду. Остальные избранные из крестьян проповедовали по своим деревням и старались сделаться центрами отдельных кружков деревенской молодежи.

На лугу перед усадьбой были выстроены различные качели и карусели вместе с приспособлениями для гимнастических упражнений и даже домашней музыкой. Благодаря таким приманкам каждое воскресенье собиралась в Потапове вся деревенская молодежь из окрестностей, человек до пятисот и более. Везде кругом пели песни, водили хороводы. Молодые парни качали на каруселях деревенских девиц, и все было поставлено вольно, без стеснения.

Когда Писарев и Саблин замешивались по временам в эту огромную толпу со своими шутками и веселыми рассказами, то место их нахождения всегда легко было определить по неумолкаемым взрывам хохота. Настоящей пропаганды здесь избегали, но такие сборища служили прекрасным способом для завязывания знакомств, и потому потаповская колония пропагандистов ими особенно дорожила. Переделки же народных песен, где осмеивались власти и самодержавные порядки, и весь остальной запрещенный вокально-музыкальный репертуар были здесь пущены в полный ход.

С особенным воодушевлением пела толпа известный революционный вариант приволжской бурлацкой «Дубинушки». Среди общего смеха и гула так и гремели ее куплеты:

Ой, ребята, плохо дело!
Наша барка на мель села.
Царь наш белый кормщик пьяный!
Он завел нас на мель прямо.
Чтобы барка шла ходчее,
Надо кормщика в три шея,

И каждый куплет стоголосая толпа сопровождала обычным припевом:

Ой, дубинушка, ухнем,

Ой, зеленая, сама пойдет, подернем, подернем, да ухнем!

Такие задирательные противоправительственные песни особенно соответствовали народному вкусу и вызывали в крестьянской публике неудержимый смех. Они тотчас заучивались и разносились присутствовавшими далее по деревням. Как далеко они распространялись, было трудно даже определить. Только неожиданностью для провинциальных властей движения в народ и объяснялось то обстоятельство, что на все это в продолжение почти двух лет не обращали никакого внимания.

В тот момент когда мы с Саблиным приехали в Потапово, главная работа в этой местности казалась совершенно законченной. Через две или три недели пребывания мне стали уже закрадываться в душу вопросы:

«Для чего же я живу здесь? Что могу я прибавить к тому, что уже сделано?»

Воспоминания о моей покинутой матери и все, что было пережито мной при решении идти в народ, стали пробуждаться в душе с новой силой.

«Оправдается ли здешней моей жизнью все то горе, которое я причинил у себя дома? Ведь, может быть, в это самое мгновение и мать моя, и все другие воображают ужасы, а я живу как ни в чем не бывало, почти так же, как и у них в Боркè!»

Романтическая сторона моей души, жаждавшая опасности и приключений и побуждавшая меня пойти в это движение в надежде попасть прямо в партизанскую войну, — если не войну народа, то тех, которые в него пошли, — снова заговорила во мне. Ведь если все пустились в подготовительную работу, то никакой партизанской войны не будет много лет. Кругом рассуждают лишь о том, как каждый подготовит несколько человек, а те, в свою очередь, еще несколько и так далее до бесконечности. А я еще никого не подготовил...

Писарев спросил меня однажды:

— Как ты думаешь, скоро ли будет революция?

— Не знаю! — ответил я ему печально. — Может быть лет через десять, а может быть и более.

— Ну, нет! — воскликнул он. — Более чем на четыре года я не согласен.

С таким крайним сроком мирились и остальные. Но о том, что революция может случиться в этом самом году, никому не приходило в голову.



Н. А. Морозов — гимназист

В один прекрасный день, не выдержав своей праздной жизни, потому что бегание по избам, болтовня о нашей будущей деятельности и сельские работы с крестьянами перестали меня удовлетворять, я прямо сказал за утренним чаем:

— Я чувствую, что дела стоят здесь уже на прочной ноге. Для новых лиц не остается достаточной работы. Уйду на Волгу в бурлаки.

Сначала все приняли это за простое размышление и рассмеялись, стараясь вообразить мою фигуру в такой роли.

Потом, увидев, что я действительно не удовлетворяюсь своей жизнью при чужом деле, Писарев вдруг уехал куда-то на несколько часов и, возвратившись, сказал:

— Ну, я тебя устроил. В двенадцати верстах отсюда есть деревня Коптево, в совершенно глухой местности, посреди болот и лесов и наполненная староверами. Думаю, что она как раз придется тебе по вкусу. Там у меня есть знакомый кузнец, и он согласен взять тебя учеником. Я сказал ему, что ты сын крестьянина, московского дворника, вырос в столице и учился три года в городском училище, но этой весной твои родители внезапно умерли от тифа, оставив тебя без всяких средств к существованию. Я прибавил, что тебе особенно хочется выйти в кузнецы.

Это мне понравилось. В таком положении, думал я, мне можно будет, по крайней мере, узнать, что же такое представляет из себя наш народ? Если вести пропаганду и лучше в привилегированном положении, то изучать народ несравненно удобнее в виде простого рабочего. Не будут, по крайней мере, сейчас же соглашаться со всем, что я говорю, в то время как, может быть, в душе думают совсем другое.

На следующий день меня привезли по назначению, в рабочем костюме и в расшитых сапогах, но только уже без жилета с бубенчиками, который не требовался в той глухой местности. Был также запас запрещенных изданий в моем дорожном мешке.

Нас встретил почтенный старик, кузнец, с длинной, полуседой бородой, и старая женщина, его жена, спокойные и приветливые манеры которой внушали невольное уважение. Отрекомендовав меня, как будущего ученика, Писарев попросил готовить для меня, как избалованного столичной жизнью, какое-нибудь дополнительное блюдо на его счет, вроде, например, яичницы на молоке. А затем, потолковав с ними о безразличных предметах с четверть часа, он уехал обратно, оставив меня одного.

Старик и старуха повели меня прежде всего в небольшую летнюю избу, или келью, построенную в нескольких шагах от их избы, на задворках деревни, и разгороженную сенями на две комнаты. В обеих царил полумрак, так как вместо окон в них бы-

ло проделано между двух смежных бревен лишь одно отверстие, которое можно было бы заклеить полулистом писчей бумаги. Оно затыкалось на случай нужды деревянным засовом.

На полу в углу лежала куча сена. Никакой мебели не было.

— Вот здесь ты будешь жить летом, пока тепло, — сказал мне кузнец, — а в другой горнице ночует наш сын.

Я положил свой мешок в угол, и хозяева ушли, сказав мне:

— На работу тебя возьмут завтра, а теперь тебе можно отдохнуть.

Через полчаса пришел ко мне их сын, помощник кузнеца, уже женатый мужичок, с русой бородкой, и, поздоровавшись со мной за руку, повел меня обратно в главную избу обедать со всем семейством. Прежде чем сесть за стол, я начал по обязательному крестьянскому обычаю креститься и кланяться вместе с другими на иконы.

Я уже думал, что исполнил все требуемое от меня новым миром, но это оказалось неверно. Я забыл, что находился у староверов.

— Щёпотью крестишься, милый! Как соль берешь! Не так! — сказала мне старуха, подойдя ко мне со спокойным достоинством по окончании молитвы.

И, сложив мою руку таким образом, чтобы указательный и средний пальцы были рядом вытянуты вперед, как если бы я указывал ими на кого-нибудь, она сжала все остальные мои пальцы в кулак и заставила меня перекреститься три раза таким новым способом. Я охотно исполнил ее желание, так как мне это было решительно все равно или, скорее, даже интересно, и с тех пор всегда стал креститься двумя перстами, по-староверски.

— Умеешь что-нибудь ковать? — спросил меня старик после обеда.

— Нет! Я только сапоги шить умею, да и то плохо.

— Что ж, и сапоги дело хорошее. Пригодится. Вот теперь и ковать выучишься.

Он начал расспрашивать меня насчет потаповских господ, но из осторожности я на первый раз ответил уклончиво, сказав только:

— Они стоят за нашего брата против начальства.

Ранним утром на следующий день мы принялись за работу в маленькой закоптелой кузнице при дороге у въезда в деревню. Меня начали обучать деланью гвоздей. В остальное же время пришлось раздвигать мехи у горна и совершать другие незначительные вспомогательные работы.

Дело пошло так успешно, что кузнец остался чрезвычайно доволен мною и потом постоянно хвалил мое усердие и способность

к работе. Впрочем, и было за что хвалить. Я относился к делу с такой серьезностью, как будто от этого зависела моя жизнь.

Однажды, когда мы сваривали шину, кусок раскаленного железа, величиной с большую горошину, отскочил из-под молота и упал мне за голенище сапога. Я почувствовал страшную боль в ноге, когда он с шипеньем проникал мне в тело, но моя рука, бывшая в то время пятифунтовым молотом, не сделала ни одного неверного движения. Только когда все было кончено, я быстро сбросил сапог, и изумленный кузнец увидел прожженное углубление на моей ноге величиной с половину боба.

В первый же день моих работ у входа в кузницу собралась толпа народа, как будто по собственным делам, толкуя между собой и лишь изредка обращаясь к нам с вопросом.

Некоторые присели поблизости на различных предметах вроде старых колес, требовавших обшивки шинами. Но, несмотря на кажущееся невнимание, было очевидно, что все они собрались здесь поглазеть на мою особу и обсудить ее потом между собою.

Появление нового человека, да притом столичного, было большим событием в этой глухой деревне. Однако, ввиду того, что я не имел в их глазах никакого привилегированного положения и, по их мнению, не мог быть в жизни не чем иным, как кузнецом или мастеровым, ко мне относились как к человеку своего круга, не стесняясь.

В следующие же дни у меня начали завязываться и разговоры с этой толпой, ежедневно собиравшейся в известные часы около кузницы. Предметы наших обсуждений были чрезвычайно разнообразны, но большей частью философского характера.

Раз один из окружающих крестьян, пожилой мужичок, завел речь о том, что телеграфист на ближайшей станции железной дороги говорит, будто бога нет.

— Как вы думаете об этом? — обратился он добродушно ко мне (слово «вы» уже было занесено даже в такую глухую местность).

Очень заинтересованный узнать, что они сами думают, я ответил уклончиво:

— И в Москве говорят, будто нет, да не знаю, что и подумать? Говорят, будто никто никогда его не видал.

— И то правда, — заметил один, — никто никогда его не видал.

— А по-моему, — вмешалась старуха, моя хозяйка, тоже присутствовавшая при разговоре, — есть он или нет, а молиться ему все же нужно, и по правилам, как положено. Если его нет, немного времени пропадает на молитву, а если есть, то он за все воздаст сторицею.

С этим мнением сейчас же согласились все.

Такие веяния времени, прорвавшиеся в лесную глушь через станцию железной дороги, и оригинальное, чисто практическое отношение окружающих меня простых людей к своей религии чрезвычайно меня поразили. Глядя на народ сверху вниз и наслушавшись в интеллигенции речей, что не нужно затрагивать при сношениях с крестьянами религиозных вопросов из опасения сразу возбудить их против себя, я считал русских крестьян, в особенности раскольников, очень нетерпимыми в отношении веры и потому спросил, помолчав немного:

— А что же телеграфист, который говорит, что бога нет, какой он человек?

— Хороший человек! — ответило мне несколько голосов, — такой простой, да ласковый со всеми!

Заходила речь и о помещиках, и о начальстве. И здесь, в качестве человека из простого сословия, я многое узнал, чего не мог бы узнать в другом положении.

Все старые люди жаловались на новые времена и говорили, что при помещиках было лучше. Молодежь же, едва помнившая крепостное право, поголовно относилась к помещикам из дворян (конечно, исключая отдельных, знакомых им лиц) наполовину враждебно, наполовину пренебрежительно. Особенно ясно я подметил эту черту пренебрежения уже впоследствии, когда мне пришлось, получив порядочный навык в народной речи и народных правилах приличия, ходить в народе по Курской и Воронежской губерниям, а затем по Московской, Ярославской и Костромской.

Нигде в крестьянском мире уже не думали, что манифест 19 февраля 1861 года был подменен помещиками. Ничего подобного, по крайней мере, мне не приходилось слышать. Все смотрели на него, как на пинок, данный царем дворянству по причине каких-то таинственных взаимных несогласий («чем-то надоели ему»), но все были недовольны, что царь не отобрал земель у помещиков целиком и даром, а назначил выкуп, и некоторые были даже прямо враждебно настроены за это против самого царя...

— Что бы они могли с ним поделаться? — приходилось мне слышать не раз. — Барин-татарин ходит павлином, а пни его хорошенько ногой, глядишь — и присмиреет.

Этот период пренебрежительного отношения обуславливался, как мне кажется, тем, что в глазах народа дворяне как класс потеряли всякий престиж именно потому, что не сумели отстоять своего первоначального положения. Может быть, я ошибаюсь, но мне всегда бросался в глаза контраст в отношениях более молодых крестьян к помещикам, с одной стороны, и к местной администрации — с другой. К первым, как я уже сказал, отношение

было враждебно-пренебрежительное, а ко вторым враждебно-боязливое.

— Что поделаешь,— говорили мне потом у дверей этой самой кузницы, на мои слова, что народу надо взять управление страной в свои руки, как в иноземных государствах.— Что поделаешь? У начальства сила, а у нас все врозь. Никто другого не поддержит, все разбегутся.

И мне невольно припомнился тот самый мужичок, который пустился бежать во всю прыть, когда я позвал его на помощь к Шанделье, после того как его переехала тройка.

Я большею частью рассказывал им о порядках правления в иностранных государствах, и как была добыта там свобода. Это мне казалось наиболее целесообразным средством, потому что приходилось изображать не какой-нибудь еще неиспытанный проект, а уже существующий образец. Книжки распространять мне совершенно не пришлось, так как вся деревня оказалась поголовно безграмотной, и в следующее же воскресенье я отнес обратно в Потапово весь свой тюк, за исключением одного экземпляра каждого издания.

Более других сблизился я с сыном моего кузнеца, тоже совершенно безграмотным мужичком, но с философским оттенком ума. В свободные часы он забегал ко мне в клеть и там, валяясь на сене, мы вели с ним всевозможные философские разговоры.

Я стал замечать, что понемногу он очень привязывался ко мне и что его прямо влечет потолковать со мной. Это очень меня радовало, и при первом же случае я начал читать ему различные революционные издания, так настоятельно рекомендованные на обложках цензурой и святейшим синодом.

Но тут мне пришлось совершенно разочароваться. В словесных разговорах мой ученик был человек как человек, и спрашивал и отвечал осмысленно. Но как только доходило до чтения, в какой бы форме ни предлагалось оно — в виде сказки или проповеди — им сейчас же овладевала непреодолимая зевота или страшная рассеянность.

Каждую отдельную фразу или две, как я очень хорошо замечал, перемежая свое чтение словесными комментариями, он понимал совершенно отчетливо, но общая связь их друг с другом совершенно была недоступна для его головы: одна идея выталкивала другую из узкого горизонта его мышления, как в микроскопе рассматривание одной части водяной капли неизбежно влечет за собою удаление с поля зрения остальных частей, так что потом их уже трудно снова разыскать и сопоставить с другими. Сколько ни передвигаешь пластинку, никогда не получишь сразу всего целого...

Такую же самую черту абсолютной неспособности охватывать соотношения между различными, связанными друг с другом идеями приходилось мне встречать и в головах остальных людей, не развитых предварительным обучением.

Однажды мне пришлось читать этому простому человеку замечательно трогательное место в прокламации: «Чтой-то братцы»... Я сам очень увлекся и был взволнован. Взглянув на моего слушателя, чтобы узнать произведенное впечатление, я вдруг с радостью заметил, что на лице его выражается какая-то особенная озабоченность и как бы желание задать мне вопрос по поводу почитанного... Это при чтении книг тогдашним крестьянам была для меня такая редкость, что я весь просиял от удовольствия.

— Что такое? — спросил я, прервав чтение.

— Какие у тебя хорошие сапоги, — сказал он, указывая на расшитые красными и синими шнурами голенища на моих ногах, — чай дорого дал?

Этот неожиданный вопрос так меня огорчил и сразу открыл глаза на бесполезность систематического чтения совершенно безграмотному человеку, что я более не повторял своих попыток и ограничивался устными разговорами. И, однако, этот человек, как оказалось потом, очень привязался ко мне и готов был для меня на многое.

Моя пропаганда не ограничивалась одними политическими и социальными вопросами. Едва я попал в деревню, как насильно запрятанное мною в наиболее удаленные уголки моей души давнишнее влечение изучать природу и ее вечные законы вдруг дало себя знать. Убегая в свободные минуты в окружающие леса и болота, я тащил оттуда в свою клеть всевозможные лишайники, мхи, древесные грибы, вместе с образчиками камней и окаменелостей, которых тоже удалось найти несколько штук на обрыве речки.

Все это очень заинтересовало моего приятеля, и я объяснил ему в популярной форме различные явления природы. Я задумал даже понемногу обучить его и чтению, несмотря на его поздний возраст, — ему было лет двадцать шесть, — но моим планам не суждено было осуществиться.

В один памятный мне полдень мы работали в кузнице над свариваньем большого куска железа. Яркий солнечный луч врывался через дверь в полумрак нашей избушки на курьих ножках, где не было никаких окон, и освещал под нашими ногами часть земляного пола, черного от сажи. Сплошь закопченные стены оставались совершенно мрачными, и только в глубине горна пылали на груде угляев желтые, красные и фиолетовые языки пламени.

Мы ковали в своих крестьянских пестрялевых рубахах и грубых фартуках в три молота, так что наши удары, быстро следующие друг за другом, отбивали на раскаленном куске металла одну непрерывную дробь. Тысячи железных искр вылетали огненными струями из-под наших молотов и брызгали в стены и в наши фартуки, и под каждым ударом вспыхивали как бы зарницы пламени.

Я был в полном увлечении и ни на что другое не обращал внимания.

— Ах, как хорошо! Да это чудо, что такое! — вдруг раздался в дверях голос Алексеевой.

Пораженный такой неожиданностью, так как она, по моим соображениям, должна была находиться в Москве, я обернулся, не докончив работы, и действительно увидел ее, бьющую в ладоши, в дверях кузницы в сопровождении Саблина и Писаревых.

— Здравствуйте, Липа! Как вы сюда попали! — воскликнул я, бросаясь к ней навстречу.

— Не утерпела, — объявила она мне, — приехала к вам.

Мы все радостно поздоровались, и хозяева тотчас же пригласили гостей к себе в избу, но Алексеева, которую особенно привели в восторг сыпавшиеся из-под трех молотов потоки искр, ни за что не хотела идти, пока мы не сварим при ней еще нового куска железа. Доставив ей это удовольствие, мы все отправились сначала к кузнецу, а затем и в мою клеть, необычайное устройство которой, без всяких окон, тоже вызвало всеобщее одобрение.

— Вот бы где жить, — восторгалась Алексеева. — Совсем как хижина дяди Тома!

Я угостил их приготовленной для меня молочной яичницей в лотке с черным хлебом, и затем вся компания обратно уехала из деревни, строго наказав мне каждое воскресенье и праздник непременно приходить к ним.

Но, как говорится в библии, «время уже исполнилось» для нашей революционной деятельности в этой местности. Не успел я и двух раз побывать у них, как Писарев получил предупреждение из Петербурга, что ему грозит арест.

Как оказалось впоследствии, бывший раскольничий поп Тимофей Иванов, раздосадованный тем, что его сын попал в потаповскую артель столяров-пропагандистов, чем причинил большой ущерб его собственной столярной мастерской, решил сделать донос.

— И барину отомщу, — говорил он, — и сына спасу, да еще, как Комиссаров, награду получу от царя.

Он вообразил, что при политических доносах доносчик получает от царя все имение преданного им человека. Опасаясь, что если он донесет кому-либо из подначальных лиц, то у него пере-

хватят награду и он останется ни с чем, он будто бы прямо отправился в Зимний дворец и изъявил желание видеть царя по очень важному делу.

На вопрос об этом деле он отказался отвечать кому бы то ни было, кроме царя.

Его, конечно, отвезли в Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии и посадили в одиночное заключение, пока не скажет всего. Иванов несколько дней упирался, требуя царя, но потом, отчаявшись в своем деле, рассказал все.

Писарев, Саблин, Клеменц и умерший потом медик Львов, работавший в этой местности, сейчас же уехали в столицу.

В доме остались только Писарева, как не участвовавшая в революционных предприятиях своего мужа, и Алексева в качестве ее гостыи. Я тоже объявил, что не уеду, потому что прежде всего нагрянут на Потапово, и я в своей отдаленной деревне буду предупрежден ранее, чем до меня успеют добраться.

Остался также и доктор Добровольский в своем селе, предполагая, что донос относится только к Иванчину-Писареву, а не к нему¹².

5. Нет более возврата

Прошло дня три. На четвертый, когда мы, кузнецы, все работали вместе, к нам вдруг явился с ружьем в руках один из известных мне крестьян, на которого у нас полагались почти так же, как на Ивана Ильича. Сделав вид, что совершенно меня не знает, он обратился к старику-хозяину с просьбой починить курок его ружья, и пока тот, повернувшись к свету, рассматривал порчу, потихоньку сунул мне в руку, кивнув таинственно головой, маленькую бумажку.

Я вышел за угол кузницы и прочел буквально следующую записку Алексеевой:

«Бегите, бегите скорее! Все погибло, все пропало! Добровольский и Потоцкая арестованы. Писарева и я сидим под домашним арестом. Кругом дома полиция и засады на случай возвращения кого-либо из вас. Бегите, бегите, скорее, сейчас приедут к вам. Ваша Липа».

Все это было написано спешно карандашом на клочке бумаги.

Когда я теперь вспоминаю свои ощущения при получении такой записки, то могу сказать лишь одно: известие это решительно не вызвало у меня ни малейшего страха за себя, а только беспокойство за других.

Я возвратился в кузницу и принялся за прерванную работу. Предупредивший меня уже ушел. Отбивая молотом удар за ударом по железу, я обдумывал тем временем, как мне теперь быть? Бежать, не попытавшись выручить Иванчину-Писареву и Алексееву, казалось мне совершенно невысказанным. Надо что-нибудь придумать для их спасения. Прежде всего я сообразил, что словам Алексеевой «сейчас приедут к вам» нельзя придавать буквального значения. Она, очевидно, была слишком взволнована, когда писала.

«Едва ли приедут раньше ночи,— подумал я,— но все же надо поглядывать по временам на дорогу и на всякий случай прислушиваться и не зевать».

Затем я вспомнил о том, как, начитавшись когда-то мальчиком Майн-Рида, я изображал индейцев и искусно пробирался в траве ползком куда угодно, пугая взрослых неожиданностью своего появления.

«Нужно,— подумал я,— пробраться в Потапово по способу краснокожих, а там увидим, что делать».

Но для этого было необходимо дожидаться вечера. И вот, я работал и работал без перерыва, обдумывал детали. Когда, наконец, наступило время отдыха, я вызвал в свою клеть сына-кузнеца и сразу во всем ему признался.

— В больших городах,— сказал я,— среди молодых людей, занимающихся науками и пишущих книги, появилось много таких, которым счастье простого народа стало дороже своего, и они, бросив все, что дорого каждому обычному человеку — богатство, личное счастье и родных, пошли в деревни, в крестьяне и рабочие, чтобы жить их жизнью и разделять их труд и помочь народу устроить его жизнь так, как это сделано давно в иностранных государствах, где народ сам управляет своей судьбой через выбранных им людей.

Я сказал ему, что такие люди ходят теперь по всей России, что Писарев, Добровольский и все, кто жил в Потапове, и я сам, принадлежим к их числу. Но правительство, не желая такого ограничения своей власти, преследует нас и ссылает в Сибирь и на каторгу, как бунтовщиков.

— В Потапово полиция сегодня уже нагрянула в усадьбу, но Писарев успел скрыться,— закончил я,— доктора схватили и сошлют в Сибирь на каторгу, а за мной приедут сегодня ночью или завтра.

Все это его сильно огорчило и обеспокоило.

— Как же теперь тебе быть? — спросил он взволнованным голосом.

— Ночью уйду отсюда тайком, а ты предупреди затем всех в

деревне, чтоб ничего не рассказывали начальству о моих разговорах с вами. Учился, мол, работать, а больше ничего не делал.

— Не беги в города,— сказал он мне со слезами на глазах,— поймают и погубят... Вот что лучше сделай. По деревням здесь живет много бегунов (религиозная секта, не признающая властей и потому скрывающаяся в глухих местах России), я знаю их, и для меня они сделают все. У них есть тайные комнаты при избах и подвалы. Никакое начальство тебя в них не разыщет.

Идея попасть в этот новый для меня таинственный мир покзалась мне очень заманчивой. Но, вспомнив, что прежде всего мне нужно спасти двух бедных пленниц в Потапове, я ему сказал:

— Поговори с ними на всякий случай, чтобы все было готово, если я приду к тебе, но прежде всего мне нужно повидаться со своими: может, приду, а может, и нет...

Наступал вечер. Я уложил свои небогатые пожитки в дорожный мешок и взвалил его на плечи. Мы обнялись, поцеловались три раза со слезами на глазах, и я скрылся за задворками деревни в спускающемся сумраке. Никто не видел моего ухода, кроме этого товарища по работе, который стоял на околице деревни и провожал меня взглядом до тех пор, пока я не скрылся.

Последний раз взглянул я на свою кузницу. Она стояла в вечерней полутьме унылая и безлюдная под своей березой. За ней виднелось поле, и нигде не было ни души.

Я приспособил свой путь таким образом, чтобы подойти к Потапову около одиннадцати часов, когда будет совершенная ночь. План мой состоял в следующем. Усадьба находилась со стороны дороги на открытом лугу. Но дом прилегал одним боком к крутому обрыву, под которым лежало русло небольшой речки или, скорее, ручья. За домом был маленький садик с несколькими клумбами цветов, грядами клубники и редкими яблоневыми деревьями. Обнесен он был густым частоколом из острых кольев, и одна сторона этой ограды шла как раз на границе обрыва, так что за частокол трудно было пробраться, не рискуя свалиться в ручей со значительной высоты.

По другую сторону ручья шел густой еловый лес.

Стража, приставленная к дому, думал я, едва ли будет наблюдать за этим малодоступным местом, а между тем во время моей жизни в усадьбе я открыл здесь в частоколе маленькую лазейку и, как любитель всякого караканья (да и на всякий случай), спускался через нее не раз по обрыву в русло ручья, где находилась узкая полоса песчаного берега. С нее я перепрыгивал легко и на другой берег.

Вскарабкавшись по этому месту, соображал я, мне будет возможно пробраться и в сад, а из него через террасу со

стеклянной дверью и через одно из окон проникнуть как-нибудь в дом.

Все дальнейшее я предоставлял обстоятельствам. Одно только сильно беспокоило меня. При доме была собака, дворняжка Шарик. Из всех моих врагов она казалась мне самым опасным в данном случае: поднимет лай и выдаст. Однако делать было нечего, приходилось отдаться на волю случая.

Когда я подошел, избегая по возможности дороги и обойдя встречающиеся две-три деревни, к еловому лесу, прилегающему к усадьбе, наступила давно темная ночь, и было трудно что-нибудь разобрать на расстоянии двухсот или трехсот шагов. Перед входом в лес пришлось идти по большому открытому лугу. Эта часть представлялась мне наиболее неудобной, и потому я прямо пошел не по траве, а по прилегающей тут проселочной дороге, рассчитывая на случай неожиданной встречи с полицией прикинуться деревенским парнем, идущим в одну из соседних деревень.

И, действительно, вдали показалась во мраке человеческая тень, двигавшаяся прямо мне навстречу. Чувствуя решительный момент, я уже старался придать своему голосу особенно неприязненный и веселый тон, как вдруг фигура, оказавшаяся, к моему великому облегчению, в женском платье, обратилась ко мне с вопросом:

— Вы куда?

— В Вятское, — ответил я.

— Господи! Николай Александрович! — вдруг тихо воскликнула женщина с испугом. — Да разве вы не получили записки?

Тут только я понял, что передо мной находилась горничная Аннушка, посвященная во все, и у меня вдруг стало так легко на душе, что и сказать нельзя.

— Аннушка! — воскликнул я полушепотом, пожимая девушке руку. — Конечно получил! Оттого и пришел!

И я рассказал ей свой план проникнуть в дом, прося только убрать собаку и сказать барыне, чтобы оставила незапертой балконную дверь. Оказалось, что под арестом держали только Писареву и Алексееву, а Аннушке, как горничной, можно было свободно входить и выходить из дому по хозяйству. Полицейские и земские стражники не входили внутрь дома и в сад, стерегли снаружи у ограды сада и входной двери и время от времени ходили осматривать ближайшие окрестности.

Аннушка была очень веселая и сметливая девушка, и, когда ее первоначальное волнение несколько улеглось, она очень хорошо усвоила мой план,

Через несколько минут я был уже в лесу, пробрался к одному из более далеких мест ручья, спрятал там свой мешок так, чтобы потом его легко было найти в темноте, пробрался в непосредственную близость дома по другую сторону ручья и услышал отсюда, как Аннушка кричала с крыльца:

— Шарик! Шарик!

Затем дверь дома хлопнула, и все смолкло.

Не прошло и двух минут, как я уже вскарабкался на обрыв, прошел в сад и лежал в нем плотно на земле, между двумя грядками, наблюдая окрестности. Все было тихо, только в доме было очевидное движение. Два освещенных окна стали быстро закрываться шторами. Огни в соседней комнате погасли, и затем балконная дверь приотворилась.

Я в это время прополз уже под самую террасу и, видя, что вблизи и за прозрачной оградой садового частокла нет никакой подозрительной фигуры, одним прыжком очутился в комнате, после чего беззвучно притворил за собою дверь.

— Сумасшедший! Что вы делаете! — поспешным шепотом сказала мне Алексеева, и в ее голосе были и страх, и радость.

— Пришел спасти вас обеих! — не задумываясь, ответил я, — и вот увидите, все это я сделаю.

— Но как же вы уйдете отсюда?

— Так же, как и пришел!

Она быстро протащила меня за руку в ту комнату, окна которой только что были плотно закрыты занавесками. Там сидела хозяйка дома. На обеих было больно смотреть: такие были у них печальные и расстроенные лица.

Я предложил им сейчас же одеться в какие-нибудь простенькие платья, чтобы я мог спустить их в овраг и затем провести лесами в Ярославль, находящийся верстах в сорока отсюда, или на ближайшую станцию железной дороги, раньше чем их успеют хватиться.

Хозяйка дома потрясла отрицательно головой.

— Мне нельзя бежать, — сказала она. — У меня дети. Кроме того, относительно меня не может быть никаких обвинений. Я занималась исключительно школой, и отец мой Шипов пользуется большим влиянием в Костромской губернии.

Я знал, что эта некрасивая собою и скромная молодая женщина, дочь одного из богатых помещиков соседней губернии, очень любила своего мужа, и мне ее стало невыразимо жалко.

Алексеева сначала не знала, что ей делать. Ей, видимо, очень хотелось убежать со мною через лес и болота. Романтическая сторона ее натуры жаждала приключений, но у нее под покровитель-

ством старой няни тоже было двое крошечных детей, а бегство было бы вечной разлукой с ними.

Мы все сели у столика и начала обсуждать положение дела. Алексеева, торопясь, рассказала мне всю историю.

Последние три дня они жили спокойно, и в тот самый день, утром, она ушла проведать доктора в село Вятское. Это было большое ярмарочное село, где помещалось волостное правление и был врачебный пункт. Две комнаты больничного помещения занимал доктор Добровольский, а рядом с этими комнатами жила акушерка Потоцкая. При входе в дом Алексеева заметила какое-то необычайное движение, а когда вошла на площадку, то натолкнулась на часового с ружьем, стоявшего перед ближайшей из двух дверей доктора. Он преградил ей дорогу и сказал:

— Нельзя!

Тогда она повернула к Потоцкой и застала ее сидящею в слезах. Потоцкая в волнении рассказала ей, что Добровольский в эту ночь был вызван далеко к больному. В его отсутствие пришли становой, исправник и полицейские с солдатами. Не найдя доктора, они запечатали обе его двери и, приставив к ним часового, ушли обратно к становому, а солдаты остались внизу.

— Хуже всего то, — добавила она, — что в комнате доктора находится несколько десятков запрещенных книжек. Он думал, что жандармы раньше пойдут в Потапово.

Потоцкая была в совершенно беспомощном состоянии, но Алексеева сейчас же начала действовать. Увидев, что комната акушерки отделялась от комнаты доктора лишь промежуточной стеной, в которой находилась запертая дверь, заставленная большим шкафом, она принялась отодвигать его и, стараясь всеми силами, действительно успела в этом.

Ключ от комнаты Потоцкой как раз пришелся к двери, и, отперев ее, Алексеева проникла в комнаты Добровольского, так сказать, за спиной у ничего не подозревавшего часового. Она забрала все запрещенные книжки, завернула их в шаль Потоцкой и, замкнув обратно дверь и заслонив ее по-прежнему шкафом, вышла со своей ношей вон и отправилась из села через поле по направлению к Потапову.

Но не успела она отойти и версты, как по дороге за нею выехали одна за другою две тройки. В передней сидел становой и двое каких-то незнакомцев в офицерских пальто, а в задней — несколько полицейских и солдат. Что тут делать? Поле было ровное и гладкое, скрыться некуда. Оставалось лишь продолжать свою дорогу.

Когда экипажи поравнялись с нею, становой, который видел ее в Потапове с неделю назад, остановил тройку и окликнул ее:

— Куда это вы идете?

— Домой в усадьбу,— ответила она.

— Так садитесь к нам, мы вас подвезем,— услужливо предложил он ей.

Алексеева уже сочла себя арестованной и не считала возможным сопротивляться. Но, заметив любезный тон станового, все-таки попробовала уклониться:

— Мой узел может вас стеснить,— ответила она,— его куда будет положить.

— Пустяки,— сказал становой,— мы его положим на дно экипажа! Приняв шаль у нее из рук, он положил узел в глубину и предложил ей руку, чтобы посадить.

Не оставалось ничего, как согласиться. Немедленно она была представлена становым исправнику и жандармскому офицеру как гостя Писаревой, недавно приехавшая к ней, а затем начались обычные объяснения:

— Мы едем по очень печальному поручению. Что делать — служба. Приказано из Петербурга сделать в Потапове обыск. Какой-то донос, мы ничего не знаем.

— Относительно вас лично,— заметил один из спутников,— у нас нет никаких распоряжений, и надеемся, что и не будет. Но все же нам придется попросить вас не выезжать из усадьбы до выяснения дела.

Так, разговаривая, проехали они четыре версты до Потапова и остановились перед крыльцом. Алексеева выскочила первая и, взяв немедленно свой узелок, вбежала внутрь дома.

Начальство тем временем оцепляло его снаружи. Положение Алексеевой было ужасно: жилище Писаревых было тщательно освобождено от всяких запрещенных вещей, и вот они снова внесены в него ею.

Писарева была в таком обескураженном состоянии, что ничем не могла помочь. Но Алексеева, обежав кругом все комнаты и не найдя места, где спрятать, увидела, наконец, посреди кухни корзину с мокрым, только что выстиранным бельем. Она подбежала к ней, приподняла белье, сунула на дно корзины содержимое своей шали и затем прикрыла все снова мокрым бельем.

Полиция перевернула вверх дном весь дом. Все было разобрано и пересмотрено, а корзина так и осталась стоять посреди кухни.

Составили протокол, что не было найдено ничего подозрительного, и начальство уехало, посадив обеих дам под домашний арест.

Можно себе представить мой восторг, когда я услышал все это!

— Так вы решительно не хотите бежать со мною? — спросил я ее после того, как выразил все свое восхищение.

— Нет, ввиду того, что меня считают просто гостьей, я думаю лучше выждать, когда сами выпустят.

Несмотря на страстное желание освободить ее, я не мог не согласиться с этим.

— Значит, мне придется уходить одному. А мне так хотелось вместе с вами!

— Но как же вы теперь пройдете через лес ночью? — спросила Алексеева.

Я, смеясь, вынул из кармана часы и показал обеим дамам маленький компасик, вделанный в циферблат рядом с секундной стрелкой.

Я рассказал им, что с этим компасом я исходил все окрестности Москвы и почти весь наш уезд по совершенно неизвестным местам, ничего не имея, кроме географической карты, и никогда не приходил, куда не следует.

— А теперь дело еще проще, — прибавил я. — Мне нужно только постоянно держаться на запад, и, несмотря ни на какие обходы, я пересеку где-нибудь полотно Вологодской железной дороги, и оно приведет меня прямо в Ярославль.

Все эти рассказы и удачи мало-помалу так развеселили нас, что будущее стало представляться нам совсем не в печальном виде. Ведь нигде ничего не нашли. На окрестных крестьян, казалось, можно было положиться. Авось все уляжется, а затем, может быть, возвратится и сам Иванчин-Писарев. Относительно моего успешного ухода из дому не оставалось почти и сомнения.

— Если я мог войти в него, — говорил я, — так почему же не сумею выйти?

Даже хозяйка дома приободрилась. Мы стали смеяться над засадами и сторожами.

— Они и не подозревают, что вместо двух заключенных теперь у них трое, а через час или полтора снова останутся только двое, — говорила Алексеева.

— Ни за что не уйду от вас, пока не начнет светать! — объявил я.

Нам приготовили яичницу и самовар, и после маленькой прощальной пирушки мне начали упаковывать на дорогу пирожки и другие припасы. Когда небо на востоке начало слегка бледнеть, все было готово.

Мы все, не исключая и горничной Аннушки, нежно обнялись и поцеловались. Затем мы осмотрели в щелки занавесок местопребывание сторожей. Как только они прошли по дороге за частоколом и скрылись за углом дома, дверь на террасу беззвуч-

но приотворилась. Я выскользнул по способу американских индейцев и мгновенно исчез в меже, среди грядок. Дверь затворилась за мной, и все снова пришло в первоначальный вид. Работая локтями и коленками, я дополз до своей лазейки, тихо соскользнул по обрыву на берег ручейка и, попав ногами прямо в лужу, перескочил через него. Добравшись до своего мешка, я взвалил его на плечи и пошел далее по лесу, не уведя с собой, как мне мечталось, пленниц, но зато с облегченным сердцем относительно их возможной участи и с сознанием, что я не остановился бы ни перед чем для того, чтобы их спасти. Идти пришлось опять по направлению к моей кузнице, так как она лежала ближе к железной дороге, хотя ее окрестности и были очень глухи сравнительно с местностью, где находилось Потапово.

Я пробирался по лесам и болотам, постоянно оглядываясь по сторонам и чутко прислушиваясь ко всякому шуму во избежание неприятных встреч. Вдруг сзади послышался стук едущих экипажей. В это время я шел не по самой дороге, а параллельно ей по лесу и, спрятавшись за кустами, мог видеть, как по направлению к моей деревне, Коптеву, ехали рысцой, одна за другой, две тройки без колокольцев, совершенно такие, как их описывала Алексеева, но лиц, сидящих в экипажах, я не мог разобрать, хотя и было совсем светло.

Я сообразил, что это едут за мной, и потому, обогнув подальше Коптеву, пошел самыми глухими местами.

Ближайший поезд Ярославской железной дороги приходил лишь на следующее утро, и я решил провести весь день, лежа где-нибудь в особенно густой чаще леса, тем более что я не спал всю ночь. Попав, наконец, в какую-то топь, которая мне чрезвычайно понравилась, я выбрал в ней сухое местечко и растянулся спиной на мягком мху. Положив голову на мешок, я предался мечтам о своих дальнейших приключениях в том же романтическом роде, отбиваясь от роев комаров и мошек, не дававших мне ни на минуту заснуть.

Но никаких приключений, к сожалению, не оказалось впереди. На следующую ночь, руководясь своим компасом, рассматривать который в лесу часто приходилось при помощи зажженной спички, я вышел, наконец, как и ожидал, прямо на полотно железной дороги и направился к югу. Я еще не знал, удобно ли мне будет сесть в вагон на ближайшей станции, или придется пешком добратся до Ярославля, но, подходя к какому-то полустанку и заметив, что на нем все тихо и спокойно, я лег вдали, на лесной опушке. Когда показался поезд, я быстро вошел на станцию, взял билет и через минуту был в вагоне третьего класса, посреди таких же серых, как я, мужиков и мастеровых.

Дальнейший путь совершился без всяких приключений, и через сутки, разыскав в Москве Саблина, Клеменца и других, я уже рассказывал им о происшедшей катастрофе. О поведении Алексеевой в этом деле я наговорил всем тысячу восторгов.

Через три дня неожиданно явилась и она сама, отпущенная на все четыре стороны, как случайная гостя в Потапове, и наговорила всем тысячу восторгов о моем поведении... Мы до того хвалили окружающим друг друга в эти дни и в глаза и еще более за глаза, что некоторые, с Кравчинским во главе, зачислили нас, наконец, в «нежную парочку» (Алексеева была лишь на три-четыре года старше меня) и при распределении различных предприятий старались нас не разлучать.

На деле, как может видеть всякий читающий эти воспоминания, я влюбился в нее с первого же дня знакомства, позабыв молоденькую гувернантку своих младших сестер, которой я был верен около двух лет. Но такова, мне кажется, судьба всякой чисто платонической любви, или, по крайней мере, такой, которая не кончалась форменным обручением или признанием взаимности с обеих сторон. Такая любовь бывает иногда очень сильна, но, долго не разделенная или затаенная в душе, она легко перескакивает у здоровых людей на другой предмет, как пламя костра, не нашедшего себе достаточной пищи на прежнем месте. О прежнем предмете остаются лишь нежные и дружеские воспоминания...

С Алексеевой у меня никогда не было форменного объяснения в любви. Я считал себя человеком, обреченным на гибель, не имеющим права на личное счастье и притом же во всех отношениях недостойным ее. Наши отношения носили все время лишь характер самой нежной дружбы.

В первые же дни по приезде я поспешил разыскать также и своих товарищей по естественнонаучным занятиям. Но почти все они разъехались в свои имения или по дачам. К одному из первых я отправился к Шанделье в Пробринную палату. Генерала не было дома, а madame Шанделье встретила меня очень грустная.

— Вы, видно, не знаете еще, что случилось с Сережей? — спросила она, когда мы уселись на диван.

— Нет, — ответил я.

— Это ужасно. Получил где-то неизлечимую венерическую болезнь еще до вашего отъезда. Он ничего не говорил вам о ней?

На моем лице, должно быть, выразился такой испуг, что бедная женщина, не спрашивая более ответа, начала тихо плакать.

— Дайте мне его адрес,— воскликнул я, полный огорчения,— я сейчас же пойду навестить его. Мне и в голову не приходило ничего подобного!

— Но разве вы не боитесь заразиться? Мы взяли для него комнату в лечебнице, чтоб не заразил весь дом.

Я сильно трусил в душе, но чувствовал всем существом, что колебаться в ответе в таких случаях нельзя.

— Нет,— сказал я,— ведь доктора не боятся же.

Я принялся утешать ее тем, что в настоящее время медицина сильно идет вперед и болезни, неизлечимые сегодня, могут оказаться излечимыми завтра. Взяв затем у нее адрес, я тотчас же отправился в лечебницу.

Я застал Шанделье сидящим в своей комнате на диване и читающим какой-то роман. Он очень сконфузился при моем внезапном появлении. Он сразу почувствовал, что я все знаю, так как самое название лечебницы обнаруживало его болезнь.

Чувствуя опять, что избегать соприкосновения с ним было невозможно, не нанося обиды, я прямо подошел к нему и протянул руку.

— Разве ты не боишься? — спросил он, уже достаточно обескураженный тем, что родные не хотели к нему прикасаться.

— Нисколько; так ведь почти никто не заражается,— ответил я, хотя в глубине души и боялся этой заразы несравненно больше, чем тюрмы. В ней, ведь, не было ничего романтического!

Я сел на стул поблизости и спросил:

— Как ты заразился?

— Все это за то,— ответил он печально и серьезно,— что я тебя обманул.

Я был так удивлен, что мог только смотреть на него во все глаза! И тут он рассказал мне событие, о котором я и не подозревал.

В то время, когда я только что познакомился с Алексеевой и стоял одной ногой в ее кружке, а другой в своем «Обществе естествоиспытателей», ректор Московского университета, уже упомянутый здесь не раз, геолог Щуровский встретил Шанделье в своем геологическом кабинете, накануне двух каких-то праздников. Он сказал ему, что на берегу Оки, около Рязани, открыты новые интересные обнажения, и, очевидно, желая постепенно приучать нас к будущей геологической деятельности, предложил ему съездить туда вместе со мной на разведку.

— Я дам вам карту,— сказал он,— нанесите на нее обнажение, соберите как можно больше окаменелостей и представьте мне вместе с подробным описанием поездки.

На дорогу он предложил, кажется, тридцать рублей с тем, что мы не будем возвращать ему остатка, а употребим, если он окажется, на наем местных мальчишек, чтобы помогли при разведке, как всегда делается в подобных случаях.

Шанделье, конечно, с восторгом согласился и тут же, получив деньги, помчался ко мне. Но я был у Алексеевой. По первому импульсу, он хотел оставить мне записку, но потом ему пришла лукавая мысль уехать, оправдываясь моим отсутствием, одному, произвести единолично всю разведку и этим сразу выдвинуться в ученом мире.

Так он и сделал. Он приехал в Рязань, нанял на оставшиеся деньги много мальчишек, осмотрел весь берег далеко за указанными ему пределами, но не нашел ничего интересного, так что и отчет его вышел бледен. В довершение всего он попал в рязанской гостинице в руки к какой-то местной сирене, которая и отпустила его с таким подарком.

— Если б ты был со мною,— закончил он свой рассказ,— ничего подобного не случилось бы.

И это была правда. В наших постоянных блужданиях под Москвой мы не раз подвергались на пути таким атакам, но я, как несколько старший, всегда успешно отклонял их одной и той же фразой, чтобы не обидеть:

— Извините, пожалуйста! Нам теперь некогда. Мы очень заняты!

Эта моя фраза всегда казалась Шанделье чрезвычайно смешной, и всю дорогу им овладевали взрывы неудержимого хохота.

Впоследствии, уже через четыре года, я встретил Шанделье студентом Горного института. Все внешние признаки болезни были залечены, но он остался каким-то вялым и хилым, и все его прежнее увлечение наукой исчезло.

Шанделье умер через несколько лет, не успев сделать ничего для геологии.

В той же самой лечебнице для венерических больных я узнал от Шанделье, что заседания нашего общества происходили лишь два раза после моего отъезда, а затем рефераты окончились как-то сами собой, а вечеринки у Печковского превратились в простые собрания для того, чтобы потолковать о различных предметах, и главным образом об общественных вопросах.

Журнал наш более не выходил.

Так кончилось свои дни «Общество естествоиспытателей», разбитое бурей жизни.

Через несколько дней, найдя, наконец, Печковского, я узнал от него, что все остальные мои связи со старым миром оказались ликвидированными.

Вскоре после моего отъезда на пропаганду в Потапово произошло в Москве несколько арестов, и мое имя было произнесено кем-то, как имя человека, уже давно занимающегося пропагандой среди учащейся молодежи.

На то, что пропаганда эта на девять десятых состояла из привлечения всех окружающих к занятиям естественными науками, в которых я тогда видел все спасение человечества, не было обращено никакого внимания. Властям не было до наук никакого дела. Все они поголовно хлопотали лишь о том, чтобы упрочить свою собственную карьеру, выставить себя на показ высшему начальству и для этого старались хватать как можно больше людей, пользуясь всяким предлогом. Притом же, занятие естественными науками вместе с ношением очков и длинных волос считалось тогда главнейшим признаком неблагонамеренности.

В один прекрасный день, как мне рассказал Печковский, в гимназию, где я учился, явились жандармы и забрали мои документы. В угоду жандармам я был тотчас исключен по приказу попечителя учебного округа без права поступать в какие бы то ни было учебные заведения России. Наш законоучитель произнес против меня громовые речи в двух старших классах, а затем и в церкви. Они взволновали сверху донизу нашу огромную гимназию, где было более шестисот воспитанников, и, как мне говорили потом товарищи, вызвали ко мне всеобщее сочувствие.

Мой отец, обеспокоенный тем, что я не еду на каникулы, прислал мне по адресу Печковского две телеграммы, но, не получая никакого ответа, приехал сам. Печковский сказал ему, что я уехал куда-то на урок, не оставив адреса, но отец ему не поверил и, явившись к директору гимназии, узнал от него все.

Руководясь своим представлением о вожаках нигилистов, как о людях, завлекающих неопытную молодежь в опасные предприятия под прикрытием возвышенных целей и затем, когда они достаточно скомпрометированы, показывающих им вдруг свои когти и начинающих эксплуатировать их или распоряжаться ими, как пешками, под угрозой доноса, он сейчас же подумал, что такой участи подвергся и я. Затем, по этим же самым своим соображениям, он дошел до вывода, что я, как человек неглупый, уже успел увидеть, в чем тут дело, но отступить было поздно.

Надеясь на свои связи, он сейчас же поехал хлопотать к разным влиятельным знакомым и, получив несколько рекомендаций, отправил их с посыльным к Слезкину, тогдашнему представителю Третьего отделения в Москве, приложив ксылке свою визитную карточку и записку, что он приедет поговорить по моему делу на следующий день.

Слезкин, как я узнал потом, встретил его чрезвычайно любезно, заявил, что ввиду таких протекций, на мое дело постараются посмотреть сквозь пальцы, хотя оно и серьезнее, чем можно было бы подумать, судя по моему возрасту.

— Но прежде всего его надо разыскать! — сказал он и просил отца содействовать ему в этом для моей же пользы.

Отец ему поверил и обещал помогать, совершенно и не подозревая, какое отчуждающее влияние будет иметь на меня его обещание, когда мне придется потом узнать о нем от допрашивающих меня жандармов.

Но в то время, о котором идет речь, я ничего еще и не подозревал о его хлопотах и переговорах. Я знал только одно, что отцу теперь все известно, а следовательно, и моя семья знает причину моего исчезновения и понимает, почему я им не могу писать. Все это вызвало во мне сначала прилив каких-то смешанных ощущений, в которых трудно было разобраться.

Несмотря на раздачу своего имущества и полную готовность идти с новыми друзьями на смерть, я все-таки чувствовал до тех пор, что предо мной еще не закрыты дороги к влекущей меня по-прежнему научной деятельности.

Я понимал в глубине души, что если я внезапно вернусь в родную семью, то радость всех от моего неожиданного появления заглушит даже и в отце чувство оскорбленной гордости. Если он, как я был уверен, *pour sauver les apparences* * и пригласит меня прежде всего в свой кабинет, чтобы выслушать мои объяснения, а затем дать мне своим сдержанным голосом самую невыгодную оценку моего поведения с его собственной точки зрения, то все же закончит свою речь словами:

— Ну, поцелуй меня и более никогда не напоминай об этом!..

Теперь все это было кончено. Дороги к прошлому были отсечены, и отсечены не мною, а посторонней силой, помимо моей собственной воли.

Несмотря на свою молодость, я слишком много читал, чтобы не знать, что нигде в мире, за исключением нашей родины, не сочли бы возможным губить всю жизнь человека и посылать его в тюрьму и ссылку из-за того только, что он, получив противоправительственную книжку от своего приятеля, не побежал сейчас же в полицию предать своего друга на распятие, а скрыл книжку у себя или еще хуже, одоблив ее содержание, дал ее на прочтение другому своему приятелю. Во всей своей жизни и деятельности я не видел ничего такого, за что меня было бы можно сажать в тюрьму.

* Спасги внешние приличия

«Если бы я попался,— думал я,— с оружием в руках в партизанской войне, тогда другое дело. Против оружия каждый имеет право употребить оружие или, захватив врага в плен, заключить его в тюрьму. Но ничего подобного я до сих пор не делал и, даже живя в народе, больше наблюдал и изучал его, чем призывал к борьбе, а между тем теперь для меня уже не оказывается более никакой другой дороги, кроме продолжения той, на которую я только что вступил».

Конечно, в глубине души я знал, что и без этого обстоятельства я не мог бы оставить своих новых друзей, но мысль, что теперь правительство само снимало с моей головы ответственность за горе, которое я причинил семье, и принимало вину на свою голову, была для меня невыразимым облегчением.

«Пусть же оно теперь и отвечает за все,— повторял я сам себе.— Ну как теперь я мог бы возвратиться, когда меня прежде всего посадят в тюрьму и если не заморят в ней, то сошлют бог знает куда. Все мои родные должны понимать это».

Я знал, что сочувствовать мне они не могут, потому что и мать имела о нигилистах те же понятия, что и отец и все окружающее их общество.

Но меня, думал я, они достаточно знают, чтобы не приписывать мне дурных побуждений.

Притом же я надеялся, что гувернантка моих сестер, хорошенькая и умная двадцатилетняя девушка с институтским образованием и до того симпатичная, что имела влияние даже на моего отца, не останется в этом деле молчаливой слушательницей.

Мы с ней были очень дружны. Всего за два года перед тем она окончила институт и поступила к нам в имение гувернанткой моих сестер. Это была та самая гувернантка, в которую я влюбился, возвратившись домой на летние каникулы, с первого же взгляда, которой я потихоньку ставил на окно в стакане букеты васильков, потому что ее фамилия была Васильковская, и свято хранил в своей шкатулке всевозможные, брошенные ею, ленточки и найденные мною где-либо обрывки от ее костюма и башмаков...

В институте она сильно увлекалась Писаревым и Добролюбовым, и мы часто на каникулах дебатировали с ней разные общественные вопросы. Мы даже завели особый шифр для переписки, и она, зная, что я был в нее влюблен, написала мне в эту самую зиму шифрованное письмо, где самым трогательным образом умоляла меня не вступать ни в какие тайные общества, «так как, кроме гибели, ничего не выйдет»...

«Значит, дело вовсе уж не так плохо,— думал я.— Даже в нашем доме найдется человек, который способен показать моим

родным, что я вовсе не преступник, а это — самое главное!..»

Такие мысли приносили мне громадное облегчение. Главная тяжесть, заключающаяся в том, что мне некого было винить в нашем семейном горе, кроме себя, постепенно спадала с моей души, по мере того как улегался во мне сумбур разнообразных ощущений, вызванных этими новостями. Как человек, только что переживший перелом в тяжелой и продолжительной болезни, чувствует в себе необыкновенный прилив жизненных сил, так чувствовал себя и я, когда мчался чрез несколько часов от Печковского на Моховую, на новую квартиру Алексеевой, где снова устроился салон по прежнему образцу.

«Вот и для меня теперь нет никакого приюта, кроме «чащи лесов» и «голых скал», как пела Алексеева, — думал я, — и, проходя мимо каждого городского, мысленно говорил ему, как и в первый раз, когда нес запрещенные книги:

— Что сказал бы ты, блюститель, если бы знал, кем я теперь стал? Но как можешь ты даже и подозревать об этом?!»

Не знаю, как это случилось, но в тот момент, когда я подходил к дому Алексеевой, какое-то новое чувство безграничной свободы, как будто после только что выдержанных выпускных экзаменов, вдруг овладело мною, и вбежав в ее гостиную, где заседала вся наша компания, я объявил им всем с сияющим видом:

— Знаете? Меня также разыскивает полиция!

Все шумно столпились вокруг меня с расспросами. Я им рассказал все, что узнал. Алексеева, улучив минуту, когда никто не смотрел на нас, крепко и порывисто пожала мне руку, а через минуту уже сидела у рояля и пела, с радостью смотря на меня, как в день первой встречи.

Чистый и сильный, раздавался ее голос, как звук серебряного колокольчика. Она пела мне свою любимую песню о приволжском утесе-великане, которому старинный народный вождь Разин завещал хранить свои последние думы о низвержении московских царей.

И вот дошла она до моего любимого места в этой легенде:

Но зато если есть
 На Руси хоть один,
 Кто с корыстью житейской не знался,
 Кто неправдой не жил,
 Бедняка не давил,
 Кто свободу, как мать дорогую, любил
 И во имя ее подвизался,

Тот пусть смело идет,
На утес он взойдет,
Чутким ухом к нему он приляжет,
И утес великан
Все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет.

И мне грезилось, что скоро, скоро я, преследуемый и гонимый за любовь к свету и свободе, буду ночевать один на этом утесе и услышу все, что говорят ему своим плеском волны могучей Волги...

II. У таинственного порога¹⁸

Давно, давно уж это было...
Но хоть и кончилось давно,
Все сердце свято сохранило,
Ему так дорого оно!

1. На окне

— Я так счастлива!— сказала мне Алексеева, когда мы вдвоем дружески сидели летним вечером 1874 года в ее квартирке близ Московского университета, держа друг друга за руку.— Знаете, мне хотелось бы растаять, раствориться в воздухе. Вы понимаете это чувство?

Я подумал и откровенно ответил:

— Нет, не понимаю, хотя и я тоже сознаю себя страшно счастливым. Кажется, нельзя чувствовать высшего счастья, чем я в последний месяц жизни, после того как все личное отдал для человечества. Но мне именно поэтому и не хотелось бы растаять и исчезнуть, потому что тогда исчезло бы и мое счастье.

— Знаете, у вас еще много осталось индивидуализма,— ответила она.— Если бы ваша индивидуальность вся потонула у вас в беспредельной любви ко всему миру, вам тоже захотелось бы потерять личность и совершенно раствориться в окружающем.

— Да, теперь я понимаю вас!— ответил я.— Такие порывы бывают и у меня, но только мне всегда хочется не раствориться в окружающем мире, а пожертвовать для него своей жизнью в каком-нибудь великом подвиге.

И мы оба замолчали в раздумье.

Ясно вспоминаю я теперь этот наш разговор, и ясно снова встает в моем воображении открытое окно, на котором мы сидели, и фасады домов напротив, и голубой полумрак теплой июльской ночи, и бледная полная луна, бросающая на нас и за нами на пол неосвещенной гостиной полосы серебристого света. И я уже не знаю, воспоминанье ли это, или я теперь произвольно восстанавливаю прошлое по-настоящему, но мне ясно рисуется на правой стороне лунного круга даже и характеризующее ее темное овальное пятно — Море кризисов. Мне кажется, что

я вижу и бледного, желтоватого Арктур, мерцающего на западе, и светлую Вегу над нашими головами,— одним словом, все, что действительно должно было смотреть на нас двоих, счастливых, из окружающего нас бесконечного мира, в котором нам так хотелось бы исчезнуть и раствориться, ей просто, а мне в каком-нибудь великом самоотвержении.

Что же давало нам тогда такое необъятное счастье? Это не была только личная любовь, хотя мы оба знали, что, не задумываясь, сейчас же пожертвовали бы один за другого своей жизнью и пошли бы на всякие жертвы. Это было совсем другое. Мы добровольно обрекли себя на гибель во имя высоких, бескорыстных идеалов всеобщей братской любви и равенства, и именно этот порыв энтузиазма делал нас страшно счастливыми...

Да... только тот знает высшее состояние человеческого счастья, кто позабывал о себе для других или, вернее сказать, привык смотреть на себя, как на орудие для счастья других...

Мы с Алексеевой были бесконечно счастливы в описываемый вечер, так счастливы, как если бы только сейчас признались друг другу в любви и еще ощущали на губах первый поцелуй скрепленной взаимности. Но мы не признались в любви и были счастливы только потому, что оба готовы были сейчас же отдать свою жизнь за один и тот же великий идеал и знали, что сейчас же пожертвуем собою и друг для друга.

В этот наш вечер мы говорили о многом, и чисто философском, и практическом...

Она задумалась, глядя на луну и на крыши противоположных домов, и полной грудью вдыхала теплый воздух летней ночи. Ее стройная высокая фигура, уютно сидящая на подоконнике, была ярко освещена лунным светом, и две длинные косы, перекиннутые через плечи на грудь, свешивались двумя черными линиями до самого пояса.

— Читали вы,— прервал я наконец молчание,— последние стихотворения Ришпена?

— Нет.

— Вот он воспекает поэзию городов. Для меня, выросшего в деревне, она стала понятна только после его стихотворений. До них я не мог ее представить. Город казался мне только пыльным и тесным, улицы, как овраги. Я часто думал: если население будет очень густо, то вся земная поверхность обратится в сплошной город, и лучшие наслаждения, доставляемые нам природою, утратятся. А вот он нашел истинную поэзию в утреннем пробуждении городских улиц, в рынках, в толпе, идущей по ним, и я впервые понял, что в душе человека, выросшего в городе, все это будет так же окружено поэзией, как для нас лес, луга,

реки и полевые цветы. Значит, вы правы, говоря, что человеческая душа во всем найдет источник для чувства счастья.

Она, улыбнувшись, хотела мне что-то ласково ответить, но, взглянув вниз под окно, воскликнула:

— Вот спешит Саблин! Верно, что-нибудь случилось. Так поздно!

Я тоже взглянул вниз и увидел его крепкую фигуру, быстро вошедшую в подъезд, и через несколько минут он явился к нам в комнату.

— Телеграмма из Петербурга и очень неприятная!

Он вынул ее из кармана и подал Алексеевой. «На Алексееву подано ко взысканию»,— прочла она.

Мы все понимали, что это значит... чей-то донос...

— Кто бы это мог послать мне предупреждение?— спросила Алексеева, когда первое ощущение внезапной опасности прошло.

— Отправлено было на имя Лебедевой, а кто послал, неизвестно.

— Кто-то знал, что через Лебедеву дойдет! Значит, свой,— ответила она.

— И значит, сегодня же ночью вас арестуют,— сказал Саблин.

— Надо вам уйти с квартиры сейчас же с нами,— заметил я ей.

— Но я не могу уйти,— сказала Алексеева так же печально, как и две недели назад, когда она уже была под домашним арестом в Потапове,— у меня дети.

И она кивнула на соседнюю комнату, где спали вместе со своей нянею се маленький сын и дочка.

Мы некоторое время молча сидели, и я все более и более убеждался в справедливости существовавшего в нашей среде мнения, что личная жизнь и личная любовь не для тех, кто обрек себя на гибель во имя освобождения своей родины.

— Но вам надо уходить! Скорее, скорее!— воскликнула она, наконец, обращаясь к нам.— Каждую минуту жандармы могут появиться у подъезда, и тогда будет поздно!

Мы долго не решались покинуть ее одну в такой опасности. Тоскливо и темно стало у меня, бывшего счастливица, на душе, да и у Саблина, очевидно, не легче. Она встала и начала нас гнать.

— Если не придут сегодня, или если все обойдется благополучно,— сказал я ей, подчиняясь ее решению,— то поставьте этот подсвечник со свечой на правой стороне окна.

И я показал ей куда поставить.

Так мои конспиративные наклонности впервые проявились здесь.

— А до тех пор пусть он стоит на столе! — окончил я. — Завтра утром я приду. У вас ничего нет унести?

— Ничего, ничего! — воскликнула она нетерпеливо. — Да уходите же скорее!

Мы посмотрели в окно. Никаких признаков опасности на улице не было видно, но мы все-таки решили уйти отдельно. Саблин вышел первым и повернул направо, я вышел вслед за ним и повернул налево.

2. Тревожные дни

«Куда же мне идти?» — сказал я сам себе, пройдя улицу. Я предполагал переночевать в этот раз, как часто делал до тех пор, в гостиной у Алексеевой, на диване, на котором няня уже положила для меня кучкой подушку, простыню и одеяло. Теперь, в первом часу ночи, было поздно стучаться к кому-нибудь из знакомых. Не переночевать ли поблизости у крепостной стены Китай-города, где идет бульвар, а за ним растут деревья и густые заросли каких-то кустарников? Там все темно от лунной тени. Но оттуда мне не будет видно, что происходит у Алексеевой. На улице же около ее дома ходить нельзя. На меня в ночном безлюдье обратят внимание шпионы, которых расставят перед приходом жандармов.

Неожиданно я вспомнил, что при доме, где живет мой товарищ Мокрицкий, находится сад, а в саду беседка, вроде домика, но вся из стекол.

«Вот, — думал я, — где удобно переночевать заговорщику, скрывающемуся, как я, от властей!»

Я быстро направился туда, перескочил в сад с улицы через забор, убедившись предварительно, что никто меня не видит, и, прокравшись в стеклянную беседку, положил под голову вместо подушки свою руку, прикрылся легким пальто и скоро заснул крепким сном.

Ясное утро уже светилось сквозь многочисленные стекла моей спальни и заливало внутренность беседки алым светом, когда я проснулся и огляделся, стараясь припомнить, зачем я здесь.

Все было тихо, только деревья, окружающие беседку, слегка покачивали своими ветвями. Мысль о том, что Алексеева, может быть, уже арестована в эту ночь, ударила меня по сердцу, как гальваническим током. Я вскочил и осмотрелся, но выйти было еще нельзя. Из-за дома показался дворник и начал

накачивать воду из колодца в ведро, что-то недовольно говоря воображаемому слушателю.

«Почему простой народ, когда в задумчивости разговаривает сам с собою, всегда кого-то попрекает?» — пришло мне в голову.

И я, присев в беседке пониже на пол, чтоб меня не было видно, сквозь стекла наблюдал, как, набрав воды, дворник пошел за угол, затем тотчас снова вышел, выплеснув что-то в помойную яму, начал, не торопясь, поливать цветы, опять ушел, снова пришел зачем-то и, наконец, отпер входные ворота. Этого только я и ждал, так как скакать через забор из сада на улицу при дневном освещении было неудобно в моем положении разыскиваемого самодержавием заговорщика. Едва ушел из виду дворник, как я вышел из беседки и, пройдя с беззаботным видом никем не замеченный в ворота, отправился на Моховую к квартире Алексеевой.

Подсвечник со свечой стоял на правой стороне ее окна!

«Слава богу, ничего не было», — подумал я, и на душе стало совсем легко.

«Но что же мне делать?»

Было всего шесть часов утра. Идти будить ее ранним утром нельзя.

Пойду же гулять по улицам, куда глаза глядят, пока не настанет время ее обычного пробуждения!»

И я пошел, исследуя нарочно, на всякий случай мало знакомые мне переулки этой части Москвы. Я осмотрел затем редко посещаемые заросли крапивы и лопухов, существовавшие в то время вдоль всех старинных стен Кремля и Китай-города, на случай, если понадобится там когда-нибудь скрываться на ночь, и, когда стрелка моих карманных часов приблизилась к восьми, снова пошел к Алексеевой, чтобы посмотреть еще раз на ее окна.

Улицы были все еще пустынные в этой части города. Только редкие дворники кое-где мели мостовые, когда я, приближаясь к ее квартире, увидел высокую фигуру девушки в соломенной шляпке, быстро и, очевидно, в сильном волнении спешащую по другой стороне улицы, по временам оглядываясь назад и, очевидно, ничего не видя перед собой.

«Да это Дубенская!» — мелькнуло у меня в голове, и, быстро перейдя на ее сторону, я прямо направился к ней.

— Не подходите, не подходите ко мне! Я зачумлена! — воскликнула она, с испугом отскакивая от меня. — За мной следят!

— Да полноте, никто за вами не следит! Я, подходя к вам, видел, что вся улица за вами пуста! Посмотрите сами!

Она оглянулась. Кроме занятого на мостовой дворника да

девушки с сумкой, шедшей в противоположную сторону, решительно никого не было.

— Но они могут следить незаметно!

— А как же это они сделают на пустой улице? Уверю вас, что никого нет! Да что с вами случилось?

— В эту ночь у моей сестры, Лебедевой, был обыск. Все в доме перерыли, но ничего не нашли и ушли. Это, верно, по причине полученной ею телеграммы насчет Алексеевой.

— А не потому, что ваш брат тоже участвует в кружках?

— Может быть, это обратило внимание на наш дом, и потому донесли и о телеграмме.

— Но у Алексеевой еще ничего не было! На окне выставлен знак, что все благополучно. Пойдемте сейчас же к ней. Ручаюсь вам, что никого не ведете за собой!

Мы быстро отправились далее и через десять минут постучались в двери к Алексеевой, окончательно убедившись перед тем, что за нами никто не подглядывает.

— Войдите! — слышался ее звонкий голос.

Мы вошли и остановились в изумлении.

Вся комната перед нами представляла картину полного разгрома. Мебель лежала посредине в одной хаотической куче, вместе с вынутыми ящиками комода, бельем и платьем, раскиданными здесь и там, посудой и книгами, лежавшими в смеси, и среди них стояла сама хозяйка этого имущества, очевидно, только что вставшая и пытавшаяся снова водворить порядок.

— Видите! — воскликнула она, смеясь. — Все перевернули ночью вверх дном, а меня не тронули. Ровно ничего не нашли!

— И у Лебедевых произвели то же самое! — воскликнул я.

— Да, да! — быстро заговорила Дубенская и начала снова рассказывать всю историю.

«Верно, была целая облава в эту ночь. Кто-нибудь неосторожно вел дело и обратил на себя внимание, а других выследили по нему», — пришло мне в голову.

— Как бы убедиться, что остальные целы? — сказал я, наконец, после того как мы все, радуясь миновавшему нас удару, общими силами, и все время стараясь шутить, привели в порядок комнату. — Знаете, я сейчас сбегая ко всем и узнаю.

— Но вы еще попадете в засаду! — забеспокоилась опять обо мне Алексеева.

— Нет, вы знаете, что это не так легко. Не поймали же, когда я приходил к вам в Потапове! — с убеждением юноши ответил я, чувствуя с удовольствием, что теперь начинаются, наконец, те опасности и романтические приключения, о которых я мечтал.

Алексеева грустно посмотрела на меня, как на человека, которому недолго осталось жить на свете, но не удерживала, понимая, что я все равно не послушаюсь в этот миг никого, пока не побываю у всех, кому грозила опасность, и не посмотрю на месте, нельзя ли их освободить как-нибудь.

— В таком случае,— сказал мне только что пришедший Саблин,— тебе прежде всего нужно побывать на даче у Вани и узнать, не случилось ли там чего-нибудь с тамошними, а затем в Петровско-Разумовском узнать о Павелке. Относительно здешних мы все равно сами разведем за день.

— Вот и отлично! — воскликнул я, вскакивая.— Сейчас же бегу!

— Да вы бы взяли хоть извозчика! — сказала Алексеева.

— Нет! Вы знаете, что я хожу лишь немного тише, чем едут на извозчике.

Я, действительно, тогда совсем не ходил, а почти бегал, даже вприпрыжку, когда приходилось соскакать с тротуара или вскакать на него при переходе через улицу, и от этого со мной бывало даже немало приключений. Так, однажды, я зацепился крючком своего накинутого на плечи пальто за мантилью какой-то встречной дамы и, сорвав ее с ее плеч, умчался за несколько десятков шагов, прежде чем успел остановиться и, краснея, возвратиться с извинениями ее принадлежность. Другой раз я налетел на встречного и тоже замечтавшегося господина средних лет, и мы так ловко стукнулись прямо лбами, что искры дождем посыпались у нас из глаз, а из носов закапала кровь. Мы оба сначала повернулись раза два на месте от сотрясения в мозгах, а затем — после обоюдного восклицания: ох! — начали усердно извиняться друг перед другом и разошлись с товарищеским рукопожатием, инстинктивно почувствовав между собой много общего.

Мои теперешние собеседники уже знали это мое свойство и потому не уговаривали не идти, а ехать. Мы принимали во внимание, кроме всего остального, что, после того как отдали все свое имущество на общее дело, нам необходимо быть страшно экономными на самих себя.

— Когда же вы возвратитесь? — спросила Алексеева.

— Часам к шести вечера все успею и непременно возвращусь, если чего-нибудь не надо будет предпринять для них там же.

— Вам надо захватить с собой съестного,— заботливо сказала она и сейчас же наделала мне бутербродов с сыром и колбасой.

Через минуту я уже мчался за город. Сначала мне трудно

было толкаться на тротуарах, в вереницах спящего взад и вперед народа, и я, как часто до тех пор, побежал по мостовой. Одна за другой проходили перед моими глазами картины знакомых улиц, по которым я когда-то не раз ранним утром отправлялся на экскурсии за окаменелостями. Вот показался знакомый мост через ручей и решетчатая калитка Зоологического сада, через которую можно было только выйти, а не войти. Потом пошли предместья, и я вновь вышел из городской пыли и духоты на свежий воздух и простор полей.

День был ясный, но не жаркий. Легкий ветерок дул мне в разгоряченное от быстрого движения лицо, и мне казалось, что он братски меня ласкает. Вот впереди показалась голубоватая извилистая лента Москвы-реки, а внизу, под обрывом, у воды и в самой воде те же кучи окаменелостей, за которыми я прежде так часто ходил со своими товарищами по «Тайному естественнонаучному обществу», основанному мною еще во втором классе гимназии. Забыв на минуту все остальное на свете, я соскочил опять вниз и пошел по слоям из обломков окаменелых ракушек, аммонитов и белемнитов юрского периода, поднимая и кладя в карман несколько наиболее сохранившихся образчиков. Но через минуту я уже спосил себя:

«Зачем я это делаю? Разве не оставил я науку для революционной деятельности? Зачем же глядеть в прошлое и растревать напрасно раны в своей душе?»

Но в тот же миг новая идея блеснула в уме.

«Ведь окаменелости в кармане могут мне пригодиться для объяснения, зачем я пришел в эти места, если на даче окажется засада!» И я воспользовался своим соображением, чтоб оставить у себя в кармане милые для меня остатки прошлой жизни на нашей планете.

В стороне от Москвы-реки показалась небольшая деревня, в которой тогда жил Ваня. Вот и недавно выкрашенная крыша его дачи выделяется, как четырехугольный красно-желтый кусок ситца в старинном ватном лоскутчатом одеяле, среди крыш соседней. Ничего живого не было видно кругом. Я быстро пошел в деревню по пыльной проселочной дороге, или, вернее сказать, по пешеходной тропинке, бегущей по обыкновению то по одной, то по другой стороне дороги, и при самом входе в деревню увидел толпу оживленно разговаривающих между собой крестьян. При моем появлении они все замолчали и уставились на меня.

— Вы куда идете? — спросил сурово один из передних, в роде волостного писаря.

Я вынул из кармана свои окаменелости и, показывая ему, ответил:

— Вот собираю такие камни. У вас нет?

— У нас таких нет. Это ходят собирать там на берегу,— ответил он более мягким голосом.

— Да, особенно у Троицкого,— ответил я.— Я туда часто хожу, но в вырытых ямах и здесь они должны быть. А что это вы тут делаете вместе?

— Да вот там,— и он указал на дачу,— выследили важного государственного преступника и увезли в тюрьму в Москву! — ответил он уже совсем простым тоном, очевидно хорошо зная, что за окаменелостями ходят в эти места ученые и даже платят за них деньги мальчишкам.

Остальные крестьяне все тоже заговорили разом, явно желая рассказать прохожему свои новости.

— Против царя пошел! — прервал их писарь важным тоном, но был, в свою очередь, перебит одной из двух подошедших к нам крестьянок:

— А и не верится что-то, такие добрые господа! — заговорила одна.

— Уйдите вы, уйдите! — строго сказал им писарь.— Не бабье это дело.

Обе женщины, не обижаясь, отошли немного в сторону и сели на землю, с любопытством смотря на нас.

— Книжки народу читали, бунт и неповиновение хотели сделать! — ораторствовал писарь.— Вот за это и сошлют их в Сибирь, на каторгу! — дополнил он, обратившись к сидевшим заступницам.— А нам велели смотреть, чтобы, если кто придет к ним, сейчас же представлять по начальству.

Мне стало несколько неловко. Ведь я бывал здесь раза два, хотя и по вечерам. Кто-нибудь из присутствующих мог меня узнать, и мне даже показалось, что вторая из женщин, помоложе, смотрит на меня с особенным любопытством, не как на совершенно не известного ей. Но надо было продолжать разговор.

— А что же, никто к ним теперь не приходил?

— Пока никого. А в доме посадили двоих жандармов в засад.

— И много было арестованных здесь?

— Только один, другие, верно, уехали еще несколько дней назад.

Очевидно, мне здесь нечего было больше делать. Чтоб удобнее уйти, я еще раз спросил, нет ли где мест с блестящими камушками, вроде моих, и отправился на берег Москвы-реки. Скрывшись за обрывом, я быстро пошел по направлению к городу и, не заходя в него, повернул в Петровско-Разумовское. Там, у Павелка, я ни разу не бывал. Я пошел по улице и нашел

дом, где он жил. Около него по наружности не было ничего особенного. Заметив, что напротив него, на перекрестке дачных улиц, находится фруктово-колонияльная лавочка, я вошел в нее и прежде всего купил пару больших пряников. В лавочке была только одна ее хозяйка, полнокровная молодая женщина с веселыми глазами и приятным видом.

— Что это у вас тут случилось? — спросил я ее прямо.

Собственно говоря, я даже еще не знал, случилось ли действительно тут что-нибудь, но думал, что если в окрестности все благополучно, то на ее недоумение отвечу, будто слышал о какой-то драке на улице

Но она так и подпрыгнула на своем месте.

— Как же, как же! — затараторила она с величайшим оживлением. — Вот там напротив, в доме, всю ночь рылись жандармы! В самую позднюю, что ни на есть, ночь приехали, и так тихо, что у нас никто и не проснулся! Человек тридцать приехали и сам ихний капитан с ними! И увезли в Москву всех, кто там был, и никто не знает куда! А в их квартиру посадили жандармов, чтобы, значит, отпирали всякому, а как только взойдет, сейчас же хватали за обе руки и отводили в участок. А утром-то пришла молочница. Как ее хватили за обе руки, а она уронила молоко-то, разлила по всему полу-то, да как завизжит, думала, что грабители, да и села со страху в молоко! А сторож-то здешний был на улице и ничего не знал. Как услышал, да и прибежал на крик и говорит им: «Что вы, злодеи, с ней делаете? Ведь это моя дочь!» Все же отвели сначала обоих в участок, а потом выпустили, от них самих я и слышала! А потом мальчик от булочника приходил, и этого схватили и хотели вести в участок, да одумались, больно мал, повели его в булочную и спросили, — тамошний ли он. Говорили булочнику, что строго приказано арестовывать всякого входящего, и за отпуск мальчика взяла восемь булок! А теперь сидят и ждут, вон один выглядывает!

Я посмотрел в отворенную дверь и действительно увидел выглядывающую в окно из-за края усатую физиономию.

— А больше нигде не были? — спросил я.

— Были, были! Еще в трех местах! — И она назвала мне дома и самые фамилии жильцов. Это все были студенты Петровской академии из кружка петровцев, большинство которых еще ходило в наряде.

Итак, аресты были значительны... Мне особенно горько было, что захваченные увезены в Москву, что никто не сидит под домашним арестом, чтоб я мог как-нибудь к нему тихонько пробраться с наступлением ночи и попытаться его освободить.

Беспокойство за друзей, оставшихся в Москве, все сильнее

и сильнее овладевало мною. Распростившись, наконец, с торговкой, которая, казалось, готова была говорить целые сутки, я поспешил к линейке, отправляющейся в Москву, доехал в ней до Тверского монастыря внутри города и оттуда побежал прямо к Алексеевой.

3. Какое счастье быть принятым в тайное общество!

Выхожу и вижу, там сидят целы и невредимы все мои друзья.

— Что, ни у кого из вас не было обыска? — спрашиваю.

— Ни у кого! — ответил Кравчинский, по обыкновению так крепко сжимая меня в объятиях при встрече, что у меня затрещали кости.

— Ну, а за городом плохо! — ответил я, и рассказал им о моих приключениях.

— Тебя непременно забрал бы этот писарь, — сказал, подумав, Кравчинский, — если б не твои окаменелости.

— Мне самому тоже кажется, — согласился я. — Но как товарищей жалко. Может быть, их уже долго не выпускают или сошлют в Сибирь.

Все задумались, и мне казалось по выражению лиц, что не у одного из присутствовавших промелькнула мысль: «может быть, и до меня не далека очередь».

Первым прервал молчание Саблин и, как бы отвечая на вопрос, весело сказал:

— Ну, а теперь мы имеем для себя безопасное убежище.

— Где? — спросила Алексеева.

— А здесь, у вас?

— Почему у меня?

— Да ведь раз у вас уже сделали обыск и ничего не нашли, — догадался Кравчинский, — то можно быть уверенным, что не придут второй раз, раньше как через месяц. А о всех других местах этого нельзя сказать.

Все засмеялись. Саблин взял гармонику и, чтоб ознаменовать появление у нас безопасной квартиры, начал отплясывать трепака посредине комнаты. Кравчинский, отведя в дальний угол Цакни, начал тихо разговаривать с ним *à part* *. Его курчавая голова низко склонилась к греческому профилю Цакни, и оба при разговоре часто взглядывали на меня. Я понял, что они

* В стороне, особняком.

говорили об мне. Но лишь на следующий день, после того как я переночевал здесь, на «безопасной» квартире, и, побывав в нескольких местах, снова явился к Алексеевой, я узнал в чем дело.

— Мне надо поговорить с вами,— сказал при виде меня сидевший уже там Цакни.

Он отвел меня в другую комнату и, сев рядом со мной, тихо сказал:

— Я прислан сюда к вам от имени одного тайного общества, самого большого и деятельного из всех существующих теперь. Оно приглашает вас вступить в его члены. Та среда, в которой мы теперь находимся,— среда сочувствующих и отчасти действующих, но она не организована. Существует большое революционное тайное общество. По общему правилу, туда не принимаются люди, не достигшие двадцати одного года, но для вас общество готово сделать исключение, если вы желаете вступить в него.

У меня сердце так и замерло от восторга. Вот именно то, о чем я мечтал! В воображении пронеслось все, что я читал в романах о политических заговорах: о свете одинокого фонаря, мелькающего бурной ночью в окне одинокой хижины у границы чужой, соседней страны, на берегу моря... Он указывает место пристани товарищам (в числе которых и я), плывущим в лодке среди подводных камней и утесов и везущим с собою предметы, нужные для водворения республики; я подумал о мрачном здании с подземными ходами, где ночью собираются члены общества и решают дальнейшие свои действия,— одним словом, о всем, что, после служения науке, казалось мне самым привлекательным в жизни.

— Конечно, я сейчас же готов вступить и исполнить все, что может потребовать от меня общество,— ответил я без колебаний.

— В таком случае приходите завтра в двенадцать часов дня на Арбат, первый подъезд направо от площади, и там во втором этаже позвоните в единственную дверь и спросите Михайлова. О вашем приходе будут уже предупреждены...

— Хорошо, приду.

— А то, что я сейчас говорил с вами, пусть будет в полной тайне. Не говорите никому, даже Алексеевой.

— Хорошо. А для приема требуются какие-либо испытания — присутствия духа, находчивости? — спросил я.

— А вот увидите! — улыбаясь, ответил он.

Весь этот день я мечтал о завтрашнем свидании.

Что-то ожидает меня на Арбате? Кого я там увижу? Найдут ли меня достойным? Не будет ли там каких-нибудь необычных испытаний, вроде масонских, чтоб убедиться в моей смелости

и готовности на все? Я, конечно, не отступаю ни перед чем, для того, чтобы быть принятым. Ведь если бы испытания были непосильны для человека вообще, то никто не мог бы поступать в тайные общества. А раз там есть члены, то, значит, требуют физически возможного, хотя, может быть, и действительно опасного поступка и большого присутствия духа в чем-нибудь неожиданном. «Цакни в этом обществе!» — подумал я. И его греческая смуглая сильная фигура с черной большой бородой, действительно напоминающая собой заговорщика, показалась мне теперь особенно интересной.

В назначенное время я позвонил в указанную мне незнакомую дверь. И кто же отворил мне ее? Мой лучший друг — Кравчинский, который тут же стиснул меня в своих объятиях. Это он жил в квартире под именем Михайлова.

— Я рад, что ты будешь теперь окончательно с нами! — сказал он мне.

Потом он взял меня за талию одними кистями рук и со своей поистине необыкновенной силой перевернул меня три раза колесом вверх ногами, как маленького ребенка, хотя я был уже почти такого же роста, как и теперь. У меня все пошло кругом в глазах, когда он, наконец, поставил меня на пол.

— Это, — сказал он мне, ласково улыбаясь, — будет единственным твоим испытанием при приеме в тайное общество. В других ты не нуждаешься. Ты и без того уже достаточно показал свою преданность друзьям и присутствие духа в опасностях.

Я догадался, что Цакни ему передал мой вопрос об испытаниях, и сообразил, что они, вероятно, очень смеялись над моим наивным романтизмом.

Он повел меня в соседнюю комнату, из которой я слышал уже знакомый мне голос Клеменца, с его характерным простонародным выговором фраз и остановкой в их середине, как бы подыскивая нужное слово.

Действительно, он сам сидел тут около столика на диване, а кругом него группировалось несколько других, большею частью уже знакомых мне людей. Тут была и бледная белокурая голова Шишко, автора народной брошюрки «Чтой-то, братцы, плохо живется на святой Руси» и будущего автора «Народной истории России». Тут был и известный уже читателю Цакни и, насколько помню, его жена, высокая, полная и стройная красавица в русском стиле, с плавными движениями и пенсне на носу, чрезвычайно шедшему к ее округленному лицу. Тут был и Львов, мой товарищ по приключениям в Даниловском уезде, и Батюшкова — белокурая Маргарита, которую я впервые увидел

у Алексеевой. В дополнение к этим знакомым уже мне людям здесь сидела и внимательно смотрела на меня еще девушка гигантского роста и соответствующей полноты, которой я никогда не видел ранее. Она отрекомендовалась мне Натальей Армфельд; как я узнал потом, она была дочерью известного профессора и педагога, умершего недавно перед этим, и со связями в московской аристократии. Она и ее семейство были, между прочим, хорошо знакомы со Львом Толстым, который время от времени бывал в их доме близ Арбата. Ни Саблина, ни даже Алексеевой, казавшейся мне самой яркой представительницей этой среды, здесь, к моему удивлению, не было.

— Мы будем очень рады,— начал говорить, явно от имени всех, Цакни, когда прежний их разговор умолк при моем приходе,— иметь вас нашим товарищем. Но вступление в тайное общество — дело серьезное, опасное и безвозвратное. Оно требует, чтоб человек пожертвовал для его целей всей своей жизнью. Вы видите здесь одну группу этого общества и потому можете судить о своих будущих товарищах. Что же касается цели общества, то она заключается в подготовке государственного и общественного переворота, сначала путем распространения в народе и в интеллигенции идей о необходимости и возможности лучшего строя жизни, а когда масса будет подготовлена, то и в осуществлении нового строя с оружием в руках. Вы уже знаете из нашей литературы о целях общества. Согласны ли вы и теперь вступить в него? Хорошо ли вы обдумали дело?

— Согласен,— ответил я,— я все обдумал.

— В таком случае вы приняты единогласно, так как вопрос о вас обсуждался еще после вашего приезда из Даниловского уезда, и мы тогда же писали в Петербургское отделение, служащее центром, о ваших приключениях. Оттуда было получено уже более недели назад согласие на ваш прием, если окажется, что вы не охладели к делу после первого своего опыта. Мы присматривались к вам за последнее время и убедились, что нет.

— Теперь,— сказал Кравчинский,— надо сообщить ему основные принципы устава и историю нашего общества.

— Оно возникло,— продолжал Цакни,— постепенно, еще в конце шестидесятых годов. Четыре студента Петербургского университета (и он назвал мне фамилии) пришли к заключению о необходимости распространять в обществе книги, направленные против предрассудков и суеверия во всех смыслах. Вы читали сочинение Милля «О равноправности женщин», роман Швейцера «Эмма», книги Карла Фохта, Дарвина, «Азбуку социальных наук» Флеровского? ¹⁴

— Да, читал.

— Это были первые книги, распространением которых задался тогда первоначальный небольшой кружок. Они все были изда ны легально разными книгоиздателями, но расходились плохо. Чтобы помочь их распространению и способствовать появлению других, кружок предложил издателям распространять их по провинции через разъезжающих на каникулы студентов, которым книги будут сдаваться на комиссию. В первое лето многие книгопродавцы не доверяли и давали мало, но некоторые отнеслись лучше, и книг у кружка оказалось достаточно. Все эти книги за лето были распространены, и с давшими их книгопродавцами правильно рассчитались. Большинство студентов охотно брало от кружка книги из сочувствия. Так быстро организовался способ сбыта хороших книг. На второй и третий годы дело пошло так успешно, что книгопродавцы сами стали предлагать книги кружку и оказывать ему кредит даже на тысячи рублей... Только поэтому почти у каждого интеллигентного человека в русском обществе вы найдете теперь десятки хороших книг.

— Иначе они так и залежались бы у издателей,— прибавил Клеменц.— У нас редко кто решится пойти в магазин и купить книгу, пока ему не принесут ее на дом.

— Потом,— продолжал Цакни,— в кружок был принят Чайковский, которого теперь сильно разыскивает полиция и о котором вы уже не раз слышали после знакомства с нами. Он особенно энергично принялся за дело. А так как все посторонние имели сношения главным образом через него, то и кружок этот стали называть по его имени — чайковцами. Даже и теперь называют его так, хотя Чайковский добровольно удалился, разочаровавшись в возможности осуществления нового строя силой, и решил уехать в Америку основывать там социалистическую колонию. На самом же деле его именем прикрывается большое тайное общество, не имеющее никакого названия.

— Это просто — общество приготовления социального, умственного и политического переворота,— заметил Кравчинский.

— Еще во время Чайковского,— продолжал Цакни,— студенческий кружок, давший нам начало, стал не только распространять уже готовые книги, которые он считал полезными для всеобщего освобождения России, но и разыскивать другие иностранные, устраивать их переводы, а также рекомендовать издателям и оригинальные книги, ручаясь за их быстрое распространение. Но оказалось, что цензура часто уничтожала все усилия кружка, запрещая и уродуя издаваемую по его инициативе книгу, и кружок таким образом принужден был перейти к устройству типографии за границей, куда и был послан один из его членов — Александров, а потом его заместил эмигрант Гольденберг.

В этой типографии и напечатаны почти все без исключения книжки, которые распространяются теперь в народе.

— Только благодаря невозможности печатать хорошие книги в России кружок и перешел к прямым революционным изданиям,— заметил кто-то.

— Также было решено издавать за границей и толстый революционный журнал,— снова продолжал Цакни.— Редакцию его решили поручить Лаврову. Он жил тогда в административной ссылке в одном из северо-восточных городов Европейской России, но соглашался уехать за границу, если ему дадут средства для органа, вроде герценовского «Колокола», прекратившегося после смерти Герцена. Ему обещали, и он уехал за границу, но представленная им оттуда в рукописи программа журнала так значительно расходилась с предлагаемой кружком, что Лавров предпочел действовать самостоятельно. Таким образом и возник известный вам журнал «Вперед».

Он замолчал на минуту, обдумывая дальнейший рассказ. Я сидел совершенно очарованный.

«Так вот,— думалось мне,— какое здесь деятельное тайное общество! Предполагал ли я, читая когда-то Дарвина, Милля, Флеровского, что эти хорошие книги только потому и попадались мне, что их распространяло тайное общество, в котором потом мне придется быть членом!»

Но Цакни не дал мне времени сосредоточиться и продолжал:

— Общество наше не имеет письменного устава или списка членов, чтобы не давать правительству возможности сделать процесс. Мы считаем губительной всякую канцелярщину. Программа наша всегда ясна из статей в наших изданиях, а устав заключается в немногом: в каждом значительном городе должен быть устроен кружок. Такие пока есть в Петербурге, у нас в Москве, в Киеве и в Одессе. Центром служит Петербургский кружок как самый большой и деятельный, но каждый из них самостоятелен во всех своих собственных делах и сообщает другим лишь общие отчеты о деятельности через избираемых у себя лиц, служащих секретарями, а в случае нужды посылает в другие кружки кого-нибудь из своих членов. Все члены равноправны и избираются каждым кружком единогласно, однако лишь в том случае, когда и от других кружков нет возражений. Единогласность здесь считается необходимой, так как при общей опасности необходимо полное братское сочувствие и доверие друг к другу. Оно одно может обеспечить от отступников и предателей, если тому или другому из членов придется погибать в государственных тюрьмах или сибирских рудниках. Всякий вступающий обещается отдать обществу безраздельно всю свою жизнь и все свое имущество.

Из имущественных пожертвований составляется и капитал, нужный на различные предприятия общества. В настоящее время он у нас достигает пятисот тысяч рублей. Это главным образом средства, предоставленные обществу Лизогубом, одним петербургским студентом из помещиков, вступившим в наше общество несколько лет назад.

Я посмотрел на Цакни в изумлении.

«Как могущественно должно быть в своих предприятиях общество с такими средствами!» — подумал я.

— Я говорю вам это потому, что при приеме нового члена у нас считается необходимым откровенно рассказать ему все, чем может располагать общество. Только тогда он и будет полноправным лицом, способным обсуждать предприятия. Вот, кажется, и все, что мне полагалось рассказать вам. А если что-нибудь еще не ясно, то вы прямо спросите, мы ответим! — закончил он.

— А Алексеева состоит в вашем обществе? — спросил я.

— Нет, — ответил он, улыбаясь. — Ее не принимали до сих пор главным образом потому, что у нее на квартире вечное сборище всякого народа. У нее всеобщий клуб, толкучка всех приезжих без разбора. Мы уже обсуждали вопрос о ней и считаем, что при таких условиях принять ее опасно. Она не может долго остаться не замеченной шпионами.

Это меня сильно огорчило. Алексеева, несомненно, была самым преданным и самым симпатичным образчиком новых людей, с которыми я так недавно сблизился. И я решил предложить ее, как только поднимется вопрос о новых членах.

— И Саблин тоже не состоит?

— Также пока не состоит. Вообще все присутствующие в Москве члены находятся теперь перед вами. Как видите, нас немного, но дело не в числе, а в энергии, в надежности и в том, чтобы посторонние даже и не догадывались ни о чем.

— А другие общества есть? Я слышал, например, о кружке Ковалика и Войнаральского, о кружке петровцев и разных других.

— Это все — товарищеские компании, без выбора членов, без определенных обязательств. Кружок Ковалика — это просто молодежь, собирающаяся у Ковалика. Если кто перестанет к нему ходить, говорят, что он отстал от кружка. А если кто начнет постоянно ходить, то считается приставшим к кружку. Таков же и кружок петровцев и остальные. Обязательные отношения, насколько нам известно, существуют только у нас.

— А в чем же будут заключаться мои обязательства в обществе? — спросил я, помолчав. — Что я буду делать?

— А вот я предложила бы вам одно очень полезное дело, если у вас нет на примете в ближайшем будущем чего-нибудь своего,— сказала, в первый раз обращаясь ко мне, девушка-гигант.— У меня есть брат, гимназист седьмого класса Первой гимназии. Он с очень хорошими задатками. У него собирается по субботам целая компания товарищей гимназистов, читают Тургенева, обсуждают литературные вопросы, но совершенно чуждаются общественных дел и даже находят их для себя вредным занятием. Все это благодаря влиянию одного из товарищей, Карелина, который, кроме эстетики да искусства, ничего не признает. Они устраивают особые эстетические прогулки за город по праздникам с бутылками вина и пива, которые и распивают где-нибудь в живописном месте. Я пробовала как-то говорить с ними, но они на мои слова не обратили ни малейшего внимания, на маму тоже, выслушали и даже не спорили. Но если бы вы пошли к ним и поговорили, это, наверно, имело бы действие, потому что вы почти того же возраста. С вами стали бы спорить и, может быть, в конце концов, убедились бы, что общественные вопросы лежат в основе жизни.

— Мы уже давно интересуемся этим кружком,— прибавил Кравчинский.— Из него могло бы выйти что-нибудь хорошее, и перед самым твоим приходом мы как раз говорили, что было бы лучше всего поручить тебе повлиять на них.

Меня охватил порыв отчаяния от такого поручения. Что я могу сделать? Я никогда не был склонен к спорам, особенно публичным. Наверное меня переспорят, и ничего не выйдет. Но я вспомнил правило, которым руководствовался с детства, что если чего-нибудь боишься, кроме, конечно, дурного, то это именно и сделай, чтоб потом не считать себя трусом. И я сказал, стараясь принять спокойный вид:

— Хорошо, попытаюсь.

— В таком случае пойдемте сейчас же со мной, я покажу вам наш дом и познакомлю с братом.

— Погодите еще минутку,— сказал Клеменц.— Сегодня приехал в Москву один рабочий, чтоб просить нас о чем-то от имени кружка Войнаральского. Не думаю, чтоб о чем-нибудь путном, и я назначил ему из осторожности свидание в особом номере Тверского ресторана. Выберемте четырех уполномоченных и предоставим им решить дело.

Предложили Клеменца, Кравчинского, Цакни и меня, и мы, согласившись, условились о времени на следующий день.

Затем я и Наташа Армфельд пошли в ее дом. Здесь я впервые увидел неудобство ее огромного роста. Она была на целую голову выше толпы, и все оглядывались на нас.

«Как, должно-быть, надоедает ей это! — подумалось мне.— И кроме того, при таком росте нет ни малейшей возможности исчезнуть с глаз шпионов в толпе людей! Ее голову отовсюду видно на улице. Вот я бы, несмотря на всю симпатию к ней,— она, очевидно, чрезвычайно добрая,— не принял бы ее в тайное общество».

Она обратилась ко мне с каким-то ласковым вопросом, и мы не заметили, как в разговорах дошли до ее жилища. Это был их собственный дом-особняк. Она представила меня своей матери, тоже очень высокой, но не гигантской женщине, и та прямо пригласила меня пообедать у них. К обеду пришел и ее сын Николай, гимназист, тоже огромного роста, с которым мы и пошли потом толковать в его комнату. При первых же его словах оказалось, что он не был такой исключительный эстет, каким мне рекомендовала его сестра. Он так же, как и я, читал много романов и собирался когда-то бежать в американские леса к краснокожим индейцам.

Эти воспоминания о прежних замыслах тотчас же нас сблизили, а когда я рассказал ему о том, как по способу краснокожих индейцев прошел в деревенский дом, где находилась под домашним арестом Алексева, и снова выполз оттуда, у него так и заблестели глаза от удовольствия. Но он ничего не обнаруживал словами, а завел разговор, может ли из этого что-нибудь выйти?

Скептическое отношение к современной русской действительности было у него, очевидно, очень сильно, но оно было и у меня, и потому тема разговора невольно перешла не на возможность успеха, а на то, надо ли что-либо делать, чтоб рассеять окружающую спячку, или сложить спокойно руки, занимаясь литературой, искусством? Здесь я чувствовал под собой твердую почву, утверждая, что надо действовать, и Армфельд понемногу начал соглашаться со мною.

— Приходите,— сказал он мне,— на субботнее заседание нашего кружка. Там будет товарищ, который лучше меня сумеет возразить вам.

— Непременно приду. Мне будет интересно! — ответил я, не подавая вида, что меня для этого и пригласила его сестра.

«Итак, начало вышло удачно! — подумал я, выходя из дома.— Я тотчас же получил приглашение и притом прямо на завтра. Увидим, что будет. Не стану готовить заранее разных умных фраз, так как сколько раз я ни делал этого, в действительности всегда приходилось говорить что-нибудь другое».

Я быстро направился к Алексеевой, где застал по обыкновению большую компанию. Мне грустно было не рассказать ей о том, что со мной случилось сегодня утром, но тайну надо было

держат от всех, и я мечтал лишь, что при первой возможности предложу ее в наше тайное общество, чтоб нам снова не иметь друг от друга никаких секретов...

4. Тайная депутация

Я переночевал у Алексеевой в гостиной на диване, помечтал с нею утром о будущем счастье человечества и к назначенному часу поспешил в Тверскую гостиницу. Там в номере были Цакни, Кравчинский и незнакомый мне смуглый высокий человек в синих очках-консервах и с небольшой бородкой. Это, очевидно, был посланный из кружка Войнаральского.

Я поздоровался с ним, не называя себя, и мы стали продолжать начавшийся разговор о том, где кто находится из общих знакомых, которых, однако, оказалось очень немного. Разговор вяло продолжался до прихода Клеменца, по обыкновению запоздавшего, и как только он явился, весь личный состав нашей комиссии оказался здесь. Незнакомец в синих консервах заговорил первый, очевидно, по заранее подготовленному плану речи.

— Около деревни, где теперь живет Войнаральский, находится лес, о котором долго шла тяжба между помещиком и крестьянами некоторых соседних деревень. Крестьяне имели все права на него по давности владения, а суд недавно присудил его помещику. Они страшно раздражены и хотят поджечь этот лес, чтобы, по крайней мере, не оставался никому. Нам с Войнаральским пришлось в голову, что здесь хорошая почва для восстания. Уже до станového дошли слухи о возможности поджога, и он нарочно сказал на сходе, что если загорится лес, он все деревни погонит полицией тушить его. Крестьяне уже говорили Войнаральскому, что примут станového в колья, если он погонит их.

Тут посланный, видимо, волнуясь и потеряв дыхание, остановился на минуту, но затем, овладев собой, закончил:

— Так вот нам и пришлось в голову поджечь самим лес и когда исправник погонит крестьян тушить, то поднять восстание уже не против помещика, а против правительства, заставляющего крестьян оберегать отнятое у них же добро. Надо только достать фосфору, чтобы смазать деревья в разных местах, и Войнаральский говорит, что вы можете получить его в знакомой вам аптеке, сколько хотите.

— Мы не занимаемся поджогами! — быстро и резко ответил ему Цакни.

— Мы боремся с вредными идеями, а не с полезными предметами, — сухо прибавил Кравчинский.

Посланник совершенно сконфузился и покраснел. Мне стало очень жаль его.

— Но ведь здесь борьба на самом деле не с предметами,— сказал я, краснея,— а только представляется возможность вызвать народное восстание, которого мы все желаем. Может быть, оно разрастется в целую революцию... Почему же не пожертвовать для этого одним несправедливо отнятым лесом? Ведь жертвуем же мы сами, что имеем!

Посланник радостно взглянул на меня как на неожиданного друга. Он был явно из тех нескольких русских рабочих, которые одни во всем народном море того времени были пробуждены только что появившимися пропагандистами к гражданскому сознанию, и еще конфузился в нашей среде, как конфузился и всякий из нас, если, будучи учеником, вдруг попадал в общество своих учителей и принужден был вести с ними теоретический разговор. Он с видимым облегчением передал мне всецело свою защиту и явно был намерен далее лишь слушать.

— Каждый,— возразил мне Клеменц,— имеет право жертвовать всем своим, но не имеет права жертвовать ничем чужим.

— Однако ведь признаем же мы принудительную передачу частной собственности народу, значит жертвуем и чужим?

— Мы признаем передачу, но не уничтожение, и притом только передачу из частного владения в общее, причем и прежний собственник получает свою равную долю! Как ты можешь оправдывать поджоги?

— Я не оправдываю, но мне хотелось бы только выяснить вопрос. С первого взгляда кажется, что Войнаральский действует последовательно со своей точки зрения.

— С точки зрения вспышкопускателей это, пожалуй, и верно! Они не думают вызвать революцию, они понимают, что из деревенского бунта по поводу леса ничего не выйдет, кроме порки крестьян, но они хотят, делая свои вспышки в разных местах России, разжечь страсти и подготовить общее восстание. Но восстание, в основе которого ненависть, не будет сознательным и не приведет ни к чему, кроме огромного кровопролития и вражды. А наша цель — идейно подготовить народ к социальному перевороту, чтобы он разумно и справедливо устроил свою будущую жизнь!

Мне хотелось возразить ему, что эти его идеи о необходимости подготовки народа находятся в явном противоречии с основными воззрениями нашей среды, где крестьянство с его общиной и простотой жизни считается идеалом совершенства, в противоречии с тем, что мы должны слиться с народом, учиться у него, а не учить; но, понимая, что это отвлечет нас от предмета в такую

область, где можно спорить недели, я не возражал. Кравчинский и Цакни продолжали начавшиеся дебаты, и я уже не помню, о чем они спорили, но окончательным результатом был полный принципиальный отказ посланнику в какой бы то ни было помощи, и в результате, как я узнал потом, его предприятие так и не осуществилось.

Когда мы, распроставшись, вышли из отдельного номера ресторана и пошли каждый в свою сторону, я, оставшись один на улице, начал обдумывать по дороге вставший передо мной вопрос: хорошо ли мы сделали, что отказали Войнаральскому? И этот вопрос невольно вызвал другие...

Я чувствовал, что разобраться мне здесь очень трудно...

5. Я организую свой кружок!

С наступлением назначенного мне вечера я был уже у Армфельда, с трепетом готовясь к предстоящему дебату. В его комнатах, во втором этаже дома, было около двух десятков гимназистов старшего возраста, сидевших или стоявших группами. На большом столе у окна помещались стаканы с чаем и бутербродами, и часть публики занималась ими. Армфельд представил меня компании. Поздоровавшись со всеми, я тоже присел к столу с закусками и, не зная, как начать разговор, урывками рассматривал компанию, как и она меня. Это была пестрая и, по-видимому, ничего особенного не сулящая толпа гимназистов, но как ошибочно оказалось первое впечатление! Здесь был в лице моего предстоящего, главного оппонента — Карелина, невысокого юноши, почти мальчика, — будущий популярный профессор Московского университета; в лице другого юноши, Баженова — будущий доктор и известный московский общественный деятель. Самому хозяину этих комнат предстояло умереть в заточении, трем другим испытать темницу и долгую ссылку, а меня ожидали в грядущем несколько лет бурной заговорщической деятельности и долгие годы пожизненного одиночного заключения!

Вспоминая теперь об этом вечере, я часто думаю: как несправедливы бывают взрослые к подрастающей молодежи!

Все взрослые смотрели на нас тогда свысока. Они видели, что у нас в прошлом не было ничего особенно выдающегося, и не хотели видеть, что перед нами было целое будущее. Если кто-нибудь из нас умирал, о нем плакали только мать и несколько близких, если кого-нибудь исключали за запрещенную книжку из учебного заведения, без прав поступить в какое-либо другое, то не только исключители, но даже и окружающие не представляли

себе, что, может быть, этим гасят в науке одного из предназначавшихся ей светочей.

Армфельд допил свой стакан и, видя, что все чего-то ждут и никто ничего не начинает, встал и заговорил, явно подготовившись в эти несколько минут, неестественно низким тембром:

— Господа! В настоящее время, как вы знаете, уже многие из студентов идут в народ и говорят о необходимости революции. Вот и он тоже так думает (кивок на меня). Было бы интересно обсудить это. Возможна ли у нас республика? Необходимы ли изменения существующего в России общественного строя? И какие изменения нужны?

Он замолчал.

Карелин нервно заговорил с места:

— Об этом нет нужды даже и разговаривать! В чужой монастырь с своим уставом не суйся! — говорит пословица.

— Но ведь монастырь для нас не чужой, — возразил я, — а наш собственный. Мы все выросли в нем и имеем право изменить в нем порядки.

— Чем изменять, гораздо проще уехать из него за границу всякому недовольному и найти себе там общественный строй по вкусу.

Не было более неудачного начала, как этот его сразу же резкий тон, усвоенный им, по-видимому, произвольно, благодаря внутреннему сознанию, что моя позиция сильнее. Доброжелательная и искренняя по натуре молодежь всегда в таких случаях чувствует неловкость и потребность стать на сторону обижаемого, если он не принимает вызова и не отвечает резкостью на резкость. В последнем случае спор становится особого рода перебранкой и не приводит ни к каким результатам. Но я не умел никогда спорить таким образом, и потому инцидент закончил Армфельд.

— Так нельзя говорить, — сказал он, — нельзя же гнать из монастыря всякого, кто в нем думает иначе, чем большинство. Ведь может и действительно оказаться, что в монастыре-то стало темно, и тесно, и тяжело жить и что все его уставы надо переделывать заново. Будем же говорить об этом.

— Я хотел только сказать, — возразил Карелин, спокойнее, чем прежде, — что мы еще не можем считать себя полноправными членами этого монастыря. Нам надо прежде всего окончить свое учение, и тогда узнаем многое, что может переменить наши мнения.

— Но что же мы узнаем такого? — сказал я. — Вот в гимназиях нас кормят мертвыми грамматиками, греческой и латинской, священными историями, где часто рассказываются невероятные

вещи, катехизисами и богослужениями, которые мы все пародируем в смешном виде перед уроком. Неужели это может переменить наше мнение? Я сам стою за науку, но не за казенную, которая только опутывает,— прибавил я, вспоминая прежние слова Алексеевой, которыми она примирила меня с перспективой оставить учебное заведение.

— Какова у нас наука ни есть, но она пока единственная, и если мы хотим другой, то должны сначала сами доучиться и потом уже учить других, как хотим.

— Но ведь правительство нам не даст сделать этого, а велит учить, как учили прежде, или убираться вон из монастыря!

— Но без правительства нельзя. Я ведь тоже читал запрещенные книги и нахожу, что анархия, которую в них проповедуют, приведет только к всеобщему грабежу, и в результате будет деспотизм еще хуже, чем теперь. Так было и во Франции после революции, так будет и у нас!

Оправившись от первого волнения, он начал теперь спорить серьезно, по существу. Ему недоставало еще лет трех до совершеннолетия, но было видно, что он читал и думал не менее, чем многие из совершеннолетних. Будущий талантливый профессор начал в нем чувствовать и теперь.

— Неужели вы думаете,— сказал он,— что наши крестьяне, тоже поголовно безграмотные или малосведущие, сумеют устроить что-нибудь путное в общественной жизни, если им предоставить полные гражданские права? Вот помещик рядом с селом, где я живу, тоже захотел посоветоваться с ними на сходе при устройстве школы и спрашивает: «Чему учить ваших детей?» А они отвечают: «Научи считать по счетам, да чтобы читали псалтирь над упокойником!» И больше ничего не могли прибавить.

Все засмеялись. Мое положение становилось плохо. Он быстро воспользовался своим преимуществом.

— Для того чтобы знать, чему учить других, нужно прежде всего самому знать все науки, а то и мы можем оказаться в таком же смешном виде перед теми, кто их уже изучил.

— Но ведь и кончившие университет говорят, что там теперь чисто казенное, сухое, специальное обучение в одной какой-нибудь области и общего знания не дается. Оно теперь лучше всего достигается самообразованием.

— Разве я,— возразил он,— против чтения и самообразования? Мы здесь все читаем много и вместе и порознь такого, чему нас не учат. Я только говорю, что без правительства нельзя жить, что будет всеобщий грабеж и начнут убивать друг друга.

Меня так и подмывало отпарировать ему часто слышанной

мною всеупрощающей фразой Кравчинского и Алексеевой: как только не будет частной собственности и начальства с палкой, так все люди почувствуют себя братьями и сестрами, и никому и в голову не придет делать что-нибудь дурное. Но в глубине души я сам не верил в этот всеобщий рецепт, бывший тогда в большом ходу среди молодежи.

— Анархию, — ответил я, — в тех книгах понимают как общественный строй, где не будет больше лишь такого начальства, которое стоит с кулаком над головами всех нена начальствующих. И такая анархия придет рано или поздно!

— Как же она придет?

— Вы ведь убеждены, — хитро спросил я его, — что человечество идет вперед с каждым поколением и совершенствуется?

— Да, это ясно видно из истории.

— Ну вот! — воскликнул я, торжествуя, что он попался. — Представьте, что наступило такое время, когда все вопросы между народами стали обязательно решаться по согласию, без войн. Ведь тогда не надо будет и войск, а с ними и военного министерства! А когда человечество нравственно разовьется до того, что воровство, грабеж, насилие станут ему так же противны, как нам теперь людоедство, тоже процветавшее у диких, но уже никому из нас не приходящее в голову, тогда не нужно будет и полиции и судов! Значит, и министерство юстиции и полиция исчезнут с лица земли. Что же останется тогда от правительства? — Министерство народного просвещения, а оно уже и не начальство, потому что ему подчиняются только дети!..

Я, конечно, не помню всех деталей этого, памятного для меня вечера, где я впервые исполнял поручение только что принявшего меня в свои члены тайного общества и от результатов своей миссии ждал того или иного отношения ко мне товарищей. Я многое совсем позабыл, но последний эпизод спора ярко остался у меня в памяти. Когда мы оба утомились, Армфельд снова заговорил тем же слишком солидным низким тембром, показывающим, что он мысленно округляет каждую свою фразу, стараясь выразиться литературно.

— Теперь, когда вопрос уже выяснился, было бы желательно определить к нему наше отношение, которое осталось неясно, так как говорили, главным образом, только двое, а большинство лишь слушало молча. Пусть же кто находит, что мы должны принять участие в революционном движении, которое происходит теперь, поднимет одну руку.

Поднялось огромное большинство рук.

— А теперь пусть поднимут руки те, кто думает, что надо устраниваться!

Поднялось только четыре руки, в том числе и Карелина.

Это было так неожиданно для меня! Считая себя пришельцем извне в уже сформировавшийся товарищеский кружок, я всех молчавших считал настроенными против себя, и вдруг вышло совершенно наоборот!

Карелин, напротив, казался очень опечаленным. Теперь я понял, почему он начал свой спор в этот вечер так раздражительно. «Они,— подумал я,— очевидно, виделись друг с другом еще до моего прихода, и интерес большинства к начавшемуся движению тогда же выяснился. Значит моя сегодняшняя заслуга для расширения революционного движения вовсе уж не так велика в действительности! Это не я вызвал переворот среди них своим приходом! Он был подготовлен в их душах еще ранее, а я прямо попал на благодатную почву!»

Нам принесли разных холодных закусок вместо ужина. В первом часу ночи все остальные разошлись, а я остался ночевать у Армфельдов. Перед сном меня пригласили еще вниз посидеть с его матерью и сестрой, и последняя, узнав от брата о результатах голосования, была, очевидно, чрезвычайно довольна. Она приписала все мне и перед прощанием крепко и многозначительно пожала мою руку.

Так начался новый кружок в Москве, поставивший своей целью распространение революционных идей среди учащихся в средних учебных заведениях, и его начали называть по моему имени. К этому кружку я вскоре присоединил и свой прежний, бывшее «Тайное общество естествоиспытателей». Мы собрали в разных местах с тысячу книг научного и литературного содержания и, прибавив к ним и заграничные издания, полученные мною через Петербургское отделение, устроили у Армфельда общественную библиотеку, в которой могли бывать все, рекомендованные кем-либо из наших членов. Устройство библиотек казалось тогда лучшим средством для знакомства с наиболее активной в умственном отношении частью молодежи и для привлечения ее к движению. Только Карелин и трое из его ближайших друзей не вошли в преобразовавшийся кружок.

Вспоминая теперь ретроспективно прошлое и задавая себе вопрос, действительно ли был прав Карелин, отстранившись от начавшегося движения, я могу сказать лишь одно: по внешности он был прав, потому что сбылись все его предсказания о гибели. Вся активная часть кружка попала в следующем же году в темницы, в ссылку, а некоторые и на каторгу. Но он был прав именно лишь по внешности, а не по внутреннему содержанию, так как дальнейшая история движения показала, что наши труды не погибли бесследно, хотя цель пробуждения России от ее

тысячелетнего сна и была достигнута не так, как предполагали важнейшие вожди тогдашнего движения, а, как увидим дальше, несколько своеобразно, причем враги наши своими гонениями помогли развитию и распространению освободительных идей несравненно больше, чем сами их провозвестники.

Да и в личном отношении выиграл ли Карелин?

Не казалось ли ему не раз потом, через много лет, в тиши его профессорского кабинета, что молодость его прошла слишком тускло, что в ней не было ни одного выдающегося пункта для того, чтобы остановиться на нем с отрадой? И не завидовал ли он порой нам, погибшим и погибавшим, но жившим яркой жизнью? Кто может рассказать это теперь после его смерти?

1. Перед лицом прошлого

Как давно все это было! Сколько типичных, выразительных лиц прошло с тех пор перед моими глазами и погибло в темницах или исчезло где-то вдали! Сколько событий после этого случилось!

Прошли три длинных томительных года первого заключения, прошла кипучая деятельность в «Народной воле», прошли бесконечные двадцать пять лет убийственного заточения в Алексеевском равелине Петропавловской крепости и Шлиссельбурге, прошло семь лет увлекательной научной деятельности, публичных лекций, докладов на конгрессах и заседаниях в ученых обществах, и вот я вновь сижу в крепости и смотрю теперь сквозь железную решетку ее окна на короткий переулок передо мною, на низкое желтое здание пожарного депо по другую сторону, с его входами в виде высоких арок, и на круглые вершины лип за его красной крышей на фоне тусклого осеннего неба с трехцветным национальным флагом, развевающимся на высоком шесте направо от этих вершин, над комендантским домом. Часовой мерно ходит взад и вперед под моим окном...

Многое из пережитого мною потускнело и даже стерлось совсем в моей памяти, но многое и осталось, яркое и отчетливое, как будто только сейчас записанное...

И это всего лучше для моего теперешнего рассказа!..

В те дни, о которых я пишу, мне очень не хотелось погибать, но не хотелось и презирать себя, хотелось быть хорошим.

И это последнее желание непреодолимо влекло меня к опасности, каждый день встававшей передо мной благодаря начавшимся арестам, когда никто из нас не знал, что через полчаса его не замкнут в одиночную камеру, как в могилу. После первого известия о каком-либо аресте я уже ходил около его места, зорко следя, не осталось ли там кого-нибудь, кого можно еще спасти?

Было и жутко, и радостно, и горько за то, что всякий раз спасти мне было некого: в домах оказывались одни засады, и больше ничего.

Была ли моя логика эгоистичной? Так назвала ее мне раз девушка-великан, Наташа Армфельд, мой новый друг, когда я развивал ей свои мысли.

— Я не знаю, эгоистичны они или нет,— ответил я ей,— но я только чувствую, что об этих мыслях мне не стыдно вам рассказать,— значит, по моей мерке, в них нет ничего дурного.

— Во всяком случае,— ответила она,— это хороший эгоизм! Но мне жаль, что вы совсем сделали следопытом, как в романах Купера, и погибнете на таком пути.

— Не погибну! — отвечал я.— Я уже приобрел большой навык.

Этот разговор является моим первым ярким воспоминанием, рельефно выступающим из низин, окончательно залитых волнами забвения. К тому времени прошли, должно быть, недели три после моего первого дебюта у Армфельда. Те из товарищей его кружка и моего, которые не разъехались далеко на каникулы, а жили у родителей летом в самой Москве или на окрестных дачах, по-прежнему сходились на наши субботы, но их было уже немного, и с каждым днем становилось все менее и менее.

Тоска бездействия начала овладевать мною.

Когда Клеменц и Кравчинский рассказывали окружающим свои впечатления при хождении в народ, их деятельность казалась мне такой выдающейся в сравнении с моей жизнью в потаповской лесной кузнице. При первом же собрании немногочисленного московского отделения нашего тайного общества я сказал:

— Мне здесь теперь совсем нечего делать. Нельзя ли мне пойти опять в народ, но только не в одно место, а походить в нем, чтоб видеть настроение в разных местах и распространять наши книжки?

— Куда же ты хотел бы? — спросил Шишко за всех.

— Мокрицкий говорил мне, что в одном селе, почти посередине между Курском и Воронежем, где он давал уроки в прошлом году летом, есть выдающийся крестьянин, грамотный и интересующийся общественными и политическими вопросами. Очень возможно, что у него удастся устроить пункт для революционной деятельности в окрестностях.

— Это хорошо! — сказал Кравчинский.— И даже лучше, чем толчаться здесь и осматривать шпионские засады в пустых домах, посылке арестов.

— И я тоже думаю,— заметила Наташа Армфельд.— Если

он, ходя в народе, долго не будет оставаться на одном месте, то всегда окажется далеко, когда слухи о нем дойдут до станового.

И вот меня отпустили ходить в народе с запрещенными книжками.

Так кончается этот яркий островок моих воспоминаний, а затем выступает другой.

2. Юная энтузиастка

Вместе с Наташей Армфельд мы пошли в ее дом около Арбата, где ждал нас ее брат.

— С тобой хочет познакомиться одна интересная барышня,— сказал он, едва я вошел.

— Кто такая?

— Лиза Дурново,— племянница нашего губернатора, с которым я знаком еще по моему отцу. Она только что окончила институт и тоже хочет участвовать в революции. Я рассказал ей о тебе, и она очень просила привести тебя. Она живет у губернатора, и он ее очень любит.

Я посмотрел на свой костюм. Он не вполне подходил для губернаторской гостиной, хотя бы и в летнее время. На мне была коричневая курточка в охотничьем вкусе, которую откуда-то добыл для меня Кравчинский, и серые панталоны,— его же подарок после моего возвращения из деревни Писарева, так как перед уходом в народ я роздал все свое имущество товарищам. Армфельд достал мне чистую дневную рубашку и темно-красный галстук с черными, как глаза, пятнами.

Мне специально почистили сапоги, и мы отправились к губернатору. Мне было очень смешно, проходя в его подъезде мимо полицейских и часового, думать, что как раз теперь меня по всей России и даже здесь в Москве разыскивают власти, и это обстоятельство сразу придавало моему визиту романтический характер, который мне так нравился в заговорщицкой деятельности.

— Дома Елизавета Петровна?— спросил Армфельд лакея в ливрее.

— Дома-с! Пожалуйте! — отвечал тот ему, как знакомому, и послал кого-то доложить.

Мы вошли в большую гостиную с рядом высоких окон, выходящих на площадь. Перед нами на полу стояли в кадках пальмы и другие вечнозеленые растения. В углу против двери находилась кушетка с изящным столиком перед нею, а за ней было вделано в стену широкое большое зеркало, так что, полулежа на кушетке, можно было смотреть в зеркало и разглядывать все, что

происходит в комнате, не делая вида, что наблюдаешь. Во втором углу, у той же боковой стены, стоял другой диван, обитый малиновым бархатом, и перед ним овальный столик и несколько стульев. На столике лежали какие-то альбомы.

Некоторое время мы в одиночку рассматривали картины на стенах, но вот шумно отворилась внутренняя дверь, и к нам в комнату вбежала высокая, стройная барышня с матово-бледным лицом и огромными, лучезарными глазами. Это и была Лиза Дурново, которой потом суждено было сыграть немаловажную роль в начинавшемся освободительном движении.

— Вы, верно, Морозов? — очень тихо сказала она, слегка смущаясь, так как очутилась со мною лицом к лицу.

— Да, — ответил я.

— Присядем в уголке, там будет всего удобнее! — добавила она, поздоровавшись с подошедшим Армфельдом.

Она указала нам на упомянутый малиновый бархатный диван, где мы и разместились уютно кругом столика. Несмотря на свою живость, она не была бойкой барышней. В ней было что-то слегка застенчивое, но не очень, и это делало ее особенно симпатичной.

Мы начали говорить об ушедших в народ и о моих надеждах на скорое водворение у нас федеративной республики, как в Швейцарии и Соединенных Штатах. Она особенно идеализировала наше крестьянство, о котором составила себе представление почти исключительно по стихотворениям Некрасова. Она помнила большинство этих стихотворений, как помнили и все окружающие меня тогда.

— До них, — сказала она, — я считала образованных людей много выше, чем простой народ. А после них убедилась, что образованные люди теряют то, что всего дороже, — душевную чистоту. Они же показали мне, что все, что ни сделано, сделано руками простого народа.

— А вам не показалось, — возразил я ей, как раньше у Алексеевой Аносову, защищая науку, — что в «Железной дороге» Некрасова есть серьезное упущение? Наряду с образом землекопов, погибающих при постройке железнодорожного полотна, ему следовало бы для полноты прибавить и образы тех мыслителей, которые думали в тишине бессонных ночей и нередко при враждебном отношении окружающих, как воспользоваться силой пара, и, наконец, придумали это. Я бы на его месте вспомнил и о тех инженерах, которым надо было много лет учиться, чтобы знать прочность материалов. Ведь не все они потеряли человеческий образ! Тогда стихотворение вышло бы полнее.

— Но их немного, а рабочих тысячи. К ученым относятся с уважением, а о простом народе все забывают. Вот Некрасов и

исправил это, указав, что главный труд во всем, что сделано, принадлежит простому народу и что благодарить за все надо его.

— Это верно,— согласился я.— Но я не хочу только забывать и тех, кто трудится не руками, а головой. Всякий, кто трудится так или иначе, имеет право жить. Не имеет права лишь тот, кто ничего не делает, а только болтает языком.

Ее мать быстро вошла в комнату, явно обеспокоенная, и, поздоровавшись с нами, села с каким-то рукоделием на уже описанную мною кушетку под широким зеркалом в стене.

— Маме не слышно,— сказала Лиза Дурново, заметив мой вопросительный взгляд.— Окно около нее открыто, и шум с улицы не прекращается ни на минуту. Она знает мои взгляды и сначала не хотела, чтобы я имела своих знакомых, но я сказала, что убегу из дому, если мне не будут давать видеть людей одних со мною мнений. Она испугалась и уступила.

Взглянув по направлению к окну, я заметил, что хотя ее мать и сидела к нам почти затылком, но не спускала с нас глаз через зеркало. Ее отражение смотрело теперь оттуда прямо на меня и вызывало во мне чувство неловкости.

Лиза Дурново вновь возобновила наш тихий разговор.

— Мне очень хотелось бы видеть вас в рабочем платье. Где вы переодеваетесь, когда ходите к рабочим? Ведь прислуга и дворники могут заметить и донести. Приходите переодеваться к нам. У нас в коридоре есть дверь в комнату, где стоят разные ненужные вещи, и никто туда никогда не входит. В обыкновенном платье вы будете входить и уходить с парадного подъезда, а в рабочем из этой комнаты, по коридору, черной лестницей. Она выходит в переулок на другую улицу, а я буду сторожить в коридоре и стучать вам пальцем в дверь, когда можно безопасно уйти.

Идея эта мне понравилась, хотя я и опасался мамы. Мне очень хотелось показаться Лизе Дурново в рабочем костюме, и потому я ответил:

— Я завтра уйду на несколько недель в народ, и если это удобно, переоденусь у вас.

— Хорошо! Моя горничная очень меня любит и не выдаст. Я ее пошлю сегодня же к Армфельдам. Отдайте ей ваше рабочее платье в узелке и книги для народа. А завтра... когда вы придете переодеваться?

— В два часа дня. Затем я отправлюсь пешком, сяду в курский поезд и буду ходить в виде рабочего по Курской и Воронежской губерниям.

— А потом, когда возвратитесь, можете прийти прямо ко мне черным ходом. А выйдете, переодевшись, опять по парадной лестнице! — улыбаясь прибавила она.

3. Путешествие в народ из губернаторского дома

Ровно в два часа я был снова в губернаторской гостиной. Сейчас же явилась туда и Лиза.

— Пойдемте скорее,— сказала она.— Я боюсь, что опять войдет мама и тогда будет неудобно переодеваться.

Она повела меня в коридор и в свою комнату-склад, где под запасными кроватями лежал мой мешок для путешествия.

— Вы долго будете переодеваться?

— Нет. В три минуты буду готов.

— Так я вам стукну в дверь два раза пальцем через три минуты, если можно будет выходить. А то ждите, пока не дам сигнала,— и она ушла в коридор, затворив осторожно дверь.

Я подошел было к двери, чтобы закрыть ее изнутри, но там не было ни ключа, ни задвижки. Я живо начал переодеваться, но не прошло и двух минут, как по коридору послышались легкие шаги, дверь в мою комнату быстро распахнулась, и в ней на мгновение появилась ее мать, уже известная читателю наблюдательница через зеркало. Увидев меня в полном дезабилье, она тотчас же закрыла дверь, послышались ее дальнейшие быстрые шаги, затем какие-то оживленные женские голоса, стук затворившейся двери, и все стихло...

Можно себе представить, каково было мое положение. Что мне делать? — Окончить мое переодевание рабочим или опять надеть свое платье? Инстинкт подсказал мне окончание начатого, так как иначе нельзя будет объяснить, зачем я попал сюда. И вот я вмиг превратился в рабочего и перебросил за плечо свой путевой мешок.

Прошло несколько томительных минут, затем что-то скрипнуло в коридоре, и раздались два тихих удара в мою дверь. Я живо отворил ее и предстал перед смущенной Лизой.

— Это ужасно,— сказала она.— Мама опять почуяла, что вы пришли, и, не найдя нас в гостиной, вошла в коридор, когда я стояла в другом его конце, и по пути нарочно заглянула в эту комнату, в которой целый год не бывала. Она говорит, что все вышло случайно, но я ей сказала решительно, что непременно уйду из дому, если за мной и за моими друзьями будут так следить! И вот увидите, я уйду, если она расскажет дяде или сделает еще раз что-нибудь подобное! — воскликнула она с отчаянием.— Ну, а теперь пойдемте на черную лестницу, где нам удобнее будет разговаривать.

Мы вышли и стали в полутьме на площадке.

— Итак, непременно приходите обратно ко мне же. Ваше

платье будет ждать вас здесь. Вызовете меня через кухню. А мамы не опасайтесь, она больше всего боится, что я уйду из дому и тоже пойду в народ.

Мы дружески распрощались, и она, несколько успокоившись, внимательно, с интересом осмотрела меня в виде рабочего.

Я вышел в переулок и пошел, затерявшись в серой толпе рабочего народа, по направлению к Курскому вокзалу.

В душе было беспокойно. Я чувствовал, что, несмотря на возникшую во мне большую симпатию к Лизе Дурново, я не буду в состоянии приходить в ее дом, чтоб чувствовать вновь на себе наблюдательный и недружелюбный взгляд ее мамы и вспоминать, как она застала меня переодевающимся в комнате.

«Нет! — думалось мне. — Лучше провалиться сквозь землю! А с Лизой надо будет назначать свидания у Армфельдов или где она сама укажет, но только не в губернаторском доме».

Однако раньше, чем я дошел до вокзала, эти мысли заменились у меня другими.

Странное чувство овладевает вами, когда, переодевшись в простонародный костюм, вы идете в виде рабочего по знакомым вам улицам шумного города. После нескольких первых дебютов вам кажется, что вместе с вашим привилегированным платьем вы оставляете за собой и весь привилегированный мир, в котором до сих пор вращались. Кажется, он вдруг ушел от вас куда-то далеко-далеко. Ни молодые барышни, ни дамы и никто из прилично одетых мужчин большею частью даже и не взглянет на вас при встрече, а если и взглянет, то их взгляд скользнет по вашей фигуре без всякого интереса, как по предмету совершенно ничтожному, чужому, и направится на кого-нибудь другого, лучше одетого. Такая отчужденность невольно начинает охватывать и вас. Для вас становится вполне возможным то, на что вы в прежнем костюме никогда бы не решились. Никакая яркая заплатка на локтях, никакие брызги грязи или мазки штукатурки от свежевыбеленных стен, к которым вы прислонились, больше не смущают вас. Вы уже знаете, что ничей глаз не спросит вас своим выражением: где это вы так выпачкались? Почувствовав, что сапог вам давит ногу, вы выбираете первое место, где мостовики мостят улицу, садитесь около них на землю и, сняв сапог, поправляете скомкавшуюся подвертку, а то ложитесь в предместье у забора или на берегу придорожной канавы и, подложив под голову свою протянутую руку, греетесь на солнце.

И это чувство отчужденности от всего привилегированного мира так быстро охватило меня, что сразу заслонило и милую фигурку Лизы Дурново¹⁶, и Алексею, и Кравчинского, и Армфельда с его сестрой, великаншей Наташей.

IV. Большая дорога¹⁷

1. Иерусалимский странник

Горячее июльское солнце высоко стояло на безоблачном небе, когда я выходил из предместий города Курска на большую дорогу, ведущую в Воронеж. Впереди расстилалась холмистая степь. Высоко волновалась повсюду пшеница, качаясь направо и налево под легким дуновением ветерка, как безбрежное море. Прямо передо мной уходила куда-то, казалось, в неизмеримую даль, широкая полузеленая лента большой дороги, с извивающимися по ней бурыми колеями проезжих путей, и мне невольно вспомнилось заученное в гимназии стихотворение:

Большая дорога, степная дорога,
Не мало простора взяла ты у бога...¹⁸

— Когда-то я дойду по ней до окончательной цели своего пути — Воронежа, до которого, по карте, около трехсот верст!..

Никогда еще не приходилось мне путешествовать на такое расстояние пешком и совершенно одному, затерянному во всем мире! Было и жутко и радостно. Чувство беспредельной свободы по временам охватывало меня.

«Как хорошо,— думалось мне,— хочу иду, хочу сижу, хочу лягу на краю дороги и буду лежать сколько мне угодно, и никто этому не воспротивится, и никто не удивится и не обратит на меня даже внимания. Ведь я теперь простой рабочий! А их так часто можно видеть лежащими на земле, где попало!»

Но мне совсем не хотелось ни лежать, ни сидеть. Мне хотелось лучше бежать вприпрыжку, обнимать деревья, целовать ласковые, скромные, придорожные цветы. По временам вблизи пролетала голубая или коричневая бабочка, и мне казалось, что в огромной степи, живущей своей собственной жизнью, я — лишь такое же незаметное живое существо, как и эти мотыльки, как и эти ползавшие в траве мелкие букашки.

Я чувствовал под собой громадность несущего меня земного шара. Я старался представить внизу все толщи его наслоений, до самого далекого центра, и сквозь него другую сторону, где катятся теперь волны Тихого океана в моем антиподе около берегов Новой Зеландии. Но как я ни старался, я не мог охватить своим умом всей этой громады, не мог, смотря вдаль, уловить даже кривизну земной поверхности, представить себе даже сравнительно небольшое расстояние до Воронежа, куда должен идти еще много дней! Моя мысль, не стесненная разговорами окружающих людей, в умственные и обыденные интересы которых непременно входил, живя в обществе, неслась своим естественным путем, и ничто не возмущало ее хода.

Все, казавшееся благодаря прежней близости таким большим и важным, уходило теперь вдаль и принимало естественные размеры.

Мне уже не хотелось более проваливаться сквозь землю, только оттого, что сестра московского губернатора застала меня полураздетым у себя на квартире. Ведь я тогда не делал ничего дурного, и дочь ее уже растолковала ей это! Мне даже стало вдруг смешно, припомнив всю сцену, а вслед за тем и жалко бедную женщину, которая, естественно, боится за свою дочь и, верно, воображает о нас, революционерах и провозвестниках новых идей, те же небылицы, как и мой отец, как и все остальные отцы и матери и все люди с положением в обществе, с кем мне приходилось встречаться! «И никогда они не поймут,— думалось мне,— что главный враг их детей и всей России — тираническое правительство, этот вечный враг всего живого!»

Из глубины души вновь поднялся образ моей матери. Что-то она делает теперь? Может быть, плачет обо мне? И грустная волна поднялась к самому моему сердцу...

Но солнце светило так радостно на небе, длинные стебли пшеницы так приветливо кивали мне своими колосьями, теплый степной ветерок так нежно ласкался по временам к моим разгоряченным от быстрого хода щекам, и пролетающие мимо бабочки, казалось, все хотели поздороваться со мною, сделав на пути круг или два около моей головы... Печальные мысли и образы быстро улетали куда-то вдаль и оставили место только радостному и бодрому! Привычка переноситься от внешних зрительных ощущений к внутренней сущности предметов, выработавшаяся ранним интересом к естественным наукам, действовала и здесь, нашептывая мне мысли о моей нераздельности с окружающим миром.

«Вот она, безбрежная голубая неведомая даль! — думал я, когда дорога поднялась на вершину холма.— Она так манила меня к себе еще ребенком, и теперь я, действительно, иду в нее...»

Длинная, высокая фигура странника с посохом, в черной поддевке и в скуфейке, вроде монашеской, приближалась ко мне.

Я уже давно заметил его вдали дороги, как первого встречного в степи, где не было видно кругом ни одного селения, ни одной живой души, ничего, кроме двух стен колосьев направо и налево. Он быстро направился прямо ко мне.

— Здравствуй! Здравствуй! — радостно воскликнул он. — Я давно тебя ждал! — И, подбежав, он крепко охватил меня своими длинными цепкими руками и вlepил в мои губы жирный мокрый поцелуй.

«Он ждал меня? — мелькнула суеверная мысль. — Значит, он знает, кто я и зачем иду? Но как он мог бы обо всем узнать? И как мне теперь быть? Вдруг он донесет?»

— Пойдем! Пойдем во святой Иерусалим! Давно я тебя ждал! — и, вновь облобызав меня как-то разом по всему лицу и заслюнявив мне губы, щеки и весь нос, он потащил меня в сторону дороги, раньше чем я успел опомниться.

«Сумасшедший!» — мелькнула у меня мысль.

В то же мгновение как будто электрический удар прошел по всему моему телу. Он рванул мои локти врозь с такой невообразимой для меня силой, что руки иерусалимского странника, связывавшие меня, как крепкой веревкой, мгновенно оторвались друг от друга и разошлись в обе стороны. Почувствовав свободу, я оттолкнул его от себя сразу обеими руками так, что он кувырком полетел на землю, а я, повернувшись на ногах, как на пружине, пошел быстрым шагом далее по своему пути.

Что-то неведомое, находящееся в области моего бессознательного, не позволяло мне и в этот раз бежать, как не позволяло и во всех остальных случаях при опасности. Я шел быстро, но разве лишь немного скорее, чем если бы продолжал прежний путь. Только правая рука тотчас же опустилась в карман и взялась там за ручку револьвера, да глаза неотступно следили за дорогой, по которой моя тень тянулась прямо передо мной.

Я был готов сейчас же отскочить в сторону и защищаться с оружием в руках, если около моей тени покажется и его тень, обнаружив собою его близость сзади. Но пройдя сотни полторы или две шагов и не видя у своих ног никакой чужой тени, я, наконец, оглянулся назад. Странник-богомолец сидел на дороге, на своем прежнем месте, его ноги были вытянуты вперед и широко раздвинуты, а длинные руки, как две ножки циркуля, подпирали его откинутое слегка назад туловище, с которого с каким-то тупым изумлением еще смотрела на меня его облезлая, круглая, одутловатая голова с редкой всклокоченной бородой. Его скуфейка лежала на земле около него.

Я быстро пошел дальше, стараясь обтереть рукавом со своего носа и губ его слюну.

Если вам случилось когда-нибудь встречать после долгого отсутствия знакомую вам собаку, и она, с радости прыгнув на вашу грудь, облизывала вас одним движением своего длинного языка рот и нос до самого лба, то вы только отчасти поймете мой порыв сейчас же бежать и вымыться.

«Еще заражусь какой-нибудь неизлечимой скверной болезнью!» — думалось мне.

Уйдя из вида богомольца, я в отчаянии бегом побежал по дороге в надежде найти около нее какой-нибудь ручеек или хоть канаву, чтобы умыться. Но впереди, сколько ни хватал глаз, была одна безводная, поросшая волнующимся хлебом степь. Пот капал с моего лба, и его струйки, казалось, только размазывали слюну странника. Я достал из своего мешка сначала одну, потом другую тряпку, — так как носовых платков в моем положении не полагалось, — и, перестаравшись в вытирании, растер ими чуть не до крови свое лицо.

Я бежал, с тоскою в душе и с запекшимися от жара губами, постоянно отплевываясь, все далее и далее, и вот, часа через два передо мною открылась вдруг удивительная местность. Как-то разом, неожиданно, так сказать, прямо перед моими ногами появилась среди желтеющих хлебов глубокая, ярко-зеленая долина, посреди которой вылась широкая серебристая лента извилистой реки. Фруктовые деревья росли повсюду внизу и склонялись своими ветвями над тихими водами, уходя направо и налево в бесконечную даль. Большие селения с белыми хатами, совсем как на картинках в рассказах из украинской жизни, виднелись в разных местах, и одно из них было прямо передо мной за деревянным мостиком через речку.

Бегом бросился я к речке и, спустившись по ее крутому берегу, начал обмывать тепловатой водой чуть не сотни раз свое разгоряченное лицо.

Это несколько успокоило меня.

«Будь что будет! — решил я. — Может быть, у того помешанного богомольца и нет никакой заразной болезни! Но неужели он, действительно, хотел меня задушить и ограбить, а потом замолить свои грехи в Иерусалиме? Больше ничего другого не остается подумать. Насильно тащить меня всю дорогу в Иерусалим явно невозможно».

Я сел у реки в прохладной тени прибрежной ивы. Глядя на село, в котором я решил сегодня переночевать и в первый раз попытать свои силы на самостоятельной работе в народе, я вспомнил о той неожиданной силе, которая вдруг появилась у меня,

когда я оттолкнул странника. Ведь в обыкновенном состоянии, — думалось мне, — у меня нет и третьей доли такой силы! Когда товарищи охватывали меня в игре обеими руками кругом тела, я никогда не мог высвободить своих локтей, а он много сильнее их! Между тем, когда я рванулся, его руки порвались, как гнилая мочала!

Я вспомнил, что в моей жизни был уже такой случай.

В моем уме пронеслось то время, когда я только что поступил во второй класс гимназии, и отец определил меня жить в семейство моего бывшего гувернера Мореля. Там были, кроме матери-польки, две его сестры, прехорошенькие гимназистки средних классов, два их брата — мои товарищи по гимназии, и длинный шестнадцатилетний, совершенно испорченный морально, племянник Андрючик, готовившийся у них в юнкерское училище.

Выросший в деревне среди полей и лесов и лишь недавно попав в столичное общество, я был, конечно, очень застенчив, особенно в присутствии старшей гимназистки, которая казалась мне небесным существом, явившимся на землю из какого-то волшебного мира. Огромный и малоспособный Андрючик, волочившийся за нею, захотел показать в ее присутствии свое преимущество передо мною и в первый же вечер, как только мать ушла, потащил меня из моей комнаты в гостиную, сказав, что Саша (старшая сестра) зовет меня посидеть с ними.

Я вышел и скромно сел перед столиком среди остальной компании, спиной к комнате, а за моим стулом стал Андрючик. Меня начали спрашивать о моем доме в деревне, о родных. Я отвечал так, как отвечают на вопросы учителей в гимназии, а он, как оказалось потом, все время показывал над моей головой рога из своих пальцев и выделывал всякие смешные фигуры. Это вызывало непонятные для меня улыбки окружающих, которые я принимал на свой счет. Я думал, что говорю глупости, и потому был очень огорчен за свою несветскость и неумение вести хорошие разговоры. Моя видимая застенчивость еще более поощряла Андрючика, и вдруг я почувствовал на своем темени сильный щелчок. Совершенно не привыкший к чему-либо подобному и доброжелательный ко всем, я сначала даже ничего не понял и просто с изумлением взглянул назад. Там никого не было, кроме Андрючика, стоявшего боком ко мне, сложив руки, и, по-видимому, рассматривавшего картину, висевшую на стене.

«Не почудилось ли мне?» — пришло мне в голову, и я продолжал далее свой рассказ.

Через минуту я почувствовал второй щелчок по темени и снова, взглянув назад, увидел ту же сцену.

«Значит, это он? и нарочно?» — подумал я и вдруг почув-

ствовал, словно что-то поднялось изнутри к моим вискам. Однако природная сдержанность или просто незнание, как надо поступать в таких случаях, да и то обстоятельство, что все мои собеседники, судя по выражениям их лиц, ничего не замечали, заставили меня тотчас же снова повернуться к столу, чтобы окончить свой рассказ.

И вот через минуту я ощутил третий щелчок по темени...

Совершенно такой же внутренний гальванический удар, как теперь в цепких объятиях иерусалимского странника, словно пружиной приподнял меня со стула. Он повернул меня на моем месте, сжал мои кулаки, и на грудь и живот Андрючика посыпались их удары с совершенно неожиданной для меня молниеносной скоростью. Он был вдвое больше меня и вдвое сильнее. И я, и он, и все окружающие это знали. Он хватал меня за руки, но они сейчас же вырывались, казалось, без всяких моих усилий. Он пробовал бить меня, но я, как будто не ощущая боли, взамен каждого удара наносил ему десять.

И вдруг он побледнел, как полотно, и, закрыв руками свою грудь, начал отступать через всю комнату, пока, наконец, не уперся спиной о печку. Я дал ему еще несколько ударов и сразу, совершенно успокоившись, повернулся и пошел к столу, намереваясь окончить прерванный рассказ, как будто ничего не случилось.

Но вся публика у стола была на ногах, повскакав при самом начале нашей схватки. Все с изумлением смотрели на меня; никому и в голову не приходило, чтоб я мог справиться с Андрючиком, который в обыкновенной борьбе сейчас же бросал меня на землю.

Всеобщее сочувствие было на моей стороне.

— Так его и надо! — раздались голоса кругом. — Вот хорошо, что вы его проучили! Но кто бы мог подумать, что вы такой сильный?

— И когда он дал вам последний щелчок, — сказала Саша, — у вас из глаз как будто посыпался целый сноп искр, понимаете, искр, настоящих, и вы совсем преобразились! Ах, почему вы не всегда такой? — закончила она, наивно обнаруживая свой идеал героя, в которого она сейчас же готова была бы влюбиться, не позаботившись заглянуть в глубину его души.

И вот, теперь, сидя на берегу реки и сопоставляя оба случая, я припомнил рассказы, как в припадке белой горячки даже слабый человек разбрасывает вокруг себя несколько сильных, и никто не может удержать его. Не такой ли горячечный припадок происходил оба эти раза и во мне в момент сильного нервного напряжения? — думал я. — И, пробегая мысленно свою жизнь, я припомнил и еще один такой же случай, но слабее, происшед-

ший в нашем имени, когда горничная Таня сломала у меня редкую бабочку, которую я, засушив, показывал на булавке домашним: я так схватил ее тогда за руку, что ей показалось, говорила она потом, будто ее обожгли железными клещами, и она со страху тут же села на землю.

Больше со мной никогда не было ничего подобного, но мысль, что в минуту крайней необходимости это опять случится, придавала мне самоуверенности. Мне казалось, что если вместо странника появится передо мной медведь, то я своим толчком свалю также и его. Взамен прежней тревоги я почувствовал себя так, как будто только что совершил какой-нибудь героический подвиг. Комическая фигура богомольца, сидевшего на земле в виде опрокинутых козел для пилки дров, заставила меня впервые рассмеяться. Теперь, когда я несколько раз вымыл свое лицо в речной воде, страх перед заразой совершенно прошел, и я, очнувшись от своих мыслей, стал смотреть на окружающую меня деревенскую жизнь.

2. Старый дид

Паробки и дивчины в своих белых рубашках группами возвращались в деревню, с длинными железными косами в виде граблей на плечах. Коровы, мыча, прошли по мосту за ними, и мне вспомнилось стихотворение Аксакова:

Жар свалил. Повеяла прохлада.
 Длинный день окончил ряд забот,
 По дворам давно загнали стадо
 И косцы вернулись с работ ¹⁹.

«Как у него все верно!» — думалось мне, и поэзия окружающего начала проникать в мою душу.

Но это продолжалось недолго, так как голод скоро начал давать себя знать. Поднявшись из-под своей прибрежной ивы и вытягивая усталые члены, я пошел в деревню и постучал в окно первой же хаты.

— Пустите переночевать, — говорю.

— А ты откуда будешь? — раздался полухохлацкий голос выглянувшего ко мне благообразного диды. Другие, более молодые, лица кучей выглядывали с любопытством из-за его спины.

— Из Курска иду в Воронеж.

— Ох, как будто ты и не курский! — сказал, покачивая головой, хозяин.

— Почему?

— А не чисто говоришь!

Его слова заставили меня внутренне улыбнуться. Вот, думалось, этот старик, говорящий смесью русского и украинского, как, очевидно, и все в его местности, считает, что только его содеревенцы говорят чистым языком, а интеллигенция и все великорусы — не чистым!

— Я говорю по-московски, потому что работаю с десяти лет там, на фабрике, а в Воронеж иду навестить родных.

Его не удивило, что из Москвы я поехал в Воронеж через Курск, когда есть прямая дорога. Для деревенских людей, всю жизнь проживших в своей деревне и никогда не видавших географических карт, можно было ехать в Воронеж из Москвы хоть через Одессу. Старик совершенно удовлетворился моим ответом, пригласил войти в избу и усадил в угол под образами.

До сих пор я и не подозревал, что фабричный в глазах деревенских людей — это уже народная аристократия, человек, у которого многому можно поучиться, с которого молодежь должна брать пример деликатного обращения. Интеллигенция думала тогда совершенно наоборот. Все окружающие меня считали рабочим просто испорченными цивилизацией крестьянами, но мои опыты хождения в народ скоро показали мне, что крестьяне держатся иного мнения.

В этот памятный для меня вечер, когда я впервые очутился один в южнокрестьянской среде, я думал только об одном, как бы чем-нибудь не шокировать моих хозяев.

Ведь у них свой собственный кодекс приличий, думал я, с ним нужно сообразоваться, а я его совсем не знаю.

И я, действительно, скоро нарушил кодекс и шокировал компанию. Хозяйка вынула из печи и принесла на стол большую, круглую деревянную чашку с варевом и затем рядом с ней поставила деревянное блюдо с большим куском вареной говядины. Она положила на стол в разных местах деревянные ложки по числу присутствующих и каравай хлеба посредине. Разговаривавший со мной патриарх встал, а за ним встала и вся его большая семья. Это были: старуха — его жена, двое взрослых усатых сыновей в белых украинских рубашках, недавно возвратившиеся с работы, вместе со своими супругами, и несколько внуков и внучек всевозможных возрастов, молча слушавших, сидя в разных местах, неторопливый разговор со мной старика и мои рассказы о Москве. Все начали креститься на иконы в переднем углу над столом, и я заметил, что особенно приятное впечатление произвело на всех то, что я крестился, как они, двумя перстами по-старообрядчески.

Меня пригласили сесть в знак почета, как гостя, в углу под конами. Старик сел по левую руку от меня и, взявши каравай хлеба, медленно начал резать его на куски и раздавать каждому из нас по одному. Потом он подвинул к себе блюдо с кусками говядины и так же, не торопясь, разрезал их на более мелкие куски, опрокинул их все в варево и подвинул его на середину стола. Откусив кусок от своего хлеба, он взял затем свою ложку, зачерпнул ею варево с поверхности, без говядины, лежавшей в глубине, и поднес ее к своему рту. Проглотив содержимое, он спокойно положил ложку вверх дном на прежнее место и пригласил меня взглядом сделать то же. Я, в простоте души, погрузил ложку на самое дно миски, захватив там кусок говядины, так же важно и не торопясь, как и он, поднес к своим губам, проглотил и обратно положил ложку на ее место вверх дном, стараясь подражать ему во всем. Но, подняв затем глаза, я вдруг заметил по смущенному выражению всех лиц семьи, опустивших глаза в свои колени, что я сделал какое-то страшное неприличие.

«Что такое?» — мелькнуло у меня в голове.

И я сейчас же заметил, что все сидящие за мною повторяют друг за другом то же самое, что и я, но за одним исключением: все черпают, как старик, с поверхности и не берут говядины.

«Так вот в чем дело! — мелькнула у меня мысль. — Мне надо было ждать, пока старик возьмет говядины первый, а не высказывать вперед!»

Мне стало так стыдно, что я весь покраснел, и когда он, по окончании первой половины миски, зачерпнул себе, наконец, с куском говядины, я взял по-прежнему без куска. Я пропустил говядину и во второй круг, когда все остальные брали, и взял ее только в третий, видимо, восстановив этим некоторую долю уважения к себе, как столичному жителю, которому, казалось им всем, следовало бы знать хоть элементарные правила приличий.

Но моя неблаговоспитанность все же очень смущала меня при разговоре, завязавшемся после ужина, и, кроме того, было ясно, что в присутствии главы дома никто из семьи, за исключением старухи, его жены, вставлявшей по временам свои замечания, не будет вмешиваться в разговор.

Однако я все же попробовал начать «пропаганду».

— У нас в столицах, — сказал я старику, — появились люди, которые стоят за нас, рабочих, и за крестьян, и хотят, чтобы все государственные дела решались выборными от народа. Так уж и делается давно во многих иностранных государствах. Все сельские и городские власти и полиция отвечают перед народными избранниками за все свои притеснения, и потому там куда как свободнее жить, чем у нас. Каждый едет, куда хочет, не кланяясь

о паспорте, каждый говорит и пишет, что думает, не боясь, что его посадят в тюрьму. Вот и у нас хотят завести так же.

— А кто же будут эти люди? — спросил он.

— Да и из нас, рабочих, есть, и из господских детей, которые учатся, чтоб стать докторами или учителями!

— Ничего им не сделать, — покачав головой, скептически заметила хозяйка.

— Как же ничего, если весь народ поддержит их? Ведь сколько тысяч простого народа на одного начальника, как же нельзя поставить свое собственное выборное начальство?

— А потому, — ответил старик, — что начальство все вместе, и у него солдаты, а у нас — рознь. Вон за рекой в деревне бунтовали за землю, а как пригнали солдат, все и разбежались по соседним деревням. А окрестные-то деревни так перепугались, что гнали их из изб, чтобы и себе не вышло беды. А ведь все хотели того же, что и те.

— А может, теперь люди стали умнее?

— Уж где умнее! — И старик с сожаленьем посмотрел на своих усачей-сыновей, молча и серьезно слушавших наш разговор. Очевидно, как и все старики, он готов был считать их несовершеннолетними до конца жизни. Мне показалось безнадежным продолжать с ним разговор.

— А кто у вас в семье грамотные? — спросил я, думая снабдить их книжками из своего запаса.

— Да вот молодцы собираются посылать в школу своих ребятшек. Что же, пусть поучатся. Вырастут, выучатся, будут умнее нас, стариков!

И он ласково-шутливо посмотрел на своих законфузившихся внуков.

— Не будем умнее тебя, дедушка! — запищали они, стыдливо заслоняя свои лица до самых глаз рукавами рубашек.

«Будете, будете, друзья мои! Будете умнее, и смелее, и свободнее, чем ваши отцы и деды, выросшие в рабстве, — хотелось мне воскликнуть, но я, конечно, удержался. — Как же теперь быть! — подумал я. — Здесь я не могу раздать даже и нескольких из своих книжек! Неужели и дальше я стану наталкиваться на такую же поголовную безграмотность во взрослом народе?»

Мне, пошедшему главным образом не поднимать, а изучать народ, было ясно, что все виданное здесь мало годилось для осуществления затеваемого нами нового строя, основанного на всеобщем равенстве и братстве, но это меня нисколько не обескураживало. Ведь я лично рассчитывал более всего на свой собственный круг, на интеллигенцию... А эта мирная безграмотная, т. е. все равно, что глухонемая, семья, если и не поможет нам, то не

будет и противиться водворению лучших порядков. Старуха и тогда скажет, как теперь: у них сила, ничего не поделаешь, надо жить по-новому! И старик согласится с нею, а за ними и все остальные повторят их слова, как повторяли за ужином все, что делал дид.

Но, несмотря на разочарование в моей основной цели, новый своеобразный мир, открывшийся передо мною не где-нибудь в Тибете или Туркестане, а внутри нашей собственной страны, невольно увлекал меня на дальнейшие исследования, как увлекали меня до тех пор астрономия, геология, физика и другие науки. Мне казалось, что происходящее кругом меня много занимательнее всякой сказки, и этот сказочный оттенок дошел до высшей степени, когда меня пригласили, наконец, идти спать.

3. Ночь в яслях

— В избе душно,— сказал старик,— мы все спим, кто в сенях, кто на сеновале, а тебя положим в яслях на дворе, там тебе будет хорошо.

Он повел меня через сени на квадратный двор, одной из четырех стен которого служила их длинная хата и ее ворота, а три другие стены состояли из высоких плетней с идущими вдоль их навесами для защиты от дождя. Там местами была сложена солома, местами стояли ясли, а вся середина двора была под открытым небом, с которого смотрела на нас почти полная луна и мерцали знакомые мне с детства созвездия летней ночи.

Вся внутренность двора была залита ярким серебристо-зеленоватым лунным светом, за исключением двух его сторон, с которых падали на землю резкие черные тени, и за ними ничего нельзя было рассмотреть.

Четыре лошади поднялись со середины при нашем приближении, и столько же коров, жуя, флегматично взглянули на нас, не сходя с места. В черной тени двора раздалось козлиное бляенье, но самого козла или козы не было видно во мраке, в который повел меня хозяин.

— Вот здесь ложись,— сказал он мне, указывая в ясли, уже полные душистого сена и, вздохнув о чем-то своем, пошел обратно.

Я тотчас же взобрался в ясли, разулся, чтобы освежить уставшие ноги, прикрыл их чуйкой, положив свой мешок вместо подушки, и лег в полном восторге от этой интересной обстановки, хотя и с некоторым беспокойством.

«А что, если лошадь, придя сюда за сеном, откусит мне ухо, или корова боднет в бок рогами? — подумалось мне, но я сейчас же успокоился: — ведь если б было опасно, меня не положили бы сюда. Значит, они и сами так делают».

И вот не успело пройти и десяти минут, как к моим яслям подошла одна из четырех лошадей. Сначала показался черный профиль ее головы; она осторожно приблизила ее ко мне, обнюхала и, фыркнув, отошла прочь, потом то же сделали и другие три лошади... Затем подошли и коровы, и контуры их рогов в тени, на темно-голубом звездном фоне ночи придавали им что-то сверхъестественное. Они все, обнюхав меня, тихо отошли, не вытащив из-под меня ни клочка сена, и улеглись по различным местам двора.

«Что сказала бы Алексеева, — подумал я, — если б она могла меня видеть в такой обстановке? Что сказал бы Кравчинский, который тоже любит все романтическое?»

Где-то вдали, несмотря на вполне наступившую ночь, раздавался звонкий голос девочки, певшей беззаботно, как жаворонок, одну за другой какие-то украинские песни. И как музыкален был ее голос!

«Почему у нас, в средней России, не умеют так петь?» — с грустью подумалось мне.

Я взглянул вверх на звездное небо, на котором прямо над моей головой светилось созвездие Лиры с яркой Вегой над двумя другими меньшими звездочками. Дальше к северу вилось созвездие Дракона и виднелась Полярная звезда.

Как хорошо было в этом теплом воздухе летней украинской ночи и звонких и далеких звуках этих песен, в этом душистом сене, под звездами, смотрящими отовсюду на меня из вселенной, и между этими добрыми животными, по временам шевелящимися на своих местах!

Моя мечта улетала вдаль, бог знает куда. В сознании перемещивались и родной, покинутый дом, и кузница в Коптеве, и Наташа-великанша...

«Как хорошо было бы, — думалось мне, — если б все люди спали не в наших душных комнатах, похожих на пещеры, а в теплые ясные дни в садах, и для зимнего времени сделали бы стеклянные куполы на крышах своих домов. При будущем строе жизни, верно, так и будет». Мне вспомнился сон Веры Павловны в романе Чернышевского «Что делать?», и я продолжил этот сон в своем уме. Вот я уже в новом строе, созданном усилиями моих друзей и моими собственными. Я более не скрываюсь от властей, я весь отдался науке. Я уже сделал много важных открытий и теперь живу в предоставленной мне обсерватории. Ее

башня там, в стороне, но в ней в эту ночь занимается товарищ, а я уже лег спать в своей спальней, имеющей вид хрустального свода, и моя кровать находится по его середине. Над землей стоит сильный мороз, а мне тепло и хорошо в куполе, под своим одеялом, и все созвездия смотрят на меня, мерцая, сквозь прозрачное совсем невидимое стекло, и я смотрю на них и вижу все мельчайшие ответвления Млечного пути надо мною. Вот от севера, дрожа, протянулись по небу пучки лучей вспыхнувшего северного сияния, вот полетела падающая звездочка, вот взошла луна и залила все своим серебристо-голубоватым светом. Как хорошо мне видны с постели все ее моря, совсем как теперь в яслях! Вот замерцало первое сияние рассвета, все небо озарили чудные оттенки утренней зари с убегающими от нее розовыми облачками, а вот брызнули в мою хрустальную спальню, всю залитую алым сиянием утра, первые лучи восходящего солнца...

На время я забылся крепким бодрим сном и потом вдруг проснулся, соображая, где я и что со мной. Луна, вышедшая из-за крыши навеса, уже целиком освещала мои ясли своим спокойным светом и, казалось, нарочно смотрела на меня, приподнявшись над крышей забора. Это было удивительно хорошо! Вспомнив сразу все окружающее, я выглянул из-за края яслей. Все мои соночлежники — и коровы, и лошади — лежали на дворе в разных местах и мирно спали. Глубокая тишина всеобщего покоя царила кругом. В посвежевшем, но все еще теплом летнем воздухе не проносилось ни малейшего ветерка, и только бледные золотистые звездочки о чем-то разговаривали между собою.

Я снова радостно лег в душистое сено и снова замечтался.

Подумать только, мечтал я, что у каждого теперь так же бьется сердце в груди, как и у меня, так же течет кровь в жилах, так же хочется есть и пить, и любить, и быть счастливым, и испытывать необыкновенные приключения. Вот и Кравчинский, и Алексеева, и Шишко, и все мои друзья теперь спят в своих душевных комнатах и не видят в природе того, что вижу я, но все они так же дышат, как и я теперь, и так же, вероятно, грезятся им чудесные сны.

И я начал продолжать свои прежние грезы.

Вот в волшебную жизнь будущего строя, а с нею и в мою собственную явилась и она. Ее облик был еще смутен, но прекрасен под стеклянным куполом на обсерватории в алом сиянии утренней зари. Ее душе не было чуждо ничто из того, чему я отдал свою жизнь, ни в науке, ни в общественной работе, и мне было так близко все, что ее занимает. Это не была ни Алексеева, ни Лиза Дурново, ни хорошенькая гувернантка моих

сестер, хотя по временам и казалось, как будто она была именно одной из них. Встретился я с ней самым необычайным способом, где-то в Англии, и там впервые почувствовал, что люблю ее. Затем мы вновь увиделись в Триесте, в одном удивительном месте, где поток низвергался в расщелину под землю и никто не знал, где он впадает в море. Она поскользнулась и упала в водоворот, я бросился за нею, чтоб спасти ее или погибнуть вместе. Я не был в силах бороться с течением, и нас обоих увлекло в глубину. Всеми силами удерживал я свое дыхание, крепко держа ее в объятиях, я чувствовал уже, что вот сейчас захлебнусь, но вдруг течение могуче подбросило меня вверх, и мы оба упали затем в непроницаемом мраке в какое-то бурлящее, грохочущее, волнующееся подземное озеро, где я вдруг почувствовал ногами песчаное дно. Ощупью, где мельче, я подвигался вперед, держа ее в руках, и вынес, наконец, на сухое место. Она была без памяти. Я делал ей искусственное дыханье, и вот она, наконец, очнулась.— Где я? — спросила она меня.— Не бойтесь! Со мною, и я вас спасу! — Она доверчиво положила голову на мое плечо. Я снял с своего пояса удивительную, изобретенную мною «лампочку симпатии». Если одну ее кнопку возьмет кто-нибудь, а другую другой, не любящий его, то лампочка начинает светить зеленым светом, а если любящий,— то малиново-красным. Я дал ей в руку одну кнопку, сам взял другую, и вдруг ярко-малиновый свет залил все подземелье. Картина была волшебная, но ужасная. Река из глубины вырывалась вверх гигантским фонтаном, падавшим в окружающее озеро. Это он выбросил нас сюда, а все берега были завалены скелетами завлеченных течением зверей и людей.

Желая поскорей избавить ее от ужасного зрелища, я повел ее с помощью своей лампочки вдаль по какому-то сухому, старинному подземному руслу, поднимавшемуся уступами, на которые я выносил ее с большим трудом. Я уже совсем измучился и готов был упасть, но вдруг заметил вдали слабое мерцание голубоватого света. Это придало мне новые силы. Я взял ее в охапку и нес все дальше, все выше, преодолевая преграды. И вот мы очутились в отверстии пещеры, посреди отвесного склона огромной горы. У подошвы ее пенились волны Адриатического моря, но к нему не было никакой возможности спуститься и не было возможности подняться вверх. Положение казалось безвыходным, человеческий голос не достигал до берега и не было видно ни одного жилища... Только кусты малины со спелыми ягодами росли в изобилии на площадке перед пещерой. Но вдруг они стали закрываться какой-то темной завесой, которая, наконец, заволокла все передо мною...

Я незаметно снова заснул, и проснулся лишь от мычания коровы, остановившейся у самых моих яслей на рассвете. Все кругом было залито голубоватым сиянием раннего утра, а корова, подняв к небу голову, повторила свое мычание, как будто приглашая меня взглянуть на окружающее. Затем она спокойно повернулась и отошла на середину двора.

И я действительно был ей благодарен за такое внимание. Ведь мы, цивилизованные люди и полуночники, так редко имеем случай наслаждаться дивной красотой рассвета, когда голубой полумрак, постепенно бледнея, переходит, наконец, в волшебное алое сияние утренней зари, зажигающей, как брильянт, каждую росинку, а потом вдруг брызнут яркие лучи показавшегося солнца и зальют всю природу своим золотистым светом!

И все это видел теперь я благодаря доброте разбудившей меня вовремя коровы!

Я услышал и утреннее пение жаворонка, и щебетанье пролетавших ласточек, и звонкое чириканье собравшихся воробьев — все утренние чарующие звуки пробуждавшейся жизни. Вот к ним присоединился вдали и звонкий голос тоже проснувшейся вчерашней певуньи девочки, раздалась свирель деревенского пастуха, и человеческие звуки, казалось, составили одно нераздельное целое со звуками окружающей природы.

Да, хороша была эта ночь в деревне, несмотря на неудачу моей главной цели — распространения революционных книжек!

Заскрипела дверь хаты, и на пороге ее показался один из сыновей хозяина. Он зевнул два раза, пошел под навес, пошевелил сбруей и приблизился к моим яслям.

— Что, уже не спишь? — сказал он мне. — Ничего тебе тут?

— Хорошо! А ты теперь куда?

— Да вот надо закусить, да и на работу. Вставай и ты.

— Неужели у вас в деревне нет ни одного грамотного? — спросил я. — У меня есть хорошие книжки, и я дал бы даром.

— Из больших никого. А из детей уж несколько человек учатся в господской школе.

— В какой господской школе?

— Да за селом в усадьбе молодая барыня выстроила.

— Что же она, барыня, ничего себе?

— Ничего, лечит даром. Вот и мне дала пластырь на руку, порезал косой.

«Верно, тоже из сочувствующих нам! — подумал я. — Ведь наши враги не станут строить школ».

— А другие господа у вас тоже ничего?

— Всякие есть, а лучше бы их не было совсем. Из-за них тут сколько народу передрали после освобождения.

— Да ведь начальство драло?

— Все о них же старалось! — и собеседник мой мрачно нахмурил брови.

«Вот тебе и патриархальность! — подумал я. — Под ней, очевидно, что-то кипит».

— А вот ты говорил вчера, — прибавил он, — что в городах хотят перестроить жизнь по-новому. Много их?

— Да порядочно.

— А сам ты не из ихних?

— Из ихних.

— Ты скажи им, что у нас многие их поддержат, если увидят, что у них сила.

— Хорошо, скажу! А пока вот тебе несколько ихних книжек. Раздай тем, кто грамотный, и пусть прочитает и тебе. Узнаешь, чего они хотят, только не показывай начальству.

И я отдал ему несколько штук из своего мешка. Он отошел и спрятал в сене.

Вышел старик-дид и, справившись о моем сне, пригласил меня в хату закусывать.

Теперь я был в полном восторге! Значит, до некоторой степени осуществлена и цель моего путешествия!

Чуть не прыгая от радости, вышел я через полчаса из этой деревни в дальнейший путь на ту же самую бесконечную большую дорогу.

Все мои вчерашние мрачные мысли о неподготовленности крестьян исчезли из души: ведь так хотелось верить, что народ откликнется на наш призыв! Мне уже мечтался здесь маленький деревенский центр огромной сети подготовительной работы для всеобщего освобождения народа. Я записал своим, только мне одному понятным, способом имя своего собеседника на дворе и название деревни, отметил, что там есть популярная в народе помещица, с которой было бы желательно войти в сношения. Способ моей записи заключался в том, что я все слова делил пополам, заднюю их половину ставил впереди, а переднюю сзади и дополнял обе половины какими-либо буквами. Так из деревни Коптево выходило тево'коп, а потом окончительно и стевол'копаю. Зная, что надо начинать со середины и брать только первый слог, а потом читать вначале без первой буквы, я легко разбирался в написанном и не говорил своего способа ни одной живой душе, так как рассуждал: если я сам не сумею удержать своего собственного секрета, то какое же право буду иметь требовать, чтобы его хранили другие?

V. Во имя братства²⁰

1. Бой-баба

Жгучее июльское солнце сильно палило мой затылок и плечи на бесконечной степной дороге.

Вдали показалась большая деревня и при самом входе в нее — простонародная харчевня, у которой стояли две телеги.

— Надо испытать и народную столовую! — сказал я самому себе и, войдя в дверь, поклонился присутствующим, сел на скамье за небольшим деревянным некрашеным столом, так чтоб мне все было видно внутри. Там сидело несколько крестьян: одни пили чай, другие закусывали.

Ко мне сейчас же подошла хозяйка, полная женщина с толстыми, оголенными до локтя руками и круглым лоснящимся лицом, как будто оно было только что смазано салом. Она молча стала передо мною.

— Есть что закусить? — спросил я.

— Есть шти с хлебом — четыре копейки, и солонина — пять копеек, — лаконически ответила она.

— Так дайте на девять копеек, — ответил я.

— Сейчас!

И, уйдя в соседнюю комнату, она вынесла мне чашку горячих щей с несколькими кусочками солонины внутри и большой ломоть черного хлеба.

Солонина была не первого сорта, но я с аппетитом съел все и, подойдя к хозяйке, подал ей двугривенный, прося сдачи.

— Сейчас! — ответила она, кладя двугривенный в свой широкий карман за фартуком.

Я отошел и сел на прежнее место, прислушиваясь к разговору крестьян.

Там обсуждался вопрос о сапогах: они даны были кому-то одним из присутствовавших на время, цельными, а возвращены с дырками. Давший все возмущался и выражался порой нецензурно, а присутствовавшие сочувствовали ему. Прошло четверть

часа, а хозяйка все стояла у прилавка и не думала разменивать моего двугривенного. Наконец, я встал и снова подошел к ней:

— А что же сдачи?

— Какая еще тебе сдача? — ответила она, уставивши обе руки в боки и смотря мне прямо в глаза.

— А как же, с двугривенного? Ведь за щи с солониной девять копеек.

— Как!!! — завизжала она. — За такие-то шти, да девять копеек! Ах ты, бестыжи твои глаза!!! Да ты что же эфто, смеяться надо мной вздумал!!! Ах ты, бродяга этакой! Да откуда еще ты пришел-то сюда! Да у тебя паспорт-то есть ли?

Я в первую минуту был совершенно ошеломлен. Мне не было жалко лишних одиннадцати копеек, но мне хотелось провалиться сквозь землю от стыда за нее, и я покраснел, как рак. Мне никогда не случалось еще встречать ничего подобного в жизни. Заметив, что я краснею, она сейчас же заподозрила, что у меня, верно, и в самом деле нет при себе паспорта.

— Подавай-ка сюда твой паспорт!!! Подавай-ка сейчас же! — закричала она.

Я опустил руку в карман чуйки и вытащил паспорт. Он был крестьянский на вымышленное имя и написан был Кравчинским специально для меня перед моим уходом в народ на полученном им где-то чистом паспортном бланке.

— На что мне твой паспорт!!! — завизжала хозяйка, еще вдвое сильнее, увидев, что ошиблась.

Пара ребятишек, игравших на улице, прибежала к открытым дверям харчевни и с любопытством уставилась на меня. Присутствующие прекратили обсуждение вопроса о сапогах и тоже глядели на нас.

— Смотрите, смотрите, люди добрые!!! Еще паспортом своим хотел меня удивить!!! Разве я не видела паспортов-то! Ах ты...

Дальше я не слышал. Я повернулся и, взяв свой мешок на лавке, вышел из корчмы, словно облитый кипятком. Что-то горькое поднималось у меня из глубины души. Так вот какие люди существуют на свете между остальными, хорошими!

Как же быть с ними при всеобщем братстве, при общности с ними имуществ? Мне казалось совершенно невероятным, чтоб эта толстая женщина, с круглым нахальным лицом, как бы смазанным салом, вдруг каким-то волшебством превратилась в святую Цецилию при объявлении нами всеобщего братства и общности всего! Значит, я был прав, когда возражал Алексеевой, что до полного осуществления наших идеалов и водворения земного рая, о котором мы мечтали, должно пройти немало поколений,

пока человечество не перевоспитается. Вот я хожу теперь в народе, с котомкой за плечами, как один из его собственных братьев, и в первые же полтора дня встретил два очень отрицательных типа: иерусалимского паломника в скуфейке и эту женщину. Может быть, и в самом деле все, что можно сделать для современного поколения, это осуществить то, что есть уже во многих иностранных государствах, т. е. демократическую республику, или «буржуазную», как они ее презрительно называют?

У меня на душе было так горько и обидно за человечество, что я некоторое время не замечал ни красоты расстилавшихся передо мной полей, ни пения жаворонков вверх. Скрип телег сзади вывел меня из раздумья. Мимо меня проехала рысцой сначала одна телега, а затем и другая.

— Садись, подвезем! — весело обратился ко мне, останавливая лошадь, один из двух, сидевших там и уже знакомых мне по корчме крестьян, тот самый, которому возвратили сапоги с дырками вместо цельных. — Садись, подвезем! — повторил он.

2. «Черный передел»

Я сел в тряскую телегу на свой снятый с плеч мешок, и мы поехали.

— А-ах! стерва баба! Как она на тебя наскочила! — сказал крестьянин не только без всякого негодования в голосе, но как бы даже с оттенком похвалы и с широкой улыбкой на лице: вот, мол, ловкая женщина, с такой женой не пропадешь!

— Да! — говорю. — Я таких еще и не видал.

— Ну, поживешь — увидишь и почище! — сказал он. — Сколько тебе лет-то?

— Двадцать! — ответил я, прибавив лишний год для большей важности.

— А куда идешь?

— В Воронеж.

— Зачем?

— Помолиться святым угодникам, — ответил я, так как перед самым приходом в корчму решил, что буду всякий раз являться в новой роли, чтоб наблюдать отношение крестьян к каждой профессии.

— Хорошее дело! — поощрительно сказал он. — Помолись и за нас, грешных.

— А вы сами куда?

— Да верст за десять отсюда, делить землю. Прикупили нас

восемь человек из деревни в складчину у барина, а теперь хотим разделить. Другие наши уж там.

— А зачем же делить? Вы бы так и оставили общую.

— Ты городской, видно? — спросил он меня вместо ответа.

— Из Москвы, фабричный.

— Я так и думал, — заметил он. — А ты запасись-ко сам землей, тогда и увидишь, как хозяйничать на ней всем вместе.

— Да ведь земля божия? Общая? — задал я ему хитрый вопрос, так как в среде молодежи на все лады повторялось, что простой народ даже не понимает, как это земля, которую создал бог для всех, может быть в частной собственности.

— Божия там, где никто не живет, — философски заметил он. — А где люди, там она человеческая...

— А что же, помещик хорошие деньги содрал с вас за землю? — спросил я своего компаньона...

Крестьянин засмеялся и махнул комически рукой:

— Да мы бы ему и вдвое дали, если б не видели, что все равно он ее не удержит!

— Почему не удержит?

— Да вишь ты, после того, как умер в Питере его отец, он уж больно широко развернулся. Приехал в усадьбу, давай все перестраивать, такие палаты сделал, что и в Питере не увидишь. Потом жену молодую привел... фу-ты, ну-ты! Гостей кажинный день наезжало, и жили у него по неделям, лет пять подряд. А он-то всем старался показать, что у него денег — куры не клюют, швыряет и туда и сюда. И мы тоже ходили к нему: дай, барин, двадцать пять рублей, отдадим к осени! Кто поумнее, много набрали: выбирали время, когда идет куда с приезжими барынями. Тут-то к нему, как будто невзначай, подойдешь, а ему конфузно барынь. Так и даст.

— И скоро прогорел?

— Скоро! Теперь продает, кому лес, кому землю, да все равно не выпутаться ему из долгов. Уж больно накуролесил.

— А вот, — заметил я, — в народе говорят, будто барские земли отдадут в общину. Ведь тогда и ваши прикупные могут отдать.

— Разве можно! То барские земли, а то наши, крестьянские. Наших нельзя отбирать.

Чувствовалось, что барин в понятии этого крестьянина совсем как бы и не человек, и я вполне понимал его точку зрения.

Поместные дворяне считали себя по рождению выше крестьян, смотрели на них сверху вниз. Они не рождались с ними, их дочери только рассмеялись бы, если б самый лучший из молодых крестьян сделал одной из них предложение. Их сыновья пользовались крестьянскими девушками лишь для эфемерных развлече-

ний и затем без сожаления бросали их с разбитыми сердцами. На крестьян они смотрели самодовольно, как на простых рабочих животных. Но воображаемая «низшая» раса не соглашалась считать себя такой и начинала сама смотреть на дворян вообще как на шальную, тоже «низшую», ни на что не годную и притом лишенную всяких человеческих чувств, зазнавшуюся расу, совершенно так же, как средние сословия презрительно относятся в глубине души к верхним слоям аристократии, относящимся к ним так же, как поместное дворянство к крестьянам. Все, что ценило крестьянство в помещиках, в чем не могло не считать их выше себя, был уровень их образования, хотя полного объема этого различия оно и не могло себе представить, будучи в то время, которое я описываю, почти поголовно безграмотным.

Передняя телега, ехавшая перед нами, свернула с большой дороги на проселочную. Возница, все время жевавший соломинку, сидя боком к нам на облучке телеги и принимавший мало участия в разговоре, выплюнул соломинку и обратился ко мне.

— Ну вот нам надо сворачивать к нашей земле, а тебе в Воронеж идти надо далее по столбовой. А может, хочешь взглянуть на нашу покупку? Тут недалеко.

— Да поедем-ко! посмотришь! — прибавил и мой словоохотливый собеседник. — Ведь тебе некуда торопиться, воронежские угодники тебя подождут, не убегут.

Было видно, что им очень хотелось похвастаться передо мною своим приобретением.

— Поедемте! — сказал я, очень довольный таким предложением.

Проехав версты три проселочной дорогой, вьющейся среди двух стен колосьев, склонившихся по обе стороны, мы выехали в дубовый лесок к речной долине. Там на берегу сидело уже несколько человек крестьян украинского типа, босых, усатых, в белых рубашках и штанах. Два чугунных котелка на треножниках из палок висели над тощими костерками из прутьев. В одном дымилась похлебка, в другом каша.

— Пообедай сначала с нами, — сказал мне мой прежний сосед в телеге, очевидно, самый влиятельный в компании, и принялся рассказывать всем со смехом, как меня отделала корчмарка, а они меня потом догнали и подвезли.

Все остальные весело смеялись, приговаривая:

— От баба!

И я тоже смеялся, так как изображать какого-то Угрюма Неелова было неудобно, да и чувство прежней горечи за свои поруганные идеалы совершенно прошло во мне. Я понимал, что подобные «от-бабы» неизбежно будут существовать до тех пор,

пока встречают такое благодушное отношение к себе в своей среде.

Поев похлебки и каши с подсолнечным маслом из снятых с огня котлов, мы все отправились на купленное поле, и я, как единственный, умеющий писать, принял деятельное участие в его домашнем размежевании, записывая отсчитанное нами на лоскутке бумаги и вбивая в землю тычки и колышки.

Так прошло до вечера. Огненная полоса вечерней зари широко разлилась над степью по всему северо-западу, а на востоке ясно и отчетливо зарисовался на небе темно-фиолетовый вечерний сегмент земного шара на голубой завесе расстилающейся сверху атмосферы.

Мы выкупались вечером в теплой воде тихой речки, причем меня поразило, что ни один из этих степных людей не умеет плавать, но потом я понял, что это по причине редкости у них больших озер и рек. Окончательно подружившись со всеми, я завел опять у вечернего костра свой обычный разговор о том, что в чужих странах, за морями, люди управляют сами собой и что у нас в России появились в столицах люди, желающие того же, и предложил им из своего мешка несколько экземпляров «Сказки о четырех братьях», где говорится обо всем.

— Вот читай! — и я подал ближайшему книжку.

— Спасибо, — сказал он, отказываясь, — не надо, я не умею читать!

— Бери, коли дают! — попрекнул его мой прежний собеседник, — видишь, бумага-то какая чистая! На цигарки нет лучше. Дай и мне парочку, — обратился он ко мне, протягивая руку.

— Что ты! Разве можно такие хорошие книжки рвать на цигарки! — возразил я возмущенный. — На цигарки не дам ни одной!

— Ну, дай! — сказал он умильно. — Сынишке отдам, он у меня грамотный, прочитает, а я послушаю.

Я дал ему с великим сомнением в душе, так как видел, что он хитрит. Я не был уверен вполне, что правильно поступаю, но отказывать было неудобно.

3. Ночь в степи под телегой

Спустившаяся незаметно ночь взглянула на нас миллионами своих глаз. Невысоко стоящая луна протянула от деревьев черные длинные тени, и дубовый лес слился в одну сплошную стену за нами.

— Будем спать! Полежай под мою телегу! — сказал мне мой

главный спутник, и я сейчас же исполнил его желание. Я влез под телегу и улегся на теплую землю, положив под голову свой мешок.

Я не устал и даже не желал спать, но мне хотелось немного сосредоточиться. Меня сильно затронуло простодушное объяснение крестьянина, почему они предпочитают разделить купленную землю. «Своя-то выгоднее!» — звучали у меня в ушах его слова.

Если при настоящем моральном развитии крестьянства, думаю, когда требования личной выгоды берут у большинства верх над требованиями общей справедливости, своя собственная земля вызывает больше заботы и потому дает больше хлеба, чем общественная, то земледельческий класс рано или поздно фатально, неизбежно перейдет к этому роду землевладения. При нем оно будет зажиточнее и потому будет иметь более времени, чтоб посвящать своему духовному развитию. А высшее духовное развитие заставит его в следующих поколениях ценить общее благо выше своего собственного, и тогда осуществится, сделавшись более выгодным и оставаясь в то же время и более справедливым, и общее землепользование вместе со всеми великодушными идеалами социализма.

Повысившийся тембр разговора под соседней телегой вдруг отвлёк мое внимание от отвлеченных мыслей.

— Я дал ему мои сапоги идти в город без дырки, а он возвратил мне их с дыркой! — опять горько жаловался там мой приятель своему собеседнику, и в голосе его кипело неподдельное негодование.

«А между тем,— пришло мне в голову,— когда корчмарка не отдала мне сдачи при нем с моего двугривенного, он первый же смеялся этому!» Так первобытная мораль всегда одна и та же! И мне вспомнился когда-то и где-то прочитанный рассказ... Английский миссионер в Африке спросил тамошнее дитя природы, первобытного негра, укравшего у него сапог:

— Разве хорошо воровать?

— Хорошо, если я сам сворую,— отвечал тот, подумав,— и нехорошо, если своруют у меня!

Я взглянул на тележные колеса по ту и другую сторону от моей головы, и еще не испытанное никогда ощущение человека, спящего под телегой в степной равнине, охватило меня своей оригинальностью. Ведь весь мир представляется нам в том или другом виде, судя по точке зрения, с которой мы на него смотрим. Я часто, например, закидывал свои колени за крепкий сук дерева или за палку трапеции и, вися вверх ногами, созерцал окружающий меня ландшафт. Как непохож казался он мне на обычный с этой новой точки зрения!

А теперь из-под телеги мир казался мне еще своеобразней. Сквозь спицы колес смотрела на меня с неба желтоватая, ярко мерцающая звезда — уже заходящий Арктур. А кругом меня и выше моей головы, за колесами и под самыми колесами, тихо качались в бледнолунном свете длинные, тонкие колоски луговой травы... Душистый луг тянулся куда-то в безбрежность, весь облитый серебристым сиянием. Огни двух наших костров, горевших невдалеке, уже потухли, и около красноватых дотлевающих углей лежали пластами мои товарищи по ночлегу. Казалось, что их фигуры плотно-плотно прилегали к груди их кормилицы-земли и составляли неотъемлемую часть ее огромной поверхности, как и окружающие их луговые цветы и травы.

«Вот,— мечталось мне,— внизу под нами, на расстоянии немногим более того, которое могла бы достать моя рука, кончается уже органическая жизнь земли, и идут на невообразимо громадное расстояние, до самой Новой Зеландии и Австралии подо мною, неведомые никому наслоения внутренности земного шара. Как было бы хорошо, если б, надев какие-нибудь волшебные очки, я мог увидеть там внизу их очертания, а за ними никогда не виданные мною удивительные Магеллановы облака и созвездия южного неба!»

Я повернулся лицом вниз и, стараясь глядеть сквозь землю, представлял, что вижу там все это. И воображение рисовало мне в глубине подо мной ряды хрустально прозрачных земных наслоений, в которых повсюду заключены окаменевшие остатки прежней жизни. И мысль подсказывала мне, как органическая жизнь поднималась вместе с этими наслоениями, везде оставляя свои прошлые следы, но всегда, как и теперь, покрывала лишь очень тонкой пленкой исключительно поверхность земного шара...

Это было поэтическое начало одной из сотен книг, которые таким же образом складывались тогда в моем воображении, вечно работавшем и во сне и наяву,— книг, которых мне никогда не суждено было написать, потому что всегубящий абсолютизм уже раскрывал надо мною свои черные когти, и в эту самую ночь, когда я лежал в степи под телегой и пытался глядеть сквозь земной шар на южные созвездия, меня разыскивали его слуги по всей России, как одного из опаснейших людей.

Взошедшее солнце радостно улыбалось всей природе, когда я проснулся после второй ночи своих странствований в народе, разбуженный говором моих компаньонов. Они уже развели огонь, и котелок снова дымился над ним на своем треножнике из палок.

— Вставай! Закуси с нами, а потом и в путь. Довезем назад до большой дороги! — обратился ко мне один из крестьян, увидев, что я приподнялся на локтях под телегой и смотрю на них.

Мой вчерашний приятель, сидя на корточках у котелка, мешал его содержимое ложкой и курил сигарку, свитую из бумажки розового цвета, совершенно такой же, какая была на выпрошенной им у меня для маленького сынишки «Сказке о четырех братьях».

— Ты уж изорвал мою книжку! — укоризненно сказал ему я, полный сожаления за то, что вчера дал ее.

— Да, уж прости, родной! — ответил он добродушно. — Больно покурить захотелось, а бумага-то такая чистая, хорошая...

Итак, верно! Это она! Можете себе представить мое горе!

Сколько честных, хороших людей идут на гибель и уже гибли, чтобы внести в виде таких книжек свет в темное сознание этих людей, а книжки эти идут на сигарки! Я так дорожил каждым экземпляром нелегальной литературы, так оберегал ее, как святыню, всегда помня и живо чувствуя, при каких опасных для людей условиях приходится хранить ее и доставлять народу, что совершенно не мог себе простить легкомыслия, с которым я отдал ему вчера эту книжку, уже предчувствуя, что он так поступит с нею. Я упрекал не его, а себя и чувствовал себя страшно виноватым перед своими друзьями.

«Дальше буду осторожнее!» — решил я, присаживаясь к их костру.

Они меня довели до прежнего места на большой дороге.

— Ты теперь, значит, прямо к святым угодникам? — спросил меня ближайший спутник, когда все телеги остановились.

— Прямо в Воронеж к угодникам!

Он вынул из кармана свою кошню и, вытащив из нее две копейки, сказал:

— Так поставь свечку и за меня грешного!

— И за меня! И за меня! — поддержали его другие крестьяне, протягивая мне кто копейку, кто две.

Как мне тут было поступить? Я принял деньги от всех и зашагал далее, думая про себя:

«Бедные вы, добрые, простые люди! Я поступлю лучше, чем вы хотите! Эти собранные от вас, в поте лица добытые вами деньги я употреблю на лучшее дело — на ваше умственное и гражданское освобождение! Я отдам их на дальнейшее издание таких же книжек, какую вы бессознательно выкурили, и да принесет она пользу хоть вашим детям, которые уже будут уметь читать!»

И я свято исполнил это. Я завернул полученные от них деньги в особую бумажку и при возвращении в Москву передал их Кравчинскому, с просьбой присоединить к тем, которые будут в

следующий раз отправляться за границу на издание народных книг. И он исполнил это, хотя данных мне денег и было всего лишь около пятнадцати копеек.

4. В избе, не доступной для чертей

Прошли не одни сутки без особых приключений. Я останавливался по деревням, прося у крестьян дать чего-либо поесть, и они встречали меня всегда очень гостеприимно. Мне давали хлеба или щей, подолгу расспрашивали обо мне самом и рассказывали попросту о своем житье-бытье, а я им нес добрую весть о свободных странах и о новых людях, желающих гражданской свободы для всех.

В этот раз мне хотелось провести ночь без людей, наедине с природой.

Я ушел с дороги в прилегающее пшеничное поле, предварительно раздвинул сверху его колосья, чтобы они замкнулись за мною снова и не оставили никакого следа. Я лег в нем неподалеку от дороги в полной уверенности, что в густой колосистой чаще никому не придет в голову бродить и никто не наткнется на меня. Я чувствовал себя здесь как будто кочующим степным зверьком, и это мне нравилось.

«Вот,— думалось мне,— так я поступаю, когда, во время партизанской войны за освобождение, за мною будет близкая погоня, и, кроме того, я придумаю еще и другие способы скрываться».

Мечтательность снова разыгралась у меня и, лежа между колосьев ржи, я вообразил себе, что враги народа гонятся за мной уже не здесь, а далеко отсюда, там, по вологодскому лесу. Вот меня уже окружили со всех сторон, более нет спасения, передо мной лишь огромное непроходимое болото с кочками кое-где. Я срываю руками одну из кочек, надеваю ее себе на голову, сажусь в болото до самой головы, а спускающиеся с кочки корни и трава закрывают мое лицо и затылок. Я вижу сквозь промежутки листьев, как мои враги прибежали с разных сторон, мечутся и ищут меня повсюду вблизи, но никому и в голову не приходит, что эта кочка в болоте и есть именно я, и вот они удаляются с разочарованием!

«Но если кочки нигде не будет,— подумалось мне,— если я окажусь прямо на берегу реки?»

Тогда я возьму один из трубчатых камышей на ее берегу, сяду с головой в воду и буду дышать через него, или, еще лучше, всегда буду носить при себе гуттаперчевую длинную трубку с

поплавком у одного конца, так чтобы можно было глубоко-глубоко сидеть на дне реки и дышать через эту трубку, второй конец которой будет плавать над водой и, конечно, издали не обратит на себя ничего особенного внимания. Кто догадается?

Я буду в состоянии даже ходить по дну с такой трубкой и осматривать его, там могут быть интересные раковинки и окаменелости. Только в воде плохо видно, потому что при переходе лучей света из воды в глаз они менее преломляются, но я устрою выпуклые очки, и тогда в воде будет видно так же хорошо, как и в воздухе, если она прозрачна, а если с мутью, то все там будет, как в тумане. Это должно быть очень интересно. Надо непременно сделать такие очки, думал я, совершенно позабывая первоначальную нить своей фантазии — погоню за мной. И, кроме того, надо сделать еще вязаные перчатки с перепонками, как у уток, чтобы можно было плавать быстро-быстро. Я и без того могу плавать сколько угодно, но с такими перчатками можно делать в воде удивительные дела...

Мало-помалу мои грезы перешли в сновидения, а затем и вновь настало утро. Я умылся в первой речке, напился из нее воды, побывал в ближайшей деревне со своей «благой вестью» и вновь огорчился только одним: что почти поголовная безграмотность, царившая тогда в этой местности, помешала мне за все время распространить в народе более пяти или шести книжек, так как я слишком дорожил ими, чтоб далее раздавать на цигарки...

Приблизилась, наконец, и деревня, послужившая мне первоначальным поводом идти именно по этим местам. Там существовал сочувствующий кузнец, по фамилии, кажется, Охрименко. Он, по словам моего товарища Мокрицкого, жившего там год на уроке у местного помещика, был очень выдающийся и влиятельный человек среди своих односельчан, и потому дом его мог бы служить одним из пунктов для приюта моих товарищей, когда их будет так много, что вся Россия будет покрыта сетью таких убежищ, известных лишь им одним.

Деревня эта была в стороне от большой дороги, но по распросам я легко дошел до нее по боковой проселочной ветви и вошел в указанную мне большую избу. Там только что приготовлялись полдничать (т. е. обедать). Хозяин, почтенный белобородый старик, вытирал полотенцем свои только что вымытые крепкие, смуглые руки. Мать вытаскивала горшки из печи, и милосердная шестнадцатилетняя дочка помогала ей, держа заслонку от печи. Все они, вдруг остановившись в тех позах, в каких были, с любопытством посмотрели на меня, только что вошедшего в дверь. Перекрестившись несколько раз на икону двумя перста-

ми,— так как я уже знал, что хозяин сектант,— я отвесил, как полагалось по ритуалу тогдашних приличий, по поясному покло-ну на все четыре пустые стены, на которых под каждым окном, над дверями и на разных других местах были вычерчены мелом кресты.

— Поклон тебе от учителя Александра Александровича из Москвы. Помнишь, жил весной? — обратился я к хозяину.

— Помним, помним! — ответил за всех хозяин.— Раздевайся, гостем будешь.

И он начал меня расспрашивать о Мокрицком, к которому, видимо, питал большое уважение, а затем и обо мне самом. Распаковав свой дорожный серый мешок, я вынул оттуда припасенные заранее подарки: ножницы хозяйке, железные клещи хозяину и узорчатый ситцевый платочек дочке, раздав их от имени Мокрицкого каждому по принадлежности, и после этого сразу как бы вошел в их семью.

Все приятно улыбались, рассматривая свои подарки, а дочка даже побежала к небольшому дешевому зеркалу на стене около меня, из которого тотчас же и выглянуло, как в карикатуре, все скошенное и втянутое неровностями стекла ее смеющееся личико. Она быстро начала примерять платок, явно любуясь собою и с любопытством поглядывая через свое косое зеркало на меня.

— Покушай с нами, что бог послал,— сказал хозяин.

Мы все перекрестились, сели за стол, и я, как гость, опять попал в угол под образа.

— А что это у тебя,— спрашиваю,— везде кресты написаны мелом по стенам?

— От чертей! — равнодушно заметил он.— Чтоб не лазали попусту в щели.

— А разве лазят?

— Вестимо, нечисть, где щель, туда и лезет. А крест им слепит глаза и обжигает, как каленым железом.

И седой кузнец с добродушным видом осмотрел свои произведения на стенах, а потом прибавил:

— Только непристойно говорить об этом за обедом, а то они (он явно избегал слова черти) сейчас же сбегаются туда, где слышат свое имя, и входят с едой в человека.

Он перекрестил свой рот из опасения, как бы кто-нибудь из прилетевших на наш разговор нечистых духов не вскочил в него вместе с первым куском хлеба.

«Совсем,— подумал я в восторге от этого живого образчика минувшего взгляда на всю природу,— совсем, как в моем детстве, когда няня Татьяна мне объясняла совершенно так же Урчание в заболевшем животе!»

— При обжорстве,— говорила она мне,— нечистые духи невидимо вскакивают через рот вместе с лишним глотком и начинают там ссориться, драться и гоняться по кишкам друг за другом с сердитым ворчаньем, и от их возни происходит резь в животе. Нечистые духи там сильно размножаются, число их в несколько часов становится легион, как сказано в Писании. Им делается тесно, и дети начинают гнать вон родителей, а изгоняемые вопят, им не хочется уходить из живота, там им хорошо. И потому,— прибавляла она в нравоученье,— никогда не объедайся ни горохом в огороде, ни недозрелыми яблоками в саду до спасова дня, а то вскочат с ними в горло и нечистые духи.

Но здесь, в этой большой, чисто вымытой избе, отовсюду защищенной крестами от нечисти, нам нечего было опасаться ее вхождения. Мы вчетвером спокойно продолжали свою трапезу, и я, уже наученный прежним опытом, аккуратно клал после каждого глотка свою ложку вверх дном и не зачерпнул куска говядины раньше главы дома. Я теперь чувствовал себя не новичком в местной крестьянской среде и стал ясно сознавать, что изучать народную душу можно, именно только подходя к народу в крестьянском виде,— только тогда с тобой нисколько не стесняются и говорят все, что придет на душу.

Начав опять свой разговор о дальних свободных странах и о новых людях, я вдруг почувствовал, что говорю это уже почти машинально, по выработавшемуся практикой образцу, оказавшемуся на опыте наилучшим. Мне более не приходилось чего-либо придумывать, как прежде, тут же на месте. Я стал походить в своих глазах на проповедника-профессионала, который, произнося свои вдохновенные фразы, передает слушателям под видом настоящего лишь впечатления своего прошлого вдохновения. На самом же деле мысль его летает иногда совсем вдали от того, что он теперь говорит так хорошо, и только по временам возвращается к предмету, чтобы тут же создать переходной мостик в виде нескольких подходящих фраз к другому мотиву, тоже не раз говоренному им где-нибудь в другом месте. Ему остается только сделать из своих прежних фраз новую мозаику, специально подходящую для данного случая.

А при моей пропаганде в народе мозаика эта оказалась так не сложна! Все одни и те же немногочисленные темы: гнет и стеснения администрации, поборы духовенства, желательность иметь побольше земли, отобрав ее от помещиков, как от чужой касты, в изнеженных и высокомерных представителях которой крестьянин не видит таких же людей, как он сам!

Я начал здесь разговор именно с землевладельцев, так как уже знал от своего московского друга, что семейство соседнего

помещика было довольно либеральное и что в доме там были сочинения и Некрасова, и Тургенева, и Кольцова, и Лермонтова, и Пушкина и получался лучший из тогдашних журналов — «Отечественные записки».

— Вы были помещичьи?

— Помещичьи.

— А плохо, говорят, жилось при крепостном праве?

— Лучше, родной, жилось, чем теперь! Куда лучше! — быстро ответила мне хозяйка.

Ясно было, что вопрос мой задел их за живое.

— Да, в старину куда лучше было, чем теперь! — согласилась с нею старик.

Девушка, их дочка, очевидно, не помнившая уже крепостного права, незаметно для них посмотрела на меня и улыбнулась, как бы говоря: «не обращай вниманья, что говорят старики. Мы оба лучше знаем, что тогда было хуже, чем теперь». Но она не возразила родителям, она знала, как и я, что ей ответили бы: «Ну, что ты можешь понимать, девочка?»

А старики наперерыв стали жаловаться, как все теперь возродило, как увеличились подати, как молодежь стала озорной и знать не хочет старших.

— Брат пошел на брата, сын на отца, наступили последние дни, о которых сказано в Писании. Уже скоро-скоро будет второе пришествие христово, и тогда будет воздано каждому по делам его!

Впечатление, которое я получил в этом доме, мало вязалось с тем, которое вынес о хозяине рекомендовавший мне его товарищ, говоривший о старике, как о человеке, очень революционно настроенном. Он, казалось мне, просто сектант, мысль которого витает больше в мире религиозных вопросов и суеверий, как с самого начала было можно видеть по меловым крестам на всех четырех стенах его избы.

Это первое впечатление, казалось, подтвердилось и вслед за тем.

Когда мы кончили обедать, я показал ему мою литературу.

Он, по-видимому, хорошо читал по-церковнославянски и «разбирал», как он выражался, и «по гражданскому письму». Увидев название «Сказка о четырех братьях», он презрительно заметил:

— Сказка? Ну, это детское. Нам, старикам, не подходит, ты лучше отдай ребятишкам.

— Да нет же! — ответил я, — это только название такое, а в ней описывается, как живет народ и как можно жить лучше.

— Значит, как бы басня, али притча... понимаю... Только все же, как бы не увидели у меня соседи, зазорно будет, скажут: вот старик выжил из ума, сказки начал читать. Нет убери, не надо! — решительно закончил он.

Я понял сразу все. Он был, как мне и говорил Мокрицкий ранее, влиятельный сектант и потому дорожил своим престижем среди единоверцев.

— Так вот тебе другая книжка. Это уж не сказка.

Я дал ему прокламацию Шишко «Чтой-то, братцы, плохо живется на Руси!»

Ее он охотно взял и, прочитав один, похвалил мне потом вечером и вдруг неожиданно для меня заговорил совсем дельно:

— Вся беда,— сказал он,— от темноты народной, да от...

— Значит,— ответил я ему радостно,— если люди, ходящие по народу, как я теперь, будут являться к тебе с книжками, то ты примешь их?

— Пусть приходят, приму всех таких, как ты, и укрою! — твердо ответил старик.

Это было совсем неожиданно для меня и как-то не вязалось с предыдущими его разговорами о конце мира. Казалось, в нем жила две человеческие души: одна, глядящая назад и мечтающая о мистических предметах и о добром старом времени, милом ему потому, что тогда он сам был молод и жил полной жизнью, и другая душа, чередующаяся с первой и смотрящая на жизнь и на людей так, каковы они есть. Входя в первую, в мистическую роль, он забывал о реальном; думая о реальном, забывал о мистическом.

— Я уже видел сначала, что ты, значит, тоже ходишь не просто, а послан от тех людей, о которых говоришь. Дай вам господи сделать все, как хотите. А вы кто же такой сам-то?

Я не хотел выходить из роли простого человека и назвал себя мастеровым, сыном московского дворника, ходящим вместе со многими товарищами по народу, чтобы поднимать его против деспотического образа правления. В ответ я получил сочувственное предложение остаться у него в доме до следующего дня.

— А нет ли здесь кого-нибудь из деревенской молодежи, на которых можно было бы рассчитывать, когда в столицах поднимутся, чтобы поддержали нас?

— Что они понимают, молодые-то? Глупый, нестоющий народ! Ты лучше и не говори с ними, а то разнесут везде. Длинные больно у них языки-то.

Тут я впервые обратил внимание, что, действительно, во все это путешествие мне, безусловно юноше, приходилось вести умные

разговоры на общественные темы почти исключительно с седыми стариками! Взрослая молодежь если и присутствовала, то могла только слушать, и, оставаясь со мной без старших, сейчас же переводила разговоры на настоящую, а не на будущую жизнь: какие там, в Москве, улицы, какие большие дома, экипажи и особенно увеселения и очень ли учтиво надо обращаться с тамошними модными девушками... А девицы в деревнях, очевидно, старались составить по мне представление о столичном мастеровом, явно кажущемся им идеалом молодого человека из их среды, в котором чудятся всевозможные знания, благородные чувства и всякие деликатности и совершенства.

«Неужели,— думалось мне,— у безграмотных людей склонность к отвлеченному мышлению развивается лишь очень поздно, только в зрелом возрасте? Или она у них только приостанавливается после юности?»

И все кругом показывало мне, что последнее заключение, по-видимому, верно: старики и дети везде больше интересовались моими словами о будущем строе, чем взрослая молодежь, главная беда которой и здесь была та же, как и повсюду на моем пути: все население было сплошь безграмотно!

Ночевал я в этот раз на скамье, у стены под меловыми крестами, и, вероятно, потому ни один чертенок не появился передо мной, кроме хорошенькой дочки хозяина, которая на рассвете, босая, в одной рубашке, выбежала в сени из своего помещения за печкой и затем возвратилась обратно, тихонько затворив за собой дверь и остановившись на несколько мгновений — посмотреть на меня, думая, что я сплю.

Сильный храп на противоположной стороне комнаты во тьме перенес мою мысль к удивительному старику, ее отцу, поочередно ждущему конца мира и готовому принять участие в его обновлении, не думая о близкой его кончине! Может быть, и теперь он вспоминает о том добром старом времени, когда он был крепостным?

Вот кузнец, родившийся в рабстве, говорит, что при крепостном состоянии было лучше, и это же я слышал от других стариков. Возможно, что в экономическом отношении и было лучше... Наверное, и побои в морду, и разные Салтычихи, о которых я читал в книгах о крепостном праве, составляли не правило, а исключение между помещиками. Я ведь сам вырос в этой среде и, вспоминая всех знакомых в детстве по нашему уезду, не нахожу между ними ни одного человека-зверя. Большинство окружавших нас помещиков были просто гостеприимные люди, совершенно так, как описано у Гоголя, Тургенева, Гончарова... Многие выписывали журналы, мужчины

развлекались больше всего охотой, а барыни читали романы и даже старались быть популярными, давали даром лекарства и т. д.

Но следует ли из этого, что нужно пожалеть о прошлом крепостном строе жизни, потому что теперешние становые, к которым попали крестьяне, в общем обходятся с ними хуже, чем прежние помещики? — спрашивал я себя. — Конечно, ни в каком случае! Ведь падение крепостного права — начало падения абсолютизма. Ведь и помещики считали себя лучшей породой людей, чем простой народ, и заботились о нем только так же, как заботились о своей скотине.

«Представьте себе, в этом сословии тоже могут влюбляться!» — вспомнилось мне восклицание одной генеральши, пришедшей в изумление от того, что знакомая ей крестьянская девушка отказалась от богатого жениха из-за любви к какому-то бедному.

Такое всеобщее высокомерие дворян, мечтал я, необходимо было уничтожить с корнем раньше всего. Именно этой своей стороной старый крепостной строй и был отвратителен. Но ведь и после его падения дворяне-помещики остались почти такими же высокомерными? — Зато, — отвечал я сам себе, — теперь крестьяне и считают хорошим делом отобрать у них земли и заставить их уйти подальше от себя. На крестьянские частные земли никто из общинников не зарится, как я отлично понял вчера, когда был на их дележе.

Хозяин и хозяйка спали по другую сторону от меня на широкой кровати, отделенной от остальной комнаты ситцевой занавеской, и оба храпели, каждый на свой тон, что составляло вместе как бы оригинальный дуэт. Иногда они переваливались на другой бок, и тогда кровать скрипела. Дочка же в своем уголке за печкой, тоже отделенном пестрой ситцевой занавеской, спала все время тихо, как мышка.

Ранним утром раздался стук в окно около меня.

— Кто тут? — спрашиваю.

— Хозяина! кузнеца! подковать лошадей!

— Да ведь воскресенья! — ответила с укором высунувшаяся из-под одеяла голова хозяина.

— Да уж подкуй, родимый! Ехать надо, одна только подкова отворотилась!

Хозяин встал, ворча.

— И в христов день не дают покою.

Я с ним вышел в качестве московского слесаря и молотобойца и с видом знатока держал на низкой деревянной колодке перевернутое низом кверху копыто подковываемой лошади. Она была какого-то приезжего сельского торговца.

Я пошел бродить по окрестностям, не представляющим ничего особенного, осмотрел по привычке несколько растений, большею частью уже знакомых мне, и возвратился обратно домой к обеду.

— Не надо ли тебе помощника, молотобойца? — спросил я старика. — Я бы остался помогать тебе.

Его дочка быстро взглянула на меня, и глаза ее заблестали. Она подумала, что это я делаю для нее, не подозревая, что истинная цель моего путешествия была — остаться под видом молотобойца в этой, уже известной мне кузнице.

— Сам видишь, какая здесь работа, — ответил ее отец, — и одному-то делать нечего!

Глаза дочки опустились и потухли. Все ее миловидное личико выразило полное разочарование. Оно не могло ничего скрыть.

Я еще ранее ответа старика понимал, что определяться здесь молотобойцем безнадежно. Кузница представляла печальный вид, и главное занятие хозяина было земледелие. Но мне было жалко своей неудачи. Начавшаяся со безмолвных взглядов дружба с этой девушкой вызывала во мне желание остаться здесь еще несколько дней. Не выйдет ли из нее что-нибудь хорошее в идейном смысле? Нельзя ли было бы повезти ее в Москву, познакомить с нашими, чтобы они выучили ее читать и писать и приобщили к нашему миру? Мне казалось, что в ней было что-то незаурядное, хотя мы и обменялись лишь двумя-тремя незначительными фразами.

Однако ответ хозяина был решителен...

Правда, он меня не гнал, но мне самому неловко было жить у него без дела. Кроме того, по мере того, как я день за днем входил в свою роль прохожего рабочего, яркость первых впечатлений и новизны положения начали постепенно теряться для меня.

У меня незаметно наступила тоска по своей среде, по оставленным где-то вдали людям своего круга, вполне разделяющим каждый мой душевный порыв, каждое мое чувство, каждое настроение, с которыми я говорил не по выработанному раз навсегда шаблону, а так, как придет мне на душу, обсуждая каждую возникшую мысль вместе, как равный с равными.

«Что теперь с ними? Не арестованы ли уже? Может быть, теперь, когда я хожу под ясным безоблачным небом и больше мечтаю, чем распространяю взятые с собою книжки, Алексева, Кравчинский, Клеменц, Шишко, Армфельд и остальные друзья сидят уже в сырых и холодных тюрьмах, голодные, умирающие, и никто не пытается их освободить? А между тем, если б я

был с ними, может быть, мне и удалось бы что-нибудь сделать?»

И вот, простившись с хозяевами, проводившими меня вместе со своей дочкой за село, я вновь пошел по большой дороге к Воронежу, и мир грёз, постепенно все более и более овладевавший мною по мере моего долгого пути, почти начал заслонять передо мною мир действительности. Нет! Собственно говоря, он нисколько не заслонял реальное. Картины, которые рисовало в моей голове романтически настроенное воображение, чередовались по-прежнему с действительными впечатлениями и со стоявшими передо мною задачами, но когда реальность стала делаться для меня более привычной, картины моего воображения становились все более и более яркими. Так, когда заходит луна, звезды на небе кажутся многочисленнее, и вы видите над вами причудливо разветвляющийся Млечный путь, совсем не замечаемый вашим глазом при луне...

Читатель мой уже знает, как я начинал уходить в этот мир грёз день за днем, сначала по ночам, а затем и днем, когда я оставался один в своем пути.

Отчего это было?

Оттого, что для деятельного по природе ума недоставало теперь более реальной пищи. Когда я был в городах и в своей среде, я брал, оставаясь один, какую-либо интересовавшую меня книгу.

А меня живо интересовали все естественные, а затем и общественные науки, и таким образом я ознакомился с ними, и даже очень детально, из множества книг и руководств, которые доставал еще в гимназии от знакомых студентов и из разных библиотек и проглатывал в буквальном смысле. Ведь кроме чистой и прикладной математики и иностранных языков, науки вообще не требуют никаких особенных напряжений ума или памяти для того, чтобы можно было вполне ознакомиться с ними прямо из книг, особенно если у вас достаточно живое воображение, чтобы представлять по рисункам физические приборы, органы тела животных и растений и все другое так, как если б перед вами находились сами описываемые предметы.

Но здесь, в народе, все это было далеко от меня.

Никакие отголоски не доходили до моего уха из покинутого мною цивилизованного мира. И вот мои мечты сменила, наконец, тоска по привычной жизни.

Я решил, не останавливаясь нигде подолгу, окончить путь через неделю, чтоб не показалось, что я возвратился слишком быстро, и ехать прямо к покинутым друзьям. Я вел привычные беседы с крестьянами и ночевал еще много раз в самых необыч-

ных положениях, но волны забвения оставили от них лишь немногие и незначительные островки, о которых не стоит рассказывать.

Только фантазии этого периода остались у меня хорошо в памяти, так как потом, при первом, втором и третьем из моих одиночных заточений, я часто вспоминал о них и продолжал их развитие далее, с того места, на котором остановился, как беллетрист, отыскавший тетради с прерванным в них романом, продолжает писать далее, как только освободится от помехи.

В таком состоянии мечтательности я и вышел, наконец, в пыльные, немощные улицы Воронежа, почувствовал носом его пряные летние запахи и, немедленно направившись к вокзалу, взял себе билет третьего класса и поехал в Москву со страшным беспокойством за Алексею и всех остальных друзей, оставив на время за своей спиной впечатления народной жизни и все созданные мною в голове за это время фантастические романы.

Двинская крепость. Сентябрь 1912.

VI. Захолустье²¹

1. Неожиданный для меня триумф

За дверью лестницы раздавались звуки рояля, и знакомый мне музыкальный голос пел там хорошо известную мне песню:

Горный поток,
Чаща лесов,
Голые скалы —
Вот мой приют!

Я стоял несколько минут перед дверью, взявшись за ее ручку, прислушиваясь к голосу Алексеевой. Впервые как-то машинально употребил я здесь прием, который впоследствии несколько раз спасал меня от ареста. Прежде чем войти в квартиру кого-нибудь из моих друзей или знакомых, я сначала прикладывал ухо к щели их дверей и прислушивался — что там делается. Через минуту или две почти всегда раздавался какой-нибудь голос или звук, по которому я мог определить, находятся ли в квартире ее хозяева или сидит засада.

Наконец, я позвонил и быстро вбежал в комнату, весь загорелый от своего путешествия и уже переодетый в обычный костюм. Алексеева радостно вскочила со своего места и бросилась ко мне. Мы дружески и нежно поцеловались несколько раз.

— Рассказывайте же, что у вас нового? — спросил я.

— Прежде всего, — сказала она, лукаво улыбаясь, — одна очень важная новость: я теперь тоже с вами!

И она таинственно посмотрела на меня.

Я тотчас же понял, что дело идет не о ее настоящем пребывании вместе со мною, а о том, что она принята в наше тайное общество, и я был ужасно рад этому. Теперь перед ней не надо будет ни о чем умалчивать!

— А вы, однако, какой скрытный! Даже и виду не подали, когда вас приняли: я ничего и не подозревала.

— Но ведь это был не мой секрет! Своего у меня не было и не будет никогда от вас.

— Да, понимаю. Это хорошо.

Она о чем-то задумалась.

— Все наши целы? — спросил я.

— Наши все, но в Петровском все оставшиеся арестованы. Получены известия, что и в провинции везде аресты, погибла значительная часть ушедших в народ. Мы очень опасались за вас. Я так рада, что вы возвратились благополучно. Ну, как у вас?

Я быстро рассказал главное и осмотрел кругом комнату. Ее стены были теперь сплошь уставлены полками с книгами.

— Что это за книги?

— Перенесли сюда студенческую библиотеку, потому что Блинов тоже уехал и не оставил на лето за собой квартиры.

Это была та самая библиотека, в которую несколько месяцев назад я так таинственно попал. Я сильно проголодался по чтению и с завистью смотрел на полки. Так, кажется, и проглотил бы все залпом, читал бы день и ночь, пока не перечитал бы все.

В комнату один за другим начали собираться мои друзья: Кравчинский, Шишко, Клеменц, хорошенькая черноглазая Таня Лебедева, недавно вышедшая из института, Наташа Армфельд. Квартира Алексеевой по-прежнему служила центром собраний благодаря обаятельности ее хозяйки, хотя и ясно было, что она не безопасна; ведь здесь уже был обыск, а на кого раз направилось око начальства, того оно никогда не оставит в покое!

Я каждому должен был рассказывать вновь и вновь свои приключения. Явно было, что я сделался теперь героем дня. Ведь не каждый день возвращаются из путешествий по народу! Нас было так мало!

— Ну, а как относились к книгам? — спросил Кравчинский. — Ты знаешь, я теперь тоже пишу сказку для народа под названием «Мудрица Наумовна». Приходи ко мне вечером, я тебе прочту готовые отрывки.

— Знаешь, с книжками совсем беда вышла! Все население той местности оказалось почти поголовно безграмотным, большинство книг пришлось принести назад.

— А как же другие, ходившие в этих самых губерниях, распространили очень много? Верно тебе неудачно попадались встречные?

Я был очень сконфужен за себя и огорчен его словами.

«Значит мое хождение вышло бесполезное, — думалось мне. — Но что же я могу сделать? Не совать же было книги в руки

каждому безграмотному? Однако вот другие в тех же местах, очевидно, сумели найти и грамотных людей... Значит, я просто неспособен к деятельности пропагандиста».

Мысль эта подавляюще подействовала на меня. «Но как же они могли найти там столько интересующихся?» — ломал я себе голову.

Я тогда не мог этого понять и понял только потом, уже на суде. Оказалось, что большинство не дорожило так нашими книжками, как я. Бродячие пропагандисты раздавали их всякому встречному или даже прямо разбрасывали по дороге, в надежде, что тот, кому они нужны, найдет их сам и прочтет. А в результате, невидимо для них эти книжки разрывались на простые цигарки, потому что ни одна из брошенных наудачу не возбудила о себе потом даже жандармского дознания!

Но мне в то время даже и в голову не приходили такие мысли.

И вот я показался себе таким ничтожным!

Я думал, что меня все в нашей среде должны теперь презирать.

И однакоже, как оказалось вскоре, меня не только никто не презирал за принесенные назад книги, но даже и не отметил этого обстоятельства, а заметили в моих рассказах одно благоприятное! Мой старик-кузнец, исписавший крестами свою избу, казался всем чрезвычайно ценным приобретением, и Кравчинский, услышав о нем, сейчас же записал его адрес и захотел непременно побывать у него и сам.

Он задумчиво и молча ходил из угла в угол по комнате, не участвуя в общем разговоре, а черные глаза молоденькой Тани Лебедевой, сидевшей в самом углу, с обожанием следили за каждым его движением и, очевидно, не могли оторваться от него.

«Он счастливый! — думалось мне. — У него все выходит так необыкновенно. Вот и она это чувствует и понимает».

И мне очень захотелось быть таким же интересным и так же ходить из угла в угол, чтоб какая-нибудь девушка так же смотрела на меня.

Одна очень юная барышня, лет шестнадцати, которую я видел в первый раз (как оказалось потом, Панютина, дочка одного генерала, умершего за год или за два перед этим), вдруг подошла ко мне.

— Я и мои сестры тоже принимаем участие. Весной мы тайно набирали книжки для народа в типографии Мышкина. Она арестована в начале лета. Мышкин теперь уехал за границу, а нас не тронули. Приходите к нам, если можно, сегодня же вечером.

— Непременно зайду!

Она написала мне свой адрес на бумажке.

— Смотрите, не потеряйте!

— Не потеряю!

— Не забудьте!

— Не забуду!

Когда я явился к ним вечером, оказалось, что у них уже было несколько знакомых, пришедших исключительно, чтоб видеть меня, только что возвратившегося с большим успехом из народа.

— Триста верст прошел в народе! — кто-то шепотом сказал другому, и я понял, что это говорили обо мне и что триста верст казалось им чем-то необычайно громадным.

Их внимание очень мне льстило. Мой конфуз за принесенные назад книжки совершенно растаял перед таким явным удивлением по поводу моего путешествия со стороны этой новой для меня и очень юной компании.

Но мое счастье достигло наивысшей степени через два дня, когда я пришел к Григорию Михайлову, тому самому, который любил вставлять в свой разговор французские и латинские слова с дурным их произношением.

— Поздравляю! Поздравляю с огромным успехом! — встретил он меня со своими, как всегда, театральными манерами. — Слышал уже, все слышал!

— В чем же огромный успех?

— Как в чем? Вы устроили новый опорный пункт для восстания! Вы триста верст прошли в виде рабочего в народе под глазами все высматривающих властей! Обошли в виде крестьянина две губернии!

У меня как бы сразу открылись глаза. То, что мне казалось таким незначительным, бесполезным, принимало для моих друзей, находящихся в отдалении, грандиозные размеры! Им казалось, что мой кузнец, обещавший принимать таких, как я, — необыкновенное и важное открытие, какой-то удивительный крестьянский самородок, а самое мое путешествие в виде рабочего, с запрещенными книжками в котомке, среди станковых и всяких сельских соглядатаев и доносчиков представлялось им не менее опасным, как если б я прошел поперек среди людоедов всю Центральную Африку!

Таково было тогда представление о недреманном оке правительства.

— Я, — продолжал Михайлов, усадив меня, — даже вдохновился, когда услышал о всем, что вы сделали, и написал стихи, посвященные вам. Позвольте вручить!

И, вынув из стола листок бумаги, он подал мне стихотворение, под заголовком которого, действительно, полными буквами стояло посвящение мне...

Уничтожить все вредное в жизни
И народное благо создать.
Он не мог равнодушно-лениво
Выжидать измененья судьбы
Тех бедняг, что несут терпеливо
Крест тяжелый ужасной нужды.
Он не мог выносить угнетенья
И покорно несть рабства ярмо,
Преклоняться пред грубым стеснением
И лелеять бесправья клеймо.
И, презрев мелочные заботы,
Не страшась тиранических гроз,
Он ушел в мир нужды и работы,
В мир отчаянья, горя и слез...
И учил он страдающих братьев
И надеждой сердца наполнял,
Вместе с ним они слали проклятья
Тем, кто все у них в жизни отнял.
Дни летели. Кипела работа,
Но не дремлет гнетущая власть,
Ее давит одна лишь забота,
Как бы вниз с высоты не упасть.
У тиранов повсюду есть уши,
Тип Иуды с земли не исчез,
Есть на свете продажные души,
Властелины ж богаты, как Крез.
И в тюрьму вождь народа был послан
Для спокойствия сильных земли.
Он погиб. Но друзья его после
По дороге открытой пошли...
И напрасны усилья тиранов.
Дух свободы проникнет в народ,
Рухнут все их безумные планы
И исчезнет губительный гнет.

Когда я прочел это стихотворение, у меня в буквальном смысле закружилась голова от счастья, но, с другой стороны, было очень стыдно. Я чувствовал, что не заслужил ничего подобного. Я не знал даже, как поступить, что сказать, что обыкновенно говорят в таких случаях? Несколько минут после прочтения я продолжал делать вид, что еще внимательно читаю,

но в голове был полный хаос, и я не знаю сам, каким способом мой язык как-то совершенно неожиданно для меня заговорил.

— Какие хорошие стихи! Но это не похоже на меня.

— Почему не похоже?

— Да вот вначале вы говорите: «Непреклонная гордость во взгляде...» Никогда не будет у меня никакой гордости.

— Будет, будет! — восторженно заговорил он, ходя взад и вперед по комнате, с теми же своими театральными манерами, к которым я давно уже привык, зная, что под ними скрывается очень искренняя, простая и отзывчивая душа.

— Но мне и не хочется гордости. Это самомнение. Мне хочется больше быть другом народа.

— Нет! Вам надо быть не только другом народа, но и его вождем! Друзей у него много, нужны вожди, и, когда вы им будете, вы и станете таким, каким я здесь описываю.

Я не хотел продолжать спора, я был так счастлив в глубине души.

Мне посвящают стихотворения! Значит, я действительно могу сделать что-нибудь особенное, выдающееся! Этого уже ждуг от меня... И я не обману их ожиданий!

Я нарочно сказал Михайлову, что мне надо быть в другом месте, и, выйдя на улицу, тотчас же вынул его стихотворение. Я перечитывал его, идя сам не зная куда, и десятки раз наслаждался каждой строкой, пока не почувствовал, что знаю все наизусть и мне более нет нужды смотреть на бумажку, чтоб без конца повторять куплеты.

Стихотворение это сначала было пущено Михайловым в нашу публику в рукописном сборнике, а потом, через два года, с некоторыми вариациями со стороны переписчиков попало сначала в Дом предварительного заключения в Петербурге, где я тогда сидел, а из него уехало за границу вместе с различными стихотворениями политических заключенных и было напечатано среди них в женевском сборнике «Из-за решетки» в 1878 году.

Проходив по улицам несколько часов, я, опьяненный от счастья, пришел наконец, к Армфельду, который в этот день был один, так как его мать и сестра уехали в свое имение в нескольких верстах от Москвы. Благодаря близости к имению и вследствие недостаточной поместительности их деревенского дома они не уезжали все вместе и на все лето из своего городского дома, а поочередно оставались в нем то тот, то другой. Постоянно жил в деревне только старший брат со своей женой, хозяйничавший в имении, разделяя доходы с матерью, сестрой и младшим братом, с которым я теперь виделся первый раз после моего возвращения из народа.

— Как поживает Лиза Дурново? — спросил я его, спешно рассказав о своем путешествии.

— У нее после твоего ухода вышла настоящая ссора с матерью. Мать потребовала, чтоб революционеры не переодевались в губернаторском доме, и очень негодовала на тебя, что ты так сделал. Лиза говорила ей, что ты не хотел этого, что она сама упросила тебя, но мать не успокоилась и на следующий день все рассказала губернатору. Губернатор же любит свою племянницу больше, чем кого другого на свете, и, перепугавшись за нее, тоже потребовал от Лизы полного прекращения ее необыкновенных знакомств. Лиза два дня плакала и потом прибежала ко мне с просьбой отвести ее к твоим товарищам, чтоб они ее скрыли у себя, переодели в крестьянское платье и тоже пристроили в народе.

— И что же, ее пристроили?

— Я ее отвез в Петровскую академию, где поместил у одной курсистки. Там она жила почти целую неделю, а тем временем в губернаторском доме была страшная тревога. Мать приехала ко мне, умоляя найти ее, привезти домой или указать место ее пребывания. Я отвечал, что сам его не знаю, но надеюсь найти через знакомых, имени которых не имею права назвать. Она тут же написала Лизе письмо, прося меня немедленно передать через моих знакомых, а я тотчас же сам поехал с ним в Петровскую академию.

— Но они могли выследить ее через тебя!

— Нет! Они не сделали этого. Но через меня началась ежедневная переписка Лизы с матерью и губернатором, и в результате они согласились на все, чего требовала Лиза. Ей было предоставлено принимать, кого хочет, не спрашивая разрешения у старших и не подвергая своих гостей никакому их надзору. Но приемы должны происходить лишь в те часы, когда губернатор занимается по службе, чтоб в случае беды никто не мог сказать, что это происходило с его ведома.

— Значит, она теперь опять у них?

— Да, она возвратилась домой и вчера временно уехала с матерью в деревню, так как губернатор получил отпуск.

— А долго пробудут они в деревне?

— Лиза говорит, что до начала сентября. Она очень просила тебя не забывать о ней и, когда она возвратится, непременно повидаться.

До поздней ночи сидел я у Армфельда, строя с ним различные планы будущего и спрашивая о товарищах по нашему кружку, большинство которых разъехались теперь из города на лето.

Когда он ушел от меня, из мезонина, вниз ночевать, уступив мне здесь свою обычную постель, я долго ходил взад и вперед при свете керосиновой лампы. Потом я подошел к окну, в которое светила луна, и осмотрел освещенные ее зеленоватым светом железные крыши нижних пристроек под моим окном, соображая, что в случае прихода жандармов я могу выскочить из окна и перебраться через крыши в прилегающий к дому соседний сад, откуда уже видно будет, куда уйти, так как мне не в первый раз перескакивать через заборы.

Потом я опять начал ходить взад и вперед, все еще под сильным впечатлением посвященных мне стихов и воображая себя теперь вождем восставшего народа. И вновь фантастические образы зародились в моем воображении, меня снова охватило чувство беспредельного счастья, любви ко всему человечеству и готовности сейчас же пожертвовать жизнью за великую идею гражданской свободы и за своих друзей. Но ко всему этому прибавилось еще какое-то новое восторженное настроение, и я чувствовал, что у меня слова слагаются в рифмованные фразы.

«Неужели это то, что поэты называют вдохновением? — мелькнула у меня мысль. — Неужели и я тоже могу писать стихи?»

Я взял карандаш и отметил пришедшие мне в голову строфы в своей записной книжке:

То не ветер в темном лесе над вершинами гудет,
То не волны на побережье буря по морю несет,
То идет толпа народа, по пути она растет
И о воле, о свободе песнь призывную поет:
«Собирайтесь, ребята, вместе с нами заодно,
Уж настало время сбросить рабства тяжкое ярмо!
Мы навстречу угнетенью темной тучею пойдем,
Нашу волю дорогую мы добудем и умрем!»

Мое чувство счастья и восторга, казалось, еще более увеличилось, когда я написал эти строки. Значит, и на меня может находить вдохновение, как на поэтов! Значит и я тоже могу писать стихи! Да, очевидно, могу!

Я принялся оканчивать свою балладу и писал часов до трех. Но и остаток ночи я не мог заснуть.

Сознание, что я поэт, казалось, делало меня чем-то особенным, лучшим, чем я был до сих пор. На следующий день я, переписав свои стихи начисто и пересилив свое смущение, побежал к Михайлову, единственному из знакомых мне поэтов, чтоб проверить себя. Сделав необычное усилие над собой, я подал

ему свое произведение. Неужели он осмеет меня, если мои стихи ни на что не годны? Что, если все, что я чувствовал вечером, было не вдохновенье, а самообман?

Но Михайлов не разочаровал меня. Дочитав до конца это мое первое стихотворение, из которого я теперь помню только вышеприведенное начало, он сказал:

— Недурно! Вы сможете писать стихи. Недостает только некоторой обработки, которая приобретается практикой. Вот, например, вместо «Нашу волю дорогую мы добудем и умрем», надо сказать: «Нашу волю дорогую мы добудем и ль умрем», потому что если добудем, то уже незачем умирать!

— Я хотел тут сказать, что мы добудем своей смертью. Мне всегда кажется, что мы ее добудем именно так, не для себя, а для других.

— Тогда у вас неясно выражено! — сказал Михайлов. — Но для первого раза хорошо. Продолжайте разрабатывать этот свой талант! — прибавил он с патетическим ударением на последнем слове.

Но у меня не было тогда никакого времени для разработки. Жизнь моя проходила как в вихре благодаря массе новых впечатлений, которые приносил каждый день, да и разнообразие интересов мешало мне сосредоточиться на чем-нибудь. Прежний страстный интерес к естественным наукам тоже по временам давал себя знать.

2. Опять тревоги

Я пришел к Алексеевой, но не застал ее дома. Оставшись один в ее пустой квартире, я взглянул на стены, сплошь уставленные книжными полками студенческой библиотеки, перенесенной к ней во время моего путешествия. Осмотрев заголовки стоящих там книг, я вынул один из номеров тогдашнего научного журнала «Знание» и начал читать в нем переводную статью какого-то немецкого ученого «О полете насекомых». Предмет сразу захватил меня. Там описывались опыты над схваченными за ножки мухами и другими, прикрепленными к месту, насекомыми, крылья которых дают отблески от лучей падающего на них света. Эти отблески всегда идут по двум разным направлениям: один от крыла при его поднятии, другой при опускании, так что хотя взмахи крыльев и следуют так быстро друг за другом, что их нельзя отметить глазом, но по направлению световых отблесков легко можно определить, что

при поднятии крыла его передний край приподнимается над задним краем, а при опускании — наоборот, так что можно даже точно определить угол между тем и другим движением крыльев и убедиться, что крылья насекомых всегда действуют по закону удара косых плоскостей, т. е. как винтовые поверхности.

Я живо прочел эту статейку, которая возбудила во мне мысли о возможности полета человека на крыльях, устроенных таким образом, или его подъема вверх вместо воздушных шаров на двух винтах, вложенных в одну ось и вращающихся в противоположные стороны, но я не мог долго предаваться своим мыслям. Возвратилась Алексеева, а вслед за нею пришло несколько других знакомых. Их разговор помешал продолжению моих летательных соображений.

Говорили об арестах среди московских рабочих, об аресте Цакни, о том, что Третье отделение встревожилось и по улицам везде рыскают шпионы. Один студент, Устюжанинов, с которым я познакомился еще весной в сапожной мастерской, устроенной нами для обучения уходящих в народ, и который тоже пришел к Алексеевой, был особенно нервно возбужден.

Это был невзрачный вологжанин, с черной, как вороново крыло, густой бородой, доходившей почти до самых его глаз, и с узким невысоким лбом под негустыми, тоже черными волосами. Он был всегда молчалив, даже боязлив, — его считали прямо трусливым и не особенно ценным в качестве пропагандиста. А на деле, как оказалось потом, он пользовался среди московских рабочих огромным влиянием и замечательно хорошо умел с ними сходитья в народных трактирах.

Аресты теперь коснулись именно его знакомых, и ему приходилось особенно сильно скрываться.

— Если меня арестуют, — сказал он мне, отведя в сторону, — то примите на себя моих рабочих. Особенно обратите внимание на Союзова, это замечательно ценный человек. Я познакомил его уже с Панютиными, но они девочки, и если меня не будет, то вы позаботьтесь о нем, чтобы он не пропал и не отстал от движения.

— Зачем вам погибать? — утешал я его. — У меня есть достаточно знакомых в Москве, чтобы укрыть вас.

Вдруг вошел Кравчинский.

— Скверное дело! — сказал он. — Около этого дома снуют подозрительные личности. Надо скорее расходиться, господа, и уходя, смотрите все хорошенько за собою.

Устюжанинов нервно заерзал на своем месте. Он порывисто подошел к окну и начал быстро повертывать в нем голову направо и налево.

— Отойдите, отойдите скорее от окна! — почти крикнул ему Кравчинский. — Ведь вас видно с улицы, вы обращаете на себя внимание!

Устюжанинов отскочил от окна и спрятался в противоположном углу комнаты в тени.

— Кто же куда идет? У кого есть безопасное место для ночлега?

— У меня есть несколько мест, и одно из них для нескольких человек сразу, — ответил я.

— Где для нескольких? — спросил Шишко.

— В вокзале Рязанской железной дороги, в квартире инженера Печковского.

— В вокзале, — это очень хорошо, — заметил Шишко, — пойдете вместе, а то мне негде ночевать. Я думал, что останусь здесь.

— И я пойду тоже, — сказал Саблин.

— И я, — прибавил из своего угла глухим голосом Устюжанинов.

Я был в восторге, что могу укрыть сразу столько человек. Я пригласил и Кравчинского, но у него была своя собственная безопасная квартира.

Мы вышли поодиночке, условившись сойтись на Никитском бульваре и идти далее вместе. Я пошел по улице сначала в один конец, затем по другому тротуару возвратился назад. Прямо против окон Алексеевой стоял и смотрел в них усатый человек в темном пальто и широкополой шляпе. Яркий свет фонаря падал на него сбоку. Его лицо было в тени шляпы, но, взглянув вниз, я увидал из-под его пальто узкий красный шнурочек, вшитый в шов его синих штанов.

«Переодетый жандарм! — пришло мне в голову. — Очевидно, дело плохо!»

Я прошел мимо него, по-видимому, не возбудив подозрения, сделал с беззаботным видом несколько десятков шагов и, увидев парочку незнакомых барышень, шедших мне навстречу, притворился, будто заглядываю им под широкие соломенные шляпки, как, я видал, делают нахалы, а сам, вместо того, бросил быстрый взгляд назад.

Человек в шляпе уже сделал несколько шагов в моем направлении и стоял в нерешительности, смотря мне вслед, а тем временем из подъезда Алексеевой вынырнула длинная тонкая фигура Устюжанинова, который почти бежал в противоположном направлении, беспрепятственно оглядываясь назад.

«Заметил ли его шпион? — пришло мне в голову, но оглянуться второй раз у меня не было никакого благовидного повода,

и я с беззаботным видом прошел вплоть до поворота в боковой переулок, где, делая загиб, мог бросить, наконец, косвенный взгляд назад.

Никто не шел за мною, но и усатой фигуры не было видно. Может быть, он заметил оглядки Устюжанинова и пошел за ним? Или снова стоит плотно у стены против Алексеевой, и мне не видно его? Я поспешил к бульвару, оглядываясь изредка на встречных дам, но за мной явно никто не следил.

Подойдя к бульвару, я еще издали заметил на условленной скамье Шишко, Саблина и Устюжанинова. Остановившись, как бы в нерешительности, куда идти, я осмотрелся кругом: если шпион шел за кем-либо из них, то он должен остановиться здесь, чтоб определить, куда они пойдут далее. Но здесь никого не было.

«Значит, тот, в синих штанах с кантиком, прозевал Устюжанинова», — пришло мне в голову. Подойдя к товарищам, я пошел с ними далее, каждую минуту прося Устюжанинова не оглядываться без повода, но ничего не помогало. Он явно не мог сдержать своих импульсов. За сотню шагов всякий мог бы указать на него пальцем и сказать: вот человек, который сильно опасается какого-то преследования.

Так мы дошли до Рязанского вокзала и, пройдя в толпе пассажиров во двор, вошли черным ходом в квартиру Печковского, где прислуга хорошо меня знала, как бывшего жильца, который возвратится и на следующую зиму. Наша ночная компания ее не удивила, так как там уже давно привыкли к моим «ученым экскурсиям с товарищами». Не застав дома никого из хозяев, мы расположились спать в моей прежней комнате, кто на диване, кто прямо на полу, и я, конечно, выбрал себе последний способ.

Ночь прошла без всяких приключений. Лакей Печковских приготовил нам утром чай и завтрак, и я тут же сказал ему:

— Этим моим друзьям часто приходится приезжать в Москву с дачи и ночевать поближе от вокзала. Мы с Печковским сказали им, чтоб останавливались здесь, и если кто с ними приедет, то пусть тоже.

— Слушаю! — сказал лакей.

Таким образом, ночевка нуждающимся была обеспечена.

Вокзал же с толпами своих приезжих и многими сквозными выходами представлял прекрасное место, чтоб замести за собой следы при входе в квартиру.

На следующее утро, в восторге, что мне пришлось доставить такое верное и постоянное убежище моим преследуемым друзьям,

я побежал, оставив их здесь, прежде всего к квартире Алексеевой, чтоб посмотреть, следят ли еще за ней.

Было часов десять утра. Много прохожих сновало взад и вперед по тротуару, против ее дома. Но уже издали, несколько наискось от ее окон и подъезда под ними, я увидел ту же самую усатую фигуру в коричневом пальто, в черной мягкой шляпе и в предательских синих штанах с красными кантиками, виднеющимися из-под пальто. Фигура явно наблюдала за ее входом и окнами, не обращая ни малейшего внимания на проходящих по эту сторону.

Я поглядел на одно из ее окон, где в условленном месте был выставлен подсвечник, знак, что ночь прошла благополучно.

«Значит еще не арестована!» — подумал я и побежал к Кравчинскому, придерживаясь выработанной мною системы осматривать улицы за собою под видом не очень частых оглядок на проходящих дам или проезжающих навстречу экипажей или под видом бросанья незаметных взглядов назад при поворотах на боковые улицы. Если хотелось взглянуть еще раз на что-либо подозрительное, то я делал вид, что остановился в раздумье, тут ли повернуть, и как бы читая название улицы на углу дома.

Эта система уже более не оставляла меня во все дальнейшие периоды заговорщицкой деятельности, и благодаря ей и еще некоторым приемам, о которых читатель узнает далее, я не только никогда не приводил за собою ни к кому сыщиков, но очень часто сам водил их, как выражаются, за нос и избавлялся от их наблюдений различными придумываемыми мною для каждого отдельного случая приемами.

Пройдя нарочно не по главной улице, а окольным путем, завернув по переулку в другую параллельную и убедившись, что никто не наблюдает сзади за мною, я вошел к Кравчинскому и застал его за писанием «Мудрицы Наумовны».

Он радостно обнял меня и, весь в увлечении от своей творческой работы, не давая мне выговорить ни одного слова, принялся читать написанное им в эту ночь стихотворение, которое он хотел вставить в свою сказку. Но с первых же куплетов я увидел, что — увы! — в его стихах не было того, что является главным в лирической поэзии: выдержанного от начала до конца настроения, согласия между сюжетом и формой и музыкальности стиха.

Мне очень было трудно сказать ему это, но он уже по моему разочарованному виду при окончании чтения понял, что его стихи мне не нравятся.

— Что, плохи? Говори прямо! Мне, ты понимаешь, надо знать! — сказал он.

— На меня они не производят впечатления. Твоя проза куда лучше.

— Что же в них нехорошо?

Я ему сказал о недостатке музыкальности. Он подумал и, взяв свой листок, тут же разорвал его на клочки и бросил в корзину на пол.

— Пожалуйста, прости! — поспешил я сказать. — Но я выразил тебе откровенно, как и надо делать всегда, только мое личное впечатление. Может быть, другим стихи твои понравятся.

— Нет, ты прав! — сказал он печально. — Я теперь сам вижу, что указанные тобою места не музыкальны, и настроение в разных строках зависит от подгонки содержания под пришедшие в голову рифмы. А мне-то ночью казалось, что я — поэт, что каждая строка выливается так удачно из моей головы!

— Да, это часто бывает. Но, может быть, у тебя другой раз выйдет хорошо!

— Нет! — ответил он. — Музыкальность сказала бы хоть в нескольких куплетах и подействовала бы на тебя, и ты сейчас же указал бы прежде всего хорошие места, а потом уже недостатки. Я тебя знаю.

Я был очень огорчен, что не нашел в его стихах ни одного куплета для похвалы, и в то же время растроган до глубины души его доверием к моему поэтическому вкусу. Его способность сразу же отказываться от случайных неправильных представлений проявлялась в нем часто и в других случаях. В нем совершенно не было того мелкого самолюбия, которое заставляет многих в споре, особенно публичном и по общественным вопросам, отстаивать раз высказанное умозаключение, даже если бы кто-нибудь из присутствующих указал явную ошибку.

Кравчинский, сказав что-либо неверное, никогда не выкручивался ни путем нападения на противника, чтоб сбить нить разговора на другую тему, ни переводением чисто идейного спора на личности, по образцу той корчмарки в народе, которая не хотела мне дать сдачи с двугривенного.

А ведь многие у нас в политических спорах поступали именно по ее рецепту! Он же, благодаря способности увлекаться своей идеей до забвения всего окружающего и потому часто впадавший в односторонность, сейчас же признавал ошибку открыто и при всех, как только кто-нибудь указывал ему на нее, и этим сразу обнаруживал главный признак истинно гениального творческого ума. Однажды, желая устранить возражение, что при всеобщем обязательном физическом труде и полном «опрошении интеллигенции» немыслим дальнейший прогресс науки, требующий для умственной деятельности такой же специализации, как и в

отраслях физического труда, он написал в одну ночь целый трактат, где необыкновенно убедительно доказывал, что дальнейший прогресс науки и искусства пойдет в будущем, как и в отдаленном прошлом, путем народного творчества.

«Подумайте только,— говорил он в заключении своего трактата,— народное творчество бессознательно для личности создало такую великую вещь, как язык, с его удивительными грамматическими формами, оно создало такие произведения, как Одиссея, Илиада! Разве может быть после этого сомнение, что, предоставленное самому себе, оно создаст и высшую науку?»

— Но ведь это же народное творчество,— возразил кто-то из присутствовавших при чтении им своей статьи,— создало не один идеальный, а целый ряд совершенно случайных языков, вследствие чего различные народы и до сих пор не понимают друг друга и потому, считая себя чужими, ведут между собою кровопролитные войны! А вместо единой по своей сущности науки оно создало ряд различных религий, тоже борющихся огнем и мечом между собою, оно выработало целые системы различных демонологий, сотни чертей и ангелов, водяных и русалок. Это путь совсем неверный и опасный!

Кравчинский встал, прошелся среди общего молчания несколько раз взад и вперед по комнате, а потом печально взял свою рукопись и со словами: «да, вы правы!» — разорвал ее на клочки совершенно так же, как сделал с прочитанным мне стихотворением.

— А моя сказка тебе, действительно, нравится? — спросил он меня в тот приход, когда я критически отнесся к его стихам.

— Да, в ней очень много остроумного и комичного. Мне очень хочется поскорее видеть ее в печати, чтоб посмотреть, какое впечатление она произведет в народе. Но я прибежал к тебе теперь не по этому поводу,— поспешил я перевести разговор на предмет моего прихода, к которому я, как часто бывает в жизни, никак не мог приступить благодаря тому, что голова собеседника была полна другими вопросами.— Я опять видел сейчас против квартиры Алексеевой вчерашнего сыщика в синих штанах. Нет сомненья, что следят за ней!

— Что же ты мне сразу этого не сказал? — встревоженно сказал он, вскочив со своего места.

— Да ты же заговорил о сказке!

— А свечка была поставлена у Алексеевой сегодня утром?

— Поставлена.

— Пойдем скорее! Я тоже хочу видеть этого шпиона,— воскликнул он, позабыв все свои литературные дела.

Мы быстро вышли и направились к Алексеевой. Он сказал мне по пути:

— Я пойду впереди тебя на несколько десятков шагов. Я его узнаю по синим штанам, а ты смотри, обратит ли он на меня внимание и, если он не пойдет за мной, подойди ко мне в первом переулке.

Он прошел мимо субъекта, который, мельком взглянув на него, сейчас же отвернулся и даже не посмотрел ему вслед. Пройдя за угол этого квартала, я увидел Кравчинского неподалеку от угла улицы.

— Ну, что? — спросил он.

— Никакого внимания не обратил на тебя, — ответил я.

— Это хорошо. Ну, а теперь ходим с полчаса по улицам и пойдем назад в обратном порядке. Я пойду сзади и посмотрю, как он отнесется к тебе.

Однако при обратном проходе оказалось, что субъекта уже не было.

— Верно, пошел что-нибудь докладывать по начальству! — заметил я.

— Или просто сбежал с поста, чтобы побыть у знакомых, — прибавил Кравчинский. — Все они, наемщики, таковы! Скорее прав я, потому что, кажется, никто не поставлен ему на смену.

Мы прошли еще раз по улице. Никакого соглядатая, очевидно, больше не было. Мы отправились к Алексеевой.

У нее против обыкновения не было гостей. Тревожное настроение, охватившее в последние дни большинство благодаря недавним арестам товарищей, заставляло многих остерегаться ходить друг к другу без нужды, и они оставались дома в выжидательном положении. Кроме того, утром уже разнесся слух, что я вчера видел сыщика против дома Алексеевой.

— Вам надо временно уехать куда-нибудь из Москвы, — сказал ей Кравчинский. — Да и тебе тоже, — прибавил он, обратившись ко мне.

— Но куда? — спросила Алексеева.

— Надо поискать какого-нибудь помещика, у которого вам обоим можно было бы погостить с месяц, а потом будет видно, что делать. Мне говорил один профессор из Петровской академии, Петрово, что его родственник в Курской губернии очень хотел бы познакомиться с нашими. Я сейчас же съезжу к нему.

Он, не подходя к окну, осмотрел через него улицу.

— Субъекта нет, выход, по-видимому, свободен.

— Но все же лучше не уходите вместе, — сказала Алексеева, опасавшаяся теперь серьезно за нашу делость,

— Я выйду вслед за тобой через полминуты, — сказал я Кравчинскому, — и буду смотреть, не сопровождают ли тебя.

— Если никого нет, то опереди и, не говоря ни слова, проходи мимо. А затем я пойду за тобой и буду смотреть таким же образом.

Так мы и сделали. Убедившись, что никого нет ни за кем из нас, мы пошли вместе, но около Тверского монастыря встретили встревоженного, спешащего куда-то Шишко.

— Сейчас арестовали Устюжанинова на улице на моих глазах, когда я шел за ним на некотором расстоянии на свидание с рабочими. У меня сжимается сердце при мысли о гибели этого доброго и скромного товарища, но я ничем не мог ему помочь.

Итак, предчувствие не обмануло Устюжанинова!

«И не потому ли, что он так неловко оглядывался за собою?» — пришло мне в голову.

Но я не мог никогда получить от него ответа на этот вопрос, так как более уже не видел его. Он, как многие другие из моих товарищей, не вынес тоски одиночного заключения и через полтора года умер в темнице от скоротечной чахотки.

3. Снова на окне

Отчего, несмотря на много лет, отделяющих меня теперь от того прошлого, я помню из него так ясно многое? И, когда я сосредоточиваюсь на нем в своем новом уединении в Двинской крепости, мне кажется порой, что в моих ушах еще звучат давно умолкшие слова, в воображении рисуются давно минувшие сцены и порой из забвения воскресают даже мимолетные выражения на лицах давно погибших дорогих людей.

Я думаю, все это произошло потому, что в периоды прежних моих заточений, когда мне приходилось без конца шагать взад и вперед по крошечной келье, не видя по годам ни одного живого лица, не имея в руках ни одной книги, я часто вспоминал прошлое и выгравировал все пережитое в своей памяти до такой степени, что мне кажется, будто я не раз писал в уме ту или другую главу этого моего рассказа. Как самые мелкие звезды становятся видимыми во тьме глубокой ночи осенью, так мельчайшие подробности прежней жизни выступают теперь передо мною и мне легко их писать, потому что они как будто только сейчас были пережиты.

Мне вспоминается, во всей ее тихой красоте, лунная ночь, последняя ночь, которую мы с Алексеевой просидели наедине у окна, в одной из курских гостиниц, после нашего бегства из Мо-

сквы. Опять нам светила луна над крышами противоположных домов, и яркие звездочки смотрели к нам в окно из голубой лазури.

Москва, с ее шпионами и тайными засадами, казалась нам покинутой не вчера, а когда-то давно-давно. Все кругом нас было новое, никто нас здесь не знает, никто не ищет, никто не хочет заточить в одиночную камеру без света и воздуха, и нам было хорошо дышать душой в этом новом положении. Но вместе с тем нам было и грустно. Мы вспоминали всю вереницу людей, прошедших перед нашими глазами два-три месяца тому назад с воодушевленными лицами и с одним общим восторженным лозунгом на устах: «В народ, в народ!»

— Как быстро все это промелькнуло! — грустно сказала Алексеева. — Большинство их уже арестовано в разных местах, другие скрываются, как мы; третьи уже уехали за границу; мало, очень мало осталось уцелевших и еще деятельных... Как вы думаете, не погибло ли все?

Сильно впечатлительная, легко приходящая в энтузиазм при всяком, даже незначительном успехе и легко падающая на время духом при неудачах, она теперь была в разочарованном состоянии, и ей казалось, что и весь мир должен находиться в таком же настроении по причине повсеместных арестов наших друзей и товарищей.

Я не мог ей сразу ответить на ее вопрос. То, что я видел в народе, показывало мне, что если б правительство не помешало нам в то лето ходить по деревням со своими книжками и раздавать их безграмотным или полуграмотным прохожим на цигарки, то к осени мы все без исключения возвратились бы в свои учебные заведения. И мы продолжали бы научные занятия в полном убеждении, что новый бог, которого мы создали себе в тогдашнем крестьянине вместо старого, библейского, еще не в состоянии осуществить наши идеалы и немедленно создать во всей ее красоте новую жизнь, в которой люди узнают друг в друге своих сестер и братьев и каждый будет сейчас же готов отдать свою жизнь за ближнего.

Но ведь я никогда и не надеялся исключительно на простой народ, а больше всего на себя и на своих друзей, хотя нас было и немного. «Ведь сила не в числе, а в героизме», — думалось мне.

— Раз наше дело справедливо, оно уже не может погибнуть, — ответил я ей, — хотя, может быть, крестьяне теперь еще и не готовы. Я даже не раз думал, что при телеграфах и железных дорогах общих восстаний, вроде крестьянской войны, какая была в средние века в Германии, теперь не может быть. Их подавят в самом начале, и выйдут отдельные вспышки, как хотел Ковалик.

Я думаю, что надо начинать с центров, со столиц, с заговоров и, между прочим, ближе сойтись с рабочими.

— А вот мы с вами мечтали именно о партизанской борьбе в деревнях,— сказала она, грустно улыбаясь.

— Я и теперь мечтаю о ней по временам, но считаю это простыми мечтами. Больше всего мне хотелось бы познакомиться с рабочими. Когда я возвращусь в Москву, я приму там наследство, которое оставил мне Устюжанинов перед своим арестом, и познакомлюсь с ними. А больше всего я по-прежнему мечтаю о введении у нас республики вроде Соединенных Штатов в Америке.

— Вы — идеалист! — сказала она, пожимая мою руку, левую в ее руке.— И вы не выживете, если разочаруетесь.

— Я никогда не разочаруюсь.

— Но как же не разочароваться во многом? Ведь эти аресты повсюду происходят только потому, что некоторые из первых арестованных, ради спасения своей собственной жизни, начали болтать на допросах и выдавать своих товарищей. И особенно много таких оказалось как раз среди сочувствовавших нам и соглашавшихся на все крестьян и рабочих!

— Но ведь мы идем не из одной дружбы к товарищам и простому народу, а для осуществления свободы, равенства и братства, и потому, что сами не хотим жить рабами. Если наши товарищи или современные крестьяне и рабочие и окажутся вдруг недостойными этих идеалов, то сами наши идеалы не станут от этого хуже. Вот почему я не разочаруюсь ни от каких неудач и всегда буду трудиться для осуществления нашей великой цели, все равно — с товарищами или один.

— «Один в поле не воин!» — сказала она мне. Это было заглавие популярного в то время романа Шпильгагена.

— Шпильгагенский герой только потому был один в поле не воин,— ответил я,— что он хотел обосновать осуществление своих идеалов на сочувствии к нему короля.

— А мы — на сочувствии учащейся молодежи из привилегированных сословий! Клеменц правду говорит, что как только будет дана конституция и свобода слова и науки, так симпатии интеллигенции к социализму прекратятся совсем.

Она простилась со мною, встала с окна и пошла, периодически освещаемая полосами лунного света из окон, в другую комнату к своему, закашлявшему во сне, мальчику. Я смотрел ей вслед и думал: «как грустно, что мы обречены, что личное счастье не для нас!» Мне так хотелось бы прижать ее к своему сердцу и расцеловать. Мне тогда только что кончилось девятнадцать лет, хотелось и личной жизни и личного счастья; но я серьезно отно-

сился к любви и к своей деятельности и прогнал с усилием воли возникавшее чувство. Моя мысль снова направилась к тому, о чем мы с нею говорили, оно было так мне близко!

«Теперь,— думалось мне,— наше движение неизбежно пойдет в том направлении, в котором я и мечтал его видеть. Глупое начальство своими арестами сделает то, чего никто другой не мог бы сделать помимо него. Насильно закрыв начатую нами дорогу в народ, оно заставит нас именно и пойти по настоящей — в центры, в города, в заговоры».

Я, как в детстве, простился с луной и звездами, сошел с окна и, не закрывая его, лег на диванчик за столиком, прикрывшись своим легким пальто.

Но, очевидно, луна не хотела еще расставаться со мною: ее лучи падали прямо на меня, и, открыв глаза, я мог ее видеть с моего дивана. В голове начали возникать обычные грезы, и даже слагалось стихотворение на тему нашего разговора о баррикадах:

Нет, друзья, не вернется обратно.
Что бывало лет триста назад,
Время бунтов прошло безвозвратно;
Наступила пора баррикад...

Но прежде чем я успел его закончить в своем уме, я уже спал крепким сном.

4. Я оказываюсь просто мальчиком

Наша тройка бойко подкатила к помещицкой усадьбе. Пыльные и уже загорелые от июльского палящего солнечного зноя, мы были радушно встречены молодым хозяином в белой украинской рубашке, расшитой по воротнику и рукавам всевозможными узорами, и его красивой женой, слабого, изнеженного телосложения, одетой совсем не по-деревенски, а очень изящно, в легком платье с тонкими кружевами. Они уже были извещены телеграммой своего родственника, что интересные гости, которых они желали иметь, приедут к ним в этот самый день.

Оба с любопытством вглядывались в нас. Получив приветы через нас от своего родственника и однофамильца Петрово²² и его семейства, они повели нас в приготовленные нам комнаты, где мы быстро умылись, и, напившись чаю с хозяйками, пошли осматривать их имение, обыкновенную помещицкую усадьбу с большим фруктовым садом. Прямо за ним находилась речка, превращенная запрудой в большое озеро. У открытого шлюза

плотины вертелось мельничное колесо, с которого каскадами низвергались струи воды. Хозяева познакомили нас с мельником, сводили в свой дубовый лесок и на ручей с водопадами, по берегам которого росли кусты ежевики со спелыми ягодами. Познакомив нас затем с пришедшей из леса сестрой хозяина Марусей, хорошенькой гимназисткой лет шестнадцать, они просили нас быть, как дома, без церемоний, потому что время рабочее и хозяин будет свободен только за обедом и по вечерам.

Все это мне очень понравилось, и на следующий же день я широко воспользовался предоставленной мне свободой.

В то время деревенским властям и в голову не приходило следить за гостями в помещичьих жилищах. Ни о каких паспортах не было и помину в усадьбах, и мы с Алексеевой могли считать себя здесь в безопасности, как если б находились за границей. Это сознание, после всевозможных московских соглядатаев и третьоотделенских западней, целиком наполняло меня. Я чувствовал себя как бы только что приехавшим на каникулы после долгих утомительных занятий. Мне хотелось с радостью бегать, прыгать через канавы и выделывать всякие мальчишества.

— Давайте скатываться по этому откосу к берегу ручья! — сказал я всей компании, когда хозяева привели нас на один из своих холмов, покрытый пестрыми цветами.

Все засмеялись, как будто считая мои слова за шутку. Но я продолжал настаивать.

— Уверю вас, что это очень интересно, надо только прижать руки плотно к бокам и катиться по откосу, как бревно, в конце даже трудно будет остановиться. Я часто так делал, когда был мальчиком.

— Мальчиком другое дело, — заметил хозяин. — Но кататься на земле взрослым!

Ему было лет двадцать шесть и, насколько помню, он был отставной поручик, принявшийся за хозяйство после женитьбы в Петербурге, год или два назад. По-видимому, он боялся скомпрометировать свое достоинство перед Алексеевой и собственной супругой, которая, судя по большому количеству французских романов в усадьбе, была большой любительницей художественной литературы.

Но его сильной и живой сестре Марусе мое предложение, очевидно, очень понравилось.

— Давайте, давайте вместе! — воскликнула она.

И мы тут же, при общем смехе, рядом друг с другом, докатились до самого ручья, едва остановившись, чтобы не попасть в воду.

Все смеялись, но никто не захотел нам подражать, опасаясь

Чтобы поправить впечатление, я в один из следующих вечеров, когда на темном, безлунном небе выступили миллионы звезд, стал называть присутствующим главные из них. Маруся стала повторять за мной и заучивать их названия.

— Откуда вы их знаете? — спросил меня недоверчиво Петрово.

Я ему ответил, что знаю их еще со второго класса гимназии, когда начал лазить с картой неба на крыши, чтоб изучать звезды.

— Но вы могли все перепутать по карте!

Я взглянул на него с изумлением.

«Как же можно перепутать? — подумалось мне. — Очевидно, он сам никогда не пробовал ничего подобного и совсем не знает самых простых вещей в астрономии. Значит, ко всему, что я стал бы говорить о небе, он отнесся бы только с недоверием, и больше ничего!»

На следующий день, и опять с той же целью поправить дурное впечатление от сиденья на дереве, я хотел показать ему свое знакомство с геологией и стал объяснять характер некоторых геологических обнажений на берегу речки, но и тут опять наткнулся на то же самое скептическое замечание:

— Откуда вы знаете? Ведь вы еще не учились в университете, а в средних учебных заведениях этого предмета не проходят.

— Но я уже прочел много специальных курсов и исследованные отложения и нашел в них порядочно интересных окаменелостей, которые хранятся в Геологическом кабинете университета.

В ответ опять тот же взгляд, полный недоверия...

В виде последней попытки я, воспользовавшись, кажется, проходящей мимо нас коровой, перечислил ему разряды позвоночных животных, как будто с целью показать, что у нас, в России, есть представители большинства их, но и здесь вышло то же самое, что со звездами. На основании какого-то уже сложившегося предубеждения против меня, — очевидно, из-за моей молодости и отсутствия солидности, — он не хотел допустить мысли, что я могу что-нибудь знать, чего он сам не знает, и, когда я говорил о чем-нибудь, он думал, что я говорю как попало.

Здесь впервые обнаружилась для меня трудность, не будучи солидным по виду и официально дипломированным человеком, заслужить какое-нибудь признание среди нашего обычного, малообразованного общества.

Всякий раз, когда я сталкивался в то время со специалистами в естественных науках, я тотчас же заинтересовывал их собой и своими идеями. Слыша, как я со смыслом произношу специальные термины разрабатываемой ими науки и говорю о ее новей-

ших и старых теориях, они сейчас же забывали мою молодость и недипломированность и начинали говорить со мною, как равные с равным. А когда я говорил то же самое в так называемом среднеобразованном, а в сущности совершенно необразованном обществе, по возрасту старше меня, то выходило, что тут не хотели даже и слушать меня. И когда я при каком-нибудь поводе излагал свои мысли, мне просто отвечали:

— Ваши собственные выводы не имеют значения. Важно то, что об этом думают серьезные ученые!

Образовалась какая-то непроницаемая стена... Только те, кто был со мною одного возраста или еще моложе меня, слушали меня тогда со вниманием. В этой усадьбе мне в первый раз пришла в голову новая мысль: мнение моих друзей, что учиться надо для науки, а не для дипломов, не всегда справедливо. Если вы хотите только изучить науку для себя, то диплом вам, действительно, ни на что не нужен. Но если вы хотите, чтобы ваши научные мнения с доверием принимались обычными людьми, то диплом вам будет очень полезен, именно благодаря почти полному невежеству наших среднеобразованных людей. Когда против вас в публичном споре выступит дипломированный, все будут слушать его, а не вас, хотя ваши знания и были во сто раз больше, а ваш оппонент уже забыл все то, что знал, и просто говорит, что попало на язык.

Только в том случае, если у вас будут самостоятельные научные работы, признанные специалистами, вы избавитесь от этого недоверия и даже как будто получите некоторый плюс: репутацию человека, пробившего себе дорогу к знанию собственными усилиями без посторонних помочей.

Но тогда мне было только двадцать лет, у меня не было еще никаких печатных трудов, и потому такое отношение ко мне со стороны Петрово было мне до глубины души обидно. Лишь внутреннее сознание, что по существу я прав, что я говорил ему только то, что хорошо знаю, сильно смягчало эту обиду.

«Он так думает обо мне, потому что ему нравится так думать...— говорил я сам себе.— Ну и пусть делает себе удовольствие и воображает, что я ничего не знаю, тогда как не знает этого он. Ведь от его мнения я не буду глупее! Даже лучше, если обо мне думают хуже, чем я есть на деле, потому что доверившиеся мне не разочаруются потом. Многие люди стараются казаться другим лучше, чем они есть. Им верят, потом разочаровываются и, раз обманутые, теряют веру во всех людей вообще и делаются несчастными. Во мне, по крайней мере, никто не разочаруется».

И полный этими новыми мыслями я в тот же вечер решил

не слушаться более советов Алексеевой, не стараться насильно показывать всем, что и я кое-что знаю, и отбросить прочь «непреклонную гордость во взгляде», о которой выразился Михайлов в посвященном мне стихотворении. Надо вести себя совсем естественно, решил я, и на следующий же вечер, во время общей прогулки, дал полную волю своей прирожденной потребности в быстрых движениях.

Я вскарабкался на обрыв, перепрыгнул несколько раз через ручей, прошел при всех, цепляясь за доски, под струями мельничного колеса, а потом, когда вместе с закатом солнца все пошли домой, я остался сидеть и мечтать один на берегу широкой запруды.

Мало-помалу догорала алая заря, и засветился, как бледная точка, на западе неба всегдашний желтоватый Арктур, а почти прямо над моей головой засияла красавица наших летних ночей серебристая Вега. Беловатые клочья тумана стали подниматься над широкой гладью воды и, тихо гонимые едва заметным ветерком, шли, как привиденья, бесконечной процессией к видневшейся невдалеке мельнице, уже прекратившей свою работу. Все кругом было полно глубокого покоя. Не доходил до меня ни один человеческий голос, и в сонной тишине, располагающей к сновидениям наяву, эти бесчисленные клочья тумана, поднимавшиеся завитушками очень близко друг к другу, по временам напоминали мне своими очертаниями маленьких детей, идущих по воде в полупрозрачных белых одеяниях.

«Вот откуда, — думалось мне, — появилась идея о таинственных существах, духах воды, и русалках, особенно любящих мельницы».

Мне очень захотелось сделаться мельником где-нибудь в глубине лесов и жить в такой обстановке, устроив у себя тайную типографию. Я вспомнил, что и типография у меня уже есть, та самая, которую я вместе с Клеменцем, Саблиным и Писаревым зарыл в лесу Ярославской губернии и место которой я всегда мог найти по сделанным нами тогда меткам на деревьях.

«Непременно в эту же осень отправлюсь за нашей типографией в леса Даниловского уезда и приспособлю ее к делу, устроив себе такую же мельницу! Как будет хорошо сидеть на ее плотине, как теперь, в глубокой тишине леса, при лунном свете, и наблюдать движение бледных клочьев тумана! Вот в лесу раздастся голос совы: у-лю-лю, у-лю-лю! Но я буду знать уже, что это сигнал приближающихся друзей. Они идут по едва заметным тропинкам дремучего болотистого леса, где водятся волки и медведи, и несут мне и моим товарищам по деятельности новую бумагу для тайных изданий, в которых я тоже помещаю свои статьи,

рассказы и стихи революционного содержания. Я отвечаю им таким же совиным криком один раз. Это означает, что на мельнице все благополучно, и вот они показываются на полянке, облитой лунным светом, между деревьями. Вот они уже близко, я вижу на их плечах тюки с бумагой, ввожу их в свою мельницу. Они рассказывают мне все, что случилось нового, и уходят в ту же ночь, захватив вместо своих прежних тюков новые с отпечатанными уже книгами».

— Никола-а-а-й Алекса-а-а-ндрович! — вдруг ворвался в мои мечты звонкий голос Маруси. — Довольно вам сидеть у мельницы! Идите ужинать!

И вот я снова в их компании... Самый юный и незаметный человек из всех, кроме Маруси! Слов моих никто не слушает в оживленном общем разговоре. Меня постоянно перебивают, и я, увидев, наконец, что им больше хочется рассказывать, чем слушать чужие рассказы, по обыкновению замолкаю и предаюсь слушанью того, что они говорят. Я воспринимаю рассказанное ими и наблюдаю за собеседниками, стараясь живо представить себе, как слова каждого по интонации и по содержанию естественно вытекают из его психологических особенностей... Вот здесь Петрово немного рисуется перед Алексеевой, вот здесь он искренне увлекся и говорит от души. Вот здесь Алексеева непроизвольно повторяет чьи-то слышанные ею слова, а вот это она сказала свое, и совсем, совсем верно!..

И яркая мысль невольно отчеканивается в памяти.

Так прошло несколько дней. Я мало-помалу углубился в чтение, так как в доме было десятка два книг по общественным наукам, как раз тех самых, распространением которых пять лет тому назад занималось наше только что возникавшее тогда тайное общество пропаганды, получившее затем в публике название «чайковцев». Раз, полулежа на земле в тени кустов сирени и читая объемистый том «Азбуки социальных наук» Флеровского, которую я взял утром у Петрово, я услышал его шаги по ту сторону кустов. Он шел со своей женой и не замечал меня за листьями.

— Теперь ты видишь сама, какие это люди! — говорил он ей. — Алексеева еще ничего, представляет некоторый интерес, ну, а он! Ты сама можешь понять из моих разговоров с ним, которые я заводил исключительно для тебя, что в нем решительно ничего нет интересного! Ему учиться надо, а он пошел сам учить народ! И даже делает вид, что знает и звезды, и происхождение нашей Земли, а когда с ним спорят, начинает выдумывать всякие ученые имена в полной уверенности, что здесь нет учебника, по которому можно было бы его проверить. Взял у меня сегодня

«Азбуку социальных наук!» Еще азбуки не знает, а спроси его, наверное, уже даст ответ на все, что в ней. Ты сама понимаешь, что при таких людях успеха быть не может.

Они прошли мимо и вошли в комнаты дома, из окон которого им сейчас же можно было увидеть, что я лежал по другую сторону куста, близ которого они шли, и слышал их разговор. Чувствуя, что выйдет неловкость, я быстро встал и, раньше чем они прошли мимо окон, скользнул за угол, пошел по саду и лег на низменном берегу широкого озера, образованного тут запруженной для мельницы рекой. Я так был заинтересован предметом книги, что, сев под тень кустов, сейчас же забыл о слышанном разговоре, который притом не принес мне ничего нового, и принался за дальнейшее чтение.

Долго ли, коротко ли я читал, уже не могу припомнить. Вдруг легкий шорох за спиной заставил меня оглянуться. Всего на шаг от моего лица огромная, стального цвета, чешуйчатая змея, высоко приподняв крючком свою голову, подползала прямо ко мне. Несколько секунд мы, как очарованные, неподвижно смотрели в глаза друг другу; потом я быстро вспрыгнул на ноги и отскочил на несколько шагов, оглядываясь кругом, нет ли палки. Но ничего не было, и гадюка, зашипев, скрылась, извиваясь, обратно в чащу береговых кустов. Я побежал к дому за палкой и, встретив всю компанию, рассказал им приключение.

— Господи! что вы за ребенок еще! — воскликнул хозяин. — Ну, кто же лежит с книгой под кустом на берегу, где всегда водятся змеи!

Это приключение было, как выражаются французы, *coup de grâse* * моей репутации в смысле общественного деятеля... Бедный «вождь народа»! Как переменялось в несколько дней твое положение! С твоей высоты ты сразу низринулся глубоко вниз! Взамен московской юной радикальной молодежи, смотревшей на тебя с обожанием за твои похождения в народе, слушавшей с трогательным вниманием каждое твое слово, ты очутился теперь в кругу людей, которые чистосердечно считали тебя юношей, не представляющим из себя «решительно ничего интересного!», и вдобавок еще ты едва не попал на зубы болотной гадюке из-за твоего увлечения научной книгой!

Даже у Алексеевой, и у той под общим впечатлением моей несолидности начали как будто открываться на меня глаза и возникать против воли мысли: да ведь и в самом деле он совсем еще мальчик, хотя ему теперь уже почти двадцать лет! Правда, она не говорила никому ничего подобного, но мне это инстинктив-

* Последний удар («Удар милосердия»).

но чувствовалось. Ведь и она без курса космографии и геологии в руках не могла проверить, знаю ли я хоть что-нибудь в этих науках.

Мы с ней ведь только мечтали о будущем братстве народов. а это может делать и ребенок.

Мне очень захотелось бежать отсюда обратно в Москву. Но как было оставить Алексееву одну? Ведь я считал себя ее верным рыцарем. Бросить было бесчестно, и я решил исполнить свой долг до конца и, несмотря на прочно установившуюся теперь антипатию ко мне хозяина, прожить здесь столько времени, сколько будет нужно для Алексеевой.

Но, к счастью, это нравственно тяжелое для меня положение жить в гостях у человека, явно не расположенного ко мне, вскоре само собой прекратилось. В один прекрасный день вдали зазвенели колокольчики, и из подкатившей тройки выскочил — кто бы вы думали? — мой лучший в мире друг — Кравчинский! Можете себе представить мою радость!

Кравчинский сейчас же очаровал всех. Его оригинальная, высокая, смуглая фигура, с блестящими черными глазами, с небольшой курчавой бородкой и огромным лбом под шапкой курчавых черных волос, и легенды, ходившие о его необычайной физической силе, всесторонней образованности и приключениях в народе, — все это соединилось вместе, чтобы всегда и везде делать его центральной фигурой общего внимания. Петрово оставил для него даже надзор по хозяйству и потом через день, встретившись со мною, сказал с очень довольным видом:

— Вот, наконец, познакомился я и с настоящим вашим деятелем!

Я поспешил передать это Кравчинскому, как только мы остались наедине, рассказав ему также, как я сам, наоборот, разочаровал здесь всех, кроме Маруси.

— Пустяки! — сказал он. — Не стоит обращать внимания! Они по натуре хорошие люди, ты поживи здесь еще немного. Это нужно. Я тебе должен признаться, что я приехал сюда не для того только, чтобы посмотреть на ваше житье. Я отправлен на самом деле в Одессу. Ты знаешь, там полный разгром. Все наше одесское отделение арестовано и с ним Волховский, самый ценный человек, которого необходимо освободить во что бы то ни стало. Вот я и еду туда, чтобы попытаться.

— Возьми и меня с собою! Я также могу быть полезен в таких предприятиях.

— Знаю. Я тебя выпишу отсюда, как только понадобится. Ты слышал о Волховском?

— Читал в газетах, когда шел процесс нечаевцев.

— После процесса он, один из всех выпущенных, не поехал отдыхать, а явился в наше петербургское отделение с вопросом: «нельзя ли устроить какую-нибудь пакость правительству?» Это нам очень понравилось, и мы тогда же условились, что он будет организовывать молодежь в Одессе.

— В таком случае,— ответил я,— хотя мне здесь и не особенно легко жить, но я останусь еще, сколько нужно, только непременно выпиши меня!

К нам подошла молодая хозяйка в своем изящном костюме.

— Я сегодня слышала от Николая Александровича, что вы написали очень интересную сказку. Она не с вами?

— Со мной, в чемодане.

— Не можете ли прочесть нам вслух по вашей рукописи?

— Конечно, с большим удовольствием!

— Я придумала устроить так: мы будем вас слушать сидя в овраге, на камнях нашей речки, под кустарником, там, где она образует водопадики между скал.

— Это вы очень хорошо придумали,— ответил Кравчинский, любивший романтическую обстановку.

Он побежал за своей тетрадью.

Мы пошли в овраг и расселись на камнях около него.

Содержание сказки было отчасти тенденциозное, отчасти юмористическое — о глупостях, наделанных станovým при розыске пропагандиста революции в народе. Она была написана, действительно, живо и образно, и мы не раз прерывали чтение своим смехом. Но едва он успел кончить, как горничная прибежала доложить, что приехал местный исправник и ждет в доме.

— Откуда он? — с беспокойством спросил Петрово.

— Кучер говорит, что из деревни едет к себе в город.

Петрово несколько успокоился.

— Очевидно, возвращается из поездки по должности. Он часто ко мне заезжает и, конечно, останется обедать. Как мне вас назвать ему? — спросил он Кравчинского.

— У меня паспорт на имя Александра Федорова.

— Так я вас и назову!

— А вас,— повернулся к Алексеевой,— конечно, назову вашим собственным именем. Вас ведь не разыскивают. Да и вас,— обратился он ко мне,— я лучше наименую прямо и, если что случится, скажу, что даже и подумать не мог, что вас, такого молодого человека, в Москве могут разыскивать.

— Не лучше ли назвать меня иначе? — спросил я.

— Нет! — ответил он решительно.— Можете быть уверенным, что вас здесь никто не ищет и даже никто не подумает, что вас могут искать в Москве!

И он поспешил домой, сказав, что если исправник приехал случайно, то он вызовет нас, а иначе надо придумать, что́ нам делать. Однако через полчаса он сам возвратился к нам вместе с исправником и, представив его нам как своего нового гостя, предложил всем прогуляться перед обедом.

Алексеева была названа ему известной певицей, и по его просьбе сейчас же над ручьем в ущелье понесся ее удивительный голос:

Есть на Волге утес,
Диким мохом оброс
Он с боков от подошвы до края..
И стоит сотни лет,
Только мохом одет,
Ни нужды, ни заботы не зная.

Исправник был в полном восторге. Всю прогулку он ухаживал за нею, лазил на обрывы доставать ей малину и ежевику и после обеда, уезжая, непременно просил нас всех троих побывать у него в городе и обещал провезти нас по всем его окрестностям и интересным местам. Но наше торжество продолжалось недолго. Через день ранним утром прискакал к нам один из знакомых Петрово и сразу заговорил, обращаясь ко всем нам:

— Господа, уезжайте немедленно! Исправник, возвратившись домой, обратил внимание, что фамилия Морозов та же самая, как в присланном ему уже давно списке нескольких революционеров, которых Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии считает самыми опасными и которых приказано разыскивать по всей России. Посмотрев имя, отчество и описание наружности, он убедился, что они те же самые и что приметы другого здешнего гостя похожи на еще более опасного — Кравчинского. Он вчера же послал телеграмму в Третье отделение, спрашивая арестовать ли всех троих или только мужчин.

— Но как же вы так скоро узнали это?

— Жена исправника рассказала мне все вчера вечером, но мне было совершенно невозможно скакать к вам ночью.

— Нам надо сейчас же уезжать! — сказал Кравчинский нашему растерявшемуся хозяину. — У вас есть лошади?

— Лучше взять в деревне! Там есть крестьянин, постоянно занимающийся ямщицеством. У него тарантас и тройка хороших лошадей. Иначе подумаю, что я сам...

— Так пошлите сказать крестьянину, что нас по телеграмме вызывают в Харьков, — сказал Кравчинский, — что с моим отцом сделался удар и мы не стоим за деньгами, если только он успеет доставить нас к поезду!

Мы быстро сложили наши вещи и через полчаса уже мчались в облаках пыли по дороге в Курск.

Не знаю, как другие, а я был рад неожиданной перемене! Тяжело мне было жить в этой усадьбе после невольно подслушанного разговора, в котором была высказана обо мне главою дома такая нелестная характеристика! Тяжело было получать приют и ежедневные одолжения от человека, который удовлетворил уже мною свое любопытство и у которого в результате не появилось ко мне никакой симпатии. Кроме того, продолжительное бездействие было для меня невыносимо. Я был способен на многое, но не имел ни малейшей способности ждать.

В Курске мы расстались. Алексеева с Кравчинским поехали искать убежища у знакомых в Одессе. Их поезд отходил раньше моего. Долго-долго смотрел я вслед ему и долго-долго, пока он был виден, мелькал, поднимаясь и спускаясь, в окне вагона белый платочек Алексеевой.

Это было наше последнее «прости». Мне было грустно. Я как будто предчувствовал, что уже не увижу ее более на свободе.

И действительно, мы снова встретились лишь через три с половиной года в мрачном коридоре Дома предварительного заключения, когда нас обоих вели на суд...

У Петрово в усадьбе, как мне как-то сообщили потом, был тотчас же сделан обыск. Жандармы приехали целым отрядом, чтоб арестовать нас всех троих, но, не найдя никого, разочарованные уехали обратно. Обитатели в усадьбе и крестьяне в деревне были подвергнуты допросам, но, так как мы не вели там никакой пропаганды и не распространяли никаких книжек, все они были оставлены, хотя и под подозрением, на свободе.

КНИГА ВТОРАЯ

VII. По волнам увлечения²³

1. Новые люди и новые задачи

По-прежнему приветливо встретила меня Москва. Милые барышни Панютинны даже запрыгали от радости при моем приходе к ним.

— Мы очень опасались за вас! — говорила младшая. — Почему вы нам не дали о себе никакой весточки?

— Я боялся повредить вам! Вы знаете, что всякий, знающий, где я, или видевшийся со мной и не доносящий на меня, тоже считается государственным преступником и будет осужден*. Если б перехватили мое письмо к вам, вы все были бы посажены в тюрьму.

— Но мы не боимся! Мы даже познакомились с одним рабочим, замечательно хорошим человеком.

— Кто это?

— Союзов, он столяр.

— Но это, — воскликнул я, — тот самый, которого я, уезжая, просил познакомить с вами, чтобы, возвратившись, я мог его разыскать! Это ученик Устюжанинова, сидящего теперь в темнице Третьего отделения. Он завещал его мне, и мне необходимо его видеть.

— Так пойдемте сейчас же к нему! — ответила одна из сестер.

Мне было очень любопытно посмотреть жилище Союзова. Квартир мастеровых я еще никогда не видал. Мы пошли с Панютинной по Арбату и, свернув в переулок, вошли в ворота сероватого деревянного дома. На темной лестнице сильно пахло квашеной капустой и еще какими-то другими, не особенно приятными для носа запахами. Сама же квартира, состоявшая из нескольких комнат, не показалась мне особенно плохой. Хозяйка,

* Действительно, тогда существовала статья о знании и недонесении в политических делах и грозила суровым наказанием.—Н. М.

простая женщина, с подтянутым у пояса передником, отворившая нам дверь, очевидно, варила обед, так как от нее пахло кухней.

— Войдите сюда! — показала она нам. — Сейчас придет! — И ушла.

Отдельная комната, которую нанимал у нее Союзоз, была невелика и довольно темновата, сравнительно с теми, какие приходилось мне видеть ранее. Это было по причине стоявших на окнах горшков с цветами, закрывавших свет, но она была чисто прибрана.

С одной стороны стояла постель с цветным одеялом и с двумя подушками, с другой — небольшой верстак на случай домашних поделок. Над ним на стене висели две столярные пилы и несколько стамесок, под крышей верстака гармония, а по стенам были симметрично размещены дешевые картины и простые фотографии родных хозяина, в ажурных бронзовых рамках. На полках над кроватью помещалась его библиотека, в которой я успел прочесть на корешках: учебник географии, учебник истории и ряд дешевых популярных изданий для народа. Все это мне очень понравилось и несколько удивило. По нашим тенденциозным книжкам я составил себе понятие, что все рабочие живут в каких-то хлебах, вроде скотных, валяются десятками в одной комнате, а здесь вышло даже совсем недурно.

Очевидно, это потому, сообразил я, что Союзоз не чернорабочий, а мастеровой и, как говорил мне Устюжанинов, артист своего дела.

Но вот пришел и он сам из своей столярной мастерской, где имел ежедневно работу у какого-то хозяина. Он очень обрадовался моей спутнице и, немного застенчиво улыбаясь, поздоровался со мной. Это был красивый молодой человек лет двадцати четырех, с очень маленькими курчавыми усами и бородкой и с серыми то живыми, то задумчивыми умными глазами.

Всякий знает, что, для того чтоб сразу преодолеть стеснительность первого разговора, нет ничего лучше, как начать с общих знакомых. Усвоив уже на практике этот прием, я сейчас же начал рассказывать Союзозу об Устюжанинове. Он весь оживился. Видно было, что он ставил Устюжанинова необычайно высоко, считая его чуть ли не величайшим человеком в мире. На мои вопросы Союзоз начал сам с увлечением рассказывать мне о первой встрече с Устюжаниновым.

Он реже, чем другие рабочие, употреблял в своем разговоре иностранные слова и менее путал их произношение, хотя и называл пропаганду — припагандой, а фамилии Устюжанинова не мог выговорить целиком и называл его сокращенно Устюжановым.

Он произвел на меня самое хорошее впечатление. В каждом его слове и движении были видны детски наивная искренность, доброжелательность и сильная жажда знания. Он с жадностью ловил каждое мое слово, когда я с Панютиной стал разбирать его книжки. Такого рабочего я видел еще первый раз. Все другие были более замкнуты, более, может быть, самолюбивы и потому более молчаливы в присутствии интеллигентных людей. В их душу трудно было заглянуть вследствие того, что они постоянно находились с вами настороже, считая вас, может быть, и очень хорошим человеком, но другого поля ягодой.

А у этого вся душа была нараспашку. Он не боялся показать, что считает вас выше себя по знаниям, и благодаря этому при обсуждении теоретических вопросов он во всех своих недоумениях, не стесняясь, хотя и несколько застенчиво, высказывал свои собственные мысли, слушая затем с вниманием, что вы говорите по поводу их, явно собираясь все потом взвесить и обдумать наедине. Благодаря этой черте с ним сейчас же устанавливались совершенно товарищеские отношения.

Если вы хотите с кем-нибудь подружиться, то сделайте так, чтобы в вашей душе не было для него или для нее ни одного темного уголка! Если он есть, то впечатлительный человек сейчас же почувствует это и, несмотря на все ваши нежности и подходы, будет говорить: «в этом человеке не все мне видно, в нем есть что-то, чего он не открывает ни мне и никому другому, и пока это есть,— я всегда буду инстинктивно с ним настороже, хотя бы он представлялся мне очень умным, дельным и хорошим человеком». Надо, чтоб по временам в вас прорывалось увлечение, чтоб по временам вы сказали и глупость, а не одно лишь умное, только тогда вас будут не только уважать, но и любить. Сказанная вами изредка нелепость не только не повредит вам, но, наоборот, покажет собеседнику, что вы при нем не взвешиваете каждое свое слово, а говорите попросту все, что взбредет в голову,— значит, вам можно доверять.

В моих сношениях с рабочими, завязавшихся вслед за знакомством с Союзовым, полному сближению именно и мешало то, что они взвешивали при мне каждое свое слово, боясь сказать глупость. Я сразу чувствовал это. «Может быть,— думалось мне,— они и не хуже Союзова, но я не вижу внутренности их душ до глубины, как у него». Поэтому, быстро перейдя с Союзовым «на ты», я оставался с ними «на вы».

Так я принял «наследство Устюжанинова», в котором среди нескольких темных для меня алмазов из только что пробуждавшегося к гражданскому сознанию рабочего мира оказался в лице Союзова большой бриллиант чистой воды.

Чем больше я узнавал его, тем более мы сближались, и через него я, главным образом, вел в то время занятия с рабочими, давая им всевозможные как популярные, легальные, так и наши заграничные книжки.

Прошел весь август, и наступил сентябрь. Мой гимназический кружок собрался, наконец, вновь в полном составе, и некоторые из его членов стали тоже стремиться к знакомству с рабочими, но очень осторожно, стараясь развивать их умственно и избегая запрещенных книг, служивших главным вещественным доказательством для производства арестов. Не знаю, как бы это пошло далее и чем бы оно окончилось, но вдруг все сразу изменилось для меня, и я был брошен на другого рода деятельность.

В конце сентября или в начале октября в Москву приехал Кравчинский и тотчас же разыскал меня у Панютиных.

— Как Алексеева? — спросил я его прежде всего.

— Жива, здорова и целует тебя. Она живет в Одессе в безопасности у своей знакомой.

— А что же ты так долго не вызывал меня освобождать Волховского?

— Ничего нельзя было подготовить. Через неделю после моего приезда в Одессу его увезли.

— Куда?

— Мы думали сначала, что в Петербург, в Петропавловскую крепость, ждали чуть не месяц известия. Жандармы в Одессе скрывали место его заточения, и только на днях его жена получила письмо, в котором он сам говорит, что находится в московской тюрьме при Басманной части, в одиночной камере, под особым жандармским караулом, и имеет прогулку на каком-то заднем дворике вокруг прудика.

— Но я знаю эту часть! Гимназистом я бывал там раза два у моего товарища Фишера. Частный пристав — его отец.

— Что это за человек?

— Я не знаю. Я видел его только мимоходом, да и сына его я почти не знаю. Тюрьмой там называется особое здание во дворе прямо против квартиры Фишеров.

— От этого мало пользы, — задумчиво проговорил Кравчинский. — Вот если б ты исследовал окрестности и составил их план.

— Сейчас же сделаю это! — воскликнул я с восторгом. — Я хорошо умею составлять планы местностей по числу шагов, отсчитанных в разных направлениях. Вот увидишь! К вечеру все будет готово!

— Только не попадись! Ведь пристав тебя знает в лицо.

— Не узнает! Он видал меня в гимназической форме и последний раз года два назад.

Я быстро накинул пальто и свою кожаную фуражку и спешно отправился через весь город к зданию Басманной части.

Моросил мелкий осенний дождик. Узенькие струйки сбежали из отверстий водосточных труб на сырые плиты тротуаров. Небо было серо и монотонно, день тускл, но именно это мне и нравилось. В такой день никто не выйдет гулять по домашним садам, а их-то мне и нужно прежде всего исследовать в самой части и в соседних с нею домах. Я пошел сначала по улице мимо Басманной части и обошел ее кругом по боковым и задней улицам. Она стояла на одной из сторон неправильного пятиугольника, улицы которого я воспроизводил начерно карандашом на листочке бумаги, сосчитав число шагов на каждой стороне и отметив приблизительную величину углов между улицами, чтоб воспроизвести потом весь план в точности.

Затем, с беззаботным и занятым видом, я прошел мимо часового-пожарного в ворота части, на двор, и отправился к дальнейшему концу. Часовой посмотрел мне вслед, но ничего не сказал, то же сделал и солдат с ружьем у дверей в тюрьму, мимо которых мне пришлось проходить, когда я был между нею и квартирой частного пристава. Я взглянул на решетчатые окна тюрьмы, в надежде увидеть в одном из них Волховского или кого-нибудь из своих арестованных друзей, но в них никого не было видно. Я уж составил заранее свои ответы на случай вопросов: скажу, что Фишер ждет меня в саду, а если скажут, что его там нет, то отвечу: «сейчас придет» — и пройду далее, не вступая в разговоры. «Имя сына начальника части наверно подействует», — думал я.

Но меня никто ничего не спросил, я так задумчиво шел, не глядя по сторонам, как будто у себя дома. В конце двора была калитка, я отворил ее и вошел в четырехугольный садик, посредине которого стояла беседка и находился полупокрытый зеленою ряскою пруд, с мостиками у одного конца для стирки белья.

«Вот это и есть тот прудик, — сообразил я, — около которого гуляет Волховский».

В саду никого не было, царила полная тишина, и лишь с редких пожелтелых листьев, оставшихся на деревьях, падали на мокрую траву крупные капли.

Подойдя к забору, я с деловитым видом протянул руку вверх и увидел, что она не достигает вершины приблизительно на один аршин.

«Высота заборов четыре аршина», — отметил я в памяти, — и затем, обойдя кругом двора вдоль заборов, сосчитал шагами их размеры и с таким же задумчивым видом, не смотря ни направо, ни налево, вышел вон на улицу, сосчитав шагами и длину до ворот.

«Как все просто делается!» — пришло мне в голову.

Я так же деловито вошел в ворота соседнего дома, принадлежащего частному владельцу. В одно мгновение я окинул взглядом его расположение и направился к дальнейшему концу двора.

Дворник посмотрел на меня с крыльца флигеля, когда я проходил в нескольких шагах от него, но видя, что я иду, как хорошо знающий место, не озираясь по сторонам и не глядя на него, вновь принялся за работу. Сад за двором оказался очень длинным, и я сообразил, что он идет до самой задней улицы. В конце его не было калитки, но, взглянув сквозь щелку в заборе, я, действительно, увидел какую-то безлюдную улицу и отметил на другой ее стороне домик с пристройками.

«Он, — сообразил я, — покажет мне место, где начинается двор Басманной части в этой улице».

Я пошел назад вдоль забора, пограничного с частью, и хотя не нашел в нем ни одной щелки, чтоб заглянуть, но по измеренному шагами расстоянию отлично видел, где начинается за ним двор части, и отметил в его заборе, подняв руку, ту же высоту в четыре аршина.

«Если Волховскому удастся перепрыгнуть сюда, — сообразил я, — то ему придется скакать еще отсюда на заднюю улицу через другой забор. Нехорошо!»

Я прошел обратно снова мимо копающегося дворника, с сосредоточенным видом и нарочно подбрасывая ногами опавшие листья.

Затем, выйдя на улицу, я обошел весь квартал и подошел к белому домику на задней улице, который я видел в щелку.

«Вот здесь кончается соседний с частью сад», — подумал я, глядя напротив домика, и вошел в следующие ворота. Там был мучной лабаз; какая-то женщина полоскала в ведре белье. Я подошел прямо к забору, отделяющему этот двор сзади от двора части, и стал его осматривать. Женщина, оставив полосканье, глядела на меня.

— Вам кого? — спросила она.

— Никого! — ответил я. — Велено осмотреть заборы. Говорят — все в щелях и прогнили.

— Это не наш забор. Часть строила.

— Мне все равно, кто строил, а только надо осмотреть и записать.

Найдя маленькую щелку, я заглянул в нее и увидел там уже знакомый мне сад части с прудом посредине, полузатянутым ряской. Вокруг пруда ходил теперь незнакомый мне худощавый человек в шляпе и пальто с проседью в небольшой бородке. У бе-

седки, по другую сторону, стоял жандармский солдат, или унтер-офицер, в медной каске.

«Верно тут Волховский. Его вывели гулять»,— подумал я и, повернув, пошел обратно на улицу, незаметно отсчитывая шаги.

Женщина, удовлетворившись моим ответом и, очевидно, считая меня посланным от полиции, продолжала свою стирку и даже не взглянула теперь на меня.

Я пошел направо по улице и сразу вышел в удивительное место, существование которого едва ли можно было даже и заподозрить посредине большого города. На этой стороне исследуемого мною пятиугольника улиц в действительности не было никакой улицы. Это был берег большого болотистого озера, десятины две в поверхности, которое могло бы составить лучшее украшение всякого города, если б кругом него сделали площадь и бульвар и обстроили его большими каменными домами, с красивыми фасадами, смотрящими на него.

Но ничего подобного здесь не было. Все окружающие дома, как бы сговорясь, повернулись к нему спиной и с презрением отгородились от него по самым краям высокими заборами своих задних садиков, чтоб не видеть его совсем. К его берегам, поросшим камышами, не было даже почти никакого прохода, за исключением того, которым я теперь пришел. А этот проход привел меня далее прямо к длинным, неокрашенным деревянным мосткам, идущим на полверсту вдоль прилегающих заборов. Мостки были на сваях, вбитых в берег, и шли прямо над водой.

Из московской публики почти никто не знал об этом проходе, ведущем от хлебных амбаров, в которых я только что был, к большим баням. Между зданиями этих бань и их дровяными складами был никогда не закрывающийся пустынный двор, выходящий прямо на людную площадь, далеко от ворот Басманной части, со многими прилегающими к нему улицами.

Я и раньше знал эти оригинальные мостки на сваях, так как жил недалеко от них в здании Рязанского вокзала, и не раз проходил по ним, возвращаясь домой при лунном свете, озарявшем озеро. Мне, бывшему тогда еще гимназистом, жутко становилось при мысли о жуликах, которые, по слухам, скрывались здесь под мостками и выскакивали грабить редких проходящих, выбрасывая их затем в озеро. Но я и не подозревал, что садик Басманной части, в котором гуляют политические заключенные, отделяется от этих пустынных мостков лишь одним забором!

И вот мои измерения прямо показали мне это!

Я отсчитал соответствующее число шагов от начала мостков и сказал: «вот здесь начинается задний угол садика части!» И действительно, забор здесь был немного выше соседнего, из более

новых и более толстых досок. Я поискал между ними щелки, но не нашел, за исключением одной очень маленькой. Я расширил ее своим перочинным ножом и в узенькое отверстие увидел уже знакомый мне прудик и предполагаемого Волховского, гуляющего кругом. Вот он прошел совсем у моей щели, я мог бы шепотом сказать ему несколько слов, но он прошел мимо.

В одно мгновение у меня составилась план его спасения.

Куплю большой коловорот и высверлю вечером в этом заборе на аршин от земли круглую дыру; заткну ее заранее приготовленной по величине коловорота черной деревянной пробкой под черный цвет забора. Никто не обратит на это внимания, а если и обратит, то подумает, что здесь заделана давнишняя, никому не нужная дыра. А тем временем мы сговоримся с Волховским, и в один прекрасный день, когда он, гуляя, будет проходить мимо этого места, я просуну ему сквозь дыру толстую деревянную палку, а Кравчинский перебросит через забор веревку с узлами. Волховский схватится за веревку, вскочит одной ногой на просунутую мною палку, и тогда ему совсем легко будет сесть верхом на забор, а затем соскочить на руки Кравчинского, который, при своей силе, схватит его, как ребенка. Жандарм с криком бросится ловить его, но я выдерну обратно свою палку, и он напрасно будет прыгать, чтоб достать до верха забора... Все равно не достанет, забор нарочно сделан таким высоким! А если он будет стрелять из револьвера, то не пробьет толстых досок, в которые ему придется стрелять даже не прямо, а вкось. Да и трудно попасть в нас случайно, ведь мы сейчас же уйдем к баням или к складам, судя по тому, как нам удобнее. А случайных прохожих здесь нечего бояться, они сами убегут от нас из опасения, что мы их сбросим в озеро.

В восторге от своего открытия я побежал в здание вокзала Рязанской железной дороги к своему гимназическому товарищу Печковскому, составил план осмотренного мною со всеми подробностями и в тот же вечер представил его Кравчинскому.

Ему очень понравилось все это. Однако осуществить проект пока представлялось невозможным, не сговорившись с Волховским.

— Это будет сделано очень скоро,— сказал он,— и мы с ним сговоримся лучше, чем через твою щелку в заборе. Наташа Армфельд уже давно установила сношения с тамошними политическими заключенными и тайно от начальства переписывается с ними каждую неделю через одного унтер-офицера из дежурящих там жандармских караулов. Но я не хочу писать через нее Волховскому, потому что тогда унтер-офицер ее выдаст в случае осуществления побега.

— Он, значит, за деньги передает письма?

— Да, по рублю за каждую записку.

— Но ведь побег будет не в его дежурство?

— Конечно, в чужое дежурство. Но все равно он будет думать, что это устроила она, а она живет под своим именем. Если же с Волховским через него будет переписываться другой, то он и подумает на него, а не на Наташу.

— А кто же будет другой?

— Я,— ответил он.

— Смотри, не попадись!

— Нет, я буду осторожен.

Прошел день, другой, третий... Прошла целая неделя.

Все время я был в нетерпеливом ожидании начала освобождения и постоянно бегал к Кравчинскому за сведениями. Наконец он мне сказал с довольным видом:

— Я познакомился через Наташу с унтером. Я сказал ему, что я двоюродный брат Волховского и мне необходимо писать ему по семейным и денежным делам.

— А когда ближайшее свидание с унтером?

— Сегодня, в трактире на Цветном бульваре, в четыре часа. Ты приходи туда за четверть часа до четырех, садись где-нибудь в углу единственной там большой комнаты, спиной к стене, так чтоб все тебе было видно, и наблюдай за нами... Смотри, нет ли соглядатаев, приведенных унтером.

— Хорошо! Если замечу, то кашляну два раза и тут же налью себе в стакан чаю из чайника, если нет, то подопру себе голову одной рукой.

— Отлично. Если он приведет шпионов, то я скажу ему, что мне нужно выйти на минутку, чтоб он подождал, и сам скроюсь через проходной двор около трактира. Я потому и выбрал именно его.

— А что делать, если не будет ничего подозрительного?

— Тогда жди, когда я выйду первый, а ты смотри, что будет делать унтер после меня, и, если будет можно, посмотри, куда он пойдет.

За полчаса до назначенного времени я уже сидел в углу трактира так, что мне все в нем было видно, не торопясь пил чай и просматривал лежавшую на столе бульварную газету.

Трактир оказался из третьеклассных, и главными посетителями были средние торговцы и приказчики. За несколько минут до четырех часов мое внимание обратил на себя вошедший жандармский унтер-офицер, который, сняв свою каску, осмотрелся по сторонам и нерешительно сел у маленького бокового столика несколько наискось от меня.

«Это он!» — пришло мне в голову.

И я не ошибся.

Ровно в четыре часа появился Кравчинский и тотчас же, направившись к нему, поздоровался с ним за руку. Он сел напротив унтера и с внешним равнодушием взглянул на меня.

Я на минуту подпер левой рукой свою щеку, он, видимо, понял и, не смотря на меня более, начал тихий разговор с унтером.

Никто из немногих посетителей трактира не обращал на них ни малейшего внимания. Я расплатился со служителем, но остался сидеть, как бы оканчивая свой стакан и дочитывая газету.

Наконец Кравчинский ушел, и никто не последовал за ним.

Затем вышел унтер, беспокойно оглядевшись кругом, и за ним отправился я, издали. Очевидно, убедившись, что за ним никто не смотрит, он шел, не оглядываясь, пока его медная каска, по которой я мог его видеть очень далеко, не исчезла в воротах казармы.

— Итак, дело начинается хорошо! — сказал мне Кравчинский, когда я, возвратившись, рассказал ему все. — В записке, которую я дал теперь унтеру, я еще не писал Волховскому ничего, а только разные приветствия по-французски, чтоб испытать унтера. Посмотрим, что он ответит.

И вот началась длинная, томительная для меня переписка Кравчинского с Волховским.

— Скорей, скорей! — торопил я Кравчинского. — Ведь в таких делах каждый просроченный день против нас и в пользу наших врагов! Унтер может струсить и отказаться, начальство может заметить слабое место у садика при части! Надо скорее!

— Сделаешь скоро, выйдет неспор! — ответил он мне скверной русской поговоркой, которую я тут же возненавидел от всей души.

Оказалось, что Волховскому и самому пришла мысль о возможности перескочить через забор, но ему хотелось бы, чтоб там ждала лошадь, а то легко могут поймать прохожие, приняв нас за воров.

Так передал мне Кравчинский после одного из своих новых свиданий с унтером.

— Но, — возражал я, — никаких прохожих там нет! А если и покажется какой одинокий, то прежде всего сам испугается нас и убежит в другую сторону. Да и подъехать сюда нельзя!

— Я боюсь не за себя, — ответил Кравчинский. — Я всегда убегу. Думаю, и ты тоже, но я боюсь за Волховского, сильно ослабшего в заключении. С ним может сделаться одышка, и он прямо не будет в состоянии бежать. Извозчик необходим поблизости.

Против этого трудно было возразить что-нибудь. И вот вновь потянулись день за днем в подготовке извозчика. Решено было сначала купить свою лошадь и посадить в пролетку кучером одного из наших товарищей, Воронкова, бывшего артиллерийского офицера и товарища Кравчинского, но вслед за тем кто-то из наших пропагандистов сошелся с извозчиком-лихачем, который подавал надежды принять участие, и дело затянулось вновь.

А тем временем Волховского неожиданно перевели из Басманной части в Бутырский тюремный замок и посадили в знаменитую Пугачевскую башню, в которой когда-то сидел Пугачев, а теперь политические заключенные. Оправдалось мое мнение, что в заговорах каждый потерянный даром день дает лишний шанс против заговорщиков и лишний шанс в пользу их врагов!

Но это размышление нисколько не смягчило моего глубокого огорчения. План, который казался мне таким верным, таким остроумным, рушился, и никакого другого я не мог придумать взамен. Сражение было проиграно! Комическая фигура унтера, прыгавшего возле забора и не могущего перескочить его, потому что само начальство сделало ограду слишком высокой, осталась одним призраком моего воображения... «Смеется тот, кто смеется последним», и смешным оказался я!

Но мне страшно не хотелось этого!

— Напишите,— просил я Кравчинского и Наташу Армфельд,— всем еще оставшимся там политическим заключенным, что они легко и верно могут убежать таким способом. Они могут даже одни сделать это, подставив в том углу какую-нибудь доску или полено, чтоб достать руками до верха забора.

Кравчинский написал, но сидящие еще надеялись как-нибудь отвертеться, никто не хотел сейчас бежать.

Только через несколько месяцев убежал оттуда этим самым способом доктор Ивановский. Ему незачем было даже подставлять полено или просить товарищей высверлить дыру и просунуть ему палку для опоры. Он был огромного роста, за который его звали «Василий Великий». В один прекрасный день он подошел к этому забору, подпрыгнул, ухватился за его край и, перебросившись на описанные выше мостки, быстро прошел по ним во двор бань, а оттуда на площадь и пришел через прилегающие к ней улицы к своим знакомым, оставив сторожившего его унтер-офицера с воплями и выстрелами в воздух бесполезно скакать у высокого забора.

Воспользовался ли он непосредственно теми сведениями, какие я сообщил в эту тюрьму через Наташу, или узнал об этом каким-нибудь другим путем? Во всяком случае, открыть без

специальных измерений, вроде сделанных мною, что маленькая часть забора у садика Басманной тюрьмы именно и есть та самая, которая идет вдоль мостков в бани, было совершенно невозможно.

По дальности входа в бани от ворот части невольно казалось, что между ее садиком и этими мостками огромное расстояние, состоящее из промежуточных дворов. Я сам раньше даже и не предчувствовал такой их близости к части, казавшейся совсем в другом месте, потому что вход в нее был с противоположной улицы. И все эти соображения дают мне надежду думать, что товарищи Ивановского по заключению, получившие тогда от меня план этой местности, сообщили ему план и таким образом дали возможность осуществить свой смелый побег.

После этого он уехал в Болгарию²⁴ и сделался там одним из известнейших врачей, к которому приезжали больные за сотни верст.

Он прыгнул при своем побеге именно в тот самый незначительный промежуток в несколько досок, который я указывал в плане как единственно подходящий... Иначе он попал бы в соседний сад.

Является ли эта мысль относительно связи его побега с моими изысканиями одной иллюзией? Если да, то мне хотелось бы сохранить ее до конца жизни!

Ведь так хочется спасти жизнь человеку!

2. В дырявых лаптях

Неудача с освобождением Волховского очень сильно подействовала на меня. Я сейчас же пошел осматривать окрестности Бутырского тюремного замка, где он теперь сидел. Но результаты оказались самые безотрадные.

Это было прочное каменное здание, стоящее особняком посреди огромной площади. Из четырех круглых башен по его углам две были заняты политическими, но ни одно лицо заключенного не высовывалось из-за решеток их окон, в которых были глухие рамы. Я обошел кругом: нигде нет подступа. По углам и у железных ворот стоят часовые с ружьями. Пришлось возвратиться домой и сказать Кравчинскому, что дело здесь безнадежно.

— Все равно!— ответил он.— Освободим по дороге, когда его повезут на допрос. Но только на предварительную подготовку понадобится теперь месяца три времени.

«Еще три месяца ожидания!» — подумалось мне. Они мне показались вечностью.

Моя пропаганда среди рабочих, которой я занимался, мало меня удовлетворяла.

Три-четыре крошечные книжки, составлявшие весь наш революционный репертуар того времени для народа, были прочитаны мною рабочим, но потребности пробужденного гражданского сознания их оставались все же неудовлетворенными. Ведь нельзя же было каждый вечер подряд перечитывать, как евангелие, одну и ту же сказку «О четырех братьях» Тихомирова, величиной в печатный лист, да брошюру Шишко «Чтой-то, братцы, плохо живется народу на святой Руси?» величиной в четыре страницы, да еще составленный Клеменцем народный песенник в шестнадцать страничек. Этого хватало на неделю, но ведь в году их бывает пятьдесят две!

А рабочему хотелось знать и о звездах, и о солнце, и о луне, и о чужих странах, и о порядках в них! И вот, так называемая «преступная пропаганда» через неделю же свелась и у меня, как у других, на обучение рабочих географии, этнографии, космографии, т. е. всему тому, что входит в прямые обязанности народного учителя. «Но в таком случае, — пришло мне в голову, — не лучше ли и делать это, служа в земстве, а не преподавать тайно, уходя за это же самое в тюрьмы и рудники?»

Идя к моим новым друзьям, я ждал совсем другой деятельности. Мне никогда не хотелось «позабывать все, чему нас учили», как выражались некоторые, и опроститься умственно, до уровня безграмотной части населения, хотя бы морально она и была чище и лучше нашей интеллигенции. Мне хотелось поднимать умственный уровень масс до нашего уровня, и вся практика нашей пропаганды показала, что это же принуждены были делать и остальные, говорившие о собственном опрощении: они тоже преподавали рабочим географию, этнографию, историю, подчиняясь запросам самих рабочих, у большинства которых было сильное стремление учиться и знать все то, что знают их друзья, студенты или «скубенты», как их многие тогда называли в народе. Рабочие в то время представляли собой действительно пробуждающееся к сознанию крестьянство, его интеллигенцию, его наиболее отзывчивый и предприимчивый элемент, выходящий из народных масс и стремившийся в города к новой, лучшей жизни, а не отбросы крестьянства, какими их тогда считали многие. И во всех своих странствованиях в народе я видел, что именно так, как я, относятся к ним молодые крестьяне, не выходящие еще ни разу из деревень, но старающиеся усваивать себе их внешность.

Теперь я познакомился с избранными из них и увидел, что после прочтения ими в два-три дня всех моих нелегальных изданий я принужден был далее давать им только легальные книги.

Когда я высказал эти соображения на собрании остатков московской группы нашего общества, — а в ней уцелели теперь только четыре человека вместе со мною, — то Наташа Армфельд мне ответила:

— Что же делать? Если правительство не разрешает школ для обучения рабочих легально, то приходится обучать их тайно, с опасностью для собственной жизни.

— А не лучше ли, — ответил я, — прямо низвергнуть правительство, считающее народное образование и вообще умственное пробуждение масс опасным для своего существования, и заменить его новым, республиканским, которое не только не считало бы все науки опасными для себя, но, наоборот, клало бы их в основу своей прочности? Ведь при нем в десять лет было бы сделано обычными учителями то, что не будет сделано нами и во сто?

— Это уже якобинство, — ответил Кравчинский. — Ты хочешь *coup d'Etat* *, произведенного небольшой горстью интеллигенции. Но сейчас же произойдет контрреволюция и старое будет восстановлено, как во Франции при Наполеоне, раньше, чем ты что-нибудь успеешь сделать для народа.

Но мне не хотелось верить этому.

«Образованная часть населения, — думалось мне, — хотя и мала у нас, но она находится в центре и потому сильна своим положением. Как небольшая горсть хороших смелых стрелков на высотах может остановить целую армию, — так и мы в центрах государства, прикрытые броней своей невидимости, можем сделать политический переворот и можем создать федеральное республиканское правительство, как в Швейцарии и Соединенных Штатах, основанное на всеобщей подаче голосов той части населения, которая получила уже начальное образование. Безграмотных придется исключить из избирательных списков до тех пор, пока они не выучатся хотя бы читать, писать и считать, для чего должно быть объявлено сейчас же всеобщее бесплатное обязательное обучение для детей и для взрослых. А иначе безграмотные граждане действительно восстановят старый порядок, не будучи в состоянии понять своим ограниченным умом преимуществ нового».

— Пойду еще раз посмотреть на народ в средней России, —

* Государственного переворота.

ответил я своим друзьям, — чтобы составить себе окончательное мнение!

Хождение по народу привлекало меня тем, что я действительно находил в крестьянах много оригинального, такого, чего я не замечал в них в своем прежнем, привилегированном положении...

Я пошел к своему другу, рабочему Союзову.

— Тебе не хочется тоже походить по простому народу? — спросил я его.

— Хочется! — ответил он.

— Так пойдем вместе пильщиками в леса.

Пильщиком идти мне особенно хотелось, потому что в таком виде ходил в народе мой друг и идеал Кравчинский. Его рассказы о том, как он стоял в высоте на бревне и распиливал его на доски вместе со своим товарищем Рогачевым, рисовались в моем воображении, как нечто поразительно красивое.

— Пойдем! — ответил Союзов, и было видно, что он уже так привязался ко мне после ареста своего первого идеала — Устюжанинова, что готов был идти со мной в огонь и в воду.

И вот, в один тусклый день конца октября, когда ранняя зима уже рассыпала по земле свой белый покров снега, двое молодых путников вышли из Москвы и направились по дороге в Троице-Сергиевскую лавру. Они были в серых шапках, в овчинных полушубках и грубых бурых архалуках, т. е. халатах поверх полушубков, подпоясанных цветными кушаками, за которыми сзади были заткнуты топоры. Через плечи у обоих висели на повязках широкие большие дровяные пилы и грубые серые холщовые мешки с пожитками. На ногах были надеты лапти, веревочки которых крест-накрест обвивали войлочные онучи, или обвертки, поднимающиеся до колен.

Это были по внешности самые грубые представители деревни, и шли они, почему-то радуясь по временам выплясывая в своих лаптях по снежной дороге неуклюжий танец вроде медвежьего. Да и попробуйте-ка потанцевать в такой обуви с подвертками! Какие бы изящные штуки ни выкидывали вы ногами, все обращается во что-то косолапое!

И путники явно умирали со смеху, глядя сами на себя и друг на друга и показывая этим, что такая одежда была для них еще непривычна.

Мне не нужно, конечно, объяснять читателю, что это были я и Союзов, отправившиеся теперь в самый что ни на есть «серый, чернорабочий народ».

И для Союзова, как и для меня, это положение было необычно: ведь городские рабочие, как я уже говорил, считались в своих

деревнях, так сказать, аристократией. Союзов привык с юности к такому отношению, он никогда не был чернорабочим, и наше путешествие занимало его с чисто романтической точки зрения. Он, подобно мне, тоже с юности любил читать романы. Он больше читал, конечно, единственно доступные ему дешевые народные издания, но ведь и в них был тот же самый романтизм!

Однако он, как выросший в крестьянской среде, знал хорошо ее обычаи и кодекс деревенских приличий, а потому при встречах с крестьянами я всегда старался предоставить разговор ему, что, впрочем, происходило и само собой, потому что встречные и обращались обыкновенно именно к нему, как к старшему из двоих.

Особенности нашего серого положения сказались очень быстро.

Уйдя верст двадцать от Москвы, мы захотели есть и постучались в окно одной из встречных деревень.

— Дайте чего-нибудь поесть! Мы заплатим,— сказал Союзов.

Еще никогда мне не случалось встречать отказа на такую просьбу, когда я ходил рабочим, но тут вышло иначе. Едва приподнятая рама окна затворилась снова, в избе послышался какой-то разговор, затем вышла из сеней пожилая женщина и подала нам два ломтя хлеба.

— Нет ли похлебать щей или чего горячего? Мы бы заплатили,— повторил свое предложение Союзов.

— Уж какая с вас плата,— отвечала она.— Идите. Ничего нет!

Так мы получили первую в жизни «милостыню»...

Мы постучали в другой дом и в ответ на желание «похлебать щец» получили по второму ломтю и по предложению идти с миром далее.

— Что же это, мы наберем целый мешок черного хлеба и будем им торговать по дороге? — смеясь спросил я Союзова.

Тот тоже засмеялся.

— Выходит, что верна только первая половина пословицы «по платью встречают»,— сказал он.— А вторая ее половина — «по уму провожают» — не верна, потому что и провожали нас по платью.

Очевидно, в своем сером виде мы никому не были интересны в деревнях.

Мы шли все дальше и дальше и, наконец, верст за двадцать пять от Москвы, совсем голодные и усталые, вошли пообедать в придорожную харчевню.

— Куда вас бог несет, робята?— спросил нас один мужичок в синей поддевке.

— В Троице-Сергиеву. Там, говорят, монахи лес хотят пилить,— ответил Союзов.

— А сами-то откуда родом?

— А из-под Москвы.

Мужичок с удивлением посмотрел на нас.

— Из-под Троицких деревень,— сказал он поучительным тоном,— народ под Москву ходит на заработки, а вы из-под Москвы туда! Да что вы, робята, оголтели, что ли?

Он с негодованием обратился к другому мужичку, очевидно, считая нас недостойными своего дальнейшего разговора.

— Уж истинно сказать, косолапый народ! То-исть, ничего как есть не понимают! Идут к Троице от Москвы!

— Все от необразованности,— убежденно ответил тот.

Окончив свой обед, мы расплатились и пошли дальше.

Недолгий ноябрьский день стал сменяться вечером. Стало совсем темнеть, и, желая переночевать, мы постучались в первую избу встретившейся деревни, в окне которой мелькал огонек.

Опять слегка приподнялась рама.

— Вам чего?

— Пустите переночевать! — сказал Союзов.

Голова, смотревшая в отверстие, оглядела нас и ответила:

— Идите к десятскому, он назначит, у кого ночевать.

— Да мы заплатим.

— Все равно! Идите к десятскому. Бог знает, кто вы такие.

Окно затворилось, и мы остались одни. Во второй и третьей избе повторилось то же самое.

— Боятся! — сказал Союзов.

— Чего же им бояться нас? — спросил я с недоумением.

— Да мы, видишь, чернорабочие, с пилами и топорами. Думают: грубый народ, еще зарубят ночью да ограбят избу! Уйдут, и никто не узнает до другого дня! Нигде нас не пустят без десятского!

— А чем же поможет тут десятский?

— А он прежде всего оставит у себя наши паспорта и поведет нас к кому-нибудь, кто победнее.

У нас были крестьянские паспорта, приготовленные специально для нас Кравчинским. Со старых просроченных паспортов были смыты им белильной известью и слабой соляной кислотой прежние чернила и на высушенных в книге под тяжестью бланках было повторено то, что находилось на них раньше, за исключением года и числа, которые были заменены современными, да

и имена владельцев были заменены вымышленными. Однако наученные всеобщим недоумением в харчевне по случаю нашего ухода от Москвы, мы считали для себя опасным предъявлять здесь паспорта, на одном из которых сохранилась прописка с обозначением занятия владельца: печник. А это была профессия, отстоявшая, по мнению крестьян, от пильщика дров не менее, чем генерал от простого унтер-офицера.

Мы пошли в другую деревню и стучались там в полной темноте еще раза три, нарочно в самые бедные избы, обещая заплатить, но никто и там не хотел пускать нас без десятского: так мы казались крестьянам опасными с нашими топорами и пилами и в наших грубых архалуках и лаптях!

— Что же нам делать? — сказал, наконец, в недоумении Союзов.

Была почти полная ночь. Сырые крупные хлопья снега начали падать на наши одеяния и прикрыли белыми накидками наши шапки и плечи.

— Переночуем в лесу под деревьями! — ответил я, так как мы только что вошли в невысокий еловый лес, по-видимому, тянувшийся далеко направо и налево от дороги. Кстати испытываем жите в лесу на случай республиканского восстания.

— Что же, это хорошо! — ответил Союзов. — Волки здесь, верно, есть, но они нам не страшны: у обоих есть револьверы в кармане и много запасных патронов!

Мы углубились в лес. Приставив свои пилы и топоры к деревьям поветвистей и разостлав тут же свои архалуки, мы завернулись в них, не раздеваясь, как в одеяла, и положили головы на свои мешки. Мы так устали, что тут же заснули крепким сном.

После полуночи у меня появились сновидения. Мне казалось, что я пробираюсь по колено в холодной воде, по какому-то полузамершему болоту, берегов которого нигде не видно. Передо мной лежит какая-то безбрежная полярная тундра без конца. Вот я провалился в ней в какую-то ямину, поплыл в ледящей воде, и вдруг проснулся.

Я действительно был в воде. Мой архалук был сильно вдавлен мною в мягкий мох, пропитанный полурастаявшим снегом, и пропустил внутрь себя воду. Она прошла сквозь мои пестрядевые штаны и войлочные подвертки лаптей. Вся левая нога была мокрая, так же как шея, затылок, часть спины и даже немного левый бок, в который вода проникла снизу сквозь шов овчинного полушубка.

Союзов, кряхтя, переворачивался неподалеку.

Я тоже перевернулся, но вышло еще хуже: моя мокрая сторона от этого не высохла, а только стала холоднее, а сухая сейчас же начала промокать. Я почувствовал, как вода капелька за капелькой пробиралась к моей коже сквозь покровы.

— Ты тоже промочил оба бока? — спросил я Союзова.

— Оба. Не надо было переворачиваться!

— Это верно. Вот мы уже и имеем один практический опыт для будущего, — заметил я вдумчиво. — Когда ночуешь в оттепель в лесу и промочишь один бок, то так и лежи на нем до конца ночи. Не двигайся и не поворачивайся, тогда прилегающая к телу вода несколько нагреется, а при всяком передвижении она охладится, и к телу просочится новая, еще несравненно более холодная вода.

Однако мой практический вывод был, по-видимому, мало утешителен для Союзова. Он ничего не ответил.

Даже и неподвижные в своей «теплой воде», мы оба дрожали от холода, и прежний крепкий, здоровый сон более к нам не возвращался, хотя мы по временам и забывались в дремоте. Вместо снега к концу ночи пошел осенний дождик, мелкий, как пыль, но на нас он падал в крупном виде: скопившиеся на ветвях ели, под которой мы лежали, капли по временам падали нам прямо в ухо или на нос и этим пробуждали нас.

Наконец стало светать.

— Пойдем! — сказал мне уже вставший Союзов. — Я больше не могу здесь лежать. Надо согреться на ходу.

Я живо вскочил на ноги, надел, как и он, свою промокшую верхнюю одежду, вскинул за плечи пилу и рабочий мешок, и вот мы снова вышли на дорогу и отправились в дальнейший путь.

Несколько верст кругом нас не было ничего, кроме леса, казавшегося нам бесконечным... Но все на свете кончается! Мы вышли в поле и увидели невдалеке небольшую деревню. Окна одной избы уже были освещены изнутри красноватым тусклым светом, показавшим, что обитатели ее проснулись. Это оказалась придорожная харчевня.

— Надо скорее выпить по две рюмки водки! — сказал Союзов. — Тогда согреемся!

В самом деле, действие водки было магическое. Казалось, что огонь разлился внутри меня и сразу заглушил внешний холод.

Здесь впервые я понял, почему простой серый народ, работающий в холоде и сырости, не обходится без водки. Благодаря любезности хозяина харчевни, простого крестьянина, мы обсу-

шили здесь свои запасные и тоже вымокшие в мешках рубашки и подвертки и, переодевшись, отправились часа через три далее.

Мы подходили теперь к самому Троице-Сергиевскому монастырю.

3. Горе молодого теленка

— Знаешь,— сказал мне Союзов,— свернем за монастырь! Там, версты за четыре, моя деревня. Отец недавно умер. Земельным наделом и хозяйством заправляет мой брат. Он тоже нам сочувствует, я ему и книжки давал, да и кроме него есть в соседних деревнях многие хорошие сукновалы.

— Какие сукновалы?

— Что валенки и сукна валяют.

— У себя на дому?

— Да.

Я понял, что это были кустари. Я уже слышал, как мои друзья возвеличивали такое домашнее производство нужных вещей, противопоставляя его крупному фабричному.

Я тотчас же с великой радостью согласился на предложение Союзова.

Вдали показались белые стены и золоченые главы богатейшего из наших монастырей. Из соснового леса выглянул молодой монах и, не обращая никакого внимания на таких серых путешественников, как мы, начал пробираться по опушке леса, постоянно оглядываясь по сторонам и, очевидно, от кого-то скрываясь.

— Ишь, проклятый! — сказал Союзов, и в тоне его мягкого, приветливого голоса послышалась впервые резкая нотка озлобления.

— А что?

— Наверно, со свидания с какой-нибудь деревенской девушкой, которую приманил цветными платочками или бусами, или чем другим!

— А разве девушки здесь ходят на любовные свидания с монахами?

— Девушек нельзя винить! — с тем же озлоблением ответил мне Союзов. — У них никогда не бывает ни копейки, а наряжаться всякой хочется! Для них цветной платочек то же, что для чиновничьей дочки целый дом в Москве, — также недоступен! Подумай, что в Москве появились бы какие-нибудь принцы, которые за каждое свидание дают молоденьким барышням по дому, — многие ли устояли бы?

— Думаю, что многие.

— Те, что идут теперь с тобой в народ, — другое дело, а за обыкновенных не ручайся! — ответил он скептически.

Я снова взглянул на крадущегося монаха. Он только что увидел вдали другого и поспешно шмыгнул в кусты.

— Пойдем, спрячемся и мы! — сказал мне Союзов.

— Зачем? Мы ведь не с любовного свидания!

Он замялся и, наконец, несколько конфузливо произнес:

— Видишь ли, могут встретиться мои знакомые!

— Ну и пусть их!

— Да, нехорошо! Мы с тобой в лаптях, чернорабочими! Засмеют! Скажут: верно, пропились совсем, что из столяров да в пильщики пошли!

У меня сразу просветлело в голове.

— А как же нам быть? — спросил я.

— Мы подкроемся, когда стемнеет, к братнему овину по загуменникам (по задней части деревни) и там переоденемся. Полушубки и шапки на нас останутся — годны, сапоги есть в мешках. А наши пилы, топоры, архалуки и лапти спрячем в овине, в сушилке.

Это мне было очень занятно. Боязнь Союзова показаться в своей деревне «мужичком» снова подтверждала верность моих соображений: значит, народ-то совсем не тянется к опрощению, как мы, а, напротив, стремится к какому-то лучшему в его глазах идеалу! Каков бы мог быть этот идеал? — приходило мне в голову. — Уж не из первобытной ли деревенской колыбельной песенки:

Будешь в золоте ходить,

Чисто серебро носить!

Вот девушки здесь продаются монахам за платочки и ожерелья, а Союзову стыдно появиться у себя дома в виде простого пильщика!

«Но нет! — думалось мне. — Все, что я наблюдал до сих пор, показывает, что, кроме идеала внешности, в воображении крестьян есть идеал и внутреннего содержания. Этот идеал — удачливый человек, которому все без труда удается, как Иванушке-Дурачку. Почему героем русских народных сказок выбран именно дурачок? Ведь и по содержанию сказок он не умен, а умен его конь или волк! Верно потому, что народ, отчаявшись в возможности для себя получить такое же образование, как привилегированные сословия, начал мечтать не об ученом человеке, а об удачливом. Только это идеал уже прошлый, а теперь нарождается у крестьян в головах новый идеал, высший. И интересно, в какую форму он у них выльется в ближайшем будущем. Не в виде ли интеллигентного человека, как у нас?»

Мы пошли в лес вслед за монахом, но он, приняв нас за преследователей из местных крестьян, подобрал рясу и убежал, а мы сели под деревом в лесу.

Темнота рано наступает в наших широтах в это время года. Едва стало смеркаться, как мы пробрались по знакомым Союзову тропинкам к овинам его деревни, не встретив ни одного знакомого. Мы переоделись рабочими в овинной сушилке и явились такими в избу к его брату, встретившему нас чрезвычайно радушно. Я был представлен всем присутствующим как товарищ Союзова, один из самых искусных московских столяров, и это не возбудило ни в ком сомнения.

Брат Союзова оказался совершенно своим человеком. Он был по внешности простой мужичок лет тридцати. Он ненавидел троицких монахов каждой фиброй своего существа из-за женского вопроса и готов был идти на них с вилами и топором по первому представившемуся поводу. Уже при одном слове о них глаза его начинали гореть мрачным огнем.

— Когда будет восстание,— говорил он,— прежде всего надо истребить монахов, чтоб их и духу не было, пусть уходят в Иерусалим, или куда хотят. Их кельи надо сравнять с землей, а их земли разделить между деревнями.

На следующий же день явился к нам услышавший о приезде Союзова и моем молодой высокий человек, сторож соседнего леса, с ружьем и собакой. К моему удивлению, он не только не был в контрах с крестьянами, как часто бывают лесники, но пользовался их полным уважением. Союзов мне шепнул:

— Это свой человек, я уже давал ему все наши книжки, и он сочувствует и будет укрывать наших у себя в лесу. Надо его угостить.

Он немедленно послал за бутылкой водки и копченой колбасой, и мы, сев за стол, накрытый чистой салфеткой, принялись разговаривать о необходимости устройства в России республики. Лесник вполне одобрял эту идею. Когда бутылка окончилась, он вынул из кармана свой кошелек и, дав несколько монет присутствовавшему в избе мальчику, родственнику Союзова, послал его за новой бутылкой.

— Когда мы ее кончим,— шепнул мне Союзов,— пошли и ты за такой же бутылкой! Это полагается по правилам!

Когда мы кончили вторую бутылку, я, исполняя правило приличий, точно так же, как и он, послал мальчика за третьей.

В результате, на каждого из нас троих — так как брат Союзова был на работе и не присутствовал с нами,— пришлось по полной бутылке водки!

Однако лесник, позвав свою собаку и надев ружье, удалил-

ся, совершенно твердый на ногах. Да и мы с Союзовым на первое время тоже устояли и вежливо проводили его до дверей, получив приглашение к нему в лесную избушку, посидеть денек и осмотреть местоположение соседних лесов для предстоящего восстания.

Но в голове у нас обоих было очень тяжело. Мне никогда раньше и в голову не приходило, что можно выпить в полтора часа по полной бутылке водки.

Я чувствовал, что усилием воли могу заставить себя ходить не шатаясь, но для этого мне нужно было сосредоточивать всю свою волю на движениях ног.

Я мог говорить, не путаясь в мыслях и не заплетаясь языком, но и это требовало сильного напряжения.

Вместо мозгов как будто лежал в голове свинцовый ком. Хотелось поскорее лечь и лежать, не вставая.

— Полезем на печку, — сказал мне Союзов. — У меня тоже шумит в голове.

Мы влезли. Он лег дальше, а я ближе к краю.

Вдруг половина водки, которую я выпил, с непреодолимой силой возвратилась мне прямо в рот, и я успел только повернуть голову к краю печки, чтоб эта огневая жидкость не осталась на печи, а вылилась вниз.

К печке же была приделана узкая дощатая ширма, ограничивавшая собою темное помещение, величиной не больше шкафа, но без крыши, и тут, в тепле и темноте, помещался молодой теленок.

Его заключили сюда потому, что он родился поздней осенью, был теперь немного больше крупной овцы и не мог бы перенести зиму в хлеве. Его называли «поенец», так как поили молоком.

Он не любил водки, а более полубутылки этой влаги вдруг вылилось откуда-то с неба прямо на его розовую мордочку. Он запротестовал, замычал, забрыкал о загородку своего шкафика-ширмы задними ножками. Ему казалось, что на него упал какой-то жгучий дождь.

— Что такое сделалось с теленком? — услышал я голос матери Союзова.

Жена его брата подошла, посмотрела, но в темноте не было ничего видно.

— Не знаю, — ответила она, — верно болен.

Но теленок не переставал брыкаться и жалобно мычать, и я боюсь, что он при этом получил еще новую порцию водки с неба.

Старуха, наконец, сама пришла и осмотрела его с зажженной керосиновой лампой в руках.

— Пойди-ка сюда,— вновь послышался ее голос невестке.— Да захвати горшочек с теплой водой и тряпкой. Ему надо обмыть голову. Наши сверху облили его водкой.

В это время мне стало уже совсем легко, но я не решался сойти вниз, думая, что моя репутация теперь навсегда погибла.

Однако оказалось, что ничуть не бывало! Теленок совершенно успокоился после омовения, и когда хозяин вернулся и ему рассказали о нашей пирушке с лесником и о ее трагическом для теленка эпилоге, вся семья помирала со смеху, включая маленьких детей.

— Простите,— сказал я, слезая с печки.— Это со мной в первый и последний раз.

— С кем не случается!..— успокоительно ответила мне старушка.

— Это все оттого,— прибавил хозяин,— что ты влез на печку. От жары, значит. Нельзя выпимши лезть на печь, в жару, а то «он» и совсем задушить может.

— Кто он?

— А винный дух!

— Как задушить?

— А так! Припрет под ложечку, а глотку-то у тебя судорогой сожмет, и ты начнешь задыхаться,— нет, значит, тебе дыхания.

— И это часто у вас бывает?

— Почитай каждый год где-нибудь. Вот летом тоже один монах с именин возвращался, да так и не дошел до лавры, свалившись на дороге. Я ехал тогда с тремя односельчанами на телеге. Слезли мы, посмотрели, видим — весь синий, глаза вылезли, непременно задохнется. Сначала хотели ехать дальше. Говорим: собаке — собачья смерть! Да потом Федору жалко стало. «Надо,— говорит,— братцы, налить ему в рот, чтобы стошнило его!»

— Чего налить? — спросил я в недоумении.

Хозяин назвал мне всегда имеющееся готовое рвотное, имя которого я не буду лучше повторять.

— Ну, вот мы все лили-лили ему в рот... не действует! Умрет, думаем, сейчас человек, лучше поедем подальше от греха, да тут видим идет, на счастье, другой монах. «Что,— говорит,— помирает?»

— Помирает,— отвечаем.

— Дайте-ка,— говорит,— я попробую! Ну, от него, глядим, стошнило.

— Да как же,— спросил я с удивлением, — они потом в глаза друг другу смотрели?

— Что ты, родной,— укоризненно ответила мне старуха,— разве можно обижаться! Ведь не из озорства делается, а для спасения жизни. Всякий благодарен должен быть, а не обижаться!

Это было сказано так просто и убедительно, что мне стало даже трогательно... О, святая простота! — подумалось мне.— И как это верно, что крестьянин с тобой будет откровенен только тогда, когда ты подходишь к нему, как такой же простой человек! Ведь вот сколько лет, с самого детства, я бывал в наших деревнях и говорил с крестьянами, а не узнал из их интимного обихода и десятой доли того, что узнал в несколько недель своего переодетого хождения!

4. Сукновалы

Мы с Союзovým помогали мшить и крыть новую избу, построенную в это лето его братом, и пропиливали в ней окна. Дело было так несложно, что я легко все пилил, как следует, не возбуждая ни малейшего сомнения в справедливости слов Союзова, что я один из искуснейших московских столяров.

Наступил праздник Покрова или какой-то другой, когда местный священник ходил по деревням с какими-то своими молебнами. Мы с Союзovým получили в тот день специальное приглашение на вечеринку к сукновалам.

Эти сукновалы — все молодые люди — поодиночке уже не раз захаживали к нам и беседовали с нами на общественные темы. Они выражали полное согласие поддержать осуществление задумываемой нами республики.

Место сбора назначилось у них в валяльне. Это в действительности было «тайное собрание заговорщиков», без присутствия чужих. Оно было под видом пирушки тесного товарищеского кружка, так как скрыть какое-либо значительное собрание в деревне было невозможно.

Было решено, что принесут туда несколько бутылок пива, немного водки и закусок, захватят гармоники, попляшут и попойот сначала, чтоб проходящие слышали веселье, а потом приступят к обсуждению «настоящих дел».

За исключением меня и братьев Союзových, был приглашен сукновалами только один посторонний, уже знакомый нам, — лесник.

Часов в восемь вечера мы трое подошли к избе, в которой были слышны издали веселые звуки гармоники, гул голосов и смех. Мы сделали два условленных удара в запертую дверь.

Нам тотчас же отворили. В комнате, полуосвещенной небольшою керосиновой лампочкой в углу, сидели и стояли группами десятка полтора молодых крестьян. Двое из них отплясывали друг против друга, посредине комнаты, трепака, а лесник в углу наигрывал им такт на своей гармонике, напевая среди всеобщего смеха распространенную здесь вследствие близости духовенства вариацию камаринской:

Полюбил меня молоденький попок,
Обещал он мне курятинки кусок,
А попа любить не хочется!
Мне курятинки-то хочется.

При нашем входе пение и пляска тотчас же прекратились, все начали здороваться с нами.

— Что же? Пляшите дальше! — сказал я.

— Ничего нет интересного в нашей пляске! — ответил церемонно лесник. — У нас ведь не по-столичному, по-деревенски!

— По-деревенски-то лучше!

— Да уж как же лучше! — возразил он.

Я совсем смутился и не знал, что сказать. Верно, вы и сами испытали не раз, как трудно поддерживать разговор, основанный на взаимных церемониях, а прекратить его еще более неловко: как-будто соглашаешься со своим оппонентом, что он и действительно хуже вас! Просто хоть выпрыгни вон через окно или залезь под стол и более не показывайся!

Но Союзов поспешил мне на выручку.

— А вот я вам пропляшу и пропою по-столичному! — перебил он.

Он взял гармонику у лесника, вышел на середину комнаты и, подплясывая и подпрыгивая, запел новую камаринскую, пущенную в то время кем-то из пропагандистов по народу:

Ах ты, чертов сын, проклятый становой!
Что бежишь ты к нам о божьей воле врать,
Целый стан, поди, как липку ободрал!
Убирайся прочь, чтоб черт тебя подрал!
Ах ты, чертов сын, трусливый старый поп,
Полицейский да чиновничий холоп!
Что бежишь ты к нам о божьей воле врать.
Стыдно харей постной бога надувать!
Ах ты, чертов, то бишь царский адъютант!
Что, на девок зарясь, свой теребишь бант?
И зачем ты к нам в село навел солдат?
Не стрелять ли вздумал в нас уж невпопад?

Нет, брат, шутки! Нашей воле не перечь!
Теперь вам уже нас более не сечь!
Коли мир своей земли не господин,
Так и сам-то ты такой же чертов сын!

Я не могу описать, какой фурор произвела эта песня.

Сукновалы просили Союзова повторять ее десятки раз. Они сами, потеряв всю свою первоначальную сдержанность при виде нас, столичных, отплясывали под этот напев по шести и более вместе, сколько позволяла ширина избы, помирая со смеху и ежеминутно хватаясь за животы. Они даже садились, махнув руками, на скамьи по стенам избы от невозможности двигаться далее по причине приступов смеха.

Когда я увидел через много лет после этого картину Репина «Запорожцы, составляющие ругательное письмо к турецкому султану», она напоминала мне описываемую теперь сцену. И я должен еще сказать, что в песне этой, составленной кем-то, совершенно мне не известным, на мотив «камаринского мужика», два слова были употреблены в несравненно более крепкой вариации, чем записано мною.

Наш простой народ не понимает середины! Если юмор, то ему нужен уж очень первобытный, чисто ругательный, как здесь, или даже прямо отчаянная похабщина, которой, к счастью, не было в этой песне; если что-нибудь возвышенное, то нужно такое, чтоб сентиментальность просачивалась положительно из каждого слова, из каждой фразы, и слог был бы таким высоким, что все время лились бы из глаз слезы умиления!

Таков был разошедшийся в то время в сотнях тысяч экземпляров и прочитанный десятки раз каждым грамотным крестьянином и рабочим переводный роман «Приключения английского милорда Георга», совершенно не известный литературно образованной публике, потому что он отшибал ее от себя на первых же страницах невероятно высокопарным языком своих героев. А именно этот высокопарный язык и пленял простых читателей своей противоположностью их обычному прозаическому языку!

Непонимание нашим народом никакой «золотой серединки» именно и давало мне тогда надежду, что в политике сочувствие народных масс будет всегда на стороне лишь крайних идеалов.

«Пусть нас маленькая горсть,— думалось мне,— но если нам удастся сделать политический переворот, благодаря нашей смелости и неожиданности наших действий, то народ сейчас же станет на нашу сторону и будет возлагать на нас те же надежды, какие столько десятков лет возлагал на абсолютизм».

Так в голове у меня мало-помалу складывался план действий,

который, вместе с другими товарищами, приведенными самой жизнью к тем же самым выводам, я и пытался осуществить через несколько лет, хотя и в более обработанной в теоретическом отношении и видоизмененной форме.

Но в этот вечер, когда я сидел на собрании сукновалов в Троицкой деревушке, когда я слушал их пение и музыку и наблюдал их пляску под крепкие слова принесенной к ним Союзovým камаринской, этот план действий витал в моем воображении еще как туманный эскиз чего-то нового, это был образ без определенных очертаний. Он только постепенно вырисовывался в своих еще не ясных деталях, как будто вырабатываемый какой-то внешней, действовавшей на меня силой, и эта сила, как обнаружилось потом, когда настало время, действовала и на всех моих товарищей, по крайней мере на тех, у кого было достаточно внутренней энергии, чтоб не бежать с поля сражения в самом его начале.

После пения и пляски, которые сначала, как я уже сказал, были затеяны лишь для отвода глаз соседям, а потом на время увлекли все общество, начались серьезные разговоры, где вопрос о поддержании республики трактовался настолько серьезно, что подсчитывались даже охотничьи ружья, имеющиеся у того или другого сукновала, и строились планы заготовить оружие и для всех других местных сочувствующих.

Мне пришло даже в голову устроить здесь склад в лесу, и нетерпение было так велико, что по окончании собрания, в двенадцатом часу ночи, я с обоими Союзowymi решил сейчас же сделать первую пробу лесной жизни. Вернувшись в нашу избу, мы взяли там топоры и охотничье ружье нашего хозяина и отправились с ним ночевать в соседний лес. Мы нарубили сухих сучьев и мелкого сухого подлесья, разожгли в самой глубине леса большой костер и разлеглись около него на моховой земле, на захваченных нами архалуках. Красные огненные языки костра высоко поднялись на полянке, освещая фантастическим светом прилегающие к нам деревья и отражаясь синеватым блеском от приставленных к их стволам топоров, ружей и от наших собственных лиц, наполовину озаренных красноватым, волнующимся светом костра и наполовину погруженных в глубокую тьму.

Мы испекли в золе костра полтора десятка захваченных с собой картофелин и, съев их с солью и черным хлебом, бросили жребий, кому первому стоять на часах в эту ночь, в то время как двое других будут спать. Первый жребий достался Союзову — от двенадцати до двух часов ночи, второй мне — до четырех, и третий брату Союзова — до шести, после чего мы должны были возвратиться в деревню. Так мы и сделали; каждый из нас по

очереди ходил с ружьем на плече кругом остальных спящих, чутко прислушиваясь ко всякому звуку в глубине леса и подновляя костер свежим хворостом.

Вся ночь прошла благополучно, но следующий же день принес нам большую тревогу. Не прошло и трех часов после того, когда мы, довольные ночными результатами, возвратились в избу, как прибежал к нам в большой тревоге один сукновал.

— Беда случилась, — сказал он, выведя в сени меня и Союзова, чтоб не слышали остальные. — Я дал куму книжку про Николая чудотворца, а мальчонки вытащили ее из шкафа и положили на окно. А тут пришел поп с молебном. Увидал книжку. «Хорошая, — говорит, — книжка. Читай, поучайся!» А потом раскрыл ее, да и начал читать вслух, как чудотворец-то пошел бунтовать народ! «Что такое, — говорит, — тут написано? Да тебя за такие книжки-то на каторгу надо послать!» Потом посмотрел на обложку, а там внутри, знаешь, напечатано: «По благословению святейшего синода». Совсем возмутился поп, покраснел даже. «Да тут, — говорит, — еще глумленье над православной верой! Говори, от кого получил?»

— Что же тот ответил? — спросил с беспокойством Союзов.

— Тот не хотел путать наших деревенских и сказал: «от гостя у Союзовых».

— Ну, а что поп?

— Посмотрим, — говорит, — что это за гость такой объявился! Сегодня же отнесу эти книги становому. — И ушел, сильно разгневавшись и отказав даже в благословении при уходе.

Положение мое было серьезное. Я знал, что в таких случаях власть не медлит.

— Нам надо сейчас же уехать! — сказал я Союзову. — И тебе и мне!

— Да, это верно! — ответил он и тут же пошел искать своего брата.

Через минуту его брат прибежал ко мне тоже совсем встревоженный.

— Если я тебя повезу сейчас по дороге на станцию, нас могут встретить и узнать. Надо ждать темноты. Идите оба пока сидеть в овине, туда я принесу вам и поесть.

— А если приедет становой с нарядом?

— Тогда я скажу, что вы ушли час назад, и покажу дорогу в противную сторону.

Мы пошли задворками в овин.

— Сейчас же предупреди всех, — сказал я нашему хозяину, влезая в темную овинную яму. — Если будут сделаны обыски, то пусть все говорят, что ни ты, ни твой брат не давали им ни

одной книжки, а давал все я, ваш гость, и притом так, что вы не видели, как давал.

— Сейчас же побегу по всем! — ответил тот и скрылся из овина.

Как только наступила тьма, мы были вызваны из ямы нашим хозяином. Он не повел нас снова в деревню, которая вся уже была встревожена распространившимся известием о попе и книжке, а вывел загуменниками в поле. Там стояли его дровни; мы переоделись вновь пильщиками, да и хозяин наш надел грубый архалук, чтобы не быть узнанным, и таким образом я и Союзов благополучно доехали до станции и отправились вместе с другими чернорабочими в Ярославль.

Как обнаружилось потом, священник действительно повез книжку становому, но не застал его дома. Желая обделать все дело лично и этим выдвинуть себя в глазах начальства, он не оставил у него книжки, а явился вновь с нею на следующий день.

Становой, собрав своих подчиненных, немедленно отправился к Союзным. За отсутствием виновных были арестованы наш хозяин и попавшийся священнику сукновал, но, благодаря тому, что все крестьяне, допрошенные приехавшими жандармами, единодушно показывали на приезжего гостя, которого видела вся деревня, их отпустили через несколько дней.

В Москву была послана бумага об аресте Союзова и Воробьева, как назывался здесь я, но этот арест не мог состояться по причине неизвестности, где мы находимся.

Потом, через год, когда я был уже арестован, меня привезли в Москву и предъявили всем этим крестьянам, так как я сам отказался давать какие бы то ни было показания. Ни один из них не признал во мне Воробьева, бывшего у них и раздававшего, по их словам, книжки. Все сказали, что видят меня в первый раз в жизни, и что на того я нисколько даже и не похож.

А между тем меня все узнали. Многие при моем виде даже прямо заморгали глазами, на которых показались слезы! Однако, несмотря на свое смущение и на грубые окрики жандармов: «Гляди лучше, это должен быть он!» — все упрямо говорили: «Нет! не похож на того!» Так меня и не могли привлечь к этому делу.

5. Под стогами и овинами, в лесах и сеновалах

Пока становой разыскивал нас в виде московских мастеровых под Троицким монастырем, мы с Союзным не только успели приехать в Ярославль, в виде пильщиков, но даже и отправились дальше, к Данилову, по Вологодской железной дороге.

Мне уже давно хотелось побывать в Даниловском уезде Ярославской губернии. Там весной этого года в первый раз я жил, как мастеровой в народе, поступив учеником в кузницу одной уединенной, затерявшейся среди лесов и болот деревушки — Коптеве. Там, в семи верстах от Коптева, Иванчин-Писарев вместе с жившими у него в имении гостями — Клеменцем, Львовым, Саблинным, устроил революционную организацию среди местных молодых крестьян. А за пять верст от его усадьбы Потапово было село Вятское, где земский доктор Добровольский вместе с местной акушеркой Потоцкой вели пропаганду среди крестьян. Там, в Потапове, была арестована Алексева, и я пробрался к ней по способу краснокожих индейцев между травами и кустами — в окруженный стражею дом, где она сидела под арестом.

Много дорогих сердцу личных воспоминаний соединялось у меня с этими местами... Но после ареста Добровольского и Потоцкой и бегства остальных все сношения с этой местностью порвались.

Мы знали только по двум-трем письмам, дошедшим в Москву с оказией, что в уезде царит белый террор, что весь он наполнен политическими сыщиками и полицией, и что всякого постороннего хватают и ведут к становому проверять, не из нас ли кто-нибудь.

Все это было мне очень интересно проверить, и меня тянуло туда, как магнитом. Мы отправились в Ярославль, так сказать, экспромтом, считая, что ехать в таком направлении нам безопаснее, чем возвращаться в Москву, куда, несомненно, бросится погоня, если нас начнут искать тотчас же после нашего отъезда.

Но раз мы сюда приехали, посещение мест прежней деятельности было мне чрезвычайно интересно. Мне хотелось лично проверить окончательные результаты затраченной здесь работы и принесенных на алтарь отечества жертв... И это было тем интереснее, что ни в каком другом месте России пропаганда революционных идей среди крестьян не велась так успешно и в таком крупном масштабе, как здесь.

— Пойдем, посмотрим, что там вышло! — сказал я Союзову.

— Пойдем! — ответил он, явно готовый идти со мной куда угодно.

Мы высадились на второй станции от Ярославля и пошли в сумерках кончающегося дня, со своими пилами за плечами, по проселочным дорогам, проезженным в сером свежем снеге, и сейчас же промочили насквозь свои лапти. Вода протекала в них, как сквозь сито, но, скопляясь в суконных подвертках, казалась лишь холодным компрессом на ступнях наших ног.

Мы прошли в версте от Коптева к усадьбе Писарева, и я показал Союзову на конце деревни кузницу, где я когда-то работал.

Через час или полтора мы шли мимо окон усадьбы. В них было темно, но в мастерской рядом внутри одного окна светился огонек.

— Засада! — сказал я Союзову.

И я не ошибся. Там все лето и осень сидели шпионы на всякий случай, но, конечно, вполне бесполезно. Усадьба казалась совершенно оставленной на произвол судьбы.

Мы подошли за ней к мостику через знакомый мне ручеек и в первый раз на нашем пути заметили живые существа.

Хотя луны и не было видно в это время в небесах, покрытых серыми низкими тучами, но она светила над ними, потому что было полнолуние, и благодаря этому ночь не казалась темной.

Две женщины полоскали белье в еще не замерзшем ручье недалеко от мостика.

— Отколе вы? — спросила, выпрямляясь, одна из них.

Союзов почему-то молчал.

— Пильщики! Идем в Вятское! — ответил я, стараясь говорить не своим голосом.

Обе стали внимательно вглядываться в нас, а мы нарочно поспешили уйти, так как во всей этой местности не было крестьянина или крестьянки, которые не знали бы меня в лицо и не слышали бы моего голоса. Именно в этом и заключалась главная опасность моего пребывания здесь.

Недалеко за ручейком виднелась во тьме деревня, в которой я предполагал переночевать. Там жила старушка, кормилица Иванчина-Писарева и ее дочка — белокурая молодая девушка. Они обе чрезвычайно любили Александра Ивановича и потому считались у нас безусловно верными.

Мы подошли к их дому, когда луна как раз вышла из-за края большой тучи и ее свет отразился в черных окнах их новой избы, где, очевидно, все спали. Я осторожно стукнул несколько раз в окно. За ним послышались тихие голоса. Через минуту в полосе лунного света, проникавшего в избу, мелькнула смутная белая фигура, которая приблизилась к окну и сбоку старалась взглянуть на нас. Это, очевидно, ей было невозможно, так как луна светила сзади нас.

— Что нужно? — раздался ее робкий голос в приотворенную щелку оконной форточки.

— Принесли весточку от Александра Ивановича!

— Господи! — послышалось в ответ испуганно радостное восклицание кормилицыной дочери. — Да это Николай Александрович!

— Я самый! — ответил я ей. — Отворите скорей, пока никто не видит!

— Сейчас, сейчас!

И она, как была, босая, в одной рубашке и накинутом на нее пальто, бросилась открывать дверь.

Через несколько секунд мы были уже в комнате, разделись, и, не зажигая огня, чтобы не увидели снаружи, принялись рассказывать наши взаимные новости.

— Александр Иванович уехал за границу, Саблин в Москве, Львов арестован! — говорю я.

— А Добровольского и Потоцкую увезли в Ярославль в тюрьму, — ответила она. — Полина Александровна уехала к брату Шипову на завод за Костромой... А дом стерегут, все ждут, не возвратится ли кто из вас!

— Знаю, видел. В мастерской горит огонек, совсем как было весной, когда я пробирался в усадебный дом.

— Ах ты, господи! — заохала старуха. — Да как же ты-то сам теперь будешь? Неужели для тебя уж и приюта нет нигде на земле, что пошел бродить по свету с пилой?

— Успокойся! — ответил я ей. — Есть и приют и все, только захотелось вас всех проведать, чтоб узнать, все ли вы живы.

Она была, по-видимому, очень растрогана моим объяснением и сейчас же заговорила со слезами в голосе:

— Спасибо тебе, родной! Только ведь страшно за тебя. С тех пор, как вы уехали, все время рыщут здесь переодетые шпионы из Ярославля да жандармы. Сколько обысков-то наделали, облавы по лесам устраивали!

— Все бегуны разбежались, и многие из них пойманы. — прибавила дочь.

Я уже знал, что бегуны — это была секта, не признающая властей и воинской повинности. Странники ее, которых тут было десятка полтора, скрывались по окрестностям у сочувствовавших им крестьян и устраивали в задних помещениях домов свои тайные молельни в ожидании близкой кончины мира. Мне вспомнилось, как местные крестьяне хотели меня устроить у них, когда мне пришлось бежать отсюда, и я порадовался, что не поддался тогда их уговорам.

— Ну, а как вели себя крестьяне на допросах?

— Ох, и не говори лучше! Как прикрикнули это на них приехавшие жандармы: «Всех в Сибири сгноим, если что утаите!», так и пошли друг за другом все рассказывать и называть всех вас по именам. Особенно много наговорили на доктора (Добровольского), потому что он один был арестован из мужчин, а жандармам-то все хотелось показать, что они забрали самого что ни на есть важного, а упустили только помощников. А потом, как парни-то вернулись все домой, да прошла неделя — другая, всем

им стало так стыдно за себя, что и в глаза друг другу смотреть не смели. Все сначала попрятались по домам, а потом, как вышли, говорят: «Закаемся, братцы, предательством заниматься, будем отвечать, если опять потребуют, что все запомнили».

— Ну, а Иван Ильич? — спросил я о самом интеллигентном и начитанном из всех писаревских столяров, который пользовался наибольшим влиянием среди остальных.

— И он все подтвердил, хоть и меньше, чем другие. Не говорил хоть неправды на доктора.

— А как держали себя подростки — ученики и ученицы в школе Полины Александровны?

— Вот те чистыми молодцами оказались! Никаких угроз не побоялись! «Рассказывайте все, чему вас учила барыня!» — спрашивают их жандармы и тоже Сибирью пугают. А они отвечают, что учила их всему, что в школе полагается. «А учили вас, что начальство плохо и что нужно вместо него другое — выборное?» «Нет, — говорят, — никто нам этого не говорил, от вас в первый раз слышим».

— Ну, и чем же кончилось дело с ними?

— Бились, бились, никак не могли их сбить! Все говорят одно: «В первый раз слышим такие вещи!» Ну, и выгнали их вон из допросной комнаты: «Погодите, говорят, только попадитесь нам потом!» А те пошли и в лесу собрание тайное устроили, сговаривались никого не выдавать, а смотреть везде и слушать, что говорят, и если против вас что затевают, так предупреждать вас обо всем и помогать вам укрыться, не боясь ничего. Большим-то и стыдно стало, как услышали об этом! Будем, говорят, и мы так делать! Теперь никто ничего не выболтает больше, все проучены!

— А как посторонние крестьяне?

— А те раздвоились. Одни за вас, другие, корыстные, против вас пошли. Если мы, говорят, поймаем теперь кого-нибудь из них, так в награду писаревское имение получим. В один день помещиками сделаемся! Вот и наш староста, наискосок, сильно усердствовал... Все по чужим сеновалам да овинам по ночам с ружьем ходил и в окна изб по деревням заглядывал, слушал у дверей, что говорят, и очень обижался, что никто из вас ему не попадает на глаза, чтобы выдать.

— И теперь подглядывает?

— Теперь успокоился. Никого, говорит, здесь нет, по другим губерниям разошлись.

— Значит, теперь можно здесь пожить недельки две и повидаться со всеми?

— Теперь можно! — ответила она. — А прежде и думать было нельзя.

Тем временем она изготовила для нас яичницу, и, подкрепив свои силы, мы отправились в небольшую заднюю комнату их избы. Мы легли спать на боковых скамьях, составляя планы будущих тайных свиданий с сочувствующими нам крестьянами и подростками из школы для устройства в этой местности народной революционной дружины, так сказать, уже испытанной в боях и потому вполне надежной для будущего. Однако это оказалось не так-то просто, как нам представлялось.

Когда, на склоне следующего дня, пришли к нам в избу Иван Ильич и его брат, извещенные Сашей, они были сильно встревожены.

— О вашем возвращении сюда уже известно по деревням,— сказал Иван Ильич.

— Как это могло быть? — спросил я в изумлении.

— А на ручье-то встретились с Дашей и Анютой, когда они полоскали белье! Они вас узнали по голосу и еще вчера вечером побежали рассказать своим подругам, что вы шли в Вятское вместе с кем-то другим из ваших.

— И много народу уже знает?

— Почитай все в моей деревне. Так и побежали по избам рассказывать друг другу. Да и вашего-то главного врага, здешнего старосту, видели сегодня в Вятском. Шептался со становым в стороне. Зачем ему туда ехать было? Там базару сегодня нет. Не иначе, как прослышал от своей девчонки. Тоже язык-то длинен, чешется, не утерпит, все выболтает, даже и без злого умысла на вас.

Дело принимало плохой оборот. Только что возвратившаяся Саша побежала по соседкам спрашивать, что там известно обо мне.

Оказалось, что и в этой деревне все тоже слышали. Староста же до сих пор не возвращался.

«Верно, подсматривает за приезжими в Вятском»,— думалось нам всем, потому что я сказал тогда девушкам на речке, что иду туда.

— Когда он возвратится, он будет опять везде подглядывать здесь! — сказала с беспокойством старуха.— Ведь вас видели как раз у нашей деревни. Как бы вас спрятать?

— Не иначе, как посадить на сеновал к самому старосте! — задумчиво сказал Иван Ильич.— У себя-то он наверное не будет искать.

Мы рассмеялись от такого остроумного решения вопроса.

— Это очень хорошо! — заметил я.— Так и сделаем. Надо теперь же, пока он не возвратился, перебраться к нему со всеми нашими пожитками.

Союзов был тоже очень доволен перспективой надуть так ловко добровольного политического сыщика.

Саша побежала осматривать сеновал старосты, который, кстати, был поблизости от ее собственного. Он оказался не запертым. Мы с Союзовым были тотчас переведены в него без всяких приключений. В это время года и дня редко кто выходил из деревенских изб не только на задворки, но даже и на улицу.

Целых три дня мы прожили безвыходно на этом сеновале, так как староста действительно узнал о моем переходе через ручей и ездил к становому в Вятское с известием о моем возвращении.

Меня весь день высматривали там среди чернорабочих, а на следующий день староста неожиданно входил во все подозрительные ему избы с каким-нибудь заранее придуманным вопросом, вечером же занялся выглядыванием соседских овинов и сеновалов, все в той же наивной надежде найти нас там, не подозревая, что мы в это время сидим на его собственном сеновале.

Сеновал этот был почти до самой крыши наполнен душистым сеном. Мы с трудом влезли под самую его крышу, подсаживаемые снизу Сашей. Там нам было очень удобно.

Едва ушла Саша, затворив за собой дверь, как мы с Союзовым сняли свои тяжелые архабуки и в одних лаптях и полушубках зарылись по шею в мягкую, сухую траву. Несмотря на небольшой мороз на дворе, нам было в ней очень тепло. Никто нас не тревожил своими посещениями, и мы начали дремать. Около меня раздался сильный храп заснувшего совсем Союзова.

— «Вот неприятность,— подумал я,— он храпит во сне и этим может нас выдать».

Я толкнул его рукой в бок.

— Что такое? — проснувшись, спросил он.

— Храпишь!

— Разве?

— Да.

Он снова начал дремать и через десять минут получил от меня новый толчок кулаком в бок.

— Опять захрапел? — спросил он уже сам.

— Опять захрапел.

Через четверть часа пришлось снова дать ему такой же толчок, но на этот раз он уже не спрашивал меня о причине, а молча перестал храпеть.

Так продолжалось и далее, только приступы храпа делались у него все реже.

«Значит, можно приучить человека спать тихо», — подумалось мне.

Часам к одиннадцати у сеновала послышались шаги.

Я заблаговременно разбудил Союзова новым толчком и сказал ему шепотом:

— Идут. Слышишь?

— Слышу.

Заскрипели отворяемые ворота, и во мрак к нам вошел, как мы догадались, сам только возвратившийся из Вятского староста. Он сердито ворчал себе что-то под нос, очевидно, сильно разочарованный неудачей в своих новых поисках писаревского имения. Захватив снизу охапку сена для своей лошади, он ушел с ней обратно, притворив за собою ворота.

— Теперь не придет до утра! — сказал Союзов. — А ты все же толкай меня, как прежде, прямо в бок, как только захраплю.

— Хорошо, — ответил я, и понемногу начал забываться сном.

Мы рано проснулись на следующее утро. Спать в сене нам очень понравилось. Мягко, душисто и тепло, несмотря на внешний холод, от которого совсем можно избавиться, зарыв и голову в рыхлое сено, мало мешающее дыханию.

На рассвете снова заходил к нам староста за сеном, потом, когда уже совсем было светло, прокралась Саша справиться, удобно ли нам, и принесла под полой чайник с горячим чаем, сахар, два больших ломтя черного хлеба и только один стакан, из которого мы пили по очереди.

Мы начали исследование сеновала на случай, если придется прятаться.

— Посмотри, я покажу тебе здесь хорошую пряталку! — сказал я Союзову, припоминая свою прежнюю детскую опытность в этом деле, и пополз по сену в задний угол.

— Сам знаю! — ответил мне Союзов и покатился в другой задний угол.

В углах сено всегда прилегает неплотно к стенам сеновала, и здесь можно провалиться до самой земли, как в глубокую нору, но только одному человеку... Другому спускающемуся пришлось бы стать ему на голову, так узок этот промежуток, сейчас же закрывающийся сверху над вами упругим, рыхлым сеном. Но выбраться вверх оттуда всегда возможно, опираясь носками в ступенчатые промежутки лежащих друг на друге круглых бревен.

Мы оба разом спустились в свои норки, и потом разом вылезли из них, как мыши.

— У меня, — говорю я, — внизу есть даже щелка между бревнами, через которую можно наблюдать окрестность.

— И у меня есть, — ответил он.

Мы спустили на дно этих норок наши ненужные здесь архаики и мешки и были теперь уверены, что даже если кто полезет

к нам на сено, то мы успеем скрыться в свои убежища, раньше чем соглядатаи поднимутся наверх, и потому все равно не найдут от нас никаких следов.

— Вот разве чихнешь от сеной пыли! — сказал Союзов, действительно производя это действие помимо своей воли три раза.

— Надо только чихать, зарыв лицо в сено. Тогда будет едва слышно, и захожие примут за чихание кошки на крыше.

Там мы прожили три дня, залезая по временам в наши норки, чтобы осмотреть в щели окрестности, получая три раза в определенное время визиты старосты, приходившего (и притом всегда почему-то ругаясь себе под нос) за сеном, а в промежутке между ними Саша приносила нам пищу и питье, как, по библейской легенде, ворон пророку Илье, скрывавшемуся в пещере.

На четвертый день слухи о моем возвращении сами собой улеглись. Все решили, что глупым девицам у ручья просто примерещился мой голос, и все в деревнях вошло в обычную колею.

Староста перестал заглядывать в чужие сеновалы, оставляя в покое и свой собственный. Но нас все же решили переселить для свиданий с крестьянами в другую деревню, в избу семейства Ильичей, так как в ней имелась высоко над землей большая задняя комната, обычно запертая, в которой мы могли жить сколько угодно, не вызывая подозрений.

Когда наступила темнота, Иван Ильич подъехал к Потапову на своих дровнях по зимнему перепутью, но остановился недалеко от деревни в поле. Брат его пришел за нами. Нас выселили, наконец, от старосты, проводили до дровней и отвезли к Ильичам за три версты отсюда, убедившись предварительно, что никто не был свидетелем нашего ухода.

Старик, отец всего этого семейства, с длинной, седой, патриархальной бородой и его почтенная супруга, не выделявшие по-староверски своих детей и внуков, приветливо встретили нас и отвели в заднюю комнату, где нас уже ожидало человек двенадцать из знакомой мне крестьянской молодежи. Меня все поцеловали по три раза, тоже сделали и с Союзовым, хотя и видели его первый раз, и началось заседание.

Рассказав друг другу о всем пережитом нами после разлуки, мы здесь условились продолжать начатое дело, привлекая в образовавшийся тесный кружок крестьянской молодежи и других подходящих, часть которых была намечена тут же.

Я обещал, «когда пробьет час», доставить им оружие и впервые уговаривал крестьян не сводить дело на барьбу с частными землевладельцами, которых здесь притом же оставалось немного, а содействовать прежде всего осуществлению общего политического переворота.

— Если вы будете здесь драться за землю, выйдет только то, что к вам пришлют войска и перестреляют вас всех. Надо устроить выборное правительство, как в иностранных государствах, и тогда уж через выборных своих и порешите мирно все вопросы. Иначе ничего не будет, кроме мути.

Все согласились с этим, но я инстинктивно чувствовал, что если придет на следующий день другой, которому они тоже доверяют, и начнет говорить обратное, то большинство сейчас же согласится и с ним, совершенно забывая нить мыслей, которые приводили к моему выводу. Чувствовалось, что им нужен руководитель и, как на такого, я рассчитывал на Ивана Ильича, которого и назначил им как посредника для сношений между мною, после моего отъезда, и их местным кружком.

На следующий вечер такое же собрание было созвано со школьными подростками, в глазах которых, по моим впечатлениям, светилось несравненно более энтузиазма, чем у взрослых.

— Мы, — рассказал мне один из них, — после вашего отъезда не уничтожили ни одной книжки. Все их мы закупили в стеклянные банки и зарыли в землю, в местах, которые мы одни знаем. Мы завязали банки клеенкой, и они хранятся без всякой порчи до сих пор.

— А почему вы знаете, что они не испортились?

— Мы собираемся каждую неделю партиями в лесу, вырываем из земли одну из банок и читаем книгу, сидя кругом, а двое по очереди ходят часовыми, чтоб кто не подошел невзначай. Затем мы зарываем банку в землю до следующей очереди за нею.

Я был в восторге от их отзывчивости и находчивости. Мне самому не раз приходило в голову, что это самый лучший способ хранения тайных документов, и вот они его уже осуществили.

Значит, дело среди крестьян в грамотных губерниях далеко не так плохо, как в Курской и Воронежской, где книжки наши шли исключительно на цигарки!

И, кроме того, здесь я получил еще новое подтверждение уже установившегося у меня взгляда, что наиболее отзывчивыми и вдумчивыми среди крестьян являются или подростки или старики, а молодежь в брачном возрасте как бы на время застывает духовно, теряет интерес ко всему идеальному.

«Ведь вот и в здешней молодежи, — думал я, — за исключением Ивана Ильича, хотя все мне, очевидно, сочувствуют, но их сочувствие основано только на доверии ко мне лично, а не на том, что они убедились собственным размышлением, раз и навсегда, в правильности моих мнений».

Да и за скромность их, как оказалось вслед за этим, я не мог бы поручиться. В то время как подростки свято хранили тайну

моего присутствия в их местах и, я уверен, не выдали бы ее даже под пыткой, некоторые из взрослых не утерпели, чтоб потихоньку не намекнуть многим посторонним, что девушки-то у ручья не совсем ошиблись!

«Он здесь, и мы с ним тайно видимся кое-где».

Опять пошли слухи, и две последующие ночи нам с Союзным пришлось провести опять не в избе, а на сеновале Ильичей, видясь лишь с избранными.

А на утро третьей ночи для нас оказалось необходимым даже удрать потихоньку из этой местности, так как по селу пошел шататься переодетый шпион.

6. Новое бегство

Я живо помню эту ночь. Она была ясная, звездная и морозная. Предупрежденные после полуночи прибежавшей к нам испуганной Сашей, что в селе готовится на нас облава, мы вышли из сеновала по дороге в Кострому в сопровождении Ивана Ильича, показывавшего нам путь на берег Волги, по которому мы и должны были идти.

Темное небо бледнело с каждым нашим шагом. Алая заря занялась на востоке и осветила бесконечные снежные равнины своим розовым сиянием... Вот показался первый тоненький край восходящего солнца, и все кругом нас засверкало миллионами ярких искорок.

Иван Ильич со слезами на глазах простился с нами и пошел, изредка оглядываясь и махая нам шапкой, обратно в свою стору.

Мы вышли на берег Волги. Она уже покрылась тонким льдом, и лед уже оделся покрывалом тонкого снега, но идти по нему, как предупреждал нас Иван Ильич, было еще нельзя.

Местность была совершенно пустынная. Береговая санная дорога едва виднелась под свежим снегом, но сбиться с нее было невозможно. До самой Костромы нам надо было идти по самому берегу Волги. Теперь мне уже нечего было бояться быть узнанным. До Потапова, где я прежде жил, было не менее двадцати верст, а с такого расстояния никто туда не ходил на воскресные гулянья.

Мы шли здесь совершенно беззаботно и, проголодавшись, решились постучаться в одну избу.

Опять, как и везде, слегка приотворилась форточка в окне. В нее выглянула женщина лет сорока пяти, а из-за ее спины белокурые головки трех или четырех детей.

— Дай щец горяченьких похлевать, озябли больно! Заплатим пяточок!

Пяточок в то время считался в деревнях за серьезные деньги.

— Да нет мужиков-то в доме,— ушли молотить! А одной-то боязно вас впустить.

— Чего боязно? Не съедим,— ответил Союзов, смеясь.— Да, кроме того, за спиной-то у тебя вон какое воинство!

И он показал на ребяташек.

— Ну, да уж войдите, пожалуй! — сказала она, и мы, крестясь по всем правилам, двумя перстами на иконы, вошли в избу, чинно поклонились иконам, ей, а затем и на все четыре стороны, хотя там никого не было. Но мы уже знали, что так полагалось по деревенскому ритуалу приличий.

Раздевшись и оставив в углу на лавке свою амуницию, мы сели у стола.

— Куда идете? — спросила она, вытаскивая для нас ухватом горшок с горячими дымящимися щами.

— А в Кострому! — ответил Союзов.— Лес валить.

Желая избежать дальнейших расспросов, которые, как я знал, сейчас же начнутся о всем, что нас касается, я решил сам перейти в наступление и перевести ее желание поболтать на другую почву.

— А что, правда ли мы слышали в Вятском, что тут у вас где-то барин завелся, который народу книжки какие-то читал!

Она вся просияла от желания поскорее рассказать нам подробно все.

— Как же, как же! Был такой барин, и много других таких же приходило. Хотели, вишь ты, царя извести за то, что народу волю дал, за все, что отобрал, значит, у господ крепостных. Уж и чего-чего только не придумали они, чтоб народ соблазнить! Книжки даром раздавали. А книжки-то, вишь ты, все заколдованные.

— Что ты говоришь! — воскликнул Союзов.— Разве могут быть заколдованные книги?

— Могут! Читает их читает, кто умеет,— а я, слава богу, неграмотная, безопасна,— и все, как будто ничего, выходит хорошо, да вдруг на заколдованное-то слово и наткнется. А оно черное, черное слово. Тут только его черноту и увидишь, как прочтешь, ан уж поздно! Кто прочитал невзначай, тот уж и отдался тем колдовцам и душой и телом. Нет уж у него воли. Что скажут ему, то и сделает! Вишь, хитрые какие! А кто грамоте не умеет, на тех зеркала волшебные наводили. Нарочно гулянья у себя в усадьбе-то по воскресеньям устроили, качели всякие. Приходите, мол, люди добрые, веселитесь! И много народу ходило. А зеркальчики-то замешаются меж ними с зеркалами-то своими, да

и дают посмотреть тому да другому как будто для веселья. А кто себя в зеркале-то том увидит, тот им опять отдается душой и телом! Ведут его в дом и там на левую руку ему антихристову печать черную накладывают. И сколько народу христианского перегубили таким способом, просто и сказать нельзя!

Я так весь и наострился, с жадностью слушаю каждое ее слово как своеобразное преломление наших высоких общественных идеалов в первобытном, неразвитом мозгу, но Союзов, смотревший на дело проще, не вытерпел и возмутился.

— Да что ты, тетка, зря говоришь! Какие тут печати!

— Сама, сама видела! Собственными глазами! Вот те крест святой!

И она перекрестилась истово трижды, очевидно, искренне считая призрак своего воображения за действительность, по правилу: так должно быть, значит, так и есть! А, следовательно, можно и побожиться в справедливости сказанного.

И сколько раз потом я видел применение этого же самого метода при современных характеристиках одного человека другим.

— А о том, что эти бары хотели восстановить крепостное право, от кого ты слышала? — прервал я ее божбу.

— А это уж совсем верно! От самого начальства, что следствие ведет, все кругом знают.

Мне стало совсем интересно. Вот, думалось, как поворачивается дело. Начальство, желая скомпрометировать нас в глазах народа, на самом деле восстанавливает крестьян против помещиков! Мы полгода назад отказали Войнаральскому в фосфоре для поджога помещичьего леса, а теперь администрация сама невидимо подбрасывает фосфор, выставляя помещиков злоумышляющими против освобождения крестьян! А когда пойдут поджоги, та же администрация, верно, будет кивать на нас, и большинство помещиков сдуру поверит. А потом, может быть, многие из сочувствующей нам юной молодежи, думая, что это-то и есть наши идеалы, пойдут, пожалуй, помогать крестьянам в начавшемся аграрном терроре! И никто не разберет, кто кого дерет!

Но следует ли из этого, что мы сейчас же должны ударить отбой? Конечно, нет! Ведь тогда из-за лгунов и клеветников нельзя начать никакого хорошего общественного дела!

— А как, однако, разгорелся уже пожар в этой местности! — сказал я Союзову, распрошавшись с простодушной и доверчивой женщиной. — Ведь если б начальство нас не тронуло здесь, то о нас знали бы десятка два-три человек, и никто не придавал бы нам значения, а теперь взволнован весь уезд!

— Совсем как в басне «Пустынный и медведь», — сказал Союзов, лишь недавно прочитавший Крылова. — Ведь помещикам-то они таким своим объяснением совсем размозжили голову!

— Мне это не совсем нравится! — ответил я. — Мне, ты знаешь, хотелось бы сделать прежде всего республику, чтобы народные представители решали все земельные и другие вопросы. А тут как будто хотят свести дело на простую войну крестьян с помещиками из-за взаимной ненависти, от которой, по-моему, не будет толку ни для тех, ни для других. Помещиков ведь придется защищать самим же властям, и все, что они тут говорили, чтобы оклеветать нас, падет, в конце концов, на их же головы.

— Это верно, — сказал Союзов.

— Но хорошо здесь то, — прибавил я, — что начальство пустило наше дело вширь, и благодаря ему то, что говорилось нами шепотом, обсуждается теперь на всех перекрестках. Никогда и в голову мне не приходило, что в каждой местности, где нас обнаружат, мы в действительности именно и одерживаем крупную победу! Ты верно сказал, что наше начальство, охраняющее монархию, разбивает ей лоб камнем всякий раз, как хочет избавить ее от нас, подобно медведю, оберегавшему пустынного от мухи.

— Ну, да мы и сами не мухи, — сказал Союзов.

— Пока, — ответил я печально, — мы только безвредные мухи, но это правда, что своими преследованиями из нас скоро сделают настоящий осиный улей, от которого им не поздоровится.

Так мы шли до самого вечера, когда наткнулись в большом селе на постоянный двор низшего разряда и вошли в него закусить.

Поев со мной щей с кашей из одной миски, Союзов сказал хозяину, высокому, крепкому старику, занимавшемуся своим делом, не обращая на нас никакого внимания:

— А мы у тебя и переночуем. До Костромы все равно не дойти сегодня.

— Переночуйте! Да только пашпорта-то у вас с собой ли?

— С собой!

— То-то же. Мне их не надо! — сказал он, отмахиваясь от Союзова, полезшего в карман за паспортом. — Для вас нужны. Тут облавы везде ночные бывают. Полиция семь раз за лето окружала и мой двор как будто какой разбойный притон. Всех, кто пашпорта не представил, хватало и увозили, да и с пашпортами-то не все отделявались. Просто житья не стало.

— А из-за чего? — спросил я.

— Да тутотки недалеко бунт затевали. Хотели по-новому жисть устроить.

— А много народу облавами переловили?

— Бегунов много попало. А из настоящих-то только двоих застали на месте. Все другие проведали раньше о беде и ушли в другие губернии.

— А сегодня не будет здесь облавы?

— А кто ее знает? Вчера кум приходил предупреждать, что начальство опять заворошилось.

Мы помолчали.

— Уж не лучше ли нам уйти да переночевать у кого в деревне? — сказал я нерешительно.

— Как хотите! — ответил хозяин. — Я предупредил, чтобы потом не пеняли на меня.

Мы собрали свои пожитки и вышли в темноту ночи, которая сначала показалась нам почти непроницаемой. Сильный порыв ветра, вырвавшись из-за угла, обсыпал наши лица мелкими холодными снежинками. Мы не хотели останавливаться в этой деревне. Здесь, казалось нам, было опасно, и мы пошли далее по низкому берегу Волги.

— А ведь и в следующей деревне может быть облава! — сказал Союзов.

— Конечно. Давай-ка переночуем снова где-нибудь под открытым небом. Нам уж не привыкать спать.

— Да, так лучше! — ответил он. — Я сам хотел предложить тебе.

— Но где бы нам устроиться? Сквозь идущий снег и темноту далеко не видно, а только кажется мне, что тут везде чистое поле.

Однако наши глаза мало-помалу стали приспосабливаться к темноте, и, отойдя версты за две от деревни, мы увидели направо от дороги, на берегу, лежащую вверх дном большую лодку, очевидно, вытащенную рыбаками на зиму. Мы подошли и осмотрели ее. Со стороны дороги она лежала бортом, плотно прилегая к земле, и была наполовину засыпана снегом. С другой же стороны, дальше от дороги, вьюга нанесла перед нею высокий гребень снега, а борт значительно приподнимался над землей.

Под лодку было легко залезть. Я первый попробовал это и очутился под ее дном, которое во мраке мог лишь ощупать руками. Все поперечные скамьи лодки были сняты и унесены отсюда, и под нею образовалось пространство, достаточное для помещения нас обоих вместе со всеми нашими пожитками.

— Влезай! — позвал я Союзова. — Здесь очень хорошо.

Он влез. Мы завернулись плотно в наши архалуки, положили около себя пилы и топоры и попытались спать, очень довольные своей находчивостью.

Однако же дело оказалось совсем не так прекрасно, как нам рисовалось с первого начала. Ветер все крепчал. Он мчался с Волги и, как всегда бывает, расчищал от снега ближайшую к нему сторону лодки и ссыпал его на противоположный, заветренный бок. Настоящие снежные вихри начали врыватьсЯ один за другим к нам в глубину и дуть на наши щеки, плечи и ноги, как через паяльную трубу.

— Здесь мы непременно обморозим себе носы, да и ноги, пожалуй,— послышался во тьме голос Союзова через полчаса лежания.— Мне уже продуло плечо и колено.

— И мне тоже,— ответил я.— Без ветра здесь было бы очень хорошо, а с ветром хуже, чем лечь прямо в поле в снегу.

— Да,— согласился он,— лучше просто зарыться в снегу в каком-нибудь углублении.

Мы вылезли вон из-под лодки, подпрыгивая от пронизавшего некоторые наши места холода, и пошли далее среди ночной выюги.

Движение немного согрело нас, а от усталости клонило ко сну. Впереди, налево от дороги, по которой мы пробирались ощупью, и в таком отдалении, что едва было видно сквозь метель, показалось что-то темное.

Мы свернули с дороги и подошли. Это был большой стог сена, а за ним, в некотором отдалении, виднелись и два других.

— Тут много стогов. Значит, мы идем по большому лугу,— заметил Союзов,— и едва ли скоро встретим деревню.

— Да никто теперь и не пустит нас,— прибавил я.— Ведь уж первый час ночи. Все спят.

— Как же теперь нам быть? — в недоумении спросил меня он.

— А давай переночуем под стогом. Помнишь, у Некрасова поется о народе:

Стонет он под овинном, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи! ²⁵

Вот переночуем и мы! В сене, верно, тепло. Только как залезть под стог?

Мы пошли к самому дальнему от дороги стогу и обошли его кругом. С наветренной стороны и он, как все другие, был совершенно очищен вьюгой от снега, а с подветренной, наоборот, завален сугробом. Мы начали раскапывать снег своими рукавицами, он попадал за их обшлаги и леденил пальцы. С большим трудом мы выкопали нишу у основания, а затем Союзов начал вырывать клочья сена из самого стога. Для этого надо было снять рукавицы, и наши мокрые пальцы совсем оледенели.

Пришлось постоянно отогревать их, всовывая каждую руку в рукав противоположной стороны и прижимая пальцы к своему теплему телу. Наконец была вырыта под стогом длинная пещера. Я лег с ее правой стороны, Союзов — с левой, головами друг к другу, и как бы обнимая собою стог. Большими клочьями сена мы плотно обложили сначала свои ноги, потом все тело и даже голову, насколько было можно.

Здесь ветер, шумевший кругом, уже не дул к нам, как под лодкой. Он только быстро засыпал нас снегом. Мы почувствовали во всем своем теле живительное тепло и крепко заснули, сознавая себя здесь в полной безопасности от обысков.

Кроме волков, от которых мы легко отстрелялись бы из своих револьверов, никому не пришло бы в голову проверять здесь наши самодельные паспорта. Проснувшись на рассвете, я был в полном восторге от того, что увидел вокруг себя. Мы были совсем как медведи в своих берлогах. Ночная выюга занесла нас, поверх прикрывавшего нас сена, целым сугробом снега по колено высотой. Только перед лицом каждого от теплого дыхания протаяло по отверстию, в виде норки. Я расширил эту норку руками и выглянул наружу.

Метель давно окончилась, и тучи ушли с неба. Прямо передо мною весь восток пылал огненными полосами и мазками, еще более роскошными, чем вчера, когда мы уходили с сеновала Ильичей. А из того места, где должно было взойти солнце, выходил ореол розоватых лучей. Проникший ко мне свежий воздух пахнул на меня своей сухостью и легким морозом.

— Посмотри-ка, как хорошо! — окликнул я своего слегка храпевшего товарища. Мой голос был ему хорошо слышен, так как мы лежали голова к голове в одной и той же занесенной снегом нише.

Он проснулся, расширил свое собственное дыхательное отверстие, причем узкий снежный промежуток между его и моим отверстиями рассыпался, и мы — двое разыскиваемых и преследуемых — стали глядеть на восход солнца в одно и то же широкое отверстие.

Потом мы без усилий выбрались совсем из-под снега и, выйдя на дорогу, дошли до Костромы.

На площади был базар.

— Как пройти на постоялый двор? — обратился Союзов к одному из стоявших в группе крестьян.

Тот хотел отвечать. Но другой, высокого роста, с русой бородкой и в новом желтом полушубке вдруг посмотрел на нас хитро своими прищуренными глазами и, схватив первого крестьянина за рукав, воскликнул:

— Стой! Не говори с ними. Это уды!

Крестьянин, замолчав, в изумлении начал рассматривать поочередно то меня, то Союзова. Все остальные, их было человек пятнадцать, тоже уставились на нас, обступив полукругом. Лицо предупредителя в новом полужубке, запретившего говорить с нами, выражало в это время такую игру физиономии, какую и представить себе не может тот, кто его не видел в этот момент. Указательный палец его левой руки так и оставался приподнятым вверх на уровне его головы, как бы приглашая всех молчать и слушать, что он сейчас будет говорить.

Палец другой — правой его руки поочередно показывал то на мое лицо, то на лицо Союзова, а его голубоватенькие хитрые глазки перебегали вслед за пальцем на каждого из нас, и зрочки их каждое мгновение прыгали, как будто говоря: вот, вот, я обнаружил их, меня не проведут!

Мне стало даже жутко. «Неужели он меня видал ранее у Писарева и узнал?» — подумал я.

— Где постоянный двор? — опять повторил Союзоз, обращаясь уже к другому из стоящих и как бы не слыша слов первого.

— Стой! Стой! Не говори! — опять крикнул тот тоненьким голоском. — Это уды!

— Сам ты уд! — сказал Союзоз обиженным голосом и, повернувшись, пошел от них.

Я последовал за ним, нарочно не говоря ни слова из опасения, что здесь могут узнать мой голос. Вся толпа, не двигаясь с места, молча смотрела нам вслед, а мужичок в новом желтом полужубке так и застыл в своей позе с указательным пальцем одной руки, предупредительно поднятым вверх, а другим указывая на нас.

Никто из них не преследовал нас, и мы перешли, затерявшись в толпе, на другую сторону площади, где случайные встречные сейчас же указали нам постоянный двор на самом ее углу.

— Что он хотел сказать словом «уды»? — спросил я, наконец, Союзова.

До того времени нам было не до разговора, мы боялись, что нас будут преследовать.

— Хотел сказать, что мы с тобой удим человеческие души. Видно, что он не умнее той старухи, которая говорила о заколдованных книгах и зеркалах.

— Значит, это тоже отголосок нашей пропаганды в Потапове! А зачем же он так смотрел на нас, как будто хотел узнать?

— Может, видал кого-нибудь из вас?

— Скорее всего он мог видеть Писарева, который там вырос.

Может быть, он думал, что один из нас — это и есть Писарев. — Наверно так, — прибавил Союзов. — Хорошо, что мы отделились так дешево. Пожалуй, потащили бы в полицию, да избili бы еще. Видно, что дураки!

На постоялом дворе, подкрепив свои силы щами с черным хлебом, мы с Союзовым сейчас же залезли на полати, т. е. на досчатый помост под самым потолком, на который посетители влезают с вершины печки и спят вповалку в теплоте, всегда скопляющейся вверху комнаты вместе с всевозможными летучими пищевыми и другими человеческими испарениями.

Но русский крестьянский нос мало чувствителен к таким испарениям, а тело любит прежде всего тепло.

Мы влезли на полати только под предлогом отдыха, а в действительности из конспиративных целей. Там нас не было хорошо видно снизу, когда мы, лежа по крестьянскому обыкновению на животах и подперев голову руками, смотрели вниз. Да и совсем спрятаться мы могли в любое мгновение, отодвинувшись назад, как бы для сна.

Но нам не хотелось этого. Внизу происходила любопытная сцена. Какой-то начитанный мужичок, вроде деревенского ходока, ругал царя непечатными словами и доказывал необходимость водворения народного правительства, которое он называл «земским».

Остальные несколько крестьян слушали его молча или вставляли время от времени и свое сочувственное слово.

За поносимого царя никто не заступался, пока в заведение не вошел, наконец, толстый детина в синей поддевке с цветным кушаком и меховой шапке.

Прислушавшись, после некоторого времени молчания, к возобновившемуся разговору на ту же тему, он весь вдруг покраснел от негодования и зычным голосом крикнул разговорчивому старику:

— Ах ты, каторжник проклятый! Да ты откуда явился? Да как ты смеешь такие слова говорить? Да знаешь ли ты, что я сейчас вот полицию позову да в тюрьму тебя сразу ухлопаю?

— Полно, полно! — попытался успокоить его один из окружающих. — Ведь человек только свое говорит! Ты поспорь с ним, если что нехорошо, а то зачем же сейчас и полицию тащить!

Остальные тоже повтори́ли хором:

— Зачем полицию?

— Ты толком поговори с ним, а мы послушаем!

— А вот как я кушаком-то по зубам поговорю со всеми вами, — ответил вновь явившийся, — так и прикусите свои языки, и не будете вмешиваться не в свое дело!

— А кто же ты будешь, что так по-начальнически разговаривать с нами хочешь?

— Староста я, и знаю с кем и как говорить надо! Это ты, верно, у потаповских переодетых бар таким разговорам научился! — обратился он к начитанному мужичку. — Так все они уж по тюрьмам давно сидят! Да и тебе туда открыта дорога.

— Слышишь? — шепотом сказал я Союзову. — И здесь о нас говорят! Вот как постаралось за нас начальство, до самой Костромы разнесло! Уже около полгода прошло, как все мы были разогнаны оттуда, а споры о том, что мы там говорили, не умолкают!

Я вновь прислушался. Староста, очевидно, только впустую грозился, чтобы придать себе больше авторитета перед публикой, а бежать за полицией совсем не хотел. Да это можно было предсказать и раньше. Редко кто решился бы это сделать. Отдай, думает крестьянин, вредного человека полиции, а она и тебя целый год будет таскать свидетелем в самое, что ни на есть нужное тебе время.

Ораторствовавший старик тоже отлично понимал это и потому, несмотря на угрозы, продолжал свое. Он, оказывается, никогда о нас и не слышал, а когда староста начал повторять уже слышанную мною ранее сплетню, будто мы — баре, и хотели восстановить крепостное право, то старик недоверчиво покачал головой и сказал:

— Верно, что господа хотели бы воротиться к старому! Да уж этому не бывать. Только не так они стали бы добиваться старого, а лестью да подхалимством. А бунтовать народ не пошли бы. Нет, ты что-то тут неладно говоришь. По всему выходит, как будто бы этим господам вдруг стыдно стало за себя, и они вдруг искупить захотели свои грехи перед господом.

— Да они и против бога самого шли!

— Какого бога! Уж не поповского ли? Немного греха взяли на душу!

— Да ты беспоповец, что ли?

— А уж кто я ни на есть, тебя не касается!

Так, постоянно перескакивая с идейного разговора на личности и даже на непечатную брань и от нее опять на идейные предметы, они продолжали свой спор вплоть до позднего вечера.

Но еще раньше, чем он кончился, у меня сильно зачесалось в различных местах кожи, и я почувствовал, что на меня происходит нападение не тогдашней автократической администрации, а чего-то, хотя и менее вредного, но зато несравненно более многочисленного... Изю всех щелей дощатых полатей выдвигалось на

нас с Союзным ополчение трех родов оружия: пехота, одетая в белые гвардейские мундиры; кавалерия, скакавшая на нас на вороных конях, и тяжелая артиллерия клопино-коричневого предохранительного цвета. Это воинство составляет, как известно, самую многочисленную часть населения Российской империи. Наибольшей своей густоты оно достигает именно на крестьянских постоянных дворах и обязательно эмигрирует толпами на тех, кто туда является переночевать. Я сразу же почувствовал, что на меня происходит сильное переселенческое движение.

— Что, чешется? — спросил меня Союзов, заметив движение моей руки.

— Чешется. А у тебя?

— Везде. Если б сделать им по всей России однодневную перепись, — зафилософствовал он, скребя себе бок, — то сколько бы их насчитали!

— Миллиарды, — ответил я, скребя себе спину. — Говорят, что Россия для русских, потому что русских в ней больше всего, а ведь если считать только по численности, то Россия должна быть для них. Русские для них — только «здоровая и питательная пища», как я читал в какой-то старинной ботанике о репе.

Таковы были философские выводы из этой нашей ночевки на простонародном постоялом дворе.

Войдя сюда необитаемыми, как пустыня Сахара, мы вышли на улицу на следующий день населенными, как самая многолюдная местность средней Германии...

7. Лесные пильщики

Мы пришли в деревню значительной величины. На втором ее конце стоял красивый помещичий дом Шипова, у которого поселилась жена Писарева, после того, как ее выпустили из-под домашнего ареста в Потапове. У меня уже заблаговременно было написано в поле, за несколько верст отсюда, карандашом такое письмо:

«Дорогая Полина Александровна! Я пришел сюда в виде крестьянина-пильщика и могу рассказать Вам много интересного о наших. Приходите сегодня в шесть часов, когда будет темно, на перекресток дорог за Вашим домом. А там я Вас встречу, как бы случайно».

Я подписал внизу этого письма свою фамилию, заклеил конверт, надписал на нем ее адрес и теперь, подойдя к ее дому и отлично зная, что в восемь часов утра у помещиков все спят, я вызвал стуком в дверь прислугу, оставив Союзова вдали. Ко

мне выглянула в слегка приотворенную дверь молоденькая горничная.

— Чего тебе надо? — строго спросила она меня.

— А вот барыне, Полине Александровне, из Потапова письмо с оказией прислали.

— Все в доме еще спят. Приходи через два часа.

— Зачем же приходите? Передай письмецо ты.

Я вынул его из кармана, просунул ей в щелку, и она, ничего не сказав, — стояло ли разговаривать с таким неотесанным парнем в архалуке и лаптях, — быстро затворила перед моим носом дверь, и я больше ее не видал. Смеясь, я возвратился к Союзову.

— Видишь, говорю, как трудно вести пропаганду в лаптях! Оказывается, что даже для проповеди всеобщей гражданской равноправности надо одеваться почище! А то в деревнях крестьяне тебя не пускают ночевать, говорят — иди к десятскому; при встрече никто тебе в лицо не взглянет, а смотрят на твои ноги; при разговоре же думают: «И чего ты, косолапый, тоже рассуждать лезешь?» А для наблюдения жизни людей это ужасно интересно: все междучеловеческие отношения представляются совсем в другом виде!

Мы вошли в ближайшую избу.

— Пришли в ваши края пильщиками, а не то чернорабочими на завод, — говорю я. — У кого бы на хлебах поместиться?

— Идите к десятскому. Вон там, вторая изба с того краю! — услышали мы стереотипный в этом нашем путешествии ответ. — Он назначит к кому.

Мы пошли к десятскому. Это был такой же мужичок, как и все другие, только позажиточнее и грамотнее.

Он внимательно начал рассматривать наши паспорта, сначала с одной стороны, потом с другой, и увидал у Союзова штампель прописки в какой-то из петербургских частей. Кравчинскому нельзя было вытравить его при очистке старого бланка посыпанием белильной извести и размазыванием ее жидкой соляной кислотой, потому что штампельная краска не поддается им, как чернила. Там Союзов был прописан в звании печника.

— Да что вы, братцы, тронулись в уме, что ли? — сказал он с недоумением, обращаясь к нам. — Печное ремесло знаете, в Петербурге бывали, а теперь пошли сюда в чернорабочие!

Видя, что это простой, добродушный крестьянин, Союзов ему сказал:

— Совесть зазрела. Захотели жить так, как живет самый простой народ. Ведь братья мы все!

— Да ты из толка (т. е. вероисповедания) какого будешь, что ли?

— Нет, мы по старообрядчеству молимся! — сказал Союзов, зная, что здесь много старообрядцев и они нетерпимее относятся к православным, чем последние к ним, в большинстве случаев совершенно индифферентные.

— Уж верно из толка какого! — недоверчиво сказал десятский. — А не то, может, — вдруг догадался он, — вас из-за озорства какого в пьяном виде из Питера выселили? Уж признавайтесь!

— Да почему же ты не хочешь поверить, что нас просто одолела жалость к бедному крестьянскому народу и что мы в самом деле захотели жить попроще, как весь народ?

— А народу-то легче от этого будет? Нет, это ты неладно говоришь. Всякому хочется жить получше, а не похуже. Отсюда в Питер идут, а не из Питера сюда. Верно уж у вас двоих ум за разум зашел или что иное на уме, чего сказать не хотите. И думаю я, что погнали вас обоих из Питера за озорство в пьяном виде. Ну, да мне все равно. Только у нас здесь не пьянствуйте и не озорствуйте. Пойдемте, я поведу вас к соседу, может, он примет.

Сосед — небольшой русский мужичок и его супруга в ситцевом платочке с любопытством взглянули на нас.

— Вот привел к вам питерских печников, — сказал им, смеясь, десятский. — Захотели, говорят, покрестьянствовать в чернорабочем виде на заводе или в дровяных пильщиках в деревне счастья попытать!

Все в избе весело рассмеялись.

— Врѐ! — сказал русский мужичок.

— Право! — ответил десятский. — Вот сами расскажут, если примете.

— Почему не принять. Мука своя, а весь приварок наш. По полтора рубля с человека в месяц дадите?

— Дадим!

— Так милости просим! Раздевайтесь.

Мы расположились и стали снимать нашу верхнюю амуницию медленно, по-крестьянски. Десятский распротился и ушел.

— Так и вправду из печников в чернорабочие захотели? — улыбаясь заговорил хозяин, когда мы сели у стола, против огромного отверстия русской печи, наполовину задвинутой заслонкой.

Я собрался отвечать ему, но вдруг заслонка печки отодвинулась в сторону, и из нее выскочила, как русалка с распущенными каштановыми волосами, высокая, стройная девушка, совершенно голая. Схватив железную задвижку печки, она закрылась от нас ею, как щитом, и побежала к выходу из избы,

причем, когда повернулась к нам спиной, перевела свой щит так, чтобы закрыть ею свою седалищную часть. Никто из присутствующих не обратил на нее никакого внимания, и разговор продолжался дальше.

— Да, из печников! — сказал я, как только дверь за девушкой захлопнулась.

Мне ясно было, что непредусмотренная нами надпись на паспорте сразу выводила нас из уровня простых чернорабочих и делала интересными в глазах окружающих нас крестьян.

К нашим словам уже не относились здесь так свысока, как в харчевне под Троице-Сергиевой.

— Уж извините! — сказала хозяйка нам. — Сегодня замешаемся с обедом-то. Сами видите, — парились мы все сегодня в печи-то!

Она подошла к опустевшей печи, вынула оттуда мокрый веник, которым, очевидно только что секла себя ее дочь, мывшаяся по старинному русскому обычаю в печи за неимением особой бани. Потом оттуда же была вытащена большая мочала и лоханка с остатком воды. Хозяйка наша наложила вместо этого дров и затопила печку наструганной ею лучиной. Тем временем дочь возвратилась из соседнего помещения, т. е. из холодной (не топленной) летней горницы, и, скромно поклонившись нам, принялась помогать по хозяйству.

— Вы, верно, никогда еще не были пыльщиками? — спросил хозяин, возобновляя беседу.

— Нет еще, — отвечал Союзов.

— Это и видно! — сказала оборачиваясь хозяйка. — Разве такие пыльщики бывают, как вы?

— А чем же мы не пыльщики? — спросил я самоуверенным тоном.

Все рассмеялись, а дочка звонче всех.

— Да ведь пыльщики-то огрубелый народ. Лапищи-то у них, что твоя нога! А ты какой же пыльщик? Сейчас видно, что городской!

— Ну что же, пилите! — улыбаясь заметил хозяин. — Посмотрим, заработаете ли себе на хлеб-то у нас.

— На хлеб-то заработают, а вот посмотрим, много ли домой-то унесут! — заметила хозяйка. — Нет, уж лучше бы вы и шли по печному делу!

— Воротятся! — спокойно заметил хозяин.

— Ну, а если на завод поступим? — спросил Союзов.

— Не примут. Туда уже много здешних ходило. Местов нет, все занято.

Услышав о печниках, пришедших сюда из Владимирской

губернии (откуда были наши паспорта) пилить в лесу дрова вместо того, чтоб делать печки в Москве или Петербурге, многие крестьяне в тот же день побывали в нашей избе явно для того, чтобы посмотреть на такое диво.

Все они улыбались, слушая наши объяснения. Ясно было видно, что каждый из них в душе говорил: вот чудные, легкомысленные люди, я так никогда бы не поступил!

Если б слухи о переодетых пропагандистах, ходящих в народ, дошли до этой глухой местности Костромской губернии, то мы были бы тогда же определены крестьянами как таковые.

Но здесь еще все было тихо и глухо. Здесь, как оказалось, знали, что муж сестры Шипова «пострадал за народ», но ведь он не переодевался, а потому никому из крестьян не приходило в голову сомневаться в печной профессии, прописанной на наших паспортах, которые десятский, кстати сказать, унес с собой.

— Нельзя их оставить у вас, — откровенно объяснил он нам свой поступок. — Возьмете да и уйдете, не расплатившись с хозяевами, тогда деньги-то за ваше прокормление откуда взять? Возвращу, когда будете уходить. А за сохранность паспортов не беспокойтесь, будут целы.

К полудню печь, из которой утром так неожиданно для меня выскочила хозяйская дочка, вновь была открыта, и из нее она сама вытащила большой горшок щей и другой — с кашей, и мы все мирно пообедали и легли отдохнуть по своим местам; мне с Союзным назначили полати рядом с младшими детьми хозяев, двумя мальчиками-подростками.

К шести часам вечера я вышел, как было условлено, и встретился с Писаревой.

Полина Александровна была явно встревожена за меня и очень просила не поступать рабочим на завод.

— Брат боится пропагандистов, и управляющий очень присматривается ко всем вновь поступающим. Уже лучше наймитесь у крестьян в пильщики. На лесных рабочих не обращают внимания, и я всегда успею предупредить вас, если пойдут слухи. Они сейчас же дойдут до брата, и я узнаю.

Мы послушались ее совета и, не пробуя менять свою профессию, поступили в пильщики.

На следующий день наш хозяин отвел нас в крестьянский лес и указал место для работы. Крестьяне обязались нам платить, кажется, по семь копеек за каждую сделанную нами сажень дров. Это значило, что мы должны были сначала подпиливать деревья, валить их на землю, очищать от сучьев, распиливать стволы на кругляки в аршин длиной, раскалывать их на дровяные поленья и складывать в лесу в саженьки, т. е. прямо-

угольные груды, каждая три аршина в длину и три аршина в высоту.

Пара хороших пильщиков могла, как нам говорили, сделать в день до трех таких саженок и таким образом заработать по двадцать копеек, что для чернорабочего в глуши в то время считалось достаточным заработком.

Союзов знал, как надо все это делать, и мы сейчас же принялись за работу.

Мне было жалко видеть, как одна за другой падали на землю под нашими пилами и топорами высокие стройные ели. Мы их очищали от сучьев, распиливали и расщепывали на поленья, вонзая топоры в концы тяжелых кругляков, а потом вскидывая их на плечи и раскалывая сильным ударом о лежащее бревно. Слишком сучковатые пришлось раскалывать клиньями. И вот, когда мы сложили к вечеру весь наш с великим трудом наколотый материал, то оказалось, что из него едва вышла одна сажень.

Наш хозяин пришел в сумерках посмотреть на нашу работу, покачал головой и сказал:

— Горе-пильщики!

— Ничьяво! — ответил я. — Приобыкнем. Через неделю будем пилить не хуже других.

И мы пошли совершенно усталые на ночлег.

На другой день повторилось то же, на третий то же. Как мы ни старались, мы не могли напилить больше сажени, а следовательно, и заработать более семи копеек в день на двоих. А этого едва хватало на наше пропитание, как ни дешево нам было платить по пяти копеек хозяевам, да прикупать у них же муку, из которой хозяйка пекла нам в своей универсальной печи-бане отдельные караваи хлеба.

Но это было еще ничего. Через несколько дней наступили для нас и более тяжелые времена. Место, куда нас отвели пилить, было единственный сухой клочок земли в болотистом еловом лесу.

Как только мы счистили с него деревья, нам пришлось перейти в болото. В этом году снег выпал рано, он покрыл довольно толстым слоем лесную топь, затянутую до его падения лишь тоненькой ледяной пленкой, и потому болото, прикрытое им, как шубой, перестало замерзать глубже, хотя и начались порядочные морозы. Как только наши лапти проваливались сквозь снег, так ледяная вода, словно сквозь сито, проникала сквозь их отверстия, проходила через наши суконные подвертки и достигала до половины высоты наших колен. Если б при каждом новом шаге мы выдавливали старую воду и получали затем новую ее

порцию, то нам ничего не оставалось бы делать, как бежать с позором домой.

Но, к счастью, происходило следующее физическое явление: как только мы выдергивали промоченные ноги на мороз, мокрая поверхность наших подверток и лаптей начинала обмерзать, и через несколько минут мы ходили по болоту в настоящих ледяных сапогах. С каждым новым провалом слои льда на ногах утолщались, и, наконец, стало почти невозможно поднять их.

— У меня,— сказал Союзов,— на каждой ноге по крайней мере по полпуда льда.

— И у меня тоже,— не без удовольствия ответил я.— Да кроме того, под этой корой к каждой ноге приложен как бы охлаждающий компресс.

В таком положении мы и работали с утра до вечера дней семь, по временам сбивая обухами топоров ледяную кору на своих ногах, когда она становилась слишком уж тяжела. На меня пока это нисколько не действовало, но у Союзова, наконец, сделалась лихорадка.

— Бросьте вы это дело! Оно не по вас! — уговаривал нас хозяин, которому вместе с несколькими его «соседами» мы, наконец, поведали, что оставили свое печное искусство «не по пьянству по буянству», а для того, чтобы созывать народ «на великое дело освобождения России от царского ига».

— Мы и сами догадывались,— заметила нам хозяйка,— что вы не просто так маетесь в лесу, да и вся деревня тоже догадалась.

Но мы еще не хотели сдаваться. Мы видели здесь сочувствие и на следующий день снова пошли работать. У Союзова появился сухой жар, и он сильно ослабел.

В этот раз мы не наделали с ним даже и полусажени дров. На следующий день он совершенно не мог выходить и лежал на печи. Только на четвертый ему стало лучше.

Делать было нечего. Пришлось бросить лесопиление. Мы расплатились с нашими хозяевами, приветливость, внимание и сочувствие которых возрастали к нам с каждым днем, и пошли обратно в Кострому.

Я был опечален, что приходится уходить, не устроив здесь нового опорного пункта для будущего восстания за республику. Не прошли мы и полуверсты, как хозяин догнал нас с двумя кусками пирога с капустой.

— Возьмите себе на дорогу,— сказал он.

Мы поблагодарили и положили куски в карманы.

— А много таких, как вы, теперь ходит в народе? — спросил он как-то нерешительно, продолжая идти с нами далее.

— Да, порядочно.

— Дай вам бог. Только дело-то трудное. У начальства сила, у нас рознь. Когда народ будет подниматься, скажите и нам. Если кто скажет, что пришел от вас, я того спрячу в доме. А сами-то вы правда печники?

— Столяры, — сказал Союзов полуоткровенно.

— А, может, и побольше, чем столяры? — ответил крестьянин многозначительно.

— Тебя вот видели, — сказал он, обращаясь ко мне, — как ты за деревней с шиповской барыней вечером ходил. Мы знаем от ихней прислуги, что муж-то ее тоже пострадал не за худое дело, а за то же, о чем и вы нам говорили, то есть, чтобы русской землей править, как в чужих странах, значит, выборных в Питер посылать.

Что мне было ответить? Опасаясь, что пойдет болтовня и могут выдать Писареву, я предпочел на этот раз ничего не говорить о нашем свидании и сказать просто, что я столяр из Москвы. Это сбило бы, думалось мне, Третье отделение с верного пути. Пусть моя предосторожность теперь окажется и напрасной, но лучше сделать тысячу напрасных предосторожностей, чтоб застраховать один случай, чему тысячу раз проболтаться без вреда, а в тысячу первый раз погубить все. Ведь ему же должно быть безразлично, кто я такой, а я действительно умею столярничать.

— Кто бы ты ни был — ответил он, — а у нас тебя все любили. Да и крепок же ты! Две недели в такой-то холодище в болоте лесном выстоял! Мы все говорили, беспременно оба свалятся! Нам самим было бы неумоготу так целый день стоять.

У меня готовы были выступить на глазах слезы от умиления. Никто не мог бы мне в то время сказать лучшего комплимента. Оказалось, что этот сорокалетний мужичок не только перестал смеяться над нами, как в первый день, когда назвал нас «горе-пильщиками», но в течение недели совершенно переменял о нас свое мнение. И в длинные зимние вечера, когда мы подолгу беседовали с ним и его семьей, он сильно привязался к нам и теперь расставался со слезами на глазах.

Значит, и пункт опоры в народе, о котором я мечтал, устроился здесь как-то сам собой, когда я менее всего ожидал этого! Как мне везет счастье! Когда все товарищи кругом гибнут в народе один за другим, и все, что они делали, расстраивается, у меня уже есть три опорных пункта: в Курской губернии, здесь, в Костромской, и восстановленный пункт в Даниловском уезде Ярославской губернии, у Ильичей. Верно, скоро восстановится пункт и там, под Троице-Сергиевой, думалось мне. Как странно,

что у меня, меньше всех верившего в народ, уже вросли в него, так сказать, корни в четырех губерниях! Не ошибся ли я, думая о народе плохо?

Воспоминание о всеобщей безграмотности, царившей в то время среди крестьян, опять подсказало мне: у них много неприязни к тиранящей их бюрократии, но мало гражданского сознания, и что значат эти четыре человека среди десятков миллионов населения! Самообман думать, что я что-то сделал! Пусть и у других товарищей будет постольку же или в десять раз более опорных пунктов, а все-таки это капля в море!

Мои мысли вдруг перескочили на другую сторону вопроса. Нет! Дело не так плохо! Вель нам же бессознательно помогает администрация, этот, по выражению Союзова, медведь, разбивающий голову камнем защищаемому им монархизму! Она повсюду разгласила о нас, желая отличиться своим усердием в ловле нас. Благодаря ей и здесь узнали о новых общественных идеях, о новых людях, узнали, правда, в искаженном виде, но это все равно. Пожар разгорается благодаря ей и, может быть, через несколько лет охватит всю страну. Но ведь это будет не во имя наших чистых идей, а во имя целей, искаженных администрацией и нашими врагами? Ну, так что же! Тем хуже будет для них самих и для их царей и для всех, кто отдается под их защиту! Пусть и пеняют не на нас, а на свою собственную глупость и сплетничество, пусть получают должное вознаграждение за свою ложь на все высокое и справедливое.

Возвратный ямщик догнал нас на дороге и довез к ночи до Костромы за двадцать копеек.

— Хочешь опять на постоянный двор ночевать? — спросил я Союзова, приехав в город.

— Нет! Уж лучше в овине где-нибудь, — сказал он. — Я теперь, кажется, совсем оправился.

Мне тоже больше нравилось в овине, и потому, пройдя Кострому, мы пробрались в ночной тьме в один из ближайших к нам деревенских овинов и ощупью, в непроницаемой тьме, спустились в его яму.

Там Союзов мог зажечь, не рискуя привлечь внимание, захваченный нами еще в Москве на случай ночных походов, огарок свечи, и при его колеблющемся свете мы увидели вокруг себя бревенчатый, закоптелый подземный сруб, и такой же бревенчатый потолок над ним. Пахло дымом, очевидно, овин действовал утром. На земляном его полу лежали потушенные головни.

Мы стали выбирать местечко, где бы лечь, но везде была сплошная грязь от просачивавшейся в яму воды благодаря зимней оттепели.

— Навалим сюда кучу соломы сверху,— сказал Союзов.— Тогда будет хорошо.

— Ладно!

Мы поднялись наверх, принесли сюда несколько охапок сухой соломы и, разложив ее, легли, радуясь своей изобретательности, и быстро заснули.

Однако после полуночи я увидел почти такое же сновидение, как и при ночлеге в болотистом лесу под Москвой. Я плавал по какому-то безбрежному ледовитому океану, куда свалился с ледяной горы, и дрожал от холода.

Проснувшись, я почувствовал тоже сильный холод под боком, на котором лежал, и убедился, что вода просочилась к нему сквозь солому и мою одежду. Но наученный опытом, я уже не шевелился, зная, что тогда выдавлю вон согретую мною воду, и взамен ее наберу свежей, холодной.

Союзов спал рядом тревожным сном и по временам стонал. Вдруг он проснулся, и по шуршанью соломы в темноте я догадался, что он перевернулся на другой бок.

— Что ты делаешь! — тревожно воскликнул я.— Ведь ты промочишь теперь оба бока! Перевернись скорей на прежний, чтоб хоть один сохранился сухим!

Он быстро перевернулся, но затем сказал:

— Нет, здесь невозможно спать! У меня опять начинается лихорадка! Пойдем, ляжем наверху, в сушилке.

— Но там придется спать на круглых бревнах.

— Лучше на бревнах, чем в луже холодной воды.

Забрав свои мешки, мы вылезли из ямы и, наложив соломы на бревно сушильни, т. е. комнаты над овинной ямой, куда ставят для сушенья снопы, разлеглись там. Было жестко на круглых бревнах, но вода в промоченном боку начала понемного согреваться и подсыхать. Когда мы через несколько часов проснулись, от нее нам чувствовалась только слабая влажность. Союзов первый встал и пошел осмотреть окрестности. И в ту же самую минуту я услышал его встревоженный голос:

— Скорее! Скорее выбрасывай мне топоры, пилы и оба мешка и выскакивай сам! Крестьяне идут!

В один миг я исполнил требуемое, выскочил и выглянул в овинные ворота с той стороны, в которую вновь бросился смотреть Союзов.

Человек восемь крестьян шли по направлению к нашим овинам, очевидно, продолжать сушку и молотьбу. Захватив пилы и топоры и накинув спешно архалуки, мы оба быстро вышли из противоположных дверей, которые, к нашему удовольствию,

были обращены к дороге, и вступили на нее, все время скрытые от крестьян стеной овина.

— Вот хорошо было бы, если б они застали нас спящими в сушильне! — заметил я.

— Я потому и вышел посмотреть, — ответил он. — Я все время боялся, что нас застанут. Теперь в овинах с утра работают.

— А что бы они сделали с нами, если б нашли спящими?

— Приняли бы за бродяг и избили бы!

— А мы показали бы им наши паспорта!

— Не поверили бы. Сказали бы: отчего же не пошли к десятнику? Он бы назначил к кому ночевать?

— Да, трудно бы было вывернуться, особенно в этой местности, где меня именно и ищут, — ответил я. — Нет хуже, как ночевать в овинах осенью и зимой. Летом и весной — другое дело, тогда в овинах не работают. А из всех способов — лучше всего спать на сеновалах и под стогами на снегу!

8. В болоте

Весь день мы шли по направлению к Ильичам и не без причины. Я уже рассказывал раньше, что в этой местности в лесу была зарыта в ящиках ручная типография перед тем, как мне пришлось бежать из Потапова. Я знал приметы на деревьях, по которым мог во всякое время найти ее, так как сам участвовал в зарывании.

А она теперь была нам нужна после гибели типографии Мышкина в Москве.

Кравчинский говорил мне как-то еще летом, что кружок студентов-кавказцев в Петербургском университете, которых Клеменц, склонный к даванью шуточных имен, называл «хабебулками», очень хотел устроить тайную типографию у себя на Кавказе и жалел, что нельзя было достать закопанную нами в Потаповском лесу, так как кроме меня да Клеменца никто в России уже не знал ее места.

— Выкопаем ее и отвезем в Москву, — сказал я Союзову, когда мы лежали на соломе в овинной яме.

Он очень обрадовался такой идее.

— Я выучусь набирать, — сказал он, — и буду печатать книги. Мне давно этого хотелось.

— И мне тоже. Типографию устроим на вершине заоблачного утеса, где только орлы вьют себе гнезда. Кавказцы говорят, что знают неприступные места. Там мы и будем работать вместе с ними, они будут приносить нам рукописи, бумагу и уно-

сить напечатанное нами по тропинкам, которые знают только они одни.

Так мы мечтали во мраке овинной ямы еще раньше, чем промочили себе бока, а теперь мы спешили изо всех сил к деревне Ильичей, но не успели дойти до нее засветло.

Я предложил Союзову и в этот раз переночевать в овине на куче вымолоченной соломы, так как она мягкая. Он очень неохотно согласился: у него опять начиналась лихорадка.

Однако нам не оставалось делать ничего другого, тем более что вчерашняя оттепель уже сменилась морозом, и к вечеру он начал крепчать.

Поднялся сильный ветер со снегом, и под стогом было б нам совсем скверно. Я не мог узнать незнакомых мне зимних дорог этой местности и не мог сказать, далеко ли нам остается идти. Мы вошли под овин в первой попавшейся деревне не столько для спанья,— так как было еще рано, не более семи часов вечера,— сколько для того, чтоб не продрогнуть совсем. Но не успели мы пролежать там и часа, как Союзов начал снова жаловаться на сильный озноб и выражать сомнение в возможности для себя вынести здесь ночь без того, чтоб завтра не свалиться совсем.

Я знал, что он не стал бы капризничать, и его слова страшного меня напугали.

— Так пойдем,— сказал я,— может быть, доберемся до Ильичей!

— Да,— ответил он,— уже лучше ходить всю ночь, чем ждать так!

Мы пошли в ближайшую деревню. Постучав в одно из светящихся окон, Союзов узнал, что нам идти осталось не более двух верст.

— Идите прямо по улице,— сказал едва слышный для меня голос через приотворенную внизу раму.— Перейдете через мостик налево и идите по берегу речки...

Конец его слов не было слышно.

Мы спешно отправились в указанном направлении. По дороге мне надо было переменить прорвавшуюся портянку в одном из лаптей на запасную, и потому я свернул под овин, говоря Союзову.

— Иди один, подожди меня за мостиком!

Перевязав на ноге все, как следует, я вышел из овина. На дороге недалеко стояла кучка деревенских девиц, о чем-то разговаривавших между собою. Зная, что они не пропустят меня без расспросов и узнают по голосу, я прошел по снегу вдали от них и вышел на мостик через речку.

Было почти совсем темно, снег густо валил мелкими хлопьями. Союзова нигде не было видно, насколько можно было рассмотреть.

«Значит, пошел, не дожидаясь меня»,— решил я и, свернув налево, почти побежал за ним по следу, засыпанному наполовину снегом.

Почти вся речка уже замерзла и тоже покрылась снегом, только кое-где на быстринах зияли черные полыньи воды. Там, где берега были пониже, мне очень трудно было отличить, где кончается берег и начинается речка. Совсем было легко провалиться в нее в случае неверного шага.

Вдруг след, по которому я шел, пропал совсем.

Я позвал Союзова несколько раз, но он не отвечал. В поле кругом меня только шумела вьюга и летали в полутьме хлопья снега.

— Не провалился ли он в речку? Не утонул ли? — пришла мне в голову мысль.

— Союзов! Союзов! — закричал я снова в отчаянии.

Никакого ответа.

— Верно, у него закружилась голова от слабости,— подумал я.— Он зашатался и провалился в речку.

Порыв страшной тоски овладел мною. Я успел сильно полюбить Союзова за время наших скитаний. Его душа была такой детской чистой, его ум так стремился к правде и добру, так отзывался на все хорошее. И вот верный товарищ моего пути погиб перед самым его концом! Больше нет его следа, а рядом чернеет в снегу глубокая полынья.

— Союзов! Союзов! — взывал я снова в отчаянии.

Я попытался подойти поближе к полынье, но снег обвалился под моей ногой, и я только вовремя отдернул ее, чтоб не провалиться самому. Здесь ничего нельзя было сделать. Если он провалился, то его не найдут до весны. Но, может быть, он ушел далее и только вьюга засыпала его след? Мне показалось, что в некоторых местах видны углубления, похожие на совершенно занесенные человеческие следы, но их было лишь два или три.

Я побежал, увязая по колена, далее. Поле давно сменилось редким еловым лесом, и я даже не мог заметить в наступавшей ночной темноте, идет ли моя речка прямо или кружится.

Верно ли я расслышал в деревне, что за мостиком надо идти по берегу налево, а не направо? — подумал я.— Но нет, в моих ушах еще звучал старческий слабый голос из окна: «Через мосток налево». Не сбился ли я на какую-нибудь другую речку?

Уже часа полтора я с невероятнейшими усилиями шагал по сугробам снега, проваливаясь на каждом шагу. Я изнемогал и готов был упасть от усталости, но и это сделать было негде: я утопал теперь в болоте, засыпанном по тоненькому льду снегом. Моя нога уходила туда по колено и постепенно покрывалась при своих подъемах на воздух ледяной корой. Вдруг я провалился в воду чуть не по самый пояс. Я инстинктивно лег остатком тела на поверхность снега и покатился по нему, наподобие бревна, назад, туда, где я шел раньше, несмотря на то, что пила и мешок, висевшие за спиной, сильно мешали мне. Но они вдавливались в снег, когда я переворачивался на спину. Решившись, наконец, подняться, я пошел обратно, вставляя ноги в свои собственные следы, которые скоро оказались засыпанными снегом.

Наконец я выбрался к знакомому мне мосту. Что мне делать? Переночевать в овине? Но я был мокрым и обмерз выше колен... Стучаться снова в избу я не мог; во всех были погашены огни, кроме той, в которой мы уже спрашивали. Там была деревенская вечеринка, и на ней, наверно, есть несколько человек, бывавших на наших потаповских гуляньях. Они узнают меня по голосу.

— Может быть, старик ошибся, сказав «через мосток налево», может быть, надо направо?

Чтоб согреться, я пошел в этом направлении, сообразив, что не может же такая незначительная река и выходить из болота и входить в болото. И действительно, через четверть часа я добрался до другой деревни, которую тоже не мог узнать в ночной темноте и метели. И здесь в одной избе светились окна, т. е. была вечеринка. Подойдя к ней, я вытащил из кармана свои часы и посмотрел на них при свете из окна: стрелка показывала начало двенадцатого, я блуждал более трех часов.

Мне ничего не оставалось, как постучать в окно и спросить, далеко ли нужная мне деревня.

— Недалеко, рядом! — ответил мне мужской голос, приподняв слегка нижнюю раму, опускающуюся, как занавес, по крестьянской обычной конструкции. — Иди прямо до конца улицы, а там налево по загуменкам одна дорога. А ты отколе?

— Иду из Костромы в Вятское, да запутался, переночую у кума. Спасибо! Прощай!

И я быстро ушел, зная, что иначе должен буду поименовать и самого воображаемого кума.

Пройдя, как было сказано, я попал в большое село и при самом входе увидел знакомый мне дом Ильичей, а налево, по

другую сторону улицы, и сеновал, в котором я скрывался. Я быстро взбежал по высокому крыльцу в знакомые мне сени, распахнул дверь в комнату, и там тотчас увидел обоих Ильичей и самого Союзова в полушубках и с фонарями в руках.

— Слава тебе, господи! — воскликнули все хором. — А мы-то сейчас собирались идти искать тебя по лесам!

— Да как же ты заблудился? — спросил меня Союзов. — Ведь так легко было дойти!

— Как легко? Он велел идти налево от моста, а это направо!

— Нет, он сказал: «Направо».

— Нет, я хорошо помню, — он сказал: «Через мосток налево!»

— Ты не расслышал до конца, — ответил Союзов. — Он сказал: «Через мосток налево и идите по берегу речки направо!»

Мне сразу стало все ясно. Я действительно не расслышал среди шума вьюги конца фразы.

— А почему же ты не подождал меня за мостком? — спросил я его.

— Да меня встретили девки, заговорили. Я видел, как ты прошел снегом в стороне от дороги, раньше меня, и пошел догонять тебя, но за вьюгой не было видно, куда ты пошел!

— Я пошел налево, пока не провалился по пояс в болоте версты за три оттуда.

И, распахнув свой полушубок, я показал им свои штаны, покрытые замерзшей болотной грязью до самого верха.

— Господи Исусе! — воскликнул, качая головой, старик отец. — Да ты там по речке-то, в самую что ни на есть топь угодил! Как только тебя не засосало?

Я рассказал им, как я сейчас же повалился на спину и выкатился назад, вытащив из грязи свои завязшие ноги.

Все меня похвалили за такую находчивость. Я был немедленно переодет во все сухое. В меня влили для предупреждения лихорадки целый стакан водки, накормили яичницей, напоили чаем с сухками, т. е. деревенскими крендельками, в виде согнутых колец.

Чтоб еще лучше согреться, я и Союзов влезли на печку, хотя с нас уже лил пот. Оттуда мы и разговаривали с остальными.

Вдруг отворилась дверь.

— А где же Николай Александрович? — раздался музыкальный голос сестры Ильичей, самой интеллигентной из местных деревенских девушек.

— Как вы узнали? — воскликнул я, соскакивая с печки и здороваясь с нею.

— А на беседе-то, вы в окно спрашивали дорогу! Я сейчас же узнала по голосу, да и несколько других заговорили, что это беспрерывно опять Николай Александрович ходит!

— Да я же нарочно говорил хрипло, когда спрашивал! — возразил я.

— Все равно! Сейчас же можно было узнать. Я нарочно стала говорить, что голос совсем непохож, и оставалась до конца беседы, чтоб не подумали, что я спешу к вам.

— Это вы очень хорошо сделали! Но все же ужасно опасно. Слова нельзя здесь сказать, чтоб кто-нибудь не узнал!

— Там не было никого, кто стал бы доносить, — спокойно сказала она.

— Но выболтают все и опять встревожат начальство в Вятском. А мне-то здесь надо пробыть несколько дней. В эту ночь я переночую у вас в избе, а утром придется переселиться снова на сеновал. Там в случае чего я спущусь в углу под сено. Никто не найдет.

Так мы и сделали, только на сеновал ушел уж я один, а Союзову пришлось остаться в избе для окончательного попечения здоровья. Его никто здесь не искал, и всегда можно было выдать за прохожего печника по его паспорту.

Я прожил вновь безвыходно три дня и три ночи на сеновале и условился там с обоими братьями Ильичами о вывозе типографии в Москву.

Выждав темную полночь, когда опять бушевала метель, я, Союзов и оба Ильича выехали потихоньку на дровнях из деревни и направились к находящемуся еще и теперь под стражей пустому дому Писарева.

Не доезжая до него, мы свернули по ручью налево в лес и, доехав до стоящей на берегу кривой ели, остановились; я отсчитал в снегу по перпендикуляру к ручью восемьдесят шагов, и нога моя попала на одну из многих лежавших в лесу куч хворосту.

— Здесь! — сказал я, надавив на нее ногой.

Мои товарищи, подведя лошадь, принялись разрывать хворост и снег привезенными с собою железными лопатами, а я вынул револьвер и пошел дозором. Кругом было совершенно спокойно. Ветер с шумом пронесился над качающимися вершинами деревьев, не проникая в глубину. Снежинки плавно ложились на мою шапку и рукава.

Товарищи разрыли землю, вытащили из нее и уложили на сани два ящика поменьше, а третий с типографским валом и

плитами был так тяжел, что даже и вчетвером мы вынули его с большим трудом.

Все это было помещено на дровни, мы сели на ящики и поехали обратно в деревню, а вьюга заметала наши следы.

9. Бешеная скачка

Увоз типографии из лесу был моим последним делом в период пребывания в народе.

Ивану Ильичу очень хотелось побывать в Москве и познакомиться с нашими, и потому я поручил ему провезти прямо через Ярославль все три ящика в дом Михайлова (того самого, который посвятил мне стихи «Вождь народа»). А до тех пор мы все зарыли под сеном в том самом сеновале Ильичей, где я провел столько хороших ночей.

Союзов в эти четыре дня совершенно поправился, и мы с ним в то же утро ушли пешком в Ярославль, еще раз переночевав по пути в снегу под стогом снега, и приехали по железной дороге в Москву.

Предупредив Михайлова о скором приезде Ильича с типографией, я преобразился у него из крестьянина в интеллигента и отправился прежде всего в семейство моего гимназического товарища Мокрицкого, у которого меня всегда встречали чрезвычайно радушно. На этот раз, к моему удивлению, к их радости при виде меня примешался также и какой-то конфуз, им как будто стыдно было взглянуть мне в глаза. «Что это такое значило бы?» — подумал я при виде их явного смущения во время разговора со мной.

Наконец Александр Мокрицкий увел меня в свою комнату и сказал, краснея и запинаясь:

— Мы должны попросить прощенья. Без тебя было в Москве много обысков, и около нашего дома мы заметили подозрительных людей. Мы думали, что и у нас сделают обыск, а ты перед уходом оставил нам на сохранение твою шкатулку с рукописями.

— Но неужели вы подумали,— быстро проговорил я, спеша оправдаться от несправедливого подозрения в неосторожном отношении к их судьбе,— что я вас тогда обманул? Честное слово, там только одни мои научные тетради, как я тебе нарочно показывал, отдавая шкатулку, чтобы не боялись. Давай, я снова покажу тебе все.

Он еще более смутился и, наконец, сказал, совершенно покраснев.

— Мы испугались, взломали замок и сожгли в печке, не читая, все твои тетради. Мы не сомневались в том, что там только научное, и видели сами это, но ты знаешь, тебя теперь всюду разыскивают жандармы. Мы боялись, что узнают твой почерк. Ты ведь сам знаешь, что тогда арестовали бы и нас за недонесение о тебе, хотя бы рукописи и были научные.

Это меня совсем ошеломило. Я тотчас догадался, что уничтожила тетради его мать из опасения за детей, но он не хотел мне указать на нее. Это была добрая женщина, потерявшая недавно своего мужа художника и жившая теперь исключительно для детей.

Меня, как ножом, ударило при мысли о том, что вся груда моих тетрадей погибла. Там были все мои юношеские размышления о сущности человеческого сознания, о строении вселенной и о возникновении жизни на мирах. Было несколько совсем готовых статей по общим естественнонаучным вопросам, мои наблюдения над жизнью и нравами диких и домашних животных и описания моих научных путешествий в окрестностях Москвы и родного имения. Было много разных недоконченных набросков для будущих научных статей. И вот ничего этого более нет, все сожжено из-за страха перед тем же самым врагом человеческого рода, против которого вышел бороться и я! Чувство мести заклотало в груди, и мои только что окончившиеся скитания и добродушные теоретические разговоры в народе показались мне самыми ненужными. Не то надо, не то! — говорил мне внутренний голос. Надо бороться прямо, с оружием в руках. Наши враги — губители всего хорошего, которых самих надо погубить, чтобы они не погубили всякий свет и свободу на земле.

Я впервые почувствовал себя «отщепенцем», т. е. человеком травленным, с которым для простых людей опасно даже видеться, на которого все обязаны доносить под страхом заключения в тюрьму и административной высылки куда-то в тундры.

Но это чувство меня нисколько не подавляло, а, наоборот, заставило еще энергичнее стремиться идти по раз начатой дороге. Чем ужаснее гнет и порабощение, думал я, — тем необходимее бороться с ним! Но прочь от слабых и нерешительных! Не будем пугать их собою! Я чувствовал, что если я стану здесь рассказывать о своих новых приключениях в народе, то я только удвою страх их матери передо мною. Я знал, она не решится никогда сказать мне прямо: не ходите к нам! Она каждый раз при моем приходе побежит ставить для меня самовар, будет угощать и предложит переночевать у них, а в глубине души будет все время думать со страхом: а вдруг он согласится на мое предложение?

Мне было больно взглянуть на своего сконфуженного друга по гимназии. Мне хотелось его утешить.

— Пустяки,— сказал я спокойно по внешности, хотя на душе у меня скребло.— Ничего, что тетради сожгли! Ведь все равно, моя жизнь теперь пошла по другому направлению, и мои естественнонаучные статьи мне больше не нужны.

Я остался у них некоторое время. Из вежливости говорил о разных незначительных предметах и ушел, решивши в душе более не заходить в этот дом и видаться с Мокрицким только у Армфельда, надеясь, что он тайно от матери будет приходить туда на собрания.

С грустью вышел я от них. Я сам не понимал, что со мною происходит. Логика говорила мне:

— Ведь ты же обрек себя на жертву за свободу и справедливость, почему же ты так горюешь о своих сожженных тетрадях?

— Потому,— отвечал другой голос в глубине души,— что это сожжена вся твоя юность, первое пробуждение твоей мысли к сознанию, все, что ты любил, чему хотел служить с самого детства.

— Но все это пожертвовано тобой,— отвечал первый голос,— уже полгода назад, когда ты роздал все свои книги, научные приборы, коллекции и даже все белье своим товарищам по гимназии. Неужели из твоей души еще не вырваны все корни твоего прошлого? Тогда вырви их поскорее и не жалея, когда другие помогают тебе в этом, как эта бедная женщина, перепугавшаяся за своих детей!

— Но почему же непременно ей нужно было жечь? — возражал второй голос.— Ведь я бы на ее месте никогда не сделал этого. Я унес бы все в сад. У них в саду беседка, положил бы под ее фундамент — там прогнило несколько дыр — или зарыл бы в снег. Одним словом, нашел бы тысячи способов сделать так, чтоб никто не мог найти.

— Она сожгла потому, что у нее, как и у многих, подавляет всякую сообразительность панический суеверный страх перед политическими сыщиками, они ей кажутся всезнающими, всевидящими и всеслышающими. Разговаривая с тобой в своей квартире, в своей столовой с запертыми окнами и закрытыми дверями, она не уверена, что что-то таинственное ухо не слышит и не записывает каждое ее слово. Она не верит в свой собственный ум, в свою собственную сообразительность. Она растерялась перед призраком невидимой опасности, которая, по ее мнению, подстерегает ее всюду поблизости от заподозренных людей, как я. Надо рассеять этот всеобщий страх примерами бесстра-

шая, грозными ударами по врагам! Пусть призрак всеведения, всеслышания и невидимого присутствия везде, перенесется с них на тебя! Тогда вековые чары спадут. У злобного волшебника Черномора будет отрезана тобою, как Русланом в сказке, заколдованная борода, и перед всеми предстанет он, как жалкий карлик, и те люди, которые теряют все свои мысли в паническом страхе перед ним, сами будут смеяться над своей прежней трусостью!

Да, именно так надо сделать! — подумал я. — Как ни интересно ходить в народе крестьянином для его изучения, как ни привлекательно ночевать под стогами и на сеновалах, но это должно служить только подготовкой к чему-то большому, к настоящей заговорщицкой деятельности, вроде итальянских карбонариев. Из бродячих пропагандистов среди крестьян мы должны превратиться в невидимых Вильгельмов Теллей.

Было ли толчком к такому повороту моих мыслей простое сожаление о моих только что сожженных естественнонаучных рукописях?

Это было первое по счету сожжение их. Потом, в различные времена, мне пришлось потерпеть еще несколько таких же коллективных аутодафе или простых пропаж у друзей, и потому, в результате, всякую свою статью или книгу, пока она не кончилась печатанием, я привык считать как бы ненаписанной.

Такое отношение осталось у меня неволью и до настоящего времени, но все последующие потери уже не влияли на меня так сильно. По-видимому, в моей душе, бессознательно для меня, таилась еще надежда когда-нибудь возвратиться к своим старым богам, к прерванной научной работе... И вдруг порвалась последняя нить, еще связывавшая меня с нею.

Я спешно побежал к Кравчинскому, страстно желая совершить какой-нибудь великий подвиг и чувствуя, что встречу в нем для этого самого лучшего товарища. И действительно, я сейчас же наткнулся у него на признаки самого романтического предприятия. Переходя через площадь, где помещался тогда московский отдел Третьего отделения, называвшийся Жандармским управлением, где производились политические дознания, я прошел почти вплотную мимо одного молодого мастерового, продававшего прохожим, очевидно, краденую суконную фуражку, так как он прятал ее под полый и показывал из-под нее прохожим. Но он запрашивал слишком дорого. Остановившиеся и осматривавшие у него фуражку неодобрительно качали головой и уходили далее, не купив. Едва я прошел, как он погнался и за мною:

— Купи, барин, фуражку! Хорошая! — произнес он громко.

— Не надо! — ответил я, не останавливаясь.

— Да постой! Ты посмотри только!

Я с досадой остановился и увидел смеющееся круглое лицо своего друга Саньки Лукашевича, технолога, тоже сильно разыскиваемого правительством. К нему я с самого начала знакомства чувствовал особое расположение, так как он был единственный из всех деятелей того времени такой же юный, безусый и безбородый, как я. Я рассмеялся при виде его, но сразу почувствовал, что тут он неспроста, взял и начал рассматривать протягиваемую им суконную фуражку, как другие покупатели.

— Что ты тут делаешь? — спросил я.

— А фуражку продаю! — отвечал он с искусно сделанной плутовато-глуповатой улыбкой на лице, кивнув на проходивших мимо людей.

— Краденая? — спросил я, впадая в тот же тон.

— А то какая же? — ответил он, снова улыбаясь.

— Но серьезно, что это значит? — сказал я, увидев, что прохожие, мешавшие нам, ушли далее.

— Жулика разыгрываю!

— Для чего?

— А видишь? — и он указал мне кивком головы на вход в большое здание в нескольких десятках шагов от нас.

— За Третьим отделением* наблюдаешь? — догадался я.

Он кивнул утвердительно головой.

— Но почему же под видом жулика?

— Оно жуликов не трогает. Считает их самыми верноподанными. Шпионы видят меня из окон. Если б я здесь ходил в своем обычном костюме, меня уже давно бы отметили и арестовали. А жуликом я здесь гуляю восьмой день вне всяких подозрений.

— И все продаешь одну и ту же фуражку? — засмеялся я, снова рассматривая ее.

— Да, я нарочно заламываю за нее такую цену, что все, надеявшиеся купить ворованное за четверть цены, только ругаются, услышав мою цену, и уходят далее. А тамошние, — и он указал на жандарма у ворот, — думают, что я уже не один десяток продал.

— А что же ты наблюдаешь?

— Вообще говоря, за входящими шпионами, а специально — за привозимыми на допрос товарищами. Мы с Кравчинским живем в Москве тайно даже от сочувствующих. Иди к нему и

* Здание, которое мы тогда в Москве называли Третьим отделением, официально называлось Жандармским управлением. Оно было подчиненным учреждением первого. — Н. М.

скажи, что привозили на допрос двоих незнакомых мне людей, в два и в три часа.

И он назвал мне адрес Кравчинского, совсем не тот, куда я шел.

— Почему он переселился? — спросил я.

— Здесь в Москве были большие аресты и обыски. Хорошо, что ты меня встретил. На его старой квартире сделана засада. В Москве почти никого не осталось, кроме нас. Уходи скорее, мы уж слишком долго торгуемся!

Я еще раз осмотрел фуражку и, покачав головой в знак несогласия покупать, возвратил ему и, не прощаясь, пошел к Кравчинскому, по временам оглядываясь на встречных дам, чтоб убедиться, что за мной никто не следит.

Через полчаса я и Кравчинский были в объятиях друг друга на его квартире. Едва я ответил на все его вопросы обо мне, как он сказал:

— Хорошо, что ты возвратился. Ты нам нужен. Умеешь ездить верхом?

— Умею! — ответил я, предчувствуя какое-то интересное предприятие. — Отец учил меня с детства, и я ездил с ним за десятки верст.

— Не свалишься на скаку и при поворотах?

— Нет! — уверенно ответил я, думая про себя: ведь всегда можно схватиться за гриву раньше, чем начнешь падать!

— Ты знаешь, я все еще занимаюсь освобождением Волховского, — продолжал он. — Долго не удавалось восстановить с ним тайных сношений после его перевода в тюремный замок из части, план которой ты снимал. Теперь переписка с ним возобновлена, но жандармский унтер дерет с меня по пяти рублей за каждое переданное письмо. С Волховским мы уже условились. Он напишет в Третье отделение, что хочет дать показание, его вызовут, а на дороге мы его отобьем.

— А, понимаю! — сказал я. — Вот для чего Лукашевич ходит там под видом жулика. Он хочет определить, в какие часы возят на допросы! Значит, отобьем верхами на лошадях?

Кравчинский утвердительно кивнул головой.

— Уже куплены четыре лошади. На одну сяду я, на другую Всеволод, на третью думали посадить Воронкова, но я думаю, что ты будешь много ловчей его. Четвертую, тоже оседланную, лошадь мы будем вести в поводу...

— Когда это будет?

— На допросы, по наблюдениям Лукашевича, возят с двумя унтерами в санках от часу до четырех, и в это время мы будем верхами ездить шагом взад и вперед по улицам между

Третьим отделением и Бутырской тюрьмой; протяжение большое и не придется много раз возвращаться.

— А жандармы не застрелят его?

— Нет! Как только Волховский увидит нас, он бросит в глаза жандарма, сидящего рядом с ним, горсть нюхательного табаку, и жандарм не будет в состоянии стрелять. Слезы хлынут у него из глаз ручьями, пока не выплечет весь табак. То же постарается Волховский сделать и с другим жандармом, сидящим рядом с кучером на козлах, как только тот оглянется. Затем он выскочит из санок, вскочит на нашу четвертую лошадь и мы умчимся галопом.

— Куда?

— Убежища уже приготовлены в разных частях города. Вот только, может быть, придется отстреливаться, если глаза будут засыпаны лишь одному жандарму, или начнут стрелять городовые.

В ответ я вынул из-под куртки и показал ему свой револьвер системы Смита и Вессона. Он осмотрел его и кивнул своей большой курчавой головой с удовлетворенным видом.

— У меня такой же! — сказал он.

Проект Кравчинского мне чрезвычайно понравился.

«Вот это становится похожим на настоящую революцию, — подумалось мне, — совсем не то, что шить сапоги тайно от жандармов, как мы начали весной».

— А где же лошади? — спросил я, уже составив в воображении все подробности предстоящего сражения на улицах при освобождении своего товарища.

— Они отданы в татерсал, на содержание. Только Воронков, которому мы поручили купить их, купил для экономии не выездных, но зато молодых и очень резвых. Он знает толк, он заведовал ремонтом лошадей у нас в полевой артиллерии.

— Так надо скорее выехать! — воскликнул я. — Кто же сделает это?

— Да больше никому, как нам с тобой! — спокойно ответил он. — Воронкову пришлось временно уехать.

«Вот тебе и раз! — подумал я. — Еще никогда не приходилось мне быть объездчиком диких лошадей! Но, конечно, — утешил я себя, — не боги горшки обжигают. Раз объезжают другие, то, значит, могу и я». — Когда же мы поедем? — задал я вопрос.

— Поедем завтра после полудня. А сегодня пока переночуй у меня.

На следующий день мы с ним отправились в татерсал, откуда нам вывели двух очень недурных по виду лошадей, уже

совсем оседланных и приученных гонкою на корде понимать узду. Служители нам сказали, что они уже их пробовали внутри татарсала и нашли довольно удовлетворительными. Мы начали садиться в казацкие седла, лошади прыдали ушами и перебирали ногами.

Как только их выпустили, они понеслись галопом одна за другой по центральным московским улицам. День был серый, тусклый, дул сильный, сырой, порывистый ветер с большими хлопьями повсюду летающего снега. Наши лошади бешено мчались посредине улиц, почти не слушаясь узды, на удивление прохожим и городовым, но мы имели вид почти настоящих спортсменов, и, поротозейничав на нас, пока мы не исчезли из виду, прохожие продолжали свой путь, принимая нас за шальных скакунов. Наконец мы примчались на площадь к самому тюремному замку и увидели засыпанную снегом башню, с решетчатыми окнами вверх. Одно из них принадлежало камере, в которой, по словам Кравчинского, сидел Волховский. День уже темнел в это время.

— Может быть, он видит нас из окна! — сказал Кравчинский. — Или пусть посмотрят другие политические заключенные. Давай, сделаем несколько кругов перед ними на площади!

Двое часовых, ходивших около стен, остановились, с любопытством смотря на нас.

Кравчинский хлестнул хлыстом свою лошадь, считая ее окончательно усмирённой, но она привскочила, как кошка, и начала выделывать на площади такой отчаянный танец, который явно показывал, что руководит им она сама, а не всадник; и что ее главное желание — сбросить его с себя. Чем дальше он хлестал ее, тем отчаяннее становились ее вензеля, прыжки и курбеты. При виде такой картины и моя лошадь тоже воспрянула духом и начала скакать и кружиться, а потом вдруг стремглав помчалась куда-то по улицам, совсем не слушаясь узды.

Лошадь Кравчинского бросилась вслед за моею, перегнала ее и прыгнула с мостовой прямо на тротуар улицы. Прохожие впереди запрыгали с тротуара на мостовую, как мухи с сахара, когда вы махнете руками. Мужчины отпрыгивали молча, женщины с пронзительными визгами, городовые на перекрестках махали нам руками, свистели в свои гудки и некоторое время с криками бежали за нами. Моя лошадь тоже бросилась на тротуар за лошадью Кравчинского, и мы оба, обсыпанные снегом, неслись, не зная сами куда, как духи бури среди метели и вьюги.

— Береги колени! Не разбей о водосточную трубу! — кричал я Кравчинскому, мчась сзади в нескольких шагах.

— Не разбейся о фонарный столб! — кричал он мне, обращаясь.

— Стой! Стой! — кричали нам городовые.

— Дьяволы! — визжали вслед нам кухарки и торговки.

Тротуары за нами на далекое расстояние оставались очищенными, как метлой, от публики, убегающей на середину улиц.

Как мы никого не сбили с ног, — совершенно не понимаю! Велика человеческая поворотливость в минуту нужды! Да велик был и звонкий топот копыт наших лошадей по очищенным от снега плитам тротуара, а наши отчаянные крики «берегись!» предупреждали всех на далекое расстояние, несмотря на шум ветра.

Наконец мы вылетели из Бутырской заставы в чистое, засыпанное белым снегом поле и вздохнули спокойнее, уже не боясь более кого-либо раздавить или себе разбить колени о фонарные столбы и водосточные трубы. Лошади наши понемногу начали успокаиваться и, наконец, пошли шагом.

— Если мы так будем объезжать лошадей, то слава о нас пролетит по Москве задолго раньше, чем мы освободим Волховского! — заметил Кравчинский.

— Да, — согласился я, — надо объезжать этих пегасов за городом.

Почти стемнело. Мы начали поворачивать лошадей назад, они не понимали узды и так забрыкались и заметались, что Кравчинский, не хотевший из самолюбия держаться, как я, за гриву, свалился с седла, но удержался на ногах, а я, менее самолюбивый, ухватился за шею лошади обеими руками и остался на ее спине. Сергей с земли повернул мою лошадь головой к городу.

Пустив свою лошадь вперед, Кравчинский много раз бесплодно пытался сесть на нее, прежде чем ему это удалось.

Кое-как возвратились мы, наконец, в татарсал и сдали обратно своих лошадей, решив все-таки объезжать их снова каждый день, пока не добьемся полной покорности.

Но эти занятия продолжались недолго. Из Петербурга приехал Клеменц и пришел в ужас от нашего замысла отбить Волховского таким романтическим способом на центральных московских улицах.

— Да вы с ума, что ли, сошли? — воскликнул он и даже весь покраснел от негодования. — Каких-то испанских гверильясов хотите изображать, когда сотни шпионов рыщут, разыскивая именно вас!

Кравчинский стал защищать свой план, Клеменц нападал. Я попробовал поддерживать Кравчинского, но Клеменц даже и слушать меня не хотел.

— Я здравомыслящий человек! — воскликнул он. — Я не могу допустить вашей бесплодной гибели и медвежьей услуги самому Волховскому! Я сейчас же еду в Петербург и расскажу нашим товарищам обо всем, что вы тут нафантазировали! Они не допустят осуществления вашего безумного предприятия!

И он действительно уехал в тот же день.

Вслед за тем Кравчинский, а вместе с ним также я и Саблин в качестве свидетелей были вызваны телеграммой в Петербург.

Кравчинский был страшно удручен и взволнован этим. Он едва не плакал, предчувствуя гибель всего, что он создавал с такими усилиями в продолжение двух месяцев. Жена Волховского, высокая худощавая женщина, энергичная, несмотря на неизлечимый ревматизм сочленений и сухожилий ног и рук, полученный ею во время двухлетнего заключения в сырых подвалах Петропавловской крепости и почти не дававший ей ходить, прибежала к нам и тоже была в полном отчаянии. Это была картина горя и уныния, как будто после пожара или землетрясения, разрушившего с трудом созданное жилище.

— Если они вам не дадут, — сказала она Кравчинскому, — то я возьму Василия (это был извозчик-лихач, сочувствовавший нам) и попробую увезти на нем.

— Но это именно и есть сумасшествие! — возражал мой друг. — Ведь толпа ничего не понимает! Все погонятся за вами, и если не сумеют остановить лошадь, то сорвут вас обоих с санок.

— В таком случае отстаивайте ваш план! Да и вы помогите! — сказала она, обращаясь ко мне, каким-то умоляющим голосом, так что мне стало страшно ее жалко.

— Ваше положение, — прибавила она, — совсем другое! Вы не придумывали этого плана, вы только что возвратились из народа, вас никто не обвинит в легкомыслии.

Мне стало совсем совестно. Я, самый младший из всех, должен защищать Кравчинского, который во всем так неизмеримо опытнее и во всех отношениях выше меня! Я покраснел до ушей от такого унижения его и готов был сделать все, что угодно, чтобы выручить своего друга, план которого казался мне верхом гениальности, самым великодушным поступком и вместе с тем проповедью наших идей делами, а не словами, на которые ведь способен всякий болтун. Кроме того, мне было совестно за себя и по другой причине.

Я чувствовал, что неожиданный вызов в Петербург для коллективного обсуждения дела не только не причиняет мне горя, но прямо какую-то внутреннюю радость, настоящий восторг.

Первая мысль, которая мелькнула у меня в уме, была: ведь я увижу там всю центральную группу нашего тайного общества, самых удивительных людей, какие есть в мире! Может быть, они позволят мне участвовать в петербургских делах. Там, в столице, должна быть главная работа политических заговорщиков, там должен быть нанесен главный, центральный удар. И вот я туда еду! Как-то отнесутся они ко мне?

Мне стало вдруг страшно. Не скажут ли они после первого разговора, как тот помещик в Курской губернии, у которого я жил летом с Алексеевой: «Он не представляет решительно никакого интереса. Мы в разговоре сняли с него мерку, и она оказалась мала». Тогда уж лучше мне прямо утопиться с отчаяния!

Но нет, они добрые, они не составят дурного мнения о человеке с первых же слов. Это составляют только желчные люди, которым заранее хочется отыскать во всяком знакомом слабые или отрицательные черты и нарочно еще преувеличить их. А те должны быть совсем другого сорта. Конечно, они неизмеримо умнее, находчивее, остроумнее меня, но они увидят, что я человек верный, осторожный, не приведу за собой шпионов и ничего никому не скажу, хотя бы меня разрезали на куски.

Петербургские деятели представлялись мне великанами духа сравнительно с нами, московскими. Выше их только гравитационные, но к тем мне казалось страшно даже и подступиться, так мал и ничтожен казался я перед ними! У них такая опытность, такое великое прошлое, а у меня за плечами пока нет решительно ничего! Нет, лучше уж не буду мечтать увидеть когда-нибудь Бакунина или Лаврова — этих гигантов будущей свободы и братства. Какой восторг, что увижу, наконец, петербургских деятелей!

Я только один раз был в Петербурге, да и то еще гимназистом, полтора года назад. Я прожил там с отцом неделю в одной гостинице на Садовой улице, рядом с Публичной библиотекой. Отец, бывший тогда предводителем дворянства, вызвал меня туда после экзаменов осматривать Зимний дворец, Эрмитаж, Зоологический сад и так далее. Он возил меня два раза также в театры. А больше всего мы прискивали по газетным объявлениям и по указаниям комиссионеров продающиеся в Петербурге дворянские дома-особняки. Отец решил приобрести один из них и жить со мной по зимам в Петербурге, но, найдя в тот раз ничего достаточно изящного для своего вкуса, решил съездить в следующем году.

Как оказалось потом, он, действительно, и купил себе дом-особняк на Васильевском острове, как раз во время моего ухода в народ, о чем я не подозревал. Мне, скрывающемуся от по-

литического сыска и пожертвовавшему всем личным для безраздельного служения великой идее, конечно, было немислимо поддерживать сношения с родными.

Таким образом, я знал Петербург только по общей его внешности, помнил Неву, Аничков мост с его коньями, дворец, большие соборы и Петропавловскую крепость, на которую я смотрел с благоговением, вспоминая о декабристах, когда переезжал на маленьком пароходике через Неву в Зоологический сад.

Но это была только внешность, с внутренним содержанием которой я еще совершенно не был знаком и вспоминал только куплет из стихотворения Некрасова:

О Петербург! ты был всегда
Ареной деятельной силы
И честного, упорного труда! ²⁶

И вот эту-то арену и предстояло мне теперь увидеть! Мудрено ли, что крушение нашего плана освободить Волховского обратилось для меня в источник счастья и что мне совестно было взглянуть на своего опечаленного друга, чувствуя, что горе за него никак не может вытеснить из моего сердца радости за себя самого!

10. Конец старого и начало нового

Петербург встретил меня так хорошо, как я даже и не ожидал. Прежде всего нас укрыли от политических шпионов, и можете себе представить где?

В редакции лучшего из тогдашних популярно-научных журналов — «Знание»! Редакция помещалась в большом доме на Мойке, недалеко от Невского. Когда я с Саблиным впервые вошел туда и увидел все стены нескольких комнат, уставленные шкафами с естественнонаучными книгами, я пришел в полное умиление. И этих-то людей, подумал я, их враги, сами полуграмотные невежды, окрестили противниками всех наук, недоучками, убегающими от неспособности к умственному труду из учебных заведений!

Редактор «Знания» Гольдсмит и его молодая, красивая и симпатичная жена встретили нас, как родных. Она уже раньше была знакома с Саблиным. Ночевать меня устроили на мягком диване редакторского кабинета. Кравчинский ночевал в другом доме, а Саблин — тоже у Гольдсмитов ²⁷.

Явившийся на следующий день Клеменц повел меня, и при том одного, в квартиру известных в то время по всей России фабрикантов фарфоровой посуды братьев Корниловых, дочери которых, курсистки, состояли членами нашего общества. В одной из задних комнат их квартиры и было устроено собрание, куда явились все члены, оставшиеся после арестов. Их было немного, человек пятнадцать, но все они чрезвычайно нравились мне своей приветливостью и дружеским отношением с самого же начала.

Здесь, очевидно, был тесный кружок самоотверженных единомышленников, связанных друг с другом не только общностью задач, но и взаимной любовью. Там было несколько женщин, кроме сестер Корниловых.

Между прочим, туда к ним вбежала маленькая живая шатенка с небольшим кругленьким личиком и детскими чертами. Это оказалась Перовская, оставившая недавно придворную среду, чтобы идти вместе с нами в народ²⁸. Затем вошла высокая, стройная брюнетка поразительной красоты. Она тоже убежала год назад от родных из какого-то губернского города, переодетая гимназистом, и, чтоб ей лучше было скрываться, ее повенчали, как делали тогда, фиктивным, т. е. служащим для одной внешности, браком с членом нашего общества — Синегубом. Это тем более казалось удобным, что они оба были влюблены друг в друга²⁹.

— Она, — сказал мне шепотом Кравчинский, сидевший рядом со мной и называвший мне товарищей по именам, характеризуя каждого, — решила ехать с ним в рудники в Сибирь, когда его туда сошлют. Ты ведь знаешь, что он арестован?

— Знаю. Он поэт. Я уже читал в рукописи некоторые из его стихов.

— Нравятся тебе?

— Удивительно хорошие! Но ведь если она поедет, ей придется бросить активную деятельность?

— Да, конечно. Но они друг без друга все равно не выживут. Кроме того, через нее нам будет легче устроить ему побег.

— Господа, — сказал вдруг громко Клеменц, — теперь у нас, кажется, все собрались. Обсудим же дело.

Все расселись около столика посредине и по стульям у стен комнаты.

Наступила минута тяжелого молчания. Наконец Клеменц с усилием в голосе обратился к Кравчинскому:

— Расскажи ты сам, что ты там придумал.

— Вы же все давно знаете. Я только говорю, что ничего другого придумать невозможно.

— Тогда надо сейчас же бросить дело! — сказал Клеменц. — Мы живем не в стране романов и не в средние века. Мы не Дон-Кихоты. Все твое предприятие на московских улицах устроено так, как можно придумать разве только в сумасшедшем доме. Одних денег на никуда не годных диких лошадей истрчено более полуторы тысячи!

Кравчинский весь покраснел. Это было самое тяжелое для него место во всей истории. Ему было ассигновано две тысячи рублей, и он уже издержал их все, ничего не сделав. Он хотел что-то резко ответить своему другу, но, раньше чем он успел это выполнить, высокий белокурый молодой человек с чрезвычайно симпатичным интеллигентным выражением лица и с задумчивыми глазами, смотрящими куда-то вдаль, сказал тихим голосом:

— Люди дороже денег!

Эти простые слова, видимо, произвели неожиданно сильное впечатление, и полное значение их я понял только потом, когда Кравчинский назвал мне его фамилию. Это был Лизогуб, который, вступая в общество, отдал ему, вместе со своей жизнью, и все свое состояние в несколько сот тысяч рублей. Из них состоял основной денежный фонд общества, из которого оно черпало средства на все свои предприятия. Из него же получил и Кравчинский на освобождении Волховского.

Слова Лизогуба сразу дали новый, более легкий для Кравчинского оборот делу.

— Ты говоришь, что я изображаю испанского гверильяса, — сказал он Клеменцу, — что мой план годен только для романов Фенимора Купера, так укажи мне лучший план, и я сейчас же брошу свой.

— Нельзя сразу придумать. Надо посмотреть на месте, изучить все обстоятельства дела, хоть, например, нельзя ли подкупить сторожей.

— А я тебе говорю, что ничего нельзя, а человека освободить надо, и скорее! Надо во что бы то ни стало, потому что он уже болен, потому что мы ему уже обещали, а обещанное необходимо исполнять.

Они начали спорить среди всеобщего внимательного молчания и, по-видимому, долго бы не кончили, если бы один из присутствовавших, которого мне назвали Сидорацким, не вмешался в их спор.

— Мне кажется, — сказал он, — что дело уже выяснилось. Решите же голосованием, надо ли продолжать освобождение Волховского?

Мы все, в том числе и Клеменц, ответили:

— Да.

— Оставить ли это дело по-прежнему в ведении Кравчинского?

— Да! — повторили все.

— В таком случае, — продолжал Сидорацкий, — наше обсуждение можно считать законченным, и весь вопрос в том, сколько выдать ему на дополнительные расходы!

Решили добавить еще тысячу рублей, с просьбой быть как можно экономнее.

— В таком случае я сейчас же еду обратно в Москву, а то опасаясь, что Волховская сделает что-нибудь отчаянное! — воскликнул, весь просияв, Кравчинский.

— Я тоже возвращаюсь с тобой, — заметил я.

Это были мои первые слова на собрании. Я выговорил их с большим усилием, так как все, что я мог сказать здесь, казалось мне таким незначительным, врывающимся без всякой нужды в нормальное течение мысли остальных.

Чувствовали ли вы такое настроение, когда вам в первый раз приходилось вставлять свое слово в обществе, где вы считали себя самым глупым и незначительным? Я часто это чувствовал... Казалось, что самый мой голос звучал каким-то чудным тембром и в легких не хватало дыхания, но все-таки я оканчивал раз начатое слово в слово, как подготовил в своем уме, ожидая только перерыва в разговоре, чтоб вставить в него и свои слова. И я удивился, окончив, почему все не смотрят на меня и не спрашивают: зачем он это сказал здесь? Ведь это так неважно сравнительно с вопросами, которые у нас теперь обсуждаются; он мог бы это сказать и потом частным образом, когда окончится заседание...

Но никто не взглянул на меня с недоумением. Выходило, как будто мои слова никому не показались здесь ненужными. Совершенно наоборот, они дали новое направление разговору.

— Нет! Уж тебя-то мы не пустим обратно в Москву! — воскликнул Клеменц. — Нам ты нужен в другом месте. Мы о тебе уже говорили.

Кравчинский присоединился к нему:

— Я думаю, что лучше взять вместо тебя Воронкова.

— Почему?

— Если с тобой что случится, — например упадешь с лошади или будешь ранен, — то я останусь с тобой, а нам, может быть, окажется необходимым скакать врассыпную и каждому думать только о себе. Кроме того, мы уже нашли для тебя перед твоим приходом сюда лучшее дело.

Это доказательство его дружбы ко мне сильно меня растрогало, но я хотел возражать.

— Мне и по другим делам придется ехать в Москву. Туда привезут на днях вырытую мною и Союзным типографию, и, кроме того, у меня установлены сношения с крестьянами в разных губерниях.

Мой язык, по мере разговора, начал все лучше и лучше слушаться меня. «Надо только в таких случаях заставить себя произнести первое слово»,— мелькнула у меня мысль, ворвавшаяся в голову откуда-то сбоку, пока я говорил все это.

— А вы передайте все эти дела оставшимся в Москве! — заметил Лизогуб, взглянув ласково на меня.

— Но в Москве никого не осталось. Все, кроме моих личных знакомых из сочувствующих посторонних, арестованы.

— Мы войдем с ними в сношение через Кравчинского или пошлем кого-нибудь специально, — ответил он.

«Но что же это за дело, для которого я нужен?» — мелькнула у меня мысль. Мне пока никто не отвечал на этот вопрос.

Разговор как-то сам собою перешел на подсчет оставшихся у нас сил.

— Наше одесское отделение все арестовано вместе с Волховским, и мы никого не знаем, кто был бы способен восстанавить его, — сказал Ендоуров. — Я предлагаю считать одесский кружок отныне прекратившим существование.

С этим все согласились.

— Наше киевское отделение тоже арестовано, сношений с Киевом давно нет. Предлагаю считать и киевский кружок ликвидированным, — продолжал Ендоуров.

Никто не возражал.

— Затем перейдем к Москве. Есть ли там кто-нибудь на свободе из нашего московского кружка?

У меня сердце замерло в груди. Если они, — думал я, — признают московский кружок ликвидированным, то вместе с ним окажусь ликвидированным и я. Ведь я же член московского кружка!

— Зачем же, — спросил я робко, — считать его ликвидированным? Некоторых, как, например, Цакни, могут не сегодня, так завтра выпустить, и тогда все возобновится.

По-видимому, публика поняла мое беспокойство. Оно, вероятно, сквозило в чертах моего лица и, очевидно, понравилось, как доказательство моего страстного желания быть с ними.

Лизогуб, улыбаясь, сказал:

— В таком случае будем считать московское отделение только временно прекратившим сношения с нами.

Этим окончилось заседание, все разбилось по группам или пошли закусывать к поставленным в соседней комнате столам. Я на минуту нарочно замешкался с Кравчинским.

— Какое же дело для меня нашли? — спросил я его тихо.

— Тебя пошлют за границу. У тебя литературные способности и любовь к наукам. Ты будешь там заниматься науками и редактировать журнал для рабочих.

У меня совсем закружилось в голове от прилива восторга.

— Они нашли меня достойным этого! — подумалось мне.— Я увижу дальние страны, швейцарские горы, Монблан с его вечными снегами! Увижу людей, которым я недостоин развязывать ремень у башмака, и буду работать с ними!

— Но как же они меня посылают? — спросил я.— Ведь здешние товарищи меня совсем не знают.

— Они тебя знают давно! — ответил он мне, ласково улыбаясь.— Знают из рассказов Клеменца, Шишко, моих и всех, кто случайно приезжал и видел тебя в Москве! Тебя и вызвали сюда вовсе не для свидетельских показаний по моему делу, а для того, чтобы составить о тебе личное представление, и я уже знаю из нескольких частных замечаний еще до начала общих разговоров, что ты всем понравился.

К нам присоединился Клеменц и сказал мне:

— Ты совсем напрасно боялся, что будешь оставлен за штатом в случае ликвидации московского отделения. Тебя было заранее решено причислить к петербургскому отделению, но ты сам, не зная того, оказал услугу Саблину. Его сейчас там, в соседней комнате, тоже присоединили, как единственного оставшегося от Москвы, и пригласят на следующее собрание.

Я только теперь понял, почему здесь не было Саблина...

11. В дальние края

Мы разошлись поодиночке, чтоб не обращать на себя внимание посторонних. Клеменц повез меня на извозчике на Васильевский остров.

— Там живет замечательная девица! — сказал он мне.— Фамилия ее Эпштейн, она курсистка и чрезвычайно ловкий человек. Она из Вильны и имеет постоянные сношения с пограничными контрабандистами. Она устроит и твой перевод за границу. Кроме того, у нее бывают кавказские студенты, собирающиеся устроить типографию в своих горных ущельях. Им пригодится твоя типография.

У Эпштейн мы застали большое собрание кавказской молодежи. Все это оказались чернобородые люди, с орлиными носами, черными горящими глазами и с оживленными лицами, и

сама Эпштейн была худенькая брюнетка, маленькая, как пятнадцатилетняя девочка, со слегка курчавыми волосами и с огромными глазами, резко выделяющимися своей величиной посреди ее белого матового лица. Она очень приветливо встретила меня, отрекомендовала мне горцев, среди которых оказались видные деятели последующей стадии движения: Чекоидзе, Джабадари и, насколько припоминаю, также и Эданович, отличавшийся от остальных кавказцев своими белокурыми волосами.

Распросив нас о Москве, товарищи возобновили свой спор по какому-то теоретическому вопросу, сильно жестикулируя и в горячности постоянно переходя на свой родной язык, в котором мне запомнилось постоянно употребляемое слово «*ара! ара!*». Оно, как я потом узнал, обозначало по-ихнему: нет! нет!

Пользуясь этим их отвлечением от нас, Клеменц рассказал Эпштейн о моей предстоящей командировке, и она обещала дать мне рекомендацию к одному замечательному человеку в Вильне,— Зунделевичу, студенту Кенигсбергского университета, который уже сотни раз с необыкновенной ловкостью водил за нос пограничную стражу; он и перевезет меня так, что я и сам того не замечу.

Весь следующий день я провел, главным образом, между захватившими меня ночевать кавказцами, наперерыв звавшими меня, как только возвращусь из-за границы, непременно приезжать прямо в их горные ущелья, где к тому времени будет установлена привезенная мною в Москву типография.

Я был в полном восторге от всех этих новых и неожиданных для меня перспектив, и два следующих дня были у меня в непрерывной беготне. Готовый сейчас же отправиться в путь, я побежал к Корниловым и к изумлению своему вдруг встретил там Кравчинского, который должен был находиться в Москве, и притом встретил его в каком виде! Это был уже не тот полный жизни Кравчинский, с которым я расстался всего три дня тому назад. Он был как будто в столбняке, его лицо осунулось, щеки ввалились, глаза печально смотрели куда-то вдаль, явно ничего не замечая.

— Что с тобой? — воскликнул я, бросаясь обнимать его.

Он ответил мне своими обычными сильными объятиями и молча посадил, как ребенка, на свое колено.

— Что с тобой? — повторил я, предчувствуя какое-то огромное горе.

Он не отвечал.

— Волховская не дождалась его возвращения, — сказала за него Корнилова. — Она немедленно после вашего отъезда написала Волховскому в тюрьму, что план увоза верхами разру-

шился, и что она уговорила извозчика-лихача за десять рублей увезти Волховского. Не ожидая более ни минуты, Волховский потребовал вызова себя на допрос. Она на извозчике, в санках, догнала его на улице, он засыпал, как было условлено, глаза жандарму нюхательным табаком и вскочил к ней в санки. Услышав крики жандарма, встречный городской бросился наперерез. Он не был в состоянии остановить настегиваемого рысака, но все-таки успел схватить за пальто Волховского и сорвать его с санок.

Перепугавшийся извозчик умчал Волховскую вдаль, не слушая ее просьб остановиться на минуту. Уличные прохожие и дворники вместе с городовым бросились бить упавшего Волховского, а в довершение беды ваш близкий товарищ, Всеволод Лопатин, тоже пришедший туда, увидел, как бьют его друга, и рыцарски бросился выручать его, хотя и понимал, что дело безнадежно. Он тут же был арестован, избит и отведен вместе в Волховским в Третье отделение, как соучастник в его побеге³⁰.

Я сразу понял, какой это был страшный удар для Кравчинского, главный план которого теперь навсегда рухнул. Ясно было, что Волховского после всего этого будут стеречь, как никого другого.

«Вероятно, переведут сейчас же в Петропавловскую крепость», — подумал я.

Однако, видя отчаяние Кравчинского, никто из нас не решился высказать ему такого предположения, а наоборот, пришедшие к Корниловым обещали ему употребить все усилия, чтобы дать возможность успешно окончить начатое дело.

Общее участие несколько ободрило Кравчинского, и он мало-помалу начал выходить из своего столбняка. Все старались развлечь его, ухаживали за ним, как за больным, и, наконец, он сказал:

— В таком случае я сейчас же еду снова в Москву посмотреть, что можно сделать.

Мы все одобрили это, чувствуя, что ему нужно прежде всего движение. Он уехал снова.

Тяжело мне было провожать его, но я уже предчувствовал сердцем, что неудача не сломит его железной воли. И это предчувствие вполне оправдалось. Волховского действительно тотчас же перевезли под сильным конвоем в Петербург и посадили в Петропавловскую крепость. Освободить его оттуда не представлялось никакой возможности, но тоску Кравчинского облегчили, как и всегда бывает, новые проекты и предприятия в том же роде.

А я в это время уже подъезжал к прусской границе вместе с Саблиным и новым моим товарищем Грибоедовым. Их тоже решили временно отправить туда, пока наше сильно разбитое арестами общество не окрепнет снова для широкой активной деятельности. А после нас решили отправить за границу также Клеменца и Кравчинского.

Все это делалось на время, до лучших дней, но этих дней так и не пришлось дожидаться остаткам нашего общества, все еще мечтавшим идти под старым флагом в простой, серый народ и ждать от него помощи. Мы шли тогда по доброму, но непрактическому пути, и я уже говорил, что, если бы не воздвигли на нас свирепых гонений, почти все мы осенью возвратились бы к своим занятиям в учебных заведениях с сознанием, что подобным путем мы могли нанести только легкую царапину старинному Голиафу самовластья, против которого мы шли с невооруженными руками. Но этот Голиаф окружал себя мраком и застоём, а мрак и застой — лучшая атмосфера для всевозможных гнойных и заразных микробов.

И эти микробы уже наполнили его всего в лице преследовавшей нас бюрократии, все представители которой, от малых до великих, думали вовсе не о спасении Голиафа, а о собственных материальных выгодах... Своими безумными гонениями на нас и на высокие идеалы, во имя которых мы шли в народ, они выставили своего подзащитного перед глазами всего культурного человечества в самой непривлекательной наготе.

Из нас они выработали крепких закаленных борцов, а из нанесенной нами Голиафу царапины сделали своим грязным лечением гнойную неизлечимую язву, которая медленно, но верно вела его к гибели.

Так бывает со всяким правительством, отставшим от своего века! По мере того, как оно делается малопопулярным среди свободно мыслящих и образованных людей, из него уходят все таланты, и оно наполняется умственными и нравственными подонками населения, которые своею глупостью, жестокостью и мракобесием с каждым годом все более и более отгоняют от него все великодушное, самоотверженное, пока, наконец, в минуту всеобщей опасности не происходит страшное крушение, неизбежность которого уже давно ожидалась и предусматривалась просвещенными умами, стоявшими поневоле вдали от наполнивших правительство и ненавидящих все живое мракобесов.

Так началось то, что я охотнее всего назвал бы гангреной русского абсолютизма. Не мы ее произвели, а наполнившие его зловердные микробы. Мы же были тогда разбиты наголову. Во всей России нас оставалось лишь человек пятнадцать среди

семидесяти миллионов тогдашнего населения, да и эти пятнадцать были парализованы в своей деятельности.

Отзывчивый ко всему доброму и самоотверженному, наш великий поэт Некрасов посвятил описываемому мною теперь движению во имя братства и свободы одно из своих последних стихотворений, звучащее, как похоронный реквием:

Смокли честные, доблестно павшие!
 Смокли их голоса одинокие
 За несчастный народ вопиявшие...
 Но разнузданы страсти жестокие!
 Вихрем злора и бешенство носятся
 Над тобою, страна безответная,
 Все живое, все честное косится...
 Слышно только, о ночь безрассветная,
 Среди мрака тобою разлитого,
 Как враги торжествуя скликаются...
 Так на труп великана убитого
 Кровожадные птицы слетаются,
 Ядовитые гады сползаются!³¹

Но, к счастью, эти гады, как я уже сказал, пожирали не один наш беспомощно лежащий в поле труп, а более всего заражали собою режим, приютивший их для борьбы с нами. В трупе же нашем еще сохранялось дыхание жизни, и через три года он вдруг поднялся с земли неожиданно для своих врагов и нанес им последний могучий удар, от которого они уже не могли окончательно поправиться.

Однако эти мысли еще и в голову мне не приходили тогда, при моем приближении к границе. Я чувствовал лишь одно: я послан товарищами на большое ответственное дело и я должен оправдать их ожидания во что бы то ни стало. Мне было несколько страшно перед неведомым, неиспытанным, но это именно и придавало мне особую энергию.

Я вспомнил свой с детства выработанный девиз: если ты чего боишься, но считаешь хорошим, то именно это сейчас же и сделай! Если ты окажешься труслив или неспособен, то лучше тебе тут же погибнуть, чем жить с доказательством своего ничтожества!

Кроме того, и самая обстановка, в которой везли меня контрабандисты Зунделевича, была замечательно интересна. Еще в романах, прочитанных мною, а также и в создаваемых собственным воображением, я часто видел политических контрабандистов, и вот теперь они были перед моими глазами и доверили

мне свои тайны! Если они мне в будущем понадобятся, то я всегда могу сам разыскать их и сделать все, что нужно.

Я знал теперь дом Зунделевича в Вильне. Он сам проехал со мною на вторую станцию от прусской границы.

На станции нас, т. е. меня, Саблина и Грибоедова, встретил высокий рыжий круглоголовый еврей. Он поговорил о чем-то с Зунделевичем на жаргоне, а затем повез нас в ближайшую деревню и угостил там в еврейской избе очень вкусными национальными блюдами и какой-то контрабандной хлебной водкой, обладавшей чрезвычайно приятным ароматом, так что хотя я и не охотник до этого напитка — водка мне всегда больно обжигает горло, — но все же выпил рюмку ее с большим удовольствием и даже попросил вторую.

Затем еврей сказал нам:

— Тут три линии объездчиков на двадцать пять верст от границы. Если я повезу вас так, как вы есть, то заподозрят и непременно спросят паспорта.

— У нас их нет! — перебил его Саблин.

— Сам знаю, да и все равно, паспорта не помогли бы, если из дальних губерний. А я уж все придумал, как вас хорошо перевезти! Мы вас, — обратился он с хитрой улыбкой к Саблину и Грибоедову, сильно жестикулируя, — переоденем простыми евреями и пейсы привяжем! Мы так часто делаем! Но объездчик увидит и скажет себе: почему так много евреев, и все мужчины, и едут к границе в санях? Верно, что-нибудь затевают! Поеду за ними, пока идет мое место, а потом передам ехать другому! Тогда нам будет невозможно отвязаться. А если же объездчик увидит, что едут в дровнях вместе еврей и еврейка, то он скажет себе: вот еврейская семья собралась к своим в гости! Не поеду за ними! Подожду других!

— Но нас одних уже будет пятеро в повозке! — сказал Саблин. — Расставаться мы не хотели бы; куда же еще женщину посадим?

— Зачем женщин сажать? Разве я говорил: еще женщин сажать! — воскликнул контрабандист, явно радуясь его недоумению. — Мы из себя женщину сделаем! Вот из этого господина, — он указал на меня, — совсем хорошая еврейка выйдет!

Мы все весело рассмеялись.

Когда, переодетый, я взглянул в зеркало, я даже сам себя не узнал: на меня глядела оттуда какая-то незнакомая еврейская девушка!

— Никто даже и не подумает! — сказал контрабандист, с удовольствием рассматривая меня. Затем он устроил пейсы Саблину и Грибоедову, превратив их сразу в двух типичных

евреев... Я просто удивлялся тому, как мало нужно, чтоб изменить национальный облик человека!

— А вдруг с нами заговорят! — заметил я, осмотрев себя.

— С вами? С девушкой? Никто не заговорит! — ответил уверенно контрабандист. — А если какой нахал сделает так, то вы закройте, как скромная девица, молча свое лицо рукавом и отвернитесь! А если с вами кто заговорит, — обратился он к Саблину и Грибоедову, — то вы молча качайте головой, а я уже скажу, что вы умеете говорить только на жаргоне.

Тем разговор и окончился.

Если б через полчаса после этого вы увидели на проселочной дороге большую простонародную повозку на грубых колесах, запряженную парой лошадей, погоняемых высоким евреем-кучером, а в повозке, на заднем конце, трех зажиточных евреев с сидящей против них спереди женой одного или сестрой, то вам и в голову не пришло бы заподозрить тут что-нибудь особенное!

Все здесь было просто, по-семейному.

Так отнеслись к нам и три или четыре пограничных объездчика, встреченные нами на этом двадцативерстном расстоянии до прусской границы. Все они посмотрели на нас мельком, совершенно равнодушно и проехали далее, не задав нам ни одного вопроса.

В сумерках мы попали в какое-то еврейско-польское местечко, верстах в двадцати к северу от Вержболова, против которого был немецкий городок Ширвинд, отделенный от нас лишь небольшой холмистой равниной с ручьем, протекавшим по ней.

— Вон! — показал нам еврей на Ширвинд, — куда мы вас проведем! Когда перескочите через этот ручей, никто вас уже не может тронуть! Можете сесть на том берегу, снять свои сапоги и поправлять свои носки, если сбились! А если объездчик подъедет, то можете показать ему рукой через ручей нос! Ничего не может сделать! Так бывает с нами каждый месяц! — прибавил он самодовольно.

В еврейском доме, куда нас привели, нас встретила хорошенькая дочка хозяина, и снова началось угощение еврейскими национальными кушаньями, которые мне в общем тоже очень понравились. От возвратившегося отца мы узнали, что переправляться сейчас нам неудобно. Нельзя до утра!

— Почему?

— Теперь ездит Мойшин объездчик! — сказал он, — надо переночевать у нас.

— А разве у каждого из вас есть свои объездчики? — спросил я.

— А то как же! Если б каждый из нас каждому из них давал, то никаких денег не хватило бы! Каждый из нас должен знать свое время и в чужое не показываться! Ни-ни! В чужое сейчас схватят и поведут к начальству.

Нас уложили в мягкие перины, уступив, по-видимому, свои собственные, а потом на рассвете осторожно разбудили.

— Пора! — сказал мне рыжий еврей. — На той стороне для вас уж приготовлен завтрак. А теперь надо спешить, чтоб перейти до рассвета. Наш объездчик нарочно отъехал и не тронет нас, а вот другие тут везде рыскают, могут увидеть. Надо осторожно!

— Опять отправимся в еврейском виде?

— Нет-нет! Ваши собственные платья уже привезены сюда моим братом ночью. Наденьте их.

Через несколько минут мы были вполне готовы и в своем обычном виде. Рыжий контрабандист вывел нас через прилегающий к полю садик. В поле никого не было. Мы быстро направились к ручью, находившемуся в нескольких стах шагах. Мне несколько не было страшно. Я чувствовал, что если б теперь и поднялась тревога, то мы все успели бы раньше перебежать ручей, чем кто-нибудь успел бы нас догнать: на поле не было снега. В то время, как в северной и средней России снег лежал уже сугробами, здесь под нашими каблуками звонко отдавалась замерзшая, ничем не покрытая земля.

На западе перед нами небо было еще темно-синее, но на востоке уже аела утренняя заря.

Разбежавшись, мы легко перескочили замерзший ручей, и моя нога впервые попала на иностранную почву.

— Как это просто! — сказал Грибоедов.

— Теперь нам остается только, — прибавил Саблин, всегда склонный к шуткам, — снять, как он говорил, сапоги и переобуться, показывая рукой нос стражникам по ту сторону. Но мне в этот момент не хотелось смеяться, и его шутка прозвучала в моих ушах каким-то диссонансом. Я чувствовал, что перед нами начиналась совершенно новая полоса жизни.

Россия, с господствующим в ней произволом и гонениями на меня и моих друзей, была оставлена на том берегу. Я стоял на иной, уже более свободной почве, где никто не хотел бросать меня в темницу, а через несколько дней я должен был увидеть и вполне свободную страну — Швейцарию, и начать там новую серьезную работу.

В одно мгновение мне вспомнилась вся моя жизнь от первого знакомства с новыми людьми у Алексеевой, раздача всего имущества друзьям, мое первое пребывание в деревне под видом

кузнечного ученика в Коптеве, путешествие в народе по Курской, Воронежской, Московской, Ярославской и Костромской губерниям и, наконец, последние приключения при освобождении заточенного товарища.

Мне вспомнились мои друзья, оставленные на том берегу среди возможных опасностей, засад и повсюду поджидающих их врагов, и мне страшно захотелось переманить и их на время сюда, чтоб дать и им хоть недолгий душевный отдых...

Живя среди ежедневных опасностей, человек, по натуре не робкий, не тяготится ими, он привыкает их встречать лицом к лицу, но он живо чувствует их отсутствие, как водворение в своей душе какого-то непривычного покоя, наступление ничем невозмутимого отдыха после долгого и утомительного труда... Вам кажется, как будто из далекой поездки вы возвратились к себе домой и сбросили надолго с своих плеч всякие заботы.

Так чувствовал себя и я.

Мы медленно взошли на вершину холма, и в этот самый миг брызнули за нами лучи восходящего солнца. Наши гигантские тени протянулись перед нами через всю равнину и как будто вели нас за собою.

— Куда-то приведут они нас? — задал я себе мысленно вопрос.

Я не мог ответить на него, но я чувствовал, что они указывают нам теперь путь к чему-то хорошему, и что, по какой бы дороге мне ни пришлось идти, я останусь верен своей основной цели: посвятить свою жизнь истине, свободе и добру. Вот я закончил один период своей жизни, он остался там, позади меня.

— Принес ли я моей жертвой хоть маленькую пользу? — пришел мне в голову вопрос.

Я оглянулся назад, чтоб бросить последний прощальный взгляд на родную землю, которая должна была теперь окончательно закрыться для меня вершиной холма, через который мы переходили. Она пробуждалась от своего сна, вся озаренная лучами солнца, восходящего над ней после долгой ноябрьской ночи.

Мне показалось, что сама природа дает мне ответ на мой вопрос.

— Прощай же, моя дорогая родина! — мысленно говорил я, глядя на восток. — Прощай надолго, но не навсегда! Я еще возвращусь к тебе, когда исполню свое дело! А теперь — вперед! Вперед на борьбу за свет и свободу, в незнакомую даль, навстречу неведомому будущему!

VIII. С в о б о д н ы е г о р ы ³²

1. Перед подножием Альпийских гор

Как гирлянда белых кучевых облаков, выплывающих из-за отдаленного горизонта, показались под ясным утренним небом снежные вершины гор.

— Die Alpen! Die Alpen! (Альпы! Альпы!) — слышались около меня в вагоне немецкие голоса.

Мой товарищ по тайному обществу пропаганды новых гражданских идей в народе, Саблин и наш спутник Грибоедов, огромного роста добродушный человек, еще мирно спали, откинувшись на спинки своих коротких немецких вагонных сидений, не приспособленных к ночлегу.

А я уже давно не спал.

Я не мог спать от восторга перед открывавшимися передо мною новыми странами и новыми горизонтами в жизни.

Итак, я тоже эмигрант, как Герцен, как Бакунин, как Огарев, как Лавров! Я тоже изгнанник из своей родины за гражданскую свободу, за республику, как был когда-то изгнанником и Гарибальди, несмотря на то, что мне лишь недавно минуло двадцать лет и я по законам считался еще несовершеннолетним.

Вот и я перебрался через немецко-русскую границу, и как романтично: переодетый еврейской девушкой! А спутники мои были тогда переодеты евреями. И какой типично-еврейский вид получили они, чистокровные русские, когда на них надели лапсердаки и прицепили пейсы!

Мне вспомнились мои недавние скитания в народе. Они закончились лишь три недели тому назад, но какими далекими-далекими они казались мне теперь! Ничто кругом меня не напоминало о них. Там, где я ходил по деревням, стоит полная зима.

Там, бесприютный, разыскиваемый полицией, всего три недели тому назад, я проводил ночи в сугробах снега, под стогами сена в полях Ярославской губернии и под качающимися от зимней вьюги вершинами хвойных деревьев. Три недели тому назад

я скакал верхом, готовя попытку освобождения заточенного товарища, на невыезженной лошади по улицам Москвы в снежном вихре вместе с Кравчинским, приводя в страх прохожих; да и в самом Петербурге была уже настоящая зима.

Но затем для меня все пошло в полном противоречии с нормальным течением четырех времен года!

Благодаря тому, что товарищи по обществу неожиданно назначили меня редактором заграничного журнала для народа, я вдруг был отправлен в Женеву, и на русской границе выехал из зимы в царство ее предшественницы — поздней осени. Затем, по мере дальнейшего движения по Германии к западу, а затем и к югу, я выехал из поздней осени в раннюю. И вот теперь, в это теплое солнечное утро, когда перед моими глазами только что показались отдаленные вершины швейцарских гор, я как бы снова въехал в лето, хотя и позднее, но все же настоящее лето. Кругом были зеленеющие луга с уцелевшими на них кое-где последними предосенними цветками, а деревья еще сохранили свою листву.

— Альпы! Альпы!

Высунувшись в отверстие окна вагона, я с упоением смотрел вперед в розовом свете раннего утра на эти гигантские волны последней земной коры, на этих скалистых великанов, головы которых выглядывали на меня из-за кривизны земного шара.

Ряд мыслей зароился в моей голове.

«Как это странно! — думалось мне. — Вот идет мой поезд, и я вспоминаю целый ряд последовательных впечатлений. Я смотрю из окна вагона и радуюсь этим отдаленным горам. Я вижу прибрежные холмы Рейна, развалины старинных замков, новые города и деревни, вижу вершины Альп, и все это кажется мне как бы неизменным. А между тем, все это живет и переменяется каждое мгновение, хотя и незаметно для моего взгляда. Эти здания, утесы и вершины гор постоянно выветриваются, ветшают, разваливаются, а взамен их создаются новые. Если бы я жил здесь тысячу лет, я сделал бы с этого ландшафта тысячу фотографических снимков, каждый в то же самое время года и при том же освещении, и перевел бы их на ленту стробоскопа *. Я пустил бы эту ленту в движение, и тогда каждый год проходил бы для меня в двадцатую долю секунды, а весь этот неподвижный для меня пейзаж стал бы изменчив, как сгорающий фейерверк, как облачко в бурю, с каждой минутой принимающее все новые и новые формы».

* Тогдашнего зародышевого кинематографа. Он еще не существовал тогда, но уже рисовался моему воображению. — Н. М.

Вдруг Саблин дернул меня сзади за рукав.

Я даже вздрогнул от неожиданности. В один миг все мои мысли улетели куда-то вдаль, как вспугнутые птицы, как мимолетные тени, и реальная жизнь предъявила на меня свои права.

— Любуешься природой? — спросил меня, зевая, Саблин.

— Да, — ответил я, чувствуя, что ни за что в мире я не рассказал бы ему о своих мечтах, из опасения, что он примет их за признак моей несерьезности.

«Только я один, — думалось мне, — способен терять время на простые фантазии, когда впереди предстоит такая важная задача, как редактирование революционного журнала для рабочих!»

Я искренне конфузился своей непреодолимой склонности перебрасываться в один миг на всевозможные предметы. Но иначе я не мог. Моей голове всегда была нужна какая-нибудь работа. Я все мог выносить, кроме бездействия.

Если я сговаривался с кем-нибудь что-нибудь сделать, даже сущий пустяк вроде совместной прогулки, и товарищ говорил мне «подожди», то у меня через пять минут начиналась уже какая-то психическая лихорадка, и меня охватывала смертельная тоска.

Мне всегда нужны были или усиленная физическая деятельность, опасности, приключения, или жадное глотание всевозможных книг и размышления по их поводу. Если ни одного из этих выходов для меня не было, то после недолгого ожидания и тоски у меня сейчас же начинала работать фантазия и увлекала в свой сказочный мир необычайного или во всевозможные теоретические соображения.

2. Первые впечатления в Швейцарии

Снежные вершины гор, лазурные озера, хвойные и лиственные леса на склонах, темные серые тоннели, — как все это было ново, как привлекательно для меня! Забыв все окружающее, я не отрывался от окна своего вагона почти во всю нашу дорогу от Базеля доерна. Но вот мы приехали в Берн, где оба мои спутника решили остаться на жительство. Я должен был отправиться далее, в Женеву, но решил провести с ними еще один, последний, день.

— Пойдемте, пока мы не расстались, побродим по городу! Посмотрим прежде всего памятник Вильгельму Теллю, освободителю Швейцарии! — сказал я им, едва носильщик, провожавший нас пешком с вокзала, с чемоданами на своей тачке, довел

нас до гостиницы, и мы заняли в ней две комнаты: одну, одиночную — я, другую, в две кровати — мои спутники.

— Не спеши! — ответил мне Грибоедов. — Прежде всего нам надо позавтракать, а потом пойти к моей двоюродной сестре, здешней студентке, — она знает город и все нам покажет.

Нам подали кофе с молоком, медом, сливочным маслом и маленькими круглыми хлебцами, и мы, насытившись, отправились в путь. Встречный прохожий указал нам дорогу до улицы, где жила родственница Грибоедова, и мы беззаботно шли туда, по крайней мере, с четверть часа.

— А как же называется наша гостиница? — спросил вдруг Саблин Грибоедова.

Тот остановился в недоумении.

— Совершенно не помню ни улицы, ни названия, — сказал он, наконец, смущенно. — Может быть, ты помнишь? — обратился он ко мне.

— Мне даже и в голову не пришло спросить о названии гостиницы! — откровенно заявил я.

— Но как же нам теперь быть? Кто помнит дорогу назад?

— Я не помню! — ответил я.

— И я не обратил внимания! — заметил Саблин.

— Вот тебе и раз! — развел руками Грибоедов.

— Да, отличились! — философски сказал Саблин. — Придется разыскивать самих себя через полицию...

— Но, может быть, как-нибудь найдем и сами? — нерешительно заметил я.

— Пойдемте назад, — сказал Грибоедов, — посмотрим. Только я чувствую, что едва ли что-нибудь из этого выйдет. Я, по крайней мере, ничего не помню, так как все время разговаривал с Саблиным.

Действительно, они оба были очень словоохотливы и всю дорогу перебрасывались друг с другом остротами, как две трещотки. Я же по обыкновению больше слушал их разговор и размышлял по его поводу, а потому кое-что приметил и на дороге. Мне вспомнились: дом с готической аркой, какие-то торговые ряды с колоннами и огромные золотые очки над дверью оптического магазина. Подвигаясь таким образом шаг за шагом и руководясь всевозможными мелкими признаками, подобно тому как человек, играющий в жмурки, ориентируется по маленьким просветам около своего носа, мы добрались, наконец, заглядывая по пути во все боковые переулки, до темного здания с надписью: «Hôtel de la Gare».

— По-видимому, здесь! — заметил Грибоедов.

— Не остановились ли у вас недавно три глупца, похожие

на нас? — спросил Саблин по-французски у полногрудой французенки-консьержки, выглянувшей на нас из-за своей конторки.

— Oui, messieurs (да, господа)! — ответила она, и мы, к нашей великой радости, были отведены гарсоном в наши собственные комнаты, номера которых мы тоже забыли.

Убедившись по своим чемоданам, что мы действительно здесь живем, мы вторично отправились в путь уже с облегченным сердцем и с сознанием, что слишком легко выпутались из неудобного положения остаться на улице в совершенно незнакомом городе, тем более, что и двоюродная сестра Грибоедова оказалась уехавшей куда-то, а других знакомых у нас здесь не было.

От нечего делать мы обошли весь город. Мы пришли, прежде всего, к широкой, как арена цирка, круглой яме посреди площади, с ободраным деревом в ее центре, где живет семейство бернских медведей, считающихся, как шутил Саблин, полноправными гражданами города, потому что имеют собственный дом.

Потом все мы начали расспрашивать о памятнике Вильгельму Теллю, который мне очень хотелось увидеть в местах, где он действовал, но никто нам его не мог указать, а вместо того направили нас к памятнику «Основателя города». На нем оказалась латинская надпись: «*Conditor urbis Ваегпае*», которую Саблин тотчас же перевел нам со своим всегдашним юмором: «Кондитер города Берна!»

Рассмеявшись, мы возвратились к вечеру домой, разделили на три равные части все деньги, данные нам тайным обществом на дорогу, и в результате на первое прожитие досталось каждому по 600 франков. Я получил свою долю и поздно ночью распростился с моими спутниками. Мой поезд уходил в Женеву в шесть часов утра, и гарсон гостиницы получил распоряжение поднять меня в половине шестого, не будя моих товарищей.

Так началась моя самостоятельная жизнь за границей. Первые шаги ее были сделаны мною ранним утром, на самом рассвете. Сонный мальчик постучал в мою дверь и сказал:

Il est temps de partir (время отправляться), — и ушел снова спать.

Я быстро оделся, взял свой ручной сак — у меня не было никаких чемоданов после раздачи своего имущества товарищам перед отправлением в народ — и вышел в полутемную еще улицу города. Мальчик отворил мне дверь, показал направо, и я пошел в этом направлении.

Как одиноко чувствовал я теперь себя в пустынной улице далекого города, в чужой далекой стране, где я никого не знал и даже плохо разбирал быстро произносимые французские

фразы в ответ на мои вопросы! Но я легко отыскал вокзал. Кассир тотчас же меня понял и дал требуемый мною билет третьего класса до Женевы. Потом, несмотря на целый ряд поездов, проходящих здесь в разные стороны, и на невнятные выкрики кондукторов, я благополучно водворился в надлежащий поезд и доехал до Лозанны, где впервые увидел лазурную гладь Женевского озера с окаймляющими его с юга горами.

Оказалось, что поезд по какой-то причине должен был простоять здесь целый час, и я решил осмотреть пока этот небольшой городок. Я вышел на его узкие кривые улицы, прошел по ним некоторое расстояние и, выйдя на небольшую площадь, увидел неожиданно так разыскиваемый мною памятник Вильгельму Теллю.

Прямо передо мною было величественное здание, с широким порталом, со сводчатыми окнами и колоннами, на вершине которого стояла статуя богини Правосудия, а перед ним на площади возвышалась на каменных плитах круглая колонна-пьедестал, где на вершине скалы стоял со своим луком и стрелами герой моего детства, вольный стрелок Вильгельм Телль! Я подошел к нему с правой стороны, так что голова его смотрела прямо на меня, а его правая рука как бы указывала мне на лук, который он держал в левой. Это было величественно и казалось так полно значения для моих личных планов. Здание республиканского трибунала и перед ним вольный стрелок, поразивший угнетателя своей страны! — таково было первое сильное впечатление моей самостоятельной жизни в Швейцарии.

— Здравствуй, Вильгельм Телль! Ты первый встречаешь меня, оставшегося одиноким, в твоей свободной стране! — мысленно говорил я ему, совершенно растроганный.

«Пока горы стоят на своих основаниях, не забудут стрелка Телля!» — вспомнились мне слова поэмы Шиллера.

Я не хотел никуда идти дальше этого памятника и, постояв перед ним с благоговением с полчаса, возвратился обратно на вокзал и, сев в указанный мне вагон, поехал среди восхитительных ландшафтов по берегу Женевского озера.

3. Поразительная парочка

Я вышел в Женеве на платформу со своим небольшим саквояжем в одной руке и с подушкой и одеялом, затынутыми в ремнях, в другой, не зная, куда мне направиться.

— *Où voulez vous partir, monsieur* (куда хотите идти)? — спросил меня, прикладывая руку к козырьку, носильщик.

— A l'Hôtel du Nord (в Северный отель)! — ответил я ему, потому что один из моих товарищей, Мышкин, перед отъездом из России рекомендовал мне эту гостиницу, как недорогую, и в которой, притом же, живет известный писатель-критик Ткачев, тоже принужденный эмигрировать из России.

— Багаж есть? — спросил меня по-французски носильщик.

— Нет. Все мое со мной!

Он взял у меня сак и связку в ремнях и, выйдя из вокзала на площадь, повел по удивительнейшему мосту через Рону при самом ее выходе из Женевского озера.

Несмотря на все заботы, на одиночество и неизвестность предстоящего мне, я не мог не заглянуться на открывшуюся передо мною дивную картину. Лазурная ширь озера простиралась налево от меня до самого горизонта, а направо, среди быстро мчащихся изумрудных струй прозрачной, как хрусталь, реки виднелся островок Руссо со своими плакучими ивами. Темная громада горы Салев, как стена, нависала впереди нас над Женовой, раскинувшейся у ее подножия.

Это была красивейшая картина, какую только мне приходилось видеть до тех пор в жизни. И красота ее увеличивалась еще темными золотистыми красками облаков, охвативших всю западную часть небосклона, где опускалось к закату солнце.

Почти сейчас же за мостом оказался и мой Северный отель. Носильщик дернул звонок, поставил в подъезде мои вещи и, получив деньги, удалился раньше, чем кто-нибудь вышел.

Наконец, показался мальчик, лет около пятнадцати, во фраке.

— Что вам угодно, мосье? — обратился он ко мне по-французски.

— Здесь живет мосье Ткачев?

— Numéro quatorze (четырнадцатый номер), — ответил он и показал дверь вверх над лестницей.

Потом, взяв мои вещи, он самым серьезным тоном вдруг заговорил ломаным русским языком:

— Ви кошка и котятата!

Я остановился в полном недоумении.

— Вы говорите по-русски? — спросил я его на своем родном языке.

— Нэ понимай! — ответил он.

— А как же вы сейчас сказали русскую фразу? — спросил я его уже по-французски.

— Je connais seulement les avertissements russes les plus communs (я знаю только самые обычные русские приветствия), — скромно ответил он мне.

Я догадался, что кто-нибудь из здешних русских злоупотребил любознательностью этого мальчика и научил его различным русским фразам по своему вкусу. Он подвел меня к номеру четырнадцатому и тотчас же убежал вниз по лестнице на раздавшийся звонок.

Я постучал в дверь.

— Entrez (войдите)! — раздалось изнутри.

Я отворил дверь.

— Monsieur Tkatcheff loge ici (Ткачев живет здесь)? — спросил я поднявшегося мне навстречу из-за стола высокого белокурого молодого человека.

— Нет! — ответил он мне по-русски. — Но здесь живу я, Рождественский! Садитесь, пожалуйста! Вы из России?

По слову «но» в его ответе я заключил, что между ним и Ткачевым существует какое-то отношение. Я присел на поставленный мне стул и все откровенно рассказал ему о себе. Да и чего мне было скрыватьсь? Ведь здесь не Россия и нет никаких засад!

Он с живым интересом выслушал мой короткий рассказ и сообщил мне в свою очередь, что он — студент Женевского университета, перебравшийся сюда из Юрьевского, где имел дуэль, и тут же с удовольствием показал мне свою пробитую пулей мягкую шляпу, которую хранил на память.

— Ткачев, — ответил он, наконец, на новый вопрос, — переехал отсюда на Террассьерку. Это очень недалеко, и я вас провожу к нему. А пока вы лучше всего поселитесь в комнате рядом с моей. Она совершенно свободна. Там и жил раньше Ткачев.

Он позвонил, и на зов пришел уже знакомый мне мальчик.

— Это мой приятель, — сказал ему Рождественский по-французски. — Отведите ему комнату рядом. Он будет здесь, как и я, на полном пансионе, а за табльдотом сажайте нас рядом.

— Кукиш! — ответил ему почтительно мальчик и, взяв мой сак, тут же понес его в соседнюю комнату.

— Это вы обучили его такому русскому языку? — спросил я Рождественского.

— Я! — самодовольно ответил мне он.

Напоив меня чаем, он повел меня, наконец, к Ткачеву на Террассьерку (так называлась главная эмигрантская улица в Женеве: La Terrassière), но, доведя меня до дому, он, очевидно, не решился туда войти со мной, как предполагал сначала. Он остановился на минуту в раздумье, потом сказал, несколько запинаясь:

— Идите одни. Я забыл, что мне нужно еще попасть в другое место. Во втором этаже направо!

И, быстро простившись, он пошел обратно, очевидно к себе домой.

Значит, он не очень близок с Ткачевым, сообразил я и поднялся по указанному пути.

Была уже полная ночь.

При тусклом свете лампы на узкой, как во всех французских жилых домах, лестнице я увидел указанную мне дверь и постучал в нее.

— Entrez (войдите)! — раздался уже привычный мне французский возглас из глубины, и я отворил дверь.

Навстречу мне выбежали: длинная, очень худощавая брюнетка и такой же длинный и очень худощавый брюнет с небольшой каштанового цвета бородкой.

— Вы из России? — оба разом, в один голос порывисто спросили меня.

— Из России. Здесь живет Ткачев?!

— Да! Да! — ответили они снова оба разом, еще живее.

— Раздевайтесь! — воскликнула она.

— Садитесь! — повторил он.

«Совсем я не ожидал, что Ткачев и его жена такие стремительные!» — мелькнуло у меня в голове.

— Вот вам рекомендательное письмо от Мышкина, — сказал я ему, протягивая сложенную бумажку.

— Потом! Потом! — воскликнули они оба, — а теперь садитесь, напейтесь прежде чаю с нами.

— Вот сюда, сюда! На диван! — быстро заговорила она.

— Да, сюда, сюда! Тут вам будет удобнее, — быстро вторил он.

Они были так заняты мною, что на записку от Мышкина не обратили даже внимания, и она так и осталась лежать на столе, куда я ее положил, видя, что ни тот, ни другая даже не замечают ее в моей протянутой руке.

— Вы из народа? — спросил он, садясь по правую сторону от меня.

Я, как в тисках, оказался заключенным между ними посредине дивана.

— И мы тоже недавно из народа! — воскликнула она. — Как весь народ поразительно восприимчив к социалистической пропаганде!

— Как весь народ готов к революции! — перебил он ее. — Какой огр...

— Какой огромный, — в свою очередь перебила она его, — успех мы имели.

— Огромное влияние! — говорил он. — Целые тысячи...

— Целые тысячи народа готовы были подняться,— перебила она еще быстрее,— по одному нашему...

— По одному нашему слову! — окончил он ее мысль.

Они говорили так быстро, что я успевал только перебрасывать свою голову от одного к другому. Вставить хотя одно простое восклицание было совершенно немислимо.

«Совсем не таким я представлял себе Ткачева!» — снова мелькнуло у меня в голове.

— А вы знаете, что здесь затевается? — крикнула она громко в мое правое ухо.

— Затевается,— окончил он, крича мне в левое ухо,— журнал для рабочих под названием «Работник».

— Как же, как же! Все уже готово,— живо говорила она,— и мы будем редактировать его!

— Я тоже прислан редактировать его,— поспешил вставить я.— И очень рад, что придется работать вместе с таким опытным писателем, как ваш муж.

Действительно, я очень обрадовался открывшейся передо мною перспективе работать вместе с Ткачевым. Когда я ехал сюда, я думал, что вся ответственность редактирования падет на меня одного, и боялся, что не выполню достаточно хорошо возложенной на меня нашим тайным обществом задачи. А теперь вдруг обнаружилось, что редакция будет коллективная!

Все заботы сразу спали с моей души!

Мне так приятно было разделить выпавшую мне почетную обязанность с товарищами по изгнанию, и в особенности с Ткачевым, которого я считал в легальной литературе прямым преемником знаменитого Писарева, идола молодежи в конце шестидесятых годов! Но он не обратил ни малейшего внимания на мой комплимент.

— Мы вместе уже написали...— начал он.

— Мы уже написали,— окончила она,— для нашего нового журнала одну прозаическую статью о нашей работе в народе...

— И одно стихотворение,— перебил он ее,— которое производило поразительное впечатление...

— Поразительное впечатление в народе,— окончила она.— Оно тоже будет помещено в первом номере «Работника», и уже...

— Да, да! И уже приготовлено к набору,— перебил он.— Хотите, мы вам сейчас же его прочтем?

— Да, да, сейчас же прочтем. Оно называется «Овцы и волки»,— окончила она и, схватив со стола бумажку, начала читать:

Посбежались волки злые,
 Держат все совет большой:
 Овцы больно умны стали.
 Что поделать им с собой?
 Вот так-так! Вот так-так!
 Видно, царь наш не дурак!

— Не правда ли,— перебил он ее,— какой неожиданный переход? Это мы вместе...

— Это мы вместе придумали, и каждый новый куплет оканчивается так! — добавила она.

— И это-то самое и производило всегда поразительное впечатление,— перебила она.— Понимаете, такой неожиданный переход к самой сути дела.

И они начали наперебой читать мне остальные двадцать пять куплетов этого коллективного стихотворения.

Все они были совершенно в том же духе, как и первый. Содержание состояло в том, что одна овца подслушала волков, сговаривающихся на своем совете их растерзать, и побежала рассказать другим овцам, говоря, что их, овец, много, и что у них есть копыта для защиты. Оканчивалось же это стихотворение так:

Тут все овцы заблеяли:
 Ведь в волках вся наша суть!
 Все мы, овцы, будем братья,
 И волков пора нам пхнуть!
 Вот так-так! Вот так-так!
 Видно, царь наш не дурак!

У меня волосы стали шевелиться на голове от одной мысли напечатать в журнале такое стихотворение. Обязанности редактора стали представляться мне далеко не усыянными лаврами.

«Как теперь мне быть? — думал я.— Ведь я должен буду оказать противодействие напечатанию стихотворения, написанного известным литератором Ткачевым! Это поразительно! Превосходный критик и публицист, с прекрасным прозаическим слогом, он — совсем жалкий поэт! И еще придает своим стихам такое большое значение!»

— Ну, как вам нравится? — живо спросил он меня в левое ухо.— В народе...

— В народе,— окончила она в мое правое ухо,— это произвело поразительное, поражающее впечатление!

Мне хотелось ответить искренне, что и на меня стихи эти производят поражающее впечатление, но, пользуясь тем, что они продолжали перебивать друг друга, дополняя на каждой фразе

один другого, я благополучно избавился от необходимости дать ответ.

Перескочив на что-то новое, они уже сами забыли через минуту, что я им ничего не ответил, или вообразили, что я вполне согласился с их обоюдными собственными похвалами своим стихам.

Почувствовав сильное разочарование в знаменитом писателе и его супруге и определив их, к своему собственному недоумению, как отчаянных болтунов, я захотел поскорее уйти от этой супружеской четы. Мне нужно было в тот же вечер увидеться с заведующим нашей женеvской типографией эмигрантом Гольденбергом. Вынув свой кошелек, я раскрыл его, чтобы достать на бумажке адрес его квартиры, и кучка золотых двадцатифранковых монет засверкала в нем.

— Сколько у вас денег! — воскликнул он.

— Сколько денег! — воскликнула она.

— Около шестисот франков! — отвечал я.

— Вам не нужно будет сразу такой суммы, — начал он.

— Да, вам не нужно будет такой суммы! — перебила она.

— А у нас как раз...

— А у нас как раз на две недели недохват. Дайте нам в долг...

— Дайте нам в долг, — перебила она, — только на две недели, пятьсот франков. Мы непременно, непременно возвратим вам ровно через две недели.

— Да, да! Непременно ровно через две недели! — повторил он. — Как раз к этому времени нам вышлют наши деньги! Мы очень точны на этот счет.

— С удовольствием, — ответил я, вынимая желаемую ими сумму.

Он с живостью взял их у меня, а она у него и, вскочив, заперла в шкафике напротив нас.

— Спасибо вам! Спасибо вам! — говорил он, пожимая мне руки.

— Спасибо вам! Спасибо вам! — повторила она, возвратившись на свое место и тоже пожимая мне руки с другой стороны.

— Так непременно, непременно возвратим вам ровно через две недели...

— Ровно, ровно через две недели! — повторила она. — Все, все сразу отдадим тогда. Мы очень точны.

В этот самый момент без обычного заграничного стука в дверь к нам в комнату вошел невысокого роста крепкий шатен, лет тридцати пяти, с интеллигентными чертами лица и умными наблюдательными глазами.

— А вот и Ткачев! — воскликнула моя собеседница, сидевшая справа.

— А вот и Ткачев! — повторил мой собеседник слева, указывая рукою на вошедшего.

Я встал в полном изумлении и пожал протянутую мне Ткачевым руку.

— А я все думал, что Ткачев — это вы, — обратился я к моему соседу.

— Нет! — воскликнул он. — Я Николай Шebун, а это моя жена Зинаида.³³ Разве мы вам не сказали с самого начала?

— Разве с самого же начала мы не сказали вам? — перебила его она.

— Но это все равно, — перебил он ее, — вы можете быть спокойны насчет...

— Пожалуйста, не будем говорить об этом! — заметил я, чувствуя неловкость.

Ткачев, который тем временем успел прочесть несколько строк очень лестной для меня рекомендации Мышкина, бесцеремонно перебил коллективный разговор обоих супругов, сказал им:

— Я с вами еще успею потолковать завтра, а теперь мне надо переговорить с ним. Пойдемте в мою квартиру, — обратился он ко мне и сразу направился к выходу, очевидно, сознавая полную безнадежность дожидаться конца взаимно поддерживающейся речи Шебунов.

Я пошел за ним, сильно сконфуженный за себя. Ну, как я мог принять их стихотворное маранье за произведение самого Ткачева? Как я мог сразу же не понять, что такая искусственно подогревающая себя чета не может представлять из себя серьезного писателя с его женой? Но ведь квартира Шебунов была мне указана как его квартира, и они не разубеждали меня, когда я протянул им рекомендацию Мышкина, адресованную Ткачеву, а только оставили ее нетронутой на столе.

— Вы, очевидно, ошиблись! — сказал мне Ткачев, как только затворилась за нами дверь.

— Нет, мне указал квартиру Рождественский.

— А, Рождественский! — сказал он равнодушно. — Теперь понимаю! Мы с ним встречались только за табльдотом в «Отель дю Нор», и он ни разу не был здесь у меня. Но все же следовало бы лично провести вас ко мне.

— Мне показалось, что он стесняется.

— Совершенно напрасно. Из-за его стеснения, как я вижу, вам пришлось выдержать целую баню, да еще, по-видимому, претерпеть и заем денег, если я не ошибаюсь, судя по их последним словам.

— Пустяки! Деньги они обещали отдать через две недели, а просидел я между ними действительно целых два часа, и теперь у меня болит шея от постоянного поворачивания головы от одного к другому. Еще ни разу в жизни не видел я таких удивительных супругов. Они как будто срослись вместе и даже мыслят коллективно.

— Да, они все делают вместе, даже стихи. Верно они читали уже вам своих знаменитых «Волков и овец»?

— Как же! — ответил я, весь покраснев от ожидания, что вот сейчас он меня спросит: и неужели вы поверили, что это мои? Но он, по-видимому, даже и не подумал сделать такое сопоставление. Мы с ним поднялись этажом выше в его квартиру, где вышла к нам навстречу очень красивая и довольно высокая полная блондинка с длинной висящей косой. В ней было что-то необыкновенно привлекательное и девичье. Взглянув на нее, вы сейчас же подумали бы: «какая славная девушка!», вам и в голову не пришло бы, что она замужняя женщина. Это именно и была жена Ткачева, урожденная Дементьева.

У них все было противоположно тому, что я видел у Шебунов. Приветливо горели угли в камине небольшой комнаты, слабо освещенной лишь лампою с зеленым абажуром, стоящей на столе в противоположном углу. Все здесь было так уютно, по-домашнему. Мы троим сели перед камином.

— Я очень обеспокоен, — сказал Ткачев, обращаясь к своей жене, — что Шебуны успели уже занять у него денег. Они, конечно, никогда ему не отдадут. А самое неловкое для меня — это то, что он дал им, думая, что Николай Шебун — это я.

— Ах, как это неловко! — с явным огорчением сказала она. — Ты бы сбегал сейчас же и взял у них обратно.

— Но они не отдадут, если я пойду один! Может быть, мы пойдем вместе? — обратился он ко мне, — и вы им скажете, что давали мне, а их совсем не знаете. Тогда я настою на том, чтобы отдали.

— Но разве они такие дурные люди?

— Не дурные, — ответил он, — а хуже этого — безалаберные. Я уверен, что и теперь они взяли у вас с уверенностью, что когда-нибудь отдадут, но на деле никогда этого не исполнят, а когда они получают из России деньги, то прежде всего употребят их на себя, а вам будут обещать возврат до конца своей жизни. Так пойдемте к ним взять обратно? При мне они не решатся вам отказать.

— Да нет-нет, мне теперь эти деньги даже не нужны, — запротестовал я. — Потом, когда понадобится!..

— Тогда уж поздно будет, и они вам скажут: рады бы отдать,

да у самих ничего нет. А сейчас они не могут сказать этого! Пойдемте лучше!

Мне стало очень неловко. Деньги были даны мне нашим обществом пропагандистов в Петербурге на мое собственное прожитие, и я думал поступить на них в Женевский университет. Я знал, кроме того, что они не были бы никогда ассигнованы на простую субсидию Шебунам, о которых мои товарищи не имели даже и представления. Значит, теперь я просто растратил их.

Однако мысль пойти и взять обратно раз данное мною была совершенно невыносима. Как же я взгляну им в глаза? Нет! Лучше уж я сокращу до крайнего минимума свои собственные траты. Притом же, зачем думать о людях дурно?

— Нет, нет,— сказал я ему.— Я решительно отказываюсь от вашего предложения. То, что я дал, я не беру обратно. Виноват только я один. Вы тут не причем.

Ткачев внимательно взглянул на меня.

— Хорошо,— сказал он после некоторого молчания.— Не будем больше говорить об этом! Расскажите лучше о себе и о России. Мышкин пишет, что вы много ходили в народе. Какие ваши выводы?

— Главный вывод тот, что никакая широкая идейная деятельность на благо народа невысказана в России, пока в ней нет свободы слова и печати и пока весь простой народ безграмотен или полуграмотен, и что гражданской свободы у нас не будет при теперешнем образе правления.

Его глаза радостно заблестали.

— Я тоже давно так думаю и даже мечтал издавать журнал по этой программе. Значит, вы думаете, что теперь ходить в народ не нужно?

— Наоборот! Нужно! Это прежде всего очень интересно. Никто не может сказать, что знает народ, пока сам не побывал в нем. А затем, ничто так не приводит к убеждению в абсолютной необходимости гражданской свободы и просвещения, как попытки пропаганды новых идей в народе и среди рабочих при противодействии правительства.

— Понимаю,— сказал он,— хождение в народ представляется вам только первой стадией подготовки заговорщика-республиканца?

— Да, именно. Вот почему я всей душой и сочувствую теперешнему лозунгу: «В народ!»

— Вы,— сказал он,— единственный здесь в Женеве, смотрящий на дело с такой точки зрения. Впрочем нет, я второй. Я тоже стою за хождение в народ, видя в этом лучшую школу для революционного движения. Но другие все делают из средства

цель и даже говорят: забудьте все, чему вас учили, опрощайтесь умственно и морально. А по-моему, наоборот: интеллигенция должна поднимать полуграмотную массу до себя, а не опускаться до нее.

— Я тоже с самого начала движения говорил, что пропаганда республиканских идей нужна не среди одних крестьян, а и во всех слоях общества.

— Да, конечно,— согласился он,— прежде всего в интеллигенции! И пусть всякий, кто любит народ, сейчас же идет в него. Пусть все убедятся своими глазами, а не с чужого голоса, как он нуждается в сочувствии и как беспомощен он, предоставленный самому себе. Такой человек вернется из народа через несколько времени убежденным заговорщиком, а их-то теперь и надо для России.

Так мы говорили у камина до позднего вечера. Я возвратился в свой отель в полном восторге от этого талантливого человека.

4. Среди эмигрантов

Всю ночь я промечтал на своей постели в отеле дю-Нор и в следующее утро, едва напившись кофе с Рождественским за табльдотом, прежде всего отправился в русскую типографию, адрес которой дал мне вчера Ткачев, говоря, что там я могу найти нужного мне Гольденберга скорее, чем на его собственной квартире, куда я первоначально собирался идти. Добравшись до желаемого дома по указаниям встречаемых, я вошел во второй этаж, в небольшую квартирку с голыми стенами без обоев и всякой мебели. У окна около стен стояли высокие некрашенные конторки с верхами, разделенными на клеточки в несколько рядов. Я понял, что это наборные кассы, в которых находится типографский шрифт. В углу у дверей лежала груда отпечатанных уже больших листов бумаги, но почти все они были помяты и лежали в беспорядке.

Как полагается в подобных случаях, я кашлянул несколько раз, но никто не вышел ко мне из соседней комнаты, хотя дверь в нее была открыта настежь и там я слышал легкий шорох человека. Я нерешительно направился туда и, подойдя к дверям, увидел за ними вторую, совершенно такую же комнату, с такими же кассами и с еще большей кучей мятой бумаги в углу.

Но тут были и прибавки: у стены стояли три табурета, небольшой деревянный столик, а на нем чайник над спиртовой лампочкой, три стакана и сверток желтой бумаги с какими-то съестными припасами. Около одной из касс, в профиль ко мне, стоял

человек среднего роста и среднего возраста, в скюртуке, с круглой головой, в круглых очках и с шапкой черных курчавых волос на голове.

Он, очевидно, весь был поглощен корректурой страницы набора, лежащего перед ним на дощечке на одной из касс. Он вытаскивал из него щипчиками свинцовые столбики-буквы, и, выбрасывая их в различные отделения кассы, заменял новыми из других клеточек. Вид у него был сосредоточенный на своем деле и рассеянный по отношению ко всему окружающему. Он совершенно не замечал меня.

«Очевидно, очень идейный человек! — пришло мне в голову. — Живет своим внутренним миром».

— Скажите, пожалуйста, — спросил я, наконец, — не вы ли Гольденберг?

Он быстро повернул ко мне голову, как будто разбуженный от сна, и, посмотрев на меня через очки своими явно близорукими глазами, ответил:

— Я!

— А я из Петербурга, — сказал я ему, протягивая рекомендательную записку.

— Знаю, знаю, — воскликнул он радостно. — Мне уже писали о вас! — и он крепко пожал мою руку, а потом заключил меня в объятия и расцеловал.

Я был очень растроган и обрадован таким приемом. Я ехал, как мне казалось, куда-то в неведомую даль, к чужим, суровым людям и вдруг сразу же встретил и со стороны Ткачева и здесь такой прием, как будто мы были давнишними друзьями.

Гольденберг тем временем прочел мою рекомендательную записку, держа ее у самых глаз, потом обернулся снова ко мне и, осмотрев меня внимательно, сказал:

— А я вас представлял совсем в другом виде!

Я улыбнулся, сразу догадавшись.

— Верно, считали меня много старше?

— Да! — ответил он откровенно. — Но это ничего не значит! Быть молодым лучше. Больше свежих сил, еще не помятых жизнью!

Это было мне страшно приятно слышать. Я ведь привык считать свою молодость самым слабым своим местом.

— И неужели вы уже столько ходили в народе? — продолжал он. — Когда у нас затевался рабочий журнал, главное затруднение было в том, что никто из нас не жил в народе и не умел выражаться его языком. Из Петербурга обещали прислать нам вас. Говорили, что вы исходили половину России и притом во всевозможных видах.

— Какая же половина России? Все это легенды. Был только в пяти губерниях, да и то не подолгу. Но по-народному выражаться все же умею.

— Вот этого-то нам и недоставало до сих пор! — убежденным тоном заметил он.

Затем, усадив меня на один из табуретов, он начал расспрашивать меня о России, о новых кружках и настроениях, о некоторых своих знакомых и о моих приключениях в народе. Я вкратце сообщил ему, как и вчера Ткачеву, все, что со мною было и что я знал об остальных, ходивших в народе и теперь почти поголовно арестованных товарищах.

— Да, — сказал он, — честь и слава их почину. Теперь движение в народ и внутри самого народа уже не остановится. На смену погибшим пойдут другие со свежими силами. Много отсюда молодежи уехало перед самым вашим приездом. Если бы вы задержались немного в Москве, вы встретили бы там десятка два замечательно хороших бернских студенток, отправившихся в Россию для того, чтобы заменить арестованных в этом году.

Это для меня было совершенно ново.

«Значит, — подумал я, — готовится новый штурм в этом самом направлении!»

— Они тоже хотят идти в деревню, как крестьянки? — спросил я, думая, как будет трудно для наших чистеньких студенток приспособиться к условиям крестьянской жизни, и инстинктивно почесывая у себя в голове, где еще кусали меня остатки белого населения, приобретенного мною в деревнях.

— Да! Именно!

— В деревнях им будет очень трудно, — заметил я ему, — и едва ли они там долго останутся. Жить там можно только нам, мужчинам, а им я посоветовал бы лучше заняться с рабочими, поступать на фабрики и заводы, живя на собственных квартирах. Но и это я считаю лишь подготовкой для предстоящей нам теперь огромной борьбы с тем строем, который, пока он существует, будет ставить все препятствия к движению интеллигенции в народ или к ее слиянию с народом: это монархизм.

— Наш простой народ по природе анархичен, — возразил мне он. — Ему надо все или ничего, он не понимает никаких компромиссов. Он не понимает частного землевладения. Для народа земля есть божий дар и потому принадлежит лишь тому, кто ее обрабатывает своими собственными руками, и только до тех пор, пока он обрабатывает ее. Кто перестал, должен отдать ее другому, желающему на ней работать. Поэтому, если мы хотим, чтобы крестьянин нас слушал, нужно говорить ему больше о земле. А рабочим надо прежде всего говорить о том, что

фабрики и заводы должны принадлежать тем, кто на них работает собственными руками.

«Итак,— пришло мне в голову, слушая его,— люди у нас везде одинаковы! И в Москве, и в Петербурге, и за границей! Все то, что говорили мне Кравчинский и Алексеева, говорится и здесь».

— В Женеве теперь,— продолжал он,— живут из русских эмигрантов главным образом федералисты, придерживающиеся анархических воззрений. Лавристы переехали с Лавровым в Лондон, а бакунисты живут главным образом в Цюрихе, хотя сам Бакунин поселился в Локарно, на границе Италии, в именин, предоставленном ему одним молодым итальянским графом Кафьеро, горячим его сторонником. Оттуда они, кажется, затевают поднять в Италии восстание.

— Да ведь Бакунин тоже анархист-федералист?

— Да, но наши женевские с ним в личной ссоре. Говорят, что он вел себя с ними не по-товарищески, скрывая от них свое знакомство с Кафьеро.

— Но как же можно из-за личных отношений раскалываться на две партии? — с изумлением воскликнул я.— Ведь от этого вред всему делу.

Он взглянул на меня исподлобья своими выпуклыми близорукими глазами и сказал:

— Правдивое, искреннее дело может создаваться прочно только правдивыми, искренними людьми. Скрывать от товарищей что-либо — значит оскорблять их.

— С первым вашим положением я согласен,— ответил я,— но со вторым нет. Ведь всякий секрет есть тягость на душе хранящего его. Передать его другому не значит ли перенести тяжесть на другую душу, даже не облегчив своей? Поэтому, если мне доверен чей-нибудь секрет, я должен сам и хранить его! Если же я не сохранил его, а потихоньку передал другому, то и тот в свою очередь получил от меня право потихоньку передать его третьему. Третий передает четвертому, и, в конце концов, секрет дойдет и до самого того, от кого его предполагалось хранить. И кого же тогда обвинить за провал дела?

— Конечно, последнего! — сказал Гольденберг, подумав.

— А я в этом случае всегда виню первого. Это он разболтал. Остальные менее виноваты, потому что они разболтали уже разболтанное.

Я вынул свою записную книжку и показал ему зашифрованные там адреса.

— Вот тут адреса, которые я должен хранить. Никто не знает их шифра, кроме меня. Разве это признак моего недоверия к друзьям?

— Но если ваш лучший друг,— возразил он,— потребует, чтоб вы сообщили ему этот шифр в доказательство вашего доверия к нему?

— Я сказал бы, что это не имеет никакого отношения к довериям, что я могу выказать ему доверие лучшими способами.

— А он бы потребовал именно этого способа! Если б он сказал, что иначе вы разобьете его душу?

— Тогда я сказал бы: мой друг болен, он — как ребенок. Надо и поступить с ним, как с ребенком: чтобы не разбивать ему души, скажу ему шифр, но зато, вернувшись домой, перешифрую все новым.

— Вот-вот! — воскликнул радостно Гольденберг. — Именно так и поступал Бакунин, и в результате растерял всех своих друзей! Это же будет и с вами! Я вам заранее предсказываю: вы здесь сразу приобретете массу друзей, а потом через полгода, при таких ваших правилах, всех растеряете!

— Значит, здесь у всех разбиты души? — спросил я.

— А чего же вы хотите другого? Здесь собрались люди, бежавшие из России, а бежали они, конечно, не потому, что осуществились их лучшие надежды, не потому, что они достигли всего, к чему стремились. Бегут лишь отчаявшиеся в возможность своей личной победы, и, чем больше они верили в нее, тем сильнее были разбиты их сердца, перед тем как они с отчаянием решились покинуть родину. Вы в другом положении. Вас сюда прислали товарищи и, насколько я могу судить по первому впечатлению, вы не долго здесь останетесь. Но, насколько возможно, вы должны встречать здесь всех с открытым забралом, не тая от друзей никаких своих замыслов.

— Я так и буду! — ответил я. — Я вообще не люблю, чтоб меня считали не таким, как я есть. Пусть лучше считают хуже, чтоб не пришлось потом разочароваться.

Гольденберг мне очень понравился своею искренностью. Он внимательно и не перебивая выслушивал все мои доводы и отвечал на них обдуманно, а не как попало, подобно профессиональным спорщикам. С ним у меня сам собой развязывался язык, и тут же захотелось признаться ему, что мне больше всего хотелось бы не идти снова в народ, а стать душою большого республиканского заговора.

Но я удержался от этой откровенности, чувствуя, что не встречу в нем сочувствия при его анархическом настроении и идеализации крестьян.

«Мне надо,— думал я,— стараться смягчать здесь всякие противоречия и мелкие разногласия между заграничными революционными деятелями, никогда не путаться в их полемику, от-

мечать им не пункты их разногласия со мною и между собою, а наоборот, пункты согласия — одним словом, скреплять связь всех для общего дела, а не расшатывать ее...

Я уже видел из слов Гольденберга и впечатлений у Шебунов и Ткачева, что именно это здесь было особенно нужно.

«Буду хорош со всеми», — продолжал я думать.

Гольденберг, посмотрев на свои часы, попросил у меня пять минут времени, чтобы окончить страницу корректуры, и вновь начал вынимать буквы из набора своими щипчиками.

«Буду всем помогать во всем хорошем, что они задумают, не считаясь с личными отношениями».

Гольденберг, окончивший в это время свое редактирование, вновь посмотрел на часы.

— Уже больше двенадцати! — заметил он. — Мы опоздали к обычному обеду, но нам дадут особо. Сейчас пойдем в кафе Грессо, там в это время мы всегда найдем почти всю компанию. Ресторан этот служит местом наших ежедневных свиданий. Там вы обратите внимание прежде всего на Жуковского, старейшего из здешних эмигрантов, потом на Ралли и Эльсница. Они люди с литературными дарованиями. Они будут главными писателями «Работника» и составят вместе с вами редакционный комитет. Ведь вы будете решать все вопросы коллективно, по-товарищески?

— Конечно.

— Я так и знал и потому еще раньше вашего приезда говорил с ними об этом. Иначе они не согласились бы.

— Очень хорошо! — обрадовался я, окончательно почувствовав, что работа для меня будет не так трудна, как я себе представлял, уезжая за границу.

На основании слов Кравчинского, не сказавшего мне, что дело уже наполовину налажено переговорами Гольденберга с женевскими эмигрантами, я думал, что буду один.

— А вы сами, — спросил я, — примете участие в редакции?

— Я не писатель, — я буду секретарем и типографщиком.

Мы пошли по грязным от ненастья женевским улицам на знакомую уже мне Террассьерку и в самом ее начале вошли в небольшой ресторан, над дверями которого золотыми буквами было написано: *Café Gressôt*.

Там общий обед уже кончился, и происходила по какому-то случаю маленькая послеобеденная выпивка в задней комнате, в которую вела отворенная дверь из главной, где мы теперь были. Оживленные русские голоса кричали:

— Жуковский! Жуковский! Запевайте «Карманьолу».

Подойдя к двери, мы с Гольденбергом увидели на середине комнаты длинный стол, на котором стоял бочонок красного вина, а кругом него, с полунаполненными стаканами, в разных позах сидело человек пятнадцать эмигрантов, исключительно мужчины различных возрастов.

Никто из них не обратил на нас внимания, очевидно, зная лично Гольденберга и не замечая меня за его спиной.

Из-за середины стола встал, выпрямившись во весь рост и закинув вверх голову, сухой, жилистый, смуглый человек с черными сверкающими глазами и впавшими щеками. Сильно жестикулируя руками, он запел историческую крестьянскую песню французской великой революции — «Карманьолу»:

Пляшите карманьолу под пальбу, под пальбу!
 Пляшите карманьолу под пальбу и борьбу!
 Чего хотим стране своей?
 Чего хотим стране своей?

Все присутствовавшие подпевали хором:

Хотим свободы всех людей!
 Хотим свободы всех людей!
 По бомбе всем дворцам!
 По пуле всем ханжам!
 И мир всему народу — под пальбу, под пальбу!
 И мир всему народу — под пальбу и борьбу!
 Пляшите карманьолу под пальбу, под пальбу!
 Пляшите карманьолу под пальбу и борьбу!

Смуглый человек — это и был Жуковский — вновь запел в одиночку свой прежний вопрос:

Чего хотим стране своей?
 Чего хотим стране своей?

А остальные, как прежде, хором отвечали:

Хотим мы равенства людей!..
 Хотим мы равенства людей!
 В канаву всех попов!
 В конюшню всех богов!
 И к дьяволу монахов — под пальбу, под пальбу!
 И к дьяволу монахов — под пальбу и борьбу!
 Пляшите карманьолу под пальбу, под пальбу!
 Пляшите карманьолу под пальбу и борьбу!

Смуглый человек запел вновь, еще более энергично...

Чего хотим стране своей?

Чего хотим стране своей?

И вся компания загремела ему в ответ:

Хотим мы братства всех людей!

Хотим мы братства всех людей!

Довольно нищеты,

Насилий и вражды!

Мы зиждем труд всеобщий — под пальбу, под пальбу!

Мы зиждем труд всеобщий — под пальбу и борьбу!

Пляшите ж карманьолу под пальбу, под пальбу!

Пляшите ж карманьолу под пальбу и борьбу!

Все это для меня выросшего среди русских словоненавистнических порядков, было чрезвычайно ново и интересно.

В этой старинной песне отражалась хаотическая смесь добра и зла, от нее по очереди веяло на меня то заревом пожаров когда-то пронесшейся общественной бури, то тихой музыкой приближающихся к человечеству грядущих поколений. А обстановка была так романтична, что я невольно перескакивал мыслью через все жестокое в отдельных куплетах впервые звучавшей передо мною исторической песни — предшественницы «Марсельезы» — и отмечал в ней только одно великодушное.

«Вот она, — думал я, — истинная свобода слова. Вот она, страна Вильгельма Телля! Здесь не надевают никакой узды на человеческую мысль, здесь не боятся человеческого голоса! Говори и пой все, что тебе нравится!»

Боже мой, как хорошо стало сразу у меня на душе! Вся она ликовала.

— Привет тебе, Вильгельм Тель, вольный стрелок! — говорил я внутренне. — И пусть твои духовные дети придут скорее и в другие страны и выведут их, как ты свою Швейцарию, к свету и свободе!

Эта небольшая особая комнатка типичного французского кафе была для меня живым образчиком минувших якобинских собраний почти сто лет тому назад, а Жуковский, с таким жаром певший народную песню конца восемнадцатого века, напоминал мне якобинского предводителя французских санкюлотов, заседающих в своем кабаре. Все это пронеслось у меня в воображении в то время, когда еще не окончилось пение, и я стоял, не замеченный никем из поющих, в дверях их комнаты.

Но вот последние звуки замерли, и взгляд Жуковского, пробежав по всей группе собеседников, сразу остановился на мне, еще не знакомом ему человеке. И, как это всегда бывает, все остальные глаза невольно направились в ту же самую сторону, и все головы повернулись ко мне.

— Господа,— сказал им мой спутник Гольденберг,— вот новый наш товарищ, только что приехавший из России, прямо из народа, исходив под видом крестьянина несколько губерний.

Я поздоровался со всеми за руку, обойдя кругом стол. Все назвали мне свои фамилии, а я, как всегда бывает при коллективных рекомендациях, сейчас же растерял их из своей головы, кроме фамилии высокого, худого и чрезвычайно нервного блондина, Ралли, и невысокого человека, назвавшегося Эльсницем. Я их невольно отметил среди остальных, так как уже знал ранее, что это мои будущие соредакторы.

Все хором принялись расспрашивать меня о народе и о моих впечатлениях в нем, а я просто удивился самому себе! Так легко мне было теперь все рассказывать, после того как я уже несколько раз делал это перед всеми другими новыми знакомыми! От практики выработалась какая-то определенная последовательность образов, как будто какой-то внутренний суфлер подсказывал мне за несколько секунд ранее каждую фразу, которую мне нужно было произнести!

У слушателей же получалось впечатление, будто я говорю это первый раз и обладаю очень гладким и находчивым языком. А между тем это было совсем неверно. Я никогда не был оратором по призванию. На рассказы о моих приключениях меня можно было вызвать только прямым вопросом, и, если я видел, что собеседников занимает то, что я говорю, я увлекался сам и продолжал охотно рассказывать. Но стоило только мне заметить, что присутствующие в глубине души равнодушны, как я сейчас же умолкал, окончив начатое как можно поскорее и покороче.

Но здесь все слушали меня с величайшим интересом. К моему изумлению, я, думавший быть последним среди этих ветеранов революции, оказался теперь центром их общего внимания. А что мне представлялось всего удивительнее, так это то, что никто здесь не ставил мне в недостаток мою полную безбородость! Здесь этого как будто совсем и не замечали. Все тащили меня к себе на квартиры, и весь день я бегал от одного к другому.

Ощущение, что я у них считаюсь общепризнанным взрослым человеком, наполняло мою душу новым, незнакомым мне ранее чувством удовлетворения. Казалось, что и в своих собственных

глазах я достиг совершеннолетия. Я словно вдруг расцвел, и стал менее замкнут в своих мыслях.

Я в первые же дни совершенно вошел в общую колею эмигрантской жизни и перезнакомился со всеми. Сам радостно встречая всех и каждого, я тоже был радостно встречаем всеми и каждым. Я, казалось мне, действительно становился тем не выдвигающимся напоказ соединительным звеном революционного кружка, о каком я так мечтал в первый день приезда сюда.

5. Тягости редакторского звания

Прошло недели три. Я уже давно знал хорошо все главные улицы Женевы и бегал по ней везде, как по знакомому городу, без всяких расспросов у прохожих. Особенно понравился мне здесь небольшой уединенный островок Руссо посреди изумрудных, прозрачных вод быстро катящейся Роны.

К нему вел узкий пешеходный мостик. Там под навесом высоких плакучих ив и пирамидальных тополей скрывался в тени памятник великому писателю XVIII века. Руссо был изваян на нем во весь рост и, как живой, сидел задумчиво на труде своих книг.

Кругом островка всегда плавали белые лебеди, для которых выстроено было особое помещение, а у подножия памятника находилась одинокая скамья, где по утрам, когда все товарищи-эмигранты были заняты своими делами, я сидел почти каждый день часа по три или четыре, читая книги из русской эмигрантской библиотеки. Здесь я прочел всего Герцена, все, чего еще не читал, из Бакунина, и почти всю наличную в Женеве заграничную литературу.

Мы уже проредактировали первый номер журнала «Работник». Он был набран в нашей типографии, причем я принял деятельное участие и в наборе. Я очень желал поскорее обучиться этому важному для нас делу на случай устройства тайной типографии в неприступных ущельях Кавказских гор, о чем я мечтал со своими знакомыми закавказскими студентами в Петербурге.

Моими товарищами по редакции оказались Жуковский, Эльниц и Ралли, да Гольденберг, присутствовавший всегда, как секретарь редакции и главный типограф, на равноправных основаниях с остальными. Шебуны же только похвастались мне при первом свидании, что и они были приглашены редактировать «Работник». У них только приняли, еще до моего приезда,

статью об их пропаганде и упомянутое выше стихотворение, производившее, по их словам, ошеломляющее впечатление в народе.

Когда на первом же редакционном собрании я узнал, что это стихотворение уже набрано раньше моего приезда, я пришел в настоящий ужас.

— Да неужели вы не видите, что поместить его — значит сразу же погубить весь журнал? — взмолился я. — Неужели вы не видите, что тут нет ни рифмы, ни смысла?

— Мы все прозаики, — ответил Гольденберг, — стихов писать не умеем и не понимаем тонкостей стихосложения. Но дело в том, что стихи эти уже проверены опытом. Шебуны их читали крестьянам, и те очень хвалили, и, кроме того, они оба страшно обидятся, если мы забракуем их стихи.

— Но крестьяне вам похвалят, что вы им ни покажете, если знают, что вы и есть автор, — протестовал я. — Такая похвала ровно ничего не значит. Да ведь, кроме крестьян, журнал наш прочтут и товарищи, и что они скажут?

— Но кто же сообщит Шебунам, что их стихи забракованы? Я не согласен! — сказал Гольденберг.

— Если хотите, я сам сделаю это, — ответил я. — Только, чтоб их не обидеть, я пойду и поговорю с ними мягко, наедине и уговорю их взять назад.

— Ну, это вам не удастся! Они опять нападут на вас справа и слева, — сказал Жуковский, — и не дадут выговорить ни слова.

— Нет! — воскликнул Эльсниц. — Лучше оставим набор их стихов лежать в целости и скажем, что в первом номере не хватило места.

— Присоединяюсь к этому мнению, как к самому разумному, — сказал Гольденберг.

В это время Ралли, которого, как я заметил, всего передернуло, когда Гольденберг сказал, что никто из них не понимает тонкостей стихосложения, взял корректуру стихов и, прочитав ее еще раз, сказал:

— Я прежде изъясил на них согласие только потому, что при устном чтении шероховатости сглаживались, а теперь прямо заявляю: в печатном виде они никуда не годны!

— Я думаю, — заметил я, — лучше искренне сказать Шебунам правду, потому что если мы будем говорить, что стихи их хороши и только откладываются по недостатку места, то они будут терять даром время, чтоб писать и другие в том же роде.

— Но тогда они уже наверно не возвратят вам взятых у вас денег! — заметил мне, нервно улыбаясь, Ралли.

— Не возвратят и без того! — сказал Жуковский.

Он давно уже знал об этом займе, так как Ткачев всем рассказал к тому времени о моем приключении у Шебунов. Сам же я не рассказывал никому.

— Все равно, возвратят или нет,— ответил я.— Мне только не хочется быть неискренним с людьми, относительно которых я не знаю ничего дурного.

— В таком случае скажите, что все мы коллективно находим стихи неподходящими,— заметил Жуковский,— но исключительно потому, что наш журнал будет читать и интеллигенция, а не одни только крестьяне.

Я побежал к Шебунам в тот же вечер, так как еще в гимназии теоретически пришел к заключению, которого потом держался и всю жизнь, что если необходимо сделать что-нибудь тяжелое, трудное, неприятное, чего никак не можешь избежать, то надо делать это как можно скорее, чтоб потом было легче на душе. Притом же я знал уже, как плохо здесь держатся секреты, и боялся, что кто-нибудь сообщит им ранее меня самого, что я был против их стихов, и тогда выйдет много хуже.

Шебуны по обыкновению зажужжали в оба мои уха, и, по крайней мере, целый томительный час прошел прежде, чем я мог найти момент, чтоб перейти к делу.

— Сейчас было редакционное собрание «Работника»,— начал я.

— Редакционное собрание?! — воскликнула она с негодованием.

— Редакционное собрание?! — воскликнул он.— Почему же не пригласили нас?

— Почему же не пригласили нас? — повторила она.— Тут же и наша статья!

— Тут же наши стихи! — окончил он.— Что же у вас, в редакции, буржуазные порядки что ли будут? Мы, когда давали свои статьи, думали, что все сотрудники будут на одинаковых правах!

— Что каждый будет редактировать свою собственную статью! — перебила она его.

— Но позвольте,— сказал, наконец, я,— ведь это же петербургское общество пропаганды дало средства на издание и распространение журнала и назначило его редакторов...

— Какое нам дело до петербургского общества пропаганды? — перебила она меня.— Мы желаем знать, почему редактируют какие-то Эльсницы, Жуковские и Ралли, никогда не бывшие в народе, а мы, опытные пропагандисты...

— А мы, опытные пропагандисты,— перебил ее он,— выброшены за борт?

Таким образом, раньше чем я успел заговорить об их стихотворении, я уже попал в баню.

Я не буду приводить всего, что они говорили. Читатель может об этом догадаться по приведенному мною началу, из которого я сразу же почувствовал, что оба давно знали о том, из кого состоит редакция, и негодовали «на свинское к себе отношение», может быть, уже немало дней. И все это негодование выливалось теперь на меня, единственного редактора, против которого они не возражали, так как я был прямо из России, что здесь очень ценилось, и притом непосредственно «из народа».

Но если так произошло, раньше чем я заговорил о непринятии их стихотворения, то пусть же представит себе сам читатель, что случилось, когда я произнес искренне огорченным голосом роковые слова:

— Ваша статья очень понравилась и будет помещена в первом же номере, но стихи не понравились...

В начале этой фразы я против воли сказал неправду, так как и статья их, называвшаяся «Правда ли, что ласковый теленок двух маток сосет?» — была посредственная и, по-видимому, не очень правдива, судя по моим личным впечатлениям о народе. Но я не был в состоянии сказать иначе, — так горько и неловко было мне передать им о судьбе их стихотворения. Но, несмотря на мой комплимент, они оба сразу вскочили со своих мест при моем последнем слове.

— Как! Стихи испытанные, испытанные уже в народе! — кричал он...

— Испытанные, испытанные на опыте в народе! — кричала она, — здесь, в Женеве, забраковываются людьми, ничего не смыслящими в пропаганде!

Оба, отскочив от меня, даже онемели от изумления и негодования и в первый раз стояли передо мною молча, как два изваяния укора.

— Но зачем вам их печатать непременно в «Работнике»? — возразил я им ласково, — оттисните их отдельным изданием...

— И оттиснем, и оттиснем! — с пафосом закричала она.

— И напечатаем, и напечатаем! — с пафосом закричал он. — И очень сожалеем, что связались с глупым изданием, ни на что не годным, кроме как...! (он упомянул о некоем уединенном месте). Никогда больше не дадим в него никакой...

— Не дадим никакой статьи, — закончила она, не обратив ни малейшего внимания на не совсем вежливое употребление, которое он предложил для их же собственной статьи, уже помещенной в нашем издании. — Я знаю, чьи это интриги! Это все иезуит Ралли, да тихоня Эльсниц!

— Но нет же, нет же! — воскликнул я, чувствуя, что необходимо объяснить дело на чистоту. — Это я первый заметил в нем недостаток отделки; помните, я вам первый указывал, что некоторые рифмы и строки неправильны, что нужна дополнительная отделка.

— Какая тут еще новая отделка, когда мы вдвоем обрабатывали в нем каждую фразу! Вы тогда говорили глупости!

Через шесть часов я вышел от них, весь красный, как из бани. На каждую их тысячу слов я говорил одну или две фразы, которых притом же не успевал закончить, и, наконец, уже не возражал совсем, чтобы дать им возможность выговорить все, что накопилось у них на языке.

Внешняя словесная победа надо мной, по-видимому, несколько облегчила их наболевшие души. Мы, действительно, напечатали им на свой счет их стихи отдельным изданием, а они их куда-то послали, но все же не могли никогда простить нам такого «черного» дела. Здесь я в первый раз почувствовал все тернии редакторского звания.

«Сколько обид, сколько огорчений, — думал я, идя домой по пустым женевским улицам в три часа ночи, — приходится редакторам причинять пишущим стихи, сколько разговоров даже с прозаиками об элементарных правилах грамматики! Вот я пробыл у них целых шесть часов, и все же ничего не вышло, кроме горькой обиды на меня!»

Так началось издание журнала «Работник».

Чтобы не перебивать моего повествования, я расскажу сейчас же и о его дальнейшей судьбе, так как история его мне кажется очень поучительной во многих отношениях.

Прежде всего обнаружилась полная наша оторванность от России и отсутствие из нее каких-либо корреспонденций о местной жизни и деятельности, а между тем для журнала это было крайне необходимо. Приходилось писать корреспонденции большей частью по воспоминаниям или рассказам приезжих, здесь же на месте. Для первого номера материал дал рассказ Шебунов о их недавней деятельности в народе, где они говорили о себе в третьем лице, так что выходило как будто о них пишет кто-нибудь другой, а не они сами. С первого поверхностного взгляда мне это показалось как-то неестественно, неискренне. Однако, вслед за тем, когда и мне самому пришлось писать о пропаганде в деревне Потапове, где надо было говорить о Писареве, о Клеменце и о самом себе, я увидел, что при отсутствии подписей авторов под статьями писать о себе иначе как в третьем лице было совершенно невозможно.

Таким образом, сама система всеобщей анонимности, усвоенная тогда во имя коллективизма с целью не выдвигать вперед отдельных личностей, приводила в нашей революционной литературе к замаскированной неестественности, потому что и в нашем движении действовала не толпа, а отдельные лица, каждое на свой собственный страх и по своим собственным указаниям и усмотрениям.

В результате этой анонимности появились в тогдашних журналах и неизбежные противоречия в отдельных местах и номерах, так как разные авторы, конечно, приходили в деталях своих мнений к различным выводам. При подписях это было бы ясно: такой-то пришел к одному выводу, а другой — к другому. Но представьте, что подписей нет, что весь журнал представляет собою как бы одну книгу, как бы написан целиком одним лицом? Разноречия становятся тогда в высшей степени неприятными для читателя.

Редакции приходилось отшлифовывать все статьи по своей собственной мере, исключать из них все оригинальное, яркое, самобытное.

Благодаря этому крайнее увлечение коллективизмом привело в заграничной литературе к идейной диктатуре редакции над сотрудниками, а это рано или поздно начинало их обижать. «Мои статьи обесцвечиваются, искажаются редакцией», — говорил каждый и винил в этом ее, а не принцип. Посягнуть же на самый принцип осмелились лишь через несколько лет после описываемого мною времени. И вот, благодаря всему этому, и мне самому, как я уже сказал, пришлось писать о себе не так, как побуждал меня мой внутренний инстинкт правдивости и естественности, не так, как мне самому хотелось бы выразаться, а по навязанной извне шаблонной форме. Вместо простодушного «я пошел», «я увидел», мне пришлось в своих статьях выразаться манерно: «кузнец Морозов пошел», «кузнец Морозов увидел», причем слово «кузнец» я прибавлял, как свою главную профессию в народе, что было одобрено и всеми моими соредакторами.

— Пора уже каждому из нас, народников, — сказал Жуковский, когда я прочел на собрании свое изложение, — причислить себя к какому-нибудь ремеслу и определять себя прежде всего по нему, а не то что называть себя какими-то писателями, профессорами, инженерами, докторами и тому подобными буржуазными званиями.

— Но ведь такие профессии останутся и в будущем социалистическом и даже в анархическом строе, — возразил я. — Ведь там тоже будут учителя, профессора, инженеры!

— Нет! Никогда! — воскликнул Жуковский со своим обычным драматическим воодушевлением. — Тогда все должны будут заниматься прежде всего каким-нибудь физическим трудом, а только потом, по окончании его, можно будет посвящать избыток времени и умственной работе. У всех должны быть руки в мозолях! Когда начнется социальная революция и я пойду в толпе восставшего народа по городским улицам, я прежде всего потребую, чтоб останавливали каждого и заставляли его показывать свои ладони. — В мозолях ладони? — Иди с миром своей дорогой! — Без мозолей? — *Au mur!* (т. е. к стене, на расстрел).

И он театрально показал руками на нашу стену, воображая ее уличной.

Лукавая мысль промелькнула у меня в голове.

— Покажи-ка, Жук, твою руку! — сказал я ему с таким изумленным видом, как будто заметил на ней что-то особенное (мы в это время были уже на «ты»).

— Что такое? — спросил он с недоумением, рассматривая ее сам и в то же время протягивая мне.

Я посмотрел на его ладонь и тем же, как он, патетическим тоном и также протянув в пространство свою левую руку, воскликнул:

— Нет мозолей! *Au mur!* (к стене)!

Все расхохотались. Жуковский в первое мгновение совершенно растерялся, но через несколько минут оправился и воскликнул по-прежнему патетически, только качая грустно своей головой:

— Да! К стене! Меня первого! К стене старого Жука, у которого тоже нет мозолей на руках!

Но, несмотря на такой удачный выход из трудного положения, он весь этот вечер оставался опечаленным и смущенным. Фраза о мозолях на руках была давно одним из его самых эффектных козырей в разговоре, а теперь приходилось с нею расстаться. Он чувствовал, что, как только он ее произнесет впредь, все станут требовать от него того же, что и я, и его драматический прием обратится в комический.

Однако он несколько не рассердился на меня. Как все люди, слишком грозные на словах, он был очень добродушен на деле и, конечно, в случае восстания, никого бы не расстрелял.

6. Радости и тревоги первой печатной статьи

Еще прежде чем вышел наш номер «Работника», я, втайне от всех, живущих на земном шаре, написал большую статью под названием «Даниловское дело» и послал ее в главный из

тогдашних заграничных журналов «Вперед», издававшийся в Лондоне под редакцией Лаврова.

Не сказал я об этом никому, так как очень боялся, что моя статья будет забракована, как ни на что не годная. Причина такой боязни у меня была совершенно понятна. Когда я читал какую-нибудь чужую статью, я узнавал из нее всегда что-нибудь новое для себя, и потому она казалась мне важной и интересной. Когда же я читал свою только что написанную статью, в ней никогда не заключалось для меня решительно ничего неизвестного, и потому субъективно она казалась мне никому не нужной, т. е. хуже всякой самой плохой чужой. Профессиональные писатели казались мне такими глубокомысленными...

Мои литературные попытки, думал я, должны показаться им прямо детскими. Редакторам стыдно будет поместить их в свой журнал.

«Но ведь здесь,— думалось мне, с другой стороны,— в изложении пропаганды в Даниловском уезде, я описываю не одни свои собственные приключения и мысли, а также и деятельность других лиц, которая действительно очень важна и интересна. Поэтому Лавров хоть и очень ученый человек, но он не может слишком удивиться тому, что я ему посылаю такую малоинтересную статью. А, кроме того, вдруг и мои собственные мысли покажутся ему заслуживающими печати?»

И вот, с замиранием сердца, ранним утром, чтоб никто не видел и не спросил, я отнес свою рукопись на почту, вложив в нее коротенькое письмо к Лаврову.

«Я пишу здесь от своего лица,— извещал я его,— но если при анонимности всех других статей это неудобно, то прошу заменить везде слово «я» моей фамилией».

Если они оставят мою статью ненапечатанной и не заслуживающей даже ответа, думал я, то я никому не скажу об этом. Это останется моей тайной на всю жизнь.

Но во мне все же таилась надежда.

Новый номер «Вперед» дошел до Женевы через четыре дня после моей посылки, и в нем, конечно, не могли ее поместить. Мне предстояли еще четыре томительные недели до получения следующего номера.

В это время я по-прежнему бегал по женевским эмигрантам, разговаривал с ними обо всем, набрал в типографии для «Работника» свою другую статью и с великим наслаждением прочел ее в корректуре. В печатном виде она показалась мне куда лучше, совсем настоящей статьей, как и все другие, а не то, что в рукописи, когда она была, как простое письмо, которое умеет написать всякий. Но наш «Работник» казался мне не то,

что «Вперед», о котором знает вся интеллигентная Россия. Статьи там — совсем другое дело, и потому понятно было и мое внутреннее волнение. Поместят или не поместят? Буду я настоящим писателем или не буду? Чем более приближался ожидаемый день, тем томительнее становились минуты, когда я вспоминал о своей посылке.

Но я все же ни разу не пожалел о сделанном — по крайней мере я узнаю свою судьбу.

И вдруг, о горе! В назначенный день «Вперед» совсем не пришел в нашу эмигрантскую библиотеку! Неужели он прекратился? Но это маловероятно. У лавристов, говорят, достаточно денег!

Так в разочаровании провел я весь этот день и два следующих, до вечера. В семь часов по обыкновению явился в кафе Грессо, зная, что там, в задней комнате, встречу почти всю эмиграцию.

— Читали, читали твою статью во «Вперед»! — воскликнул Жуковский, едва я показался.

— Разве помещена? — спросил я с так искусно сделанным равнодушием, что никто даже и заподозрить не мог, что вся моя душа прыгала от радости.

— Ну, конечно! — ответил Жуковский. — Они рады! Только, что же ты изменяешь своим? Ты написал для них, чужих, много больше и лучше, чем для нас, своих! Почему ты раньше не показал своей статьи нам? Мы бы ее ни в каком случае не упустили для «Вперед»!

Я сразу вспомнил, как при окончании этой моей статьи мне прежде всего именно и пришлось в голову дать ее им для поправок, как опытным друзьям, но какой-то внутренний инстинкт подсказал мне: ни за что не делай этого! Они хорошо поправят тебе все, но только запретят сотрудничать во «Вперед» под страхом ссоры с ними, потому что они сами туда не пишут, считая его чужим органом! А когда ты сам все сделаешь, они сразу поймут, что упреки уже ничему не помогут, и потому не будут угрожать ссорой.

«Как инстинкт не обманул меня!» — подумалось мне.

— Только напрасно, — сказал Ралли, словно подчеркивая справедливость моих мыслей, — ты путаешься с лавристами, это не настоящие социалисты, они признают государство.

— Да, — ответил я, — но они признают республиканскую социалистическую демократию.

— Республика для нас хуже монархии, — желчно ответил Ралли. — Вот здесь, в Швейцарии — республика, а в ней для социалистов хуже, чем в России. Буржуазия здесь так втерла

очки в глаза народу своей призрачной «гражданской свободой» и так одурачила его всеобщим избирательным правом, что швейцарские крестьяне и рабочие менее чем кто бы то ни было в остальном мире сочувствуют идеалам социализма! Избави бог Россию от парламента или республики! Нет, пусть лучше остается абсолютная монархия!

Мне вдруг захотелось почесать свою спину, на которой еще, казалось, сидела всей своей тяжестью эта абсолютная монархия, но я уже знал, что спорить об этом с моими здешними друзьями можно было лишь с целью дать упражнение своим голосовым органам, так как они все равно остались бы при своем прежнем мнении.

А теперь мне менее чем когда бы то ни было хотелось спорить. Меня охватило страстное желание прочесть свою статью во «Вперед», и я весь был, кроме того, полон радости оттого, что ожидаемая баня за ее помещение в «чужом органе» оказалась не так горяча, как я боялся. Номер «Вперед» лежал тут же на столе, очевидно, лишь сейчас прочитанный.

Как-то напечатана в нем моя статья? Может быть, в самом конце, мелким шрифтом? Может быть, только цитирована в извлечении в хронике?

Для человека, печатающегося впервые, все кажется таким важным, таким существенным, вплоть до того, красивыми ли крупными буквами напечатано заглавие или простыми, тонкими.

Я развернул номер и — о восторг! Она была напечатана вслед за руководящими статьями редакции в самой середине журнала, и заголовок «Даниловское дело» ясно вырисовывался вверху страницы. Я сразу увидел, что она была помещена анонимно, как и все остальные статьи, что слово «я» заменено в ней моей фамилией, и все, что я говорил о себе лично, поставлено в третьем лице.

Я выдержал характер и, бегло взглянув на номер, сейчас же присоединился к общему разговору, как будто считая его несравненно важнее и интереснее, чем моя статья. Но думаю, что глаза мои все же особенно блеснули от удовольствия, и я весь сгорал от нетерпения скорее остаться одному.

От последовавших затем дополнительных упреков своих друзей я защитился тем, что, мол, сам не придавал этой статье большого значения, что поместил ее во «Вперед» только потому, что нет другого революционного журнала для интеллигенции, а между тем мне хотелось ознакомить молодежь в России со всеми обстоятельствами арестов и обысков в Даниловском уезде, так как «Вперед» в России все читают.

Несколько успокоив своим притворным равнодушием рев-

ность своих товарищей (потому что я ничем другим не мог объяснить эмигрантскую нетерпимость и фракционность, как этим чувством), я посидел с ними еще томительных полчаса, переведя разговор на принципиальные предметы. Воспользовавшись затем моментом их горячего спора, когда никто не обращал на меня более внимания, я побежал к себе в отель дю-Нор, захватив потихоньку и лежавший номер, чтоб прочитать в нем мою статью наедине и вдоволь налюбоваться ее печатным видом.

Но и в отеле ожидала меня помеха.

Едва я влетел на его первую лестницу, как меня абордировал студент Рождественский, тот самый, который так оригинально обучал здешнего французика-гарсона русскому языку. Мальчик был восприимчив и сделал к этому времени такие успехи, что его совсем невозможно стало слушать. Рождественский подхватил меня перед самыми дверями зала табльдота, в котором был уже сервирован вечерний стол.

— Идемте, идемте скорее! Сюда приехала на неделю жена какого-то петербургского генерала с двумя очень милыми барышнями-дочками.

В отеле дю-Нор, как и во всяком среднем, не особенно дорогом отеле, где нет чванства, было обыкновение тотчас же знакомиться со всеми за табльдотом, за общим завтраком и обедом, и говорить обо всем, как будто бы вы были давно знакомы. Здесь при разговорах соседей, часто соотечественников, слышались все европейские языки, хотя при более или менее общих собеседованиях сейчас же переходили на французский.

Дамы, отпив полстакана своих пишолетов (полубутылок) обычного белого или красного вина, подставляли их затем тому из мужчин, кто им в данный день особенно нравился, а некоторые дамы всегда оказывали предпочтение тому или другому. Так, у Рождественского были две приятельницы, у меня же четыре, и, благодаря этому, прибор мой к концу обеда оказывался обставленным по крайней мере пятью бутылками, словно я был завзятый пьяница. Гарсоны и мадмуазель держались с приезжими почтительно, но без подобострастия, и если кто-нибудь им нравился, то во время обеда становились у него за стулом и в отсутствие общего разговора, в который никогда не вмешивались, сообщали ему ту или другую новость.

Все это было очень мило, но в данном случае от такой фамилярности вдруг появилось большое неудобство для Рождественского. Едва лишь генеральша со своими дочками-институтками, раскланявшись с публикой, села на свое место, как гарсон, желая похвастаться перед русскими барышнями своим знанием русского языка, стал за стулом Рождественского и

отчетливо среди наступившего молчания сказал ему с самым почтительным видом:

— Понос!

Барышни и их мамаша, словно по команде, разом вскинули на него глаза, но сейчас же, вспыхнув, опустили их в свои тарелки.

Рождественский мгновенно покраснел, как рак, до самых ушей, и, не зная, что сделать, чтобы перевести разговор на другой предмет, попросил гарсона рассказать об уличном столкновении между старокатоликами и новокатоликами, свидетелем которого тот был.

Гарсон обрадовался приглашению вступить в общий разговор и сейчас же начал рассказывать, как недавно появившиеся в Женеве новокатолики хотели крестить младенца по новому обряду, а местный патер распространил между своими старокатоликами слух, что во время крещения выскочит из-под земли сатана и унесет младенца с грохотом в преисподнюю. Жадные до таких эффектных зрелищ старокатолики сбежались толпами в церковь и на площадь кругом нее, чтобы посмотреть на сатану. Но сатана не явился. Старокатолики так рассердились за это на младенца и его родных, что начали швырять в их уезжающую карету камнями и побили в ней стекла. Произошла общая свалка, в которой нашего гарсона побила и та и другая сторона за то, что он не знал, к которой ему присоединиться.

Все это было очень интересно и комически рассказано им, но пересыпано в промежутках между французскими фразами, разными «русскими словцами», с которыми он в виде «общепринятых в России форм русской вежливости», обращался то к барышням, то ко мне, но чаще всего к самому Рождественскому и закончил свой рассказ восклицанием:

— О клистирная трубка!

Для сидевших здесь иностранцев весь его русский репертуар, конечно, пропал даром, но для нас его русские вставки выходили по временам так неожиданно эффектны, что мы готовы были то провалиться сквозь землю, то лопнуть от смеха, и даже барышни с мамашей, уже на половине рассказа догадавшиеся, в чем дело, искусали себе до крови губы или ерзали на своих стульях, как будто в них торчали гвозди. Так мы и разошлись в этот вечер с большой сенсацией. Рождественский, совсем сконфуженный, не знал, что делать, и обратился ко мне за помощью.

— Да расскажите же скорее сами гарсону, что вы над ним подшутили! — посоветовал я ему.

— Как же я расскажу? Мальчик совсем обидится на меня.

— Но еще больше он обидится, если его предупредит эта дама.

В нетерпении прочесть поскорее свою первую, печатную, настоящую статью, для которой окружающие, как будто сговорясь, не давали мне ни минуты времени, я хотел бросить Рождественского и идти к себе в номер. Но он от меня не отставал, чувствуя, что попал совсем в безвыходное положение, и вошел вслед за мной. Он был так жалок, что мне пришлось придумывать с ним способы наилучшего выхода, хотя мои ноги все время конвульсивно переставлялись с места на место под столом от нетерпения. Однако узел скоро развязался сам собой. В мою комнату вошел, постучавшись, сам гарсон, чтобы приготовить на ночь постель, но тоже весь сконфуженный и чуть не плачущий. Увидев у меня Рождественского, он отвернул от него голову и стал молча убирать кровать.

— Что они вам сказали? — спросил я его, сразу догадавшись в чем дело.

— Господин Рождественский все время насмеялся надо мной, — тихо ответил он мне.

Рождественский начал оправдываться, но обиженный гарсон не отвечал и сейчас же вышел вон. Рождественский поспешил вслед за ним, и я, наконец, остался один, свободный прочесть свое произведение в печати, в самом «Вперед»!

Каждая моя фраза, казалось мне, приняла теперь какой-то новый, даже глубокий смысл. Словно это писал не я, а кто-то другой, несравненно более умный... Но вот пропущена вся моя бытовая характеристика народа в этой местности!.. Все мое очарование сразу пропало! Мне показалось, что между предыдущим и последующим в моей статье потерялась необходимая связь, и всякий должен это заметить. Статья моя испорчена, искалечена! Тут пропущено почти столько же, сколько напечатано! Статья сократилась вдвое! Я начал читать ее снова, желая стать на точку зрения постороннего читателя, который совсем не знает, что здесь у меня было.

Но нет! Я не мог войти в положение человека, ничего не знающего о данном месте. Недосток связи мне казался очевидным. На следующий день, чтобы проверить свое впечатление, я обратился к Жуковскому, как, несомненно, обладающему литературным вкусом.

— Скажи, Жу, тебе показалось при чтении, что в середине моей статьи чего-то недостает?

— Нет! — ответил он. — А что? Выбросили что-нибудь? Это они всегда! Где выпустили и что?

— Определи! — сказал я ему.

Он взял из моих рук номер, пробежал глазами статью раз, потом еще и, наконец, сказал:

— Не знаю. Мне кажется, все сказано.

— Ну, а не лучше ли вышла бы статья, если б вот тут дана была характеристика той местности и ее народа?

И я рассказал ему содержание выпущенного.

— Да, пожалуй,— ответил он равнодушным тоном.— Не помешало бы, но это, действительно, несущественно.

Я несколько утешился, и когда в тот день в пятый или седьмой раз перечитывал свою статью, мне и самому стало казаться, что она вообще ничего особенно не потеряла от пропуска и только стала короче...

Впоследствии, при своей редакторской деятельности в «Земле и воле» и в «Народной воле», я не раз убеждался, что и все другие начинающие авторы так же ревниво относятся ко всяким сокращениям. И им кажется, что правильное течение их мысли нарушено, и статья испорчена. А для читателя, ничего не подозревающего о выпусках, все кажется вполне связным.

Только после долгой литературной практики привыкаешь и сам объективно относиться к своему произведению.

7. На крайнем пределе последовательности

— Не можешь ли ты сказать Шебунам, что у меня совсем вышли деньги? Я не говорю о возвращении сразу всего, но, может, у них найдется сколько-нибудь? — сказал я в нашей типографии Гольденбергу месяца через два моей жизни в Женеве, когда у меня окончился последний франк.

— А почему ты сам не хочешь поговорить с ними? — ответил он мне.

— Да они явно избегают меня уже полтора месяца.

— Со времени разговора об их стихотворении?

— Нет! Когда я сам принес им его в отдельном издании, они примирились со мной. Кроме того, несмотря на все мои уверения в противном, они убеждены, что отверг его для журнала не я, а Ралли, что он только по ехидству действовал через меня, очернив в моих глазах такую прекрасную вещь. Они начали бегать от меня лишь после того, как прошел день, в который они обещали мне отдать деньги.

— Хорошо! — сказал он.— Это действительно лучше сделать мне.

И он пошел к Шебунам.

Я остался набирать новую статью для «Работника», опять свою собственную, но она мне очень не нравилась, и не без при-

чины. Благодаря полному недостатку корреспонденций из России меня заставили на этот раз описать Шиповский винокуренный завод в Костромской губернии. Я на нем никогда не работал, а только жил рядом с ним недели две под видом лесного пильщика дров. Я знал только внешность завода, а меня заставляли описать и внутренность, говоря, что она везде одна и та же, и рассказав мне о ней приблизительно. Затем мне пришлось описать и самих рабочих на основании образов, нарисованных Некрасовым в его народнических стихотворениях:

Руки иссохшие, веки опавшие,
Язвы на тощих ногах,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухшие, колтун в волосах...³⁴

Товарищи мои по редакции так пристали ко мне, говоря, будто иначе не выйдет нового номера, что я согласился. Впрочем я и сам был настолько проникнут некрасовскими образами, что уже не отличал воображаемого от действительного. Конечно, у меня и тогда были свои собственные глаза. Раз, чтобы проверить описания наших журналов, я нарочно отправился смотреть на выход рабочих с фабрик в Москве, а потом и с самого Шиповского завода. Я видел толпу веселых или серьезных людей, нередко очень симпатичного и здорового вида, а никак не собрание калек, ползущих, словно из больницы, еле держась на ногах. Я находил, что общие описания рабочих, как вечно голодных и подавленных нуждою людей, не соответствуют действительности, хотя отдельные факты, приводимые в доказательство этого, и были все верны, но что главная их бедность есть нищета умственная, обусловленная недостатком образования...

И однако же,— таково влияние на очень молодые головы окружающей их среды с ее ходячими мнениями и их собственного воображения,— я не только изобразил в своей статье некрасовские тощие фигуры рабочих, но и был убежден, что писал правду, что такие на Шиповском заводе действительно есть. Я был недоволен собою главным образом за то, что не догадался тогда же, на заводе, их отыскать и рассмотреть, и потому жалел лишь об одном, что статья моя не жизненно правдива, а составлена как компиляция из чужих наблюдений и описаний.

Не того я ждал от своей новой деятельности! Я ждал, что мы здесь будем писать только руководящие статьи, а факты нам будут доставлять оттуда, из глубины России. А от туда а ничего не было.

Мои размышления были прерваны возвратившимся Гольденбергом.

— Ну, брат, ничего не вышло! На мою просьбу возвратить тебе часть денег оба ответили: «Не одному Морозову хочется есть!» и далее не хотели даже и рассуждать. А когда я стал упрекать их, что они нехорошо сделали, налетев на тебя в первый день приезда, они оба так наскочили на меня с двух сторон, что я едва унес ноги.

— Ну, пустяки,— сказал я.— Действительно правда, что и им тоже хочется есть. Если б они тогда мне так и сказали, то я, конечно, поделился бы с ними. Нехорошо только клятвенное обещание отдать к данному сроку, когда они знали, что берут безвозвратно. Ведь я даже не спросил у них никакого срока, зачем же было самим назначать его?

— Чтоб избавить себя от необходимости поблагодарить тебя,— ответил он.— Все это внешнее мелочное самолюбие. Они мне не понравились с самого начала.

— Знаешь что? — сказал я ему.— Мне теперь нельзя более жить в отеле дю-Нор, мне надо свести свои траты к минимуму. Я не могу просить у нашего общества в Петербурге присылки новых денег, так как сам отдал их другим. Точно так же я не получу ничего и от отца. Я сообщил ему заказным письмом сейчас же по приезде, что я теперь политический эмигрант в Женеве, и спрашивал его, думает ли он поддерживать со мною сношения и может ли сообщать мне о матери и родных, но никакого ответа не получил. Очевидно, отец боится или не хочет переписываться со мной.

— Но где же ты думаешь жить?

— А здесь, в типографии,— ответил я.

Гольденберг с изумлением посмотрел по всем углам, где ничего не было, кроме типографских касс и макулатуры, т. е. куч испорченных при печатании листов бумаги, и сказал:

— Но здесь нет ни кровати, ни стульев, никакой мебели, и квартира без печек.

— Пустяки! В народе я ночевал и в снегу. Здесь мне будет очень хорошо. Мне даже это нравится несравненно больше, чем гостиница. Из этих макулатурных листов я сделаю себе постель, кучу их положу в виде подушки, остальными листами покроюсь, как одеялом, а поверх них положу свое пальто.

По мере того как я говорил, воображение мое разыгрывалось все сильнее и сильнее. Природная склонность к романтизму говорила мне: да ведь это и действительно очень хорошо! Представь себе только: днем ты пишешь статьи на этом подоконнике, сам же набираешь их в этих кассах, потом идешь читать книги под ивами на островок Руссо, участвуешь в собраниях эмигрантов, а ночью спишь, весь обернутый листами рево-

люционных изданий! Разве это не значит жить, как истинный революционер, отказавшийся для осуществления гражданской свободы, равенства и братства от всего личного?

И действительно, несмотря на уговоры Гольденберга и приехавшего к этому времени в Женеву Саблина, обещавшего добыть для меня денег, я переселился в типографию.

Оказалось, что жить таким образом действительно было совсем удобно. Несмотря на наступившее зимнее время, понижавшее температуру комнат иногда до пяти-шести градусов Цельсия, так что трудно было наборщикам работать в типографии, мне было совсем тепло под рыхлой кучей больших типографских листов. Я их клал на себя слоями вместо одеяла, и у меня не было в это время никакой собственности, кроме находившегося на мне верхнего платья, обуви и двух перемен белья, из которых я носил одну, а другая в это время отдавалась в стирку.

Все мои мелкие вещи я имел обыкновение носить с собою в повешенной через плечо сумке, подаренной мне Верой Фигнер, тогдашней бернской студенткой, приехавшей на несколько дней в Женеву еще в то время, когда я жил в отеле дю-Нор, и подружившейся со мною. Она произвела на меня очень яркое впечатление с первого же дня нашего знакомства: я почти влюбился в нее.

Она приехала в один прекрасный вечер прямо ко мне в отель дю-Нор вместе с Саблиным и Грибоедовым, нарочно, чтобы познакомиться со мною. Я был страшно рад увидеть вдруг входящих в мою комнату товарищей моего пути. Их молодая спутница показалась мне по причине своего маленького роста почти девочкой, и я с большим удивлением узнал, что она замужняя, но после нескольких месяцев жизни рассталась со своим мужем для того, чтобы учиться в иностранном университете. Тогда еще не было высших научных курсов для женщин в России.

Передо мною в лице Веры предстала одна из первых провозвестниц нового высшего типа женщины, и это сразу чувствовалось. Вдумчиво смотрели на нас ее большие карие блестящие глаза, когда мы говорили о философских и общественных вопросах, и ее замечания показывали, что все это запечатлевалось в ее изящной, напоминавшей мне что-то итальянское, головке и потом подвергалось переработке. Я передал ей часть своих впечатлений в народе, она мне — свои затруднения.

— Почти все самые близкие мои подруги из бернских курсисток недавно уехали в Россию, чтобы поступить работницами на фабрики и вести пропаганду социалистических идей среди рабочих. Но я не могла решиться поехать с ними, хотя мне и очень хотелось.

— Почему? — спросил я.

— Меня слишком влечет к себе наука. Притом же, не думаете ли вы, что прежде всего нужно быть последовательным, доводить до конца то, что начато, а не метаться от одного недоконченного дела к другому?

— Конечно, иначе ничего не сделаешь.

— Так думаю и я. Мы поехали сюда учиться. Если мы теперь побросаем науку на середине курса и если из сотен девиц, поступивших в недавно открытые для нас швейцарские университеты, окончат лишь единицы, то не дадим ли мы право нашим врагам говорить: опыт показал, что женщины непригодны и неспособны к высшему образованию. Вот главная причина, почему я теперь не уехала. Я начала одно дело и не должна его бросать для другого, хотя бы и более важного, пока не окончу первого. Иначе я не буду уверена, что не брошу и второго дела для третьего, которое вдруг окажется в моих глазах еще более важным.

Как хорошо я понимал все это! Мне казалось, что между нами обнаруживалось полное сродство душ. Я одобрил ее желание последовательности, мне не хотелось отвлекать от науки ее жаждущую душу, но в глубине души я чувствовал, что душная русская жизнь представит и ей свои требования. И она пойдет на жертву искупления, как пошел и я несколько месяцев назад.

Да, я уже знал это, между тем как она, очевидно, еще ничего не подозревала, хотя и была немножко старше меня по возрасту. И это знание заставляло меня сразу особенно нежно отнестись к ней и не уговаривать ее ехать за своими подругами в Россию.

Так никогда не уговаривал я и тех, кто стремился в народ для политического заговора. Я чувствовал, что эти юные, любящие все человечество души по самой своей природе и по условиям своего мирозерцания прежде всего неудержимо пойдут по заветам любви к простым людям. К концу этого периода своей жизни из разговоров со всеми товарищами я уже окончательно убедился в том, что ни они сами, ни преследующий их абсолютизм совершенно не подозревали, что повальное движение того времени учащейся молодежи в народ возникло не под влиянием западного социализма, а что главным рычагом его была народническая поэзия Некрасова, которой все зачитывались в переходном юношеском возрасте, дающем наиболее сильные впечатления.

Когда я высказывал это в Женеве товарищам, ходившим в народ, они почти все отвергали это. Многие говорили, что на них подействовала та или другая из тогдашних социалистических

книг, тот или другой человек, которого они уважали. Все это было, конечно, верно с формальной точки зрения, но само-то указываемые мне источники почему-то всегда рисовали народ именно в некрасовских образах, т. е. в односторонне подобранных, хотя и правдивых типах. Почему эти идеи так легко прививались только тогда, в расцвет некрасовской поэзии? Не потому ли, что душа молодых поколений уже была подготовлена к ним Некрасовым с ранней юности, уже напилась из его первоисточника?

Велико могущество истинной поэзии и романа на общество, оно много больше влияния самых лучших общественных трактатов.

Прочитав трактат, большинство даже очень интеллигентных людей через неделю не может рассказать его содержание, а поэтические образы и выражения надолго выгравировываются в памяти каждого. Некрасов же был великий поэт, его образы были могучи.

Еще в то время я чувствовал инстинктом его таинственное влияние, чувствовал, что благодаря ему движение должно и далее идти в этом направлении, но привести в результате не ко всеобщему опрощению и торжеству безграмотности, а к борьбе с абсолютизмом, который по самой своей природе должен был противодействовать сближению интеллигенции с широкими слоями населения.

Общественная эволюция стала представляться мне результатом действия различных прогрессивных и реакционных течений в человеческом обществе.

«Не та сила, — думалось мне, — наиболее содействует эволюции общества, которая, на мой взгляд, ортодоксальна, прямолинейна. Помните ли вы параллелограмм сил, о котором когда-то учили в физике? Прямо направленная сила, но вялая и слабая, меньше будет содействовать движению вперед, чем две кривых, но могучих, энергичных, дающих равнодействующую в нужном направлении, да и одна кривая могучая сила хоть и отклонит движение в сторону, но даст большую слагающую по желаемому направлению, т. е. подвинет общество в этом направлении больше, чем прямая, но вялая. Увлекающаяся ласточка даже кругами и зигзагами скорее долетит до цели, чем мудрая улитка, взвесив все шансы за и против, доползет до нее прямым путем».

Вот почему я ни тогда, ни потом не мог враждебно относиться ни к одному из существовавших тогда течений: ни к легальным либералам, ни к анархистам, ни к лавристам. Все эти течения представлялись мне вырабатываемыми самой жизнью, как и я сам был ее продуктом. Во многом либералы казались мне логичнее наших тогдашних социалистов; я и сам ставил, как

они, ближайшей целью гражданскую свободу, а не передел имущества, но я сознательно шел с социалистами, потому что тогдашние либералы были вялы, неспособны прямо бросаться на штурм врага, не щадя своей жизни.

«Прямая, но слабая партия,— определял я ее; — не стóит идти с нею. А вот социалисты и наши радикалы — это совсем другого подбора. Хотя их теперешнее течение во имя опрощения и идет значительно вкось от того направления, по которому фактически должна направиться русская жизнь, но благодаря своему героизму, своей энергии и самопожертвованию, они в сотни раз сильнее двинут ее даже и по пути к гражданской свободе, чем те вялые люди. Я пойду с идущими в народ, как их сознательный и верный союзник, хотя в теоретическом отношении те (либералы) и кажутся мне последовательнее в своей идеологии».

Так я и делал тогда, никогда не полемизируя ни с одной из прогрессивных партий, никогда не подчеркивая их «разногласий», а всегда ставя на вид то основное, в чем они «согласны». Я полемизировал только с реакционными партиями, да и то редко, считая, что гораздо полезнее развивать свою собственную теорию, чем опровергать чужие.

Я старался всеми силами ума выработать себе отчетливое представление о будущем социалистическом и анархическом строе и, главное, о более естественных, легких и гуманных способах перехода к ним от настоящих междучеловеческих отношений.

Тот же самый параллелограмм сил, приложенный мною из физики к общественной жизни, показывал мне, что не всякая сила, направленная вперед, действительна и ведет общество вперед.

— Тяни вперед груз,— говорил я сам себе,— через веревку, перекинутую через зацепку, и ты увидишь, что он пойдет в обратном направлении: чем больше ты будешь тянуть вперед, тем далее отодвинешь груз назад, пока не уничтожишь зацепки. А в сложности общественных отношений часто наткнешься на такие явления.

Яркий пример этому давала мне сама история нашей пропаганды в Даниловском уезде. Бюрократия несомненно думала, что, гоняясь за нами в народе, она противодействует распространению в нем наших идей, а на деле она сама в сотни раз сильнее распространяла их, делая явным то, что мы могли говорить только тайно.

Точно так же и наоборот. Часто такие невидимые общественные зацепки превращают и прогрессивные силы в реакцион-

ные. Мне вспоминалось, как мы прошлым летом не дали посланнику Войнаральского фосфору для поджога леса у саратовского помещика с целью возбуждения к бунту соседних с ним крестьян, у которых помещик получил лес судом. Теперь я был рад, что им отказали, потому что я и здесь увидел тоже социальную зацепку, т. е. наличность общественных условий, которые превращают сейчас же всякий аграрный террор, хотя бы начатый и с прогрессивными целями, в силу реакционную.

«Путем оружия,— пришел я, наконец, к выводу,— можно добывать только гражданскую свободу, а переделывать или уравнивать нажитое добро можно только законодательным путем и не ранее достижения и упрочения республики».

8. В Интернационале

Так я мечтал, бездомный гражданин свободного человечества, пробуждаясь ранним утром от сна на полу нашей эмигрантской типографии и наблюдая странный вид ее наборных касс, когда смотришь на них с полу, снизу вверх.

Под моей головой, вместо подушки, был по-прежнему сверток из листов революционных изданий, под моим боком постель из них же, а надо мной целый ворох того же самого материала вместо одеяла. Рядом, в саквояжке, подаренном мне Верой Фигнер, лежало все мое имущество. Как ранее, скрываясь в России, я спал в сене, на сеновалах, так и здесь — в листах типографской бумаги. И чем далее я так жил, тем более нравилось мне это, и не хотелось возвращаться в обычную обстановку квартир с мебелью.

Приехав из своего Берна в Женеву в следующий раз и увидев меня с подаренной ею сумкой, Вера Фигнер назвала меня — *omnia tua tecum porto* (все мое ношу с собою), но это латинское название не привилось ко мне по причине своей длины. Более удачным казалось публике имя, данное мне известным парижским коммунаром Лефрансэ. Он очень полюбил меня с первых дней знакомства и при виде меня всегда восклицал:

Ah, le voyageur éternel! (А, вечный путник!).

Так меня и называли до самого конца моей эмигрантской жизни.

В это время я очень двинулся вперед.

Раз (еще раньше того, как была напечатана моя первая статья во «Вперед») я пришел в кафе Грессо, когда вся эмигрантская компания была занята чтением только что полученного номера этого самого издания от 1 февраля 1875 года. При виде меня все в один голос закричали:

— А вот и он сам!

— Что случилось? — спросил я.

— А то, — ответил улыбаясь Жуковский, — что ты оказываешься таким опасным революционером, каким при взгляде на тебя едва ли можно было даже и ожидать.

— В чем же дело?

— Да вот тут, во «Вперед», напечатан список нескольких десятков самых опасных русских заговорщиков, тайно разосланный правительством по всем полицейским учреждениям Русской империи для усиленного розыска и препровождения в крепость. И в числе их находишься ты, поименованный полностью и со всеми твоими приметам. Он протянул мне номер.

Там, вместе с Кравчинским, Клеменцем и другими главными революционными деятелями, находился и я.

«Роста высокого, лицо круглое, бледное, с тонкими чертами, борода и усы едва заметны, носит очки», — прочел я свои приметы на указанных мне Жуковским строках.

Я сразу заметил, как сильно возвысило меня это обстоятельство в глазах товарищей. Многие теперь смотрели на меня так, как если б это был совсем и не я, а какое-то очень важное лицо, жившее до сих пор между ними инкогнито и только теперь обнаруженное. Я сам в глубине души очень гордился, видя себя в таком списке. Но вскоре моя гордость еще возросла.

— Хочешь, — сказал мне Гольденберг на другой день, — тебя выберут членом Интернационала в его центральную секцию?

У меня дух захватило от счастья. Интернационал! Международная ассоциация революционных рабочих! Он гремел в то время на всю Европу, и в нем все европейское общество видело силу, долженствующую разрушить все монархии в мире и водворить царство всеобщего труда. Одни его боялись, другие призывали. Я с гимназической скамьи благоговел перед ним. И вот теперь меня предлагают туда!

— Конечно, хочу! — отвечал я Гольденбергу, — но только примут ли?

— Можешь быть спокоен: тебя предлагает сам председатель, Лефрансэ, в Section de la commune de Paris (в секцию Парижской коммуны). Это центральная секция федералистического Интернационала.

— Знаю. Но только как же? Ведь я не участвовал в восстании Парижской коммуны?

— Это все равно. Там, кроме коммунаров, есть и посторонние, там и я состою секретарем.

Итак, я получу звание парижского коммунара, как эти удивительные герои баррикад!

Я уже не раз бывал в качестве гостя на собраниях секции Парижской коммуны, происходивших в отдельном флигеле одного из женевских ресторанов. Флигель этот был в небольшом садике за рестораном. Особенным авторитетом пользовался там именно Лефрансэ, очень друживший с русскими эмигрантами. Он был одним из главных предводителей Парижской коммуны и в то же время очень простым, симпатичным человеком. Рассказывали, что версальские усмирители расстреляли трех человек, походивших на него, по указанию шпионов, и за его голову была назначена премия.

Из остальных тогдашних коммунаров особенно выдавался своим красноречием Шалэн, высокий, красивый блондин с эспаньолкой. Он всегда приводил в восторг русских студенток, посещавших собрания, необыкновенной «пылкостью своих убеждений», но вызывал улыбки у своих товарищей. Они все подметили, что Шалэн спорит горячо только в присутствии женского пола, а иначе все время молчит. Остальные члены секции представляли пеструю толпу более или менее симпатичных людей без особых признаков и отметок как наружных, так и внутренних. Был здесь даже и рабочий поэт, писавший французские песни и сам певший их мне не раз. Из них я помню теперь только одну, в которой узник-коммунар поет через решетку своему часовому:

Sentinell-e
Sentinell-el
La république universell-e
A pour ses droits quarante vengeurs!

(Часовой! Часовой! У всеобщей республики есть сорок мстителей!).

Почему здесь было обозначено именно сорок человек (у нас в секции было больше народа), так и оставалось неизвестным, но песня по музыкальности своей композиции была действительно очень эффектна, и мы, эмигранты, не раз пели ее хором вместе с ним.

В члены этой знаменитой секции был предложен вместе со мною также и Саблин и еще один русский эмигрант, Лисовский, бывший студент-технолог, но сильно спившийся к этому времени от тоски по родине.

Я живо помню собрание, в котором нас выбирали.

Мы все трое пришли к началу заседания в качестве простых гостей.

Секретарь Гольденберг прочел своим ломаным французским языком протокол предыдущего собрания, где слово valeur (цен-

ность) произнес как voleur (вор), чем вызвал всеобщий веселый смех. Потом, как только протокол был утвержден, председатель Лефрансэ предложил в члены секции меня, Саблина и Лисовского и вслед за тем любезно попросил всю постороннюю публику удалиться, чтоб дать собранию возможность свободно обсудить вопрос. Мы трое тоже удалились вместе с публикой, и двери замкнулись за нами на замок. Закрытое заседание продолжалось около получаса, но это время мне показалось вечностью.

«А вдруг отвергнут меня как недостойного, — думалось мне. — Какой будет стыд и огорчение!»

Саблин и Лисовский тоже явно волновались. Для виду мы отпивали глоток за глотком из спрошенных нами у гарсона трех кружек пива.

Но вот отворились двери, и Гольденберг объявил публике:

— Господа! Вы можете войти. Морозов и Саблин приняты, Лисовский нет.

Порыв радости за себя сейчас же сменился у меня сердечной спазмой жалости к забаллотированному Лисовскому, который стал весь мертвенно бледен и смотрел в свою кружку пива, не поднимая глаз.

Я сильно пожал ему руку и пошел вместе с Саблиным обратно в зал — теперь уже полноправный член «Великой международной ассоциации рабочих».

Я сел рядом с Саблиным на свою скамью. Мы выслушали, поднявшись, приветственную речь к нам председателя Лефрансэ, на которую я ответил тремя словами: *Merci de tout notre cœur!* *

И сел обратно, не зная, что сказать далее, среди рукоплесканий всех присутствовавших. Я мог в это время, как и всегда потом, вести на французском языке только разговоры в вопросах и ответах, но речи, даже коротенькие, мне приходилось готовить заранее и заучивать по написанному, чтоб не выходило смехотворных словесных сюрпризов, как у Гольденберга.

На следующий день я получил и свой диплом. Это была карманная книжка вроде наших современных паспортов. На первой ее странице было написано по-французски: *Membre de l'Internationale Nicolas Morosoff, forgeron* (член Интернационала Николай Морозов, кузнец).

Звание кузнеца было здесь прибавлено потому, что при хождении в народ я работал месяц в деревенской кузнице, а для членов секции было обязательно, кроме интеллигентных родов труда, иметь еще и какое-нибудь ремесло.

* Благодарим от всего сердца!

Внизу была оттиснута огромная печать с круговой надписью: Association internationale des ouvriers (Международная ассоциация рабочих). А внутри был равносторонний треугольник, по сторонам которого стояли слова девиза: Liberté, égalité, solidarité. Внизу страницы были подписи президента Лефрансэ и секретаря Гольденберга, а далее в книжке находились отпечатанные мелким шрифтом статуты Интернационала с правами и обязанностями его членов.

Я побежал на свой любимый островок Руссо и там у подножия его памятника с восторгом перечитывал свое имя, написанное в этой печатной книжке крупным красивым почерком. Я без конца рассматривал круглую печать с треугольником посредине, перечитывал статуты и готов был положить жизнь за это общество, так приветливо принявшее меня в свое лоно.

Мне казалось, что я стал вдруг другим, лучшим человеком.

Но вот я вновь вспомнил о неприянтом Лисовском, и мое сердце облилось кровью.

«Зачем,— думал я,— было предлагать человека, не убедившись заранее, что его примут? Ведь это же безжалостно!»

Я побежал к нему на квартиру, чтоб как-нибудь поделикатнее утешить, успокоить его. Он только что встал, явно помятый от бессонной ночи, и, не ожидая моих успокоений, встретил меня раздражительно словами:

— Это все интриги Гольденберга, я знаю!

— Но причем же тут Гольденберг? — вспомнил я с недоумением. — Ведь это не он предлагал вас, а Жуковский по вашей же просьбе.

— Оба одна шайка! — и он вдруг вывалил передо мной целый короб эмигрантских дряг, существования которых я и не подозревал.

Все это были личные мелочи, уколы самолюбия, способные возникнуть только среди нервно настроенных и болезненно восприимчивых людей. Они могли действовать только на душевнобольных, какими в сущности и было большинство эмигрантов, оторванных от своей родной страны и не примкнувших к чужой, лишенных какого-либо дела, кроме споров, основной пружиной которых стало уже не искание истины, а только желание настоять на своем, оставить за собой последнее слово в споре. Я уже давно знал эти споры в кафе Грессо и зале собраний, и они напоминали мне петушинные бои³⁵.

Не привыкший у себя на родине к публичным состязаниям, я в первый раз был просто поражен красноречием спорщиков и их находчивостью. Особенно Жуковский поразил меня остроумием и продолжительностью своей речи на первом посещенном

мною эмигрантском митинге в присутствии женевских студенток и студентов. Во второй раз впечатление было уже слабее, потому что он многое повторил, хотя и в другом порядке, из первой речи. А при третьем, четвертом, пятом и т. д. его выступлениях я уже не слышал ничего нового. У каждого оратора, как я увидел очень скоро, был свой ограниченный репертуар идей и усвоенных эффектных выражений, как старая засаленная колода карт.

Этот репертуар только перетасовывался на новый лад по любому поводу или из него бралась подходящая часть с импровизированным началом и концом или с незначительными вариациями. И это прекрасно служило для своей цели, так как большинство публики быстро забывало отвлеченные выводы и рассуждения, и, когда им предлагали их же, но в другом порядке и в несколько измененной фразеологии, им казалось, что они слышат что-то новое.

У ораторов здесь возникло настоящее чувство ревности, как у многих влюбленных, ухаживающих разом за одной и той же особой. Теоретическое, несмотря на все их усилия, переходило в личности. Начинались шпильки, искание в противнике тех или других недостатков, и таким образом возникла фракционность, которая с оратором переходила и на их личных сторонников. Появлялась так называемая кружковщина, деление на мелкие партии, в борьбе которых между собой совершенно терялась первоначальная великая борьба с реальными врагами света и свободы.

Лисовский не был оратором и даже литератором. В его душе возникали по временам поэтические порывы, и он написал несколько стихотворений с трогательными отдельными куплетами. Несколько месяцев тюрьмы, гибель в ней друзей и собственное бегство за границу разбили его мягкую, но не сильную душу, и из-под оболочки разрушающихся высших психических настроений стали проглядывать по временам долго сдерживаемые ими низшие инстинкты.

Я совершенно не узнал его в это утро. Передо мной был какой-то маньяк, на которого всякая моя попытка успокоения производила совершенно обратное действие. На попытку защищать Гольденберга он, желая восстановить меня против него, начал предупреждать, будто Гольденберг и обо мне за глаза выражается скверно, да и все остальные тоже. Стал даже приводить их собственные фразы, очевидно, беря действительные их выражения, но придавая им посредством легких изменений конструкции и обстоятельств, при которых они сказаны, совершенно обратное значение.

Я ушел от него, как облитый ушатом помоев, и, чтоб немного очухаться, отправился бродить по набережной Женевского озера. День был ясный и слегка морозный. Я ушел на противоположный берег и смотрел на сверкающие под солнечными лучами лазурные волны, на Женеву, на которую падала мгlistая тень поднимающейся прямо за нею до облаков почти отвесной громады Салева.

Я не был склонен к истерии и обидчивости; я знал, что уеду обратно в Россию, «в стан погибающих за великое дело любви», как только мне здесь будет слишком тяжело, и это лучше бромистого натрия успокаивало мои нервы. Мне только страстно захотелось примирить всех эмигрантов. Но что значат слова, когда имеешь дело не с убеждениями, а с нервной болезнью, развившейся от долгой жизни на чужбине? Мне стало больно за свое бессилие.

«Очевидно,— пришел я к заключению,— болезнь эта не в одном Лисовском, а также и в тех наших эмигрантах и членах Интернационала, которые допустили его баллотировку, зная, что будут возражать на закрытом заседании против его принятия».

Я шел все дальше и дальше по берегу, не различая времени. Я миновал последние дома и пошел по загородной дороге, по склону холма, составлявшего северный берег Женевского озера. Там кое-где лежал снег, и из него выглядывали высохшие стебельки цветов. Поломаные ветром, с висящими на них бурными кочьями скомканных листьев, они представляли жалкий вид.

«Неужели это живой образ окружающих меня здесь людей? — думалось мне. Подрастет человек, поцветет, да и высохнет, как эти травы? Ведь вот и те мои друзья имели детство и юность и не так давно цвели полным цветом своей души, невольно хотелось любоваться ими, а теперь что от них осталось после забросившей их сюда общественной непогоды? Неужели так должно быть и со всякими?»

— Нет! Нет! — воскликнул я, даже совсем вслух. — Так вянут только однолетние растения! Есть более могучие, лишь сбрасывающие свою листву зимой, а летом одевающиеся ею снова! А есть и вечнозеленые, хотя они существуют только не в очень суровых климатах.

Мне вспомнились Герцен, Бакунин, Лавров, которые вынесли невредимо столько зим, и на душе моей сразу стало легко и светло.

Я повернул обратно и пошел в Женеву.

9. Перед Монбланом

Тут на мосту через озеро меня встретил приехавший недавно из России талантливый инженер Тверитинов, особенно сочувствовавший анархическим идеалам Бакунина.

— Ужасно рад, что увидел вас! — сказал он мне. — А то я зашел бы за вами в Грессо. Приходите сегодня ко мне на квартиру. У меня соберется учащаяся молодежь, из которой многие хотят с вами познакомиться.

Я очень обрадовался этому. У меня была давно потребность освежиться среди совсем юной молодежи, у которой все еще впереди и нет никакого груза в прошлом, не дающего им свободно двигаться куда хотят.

— В котором часу? Непременно приду! — воскликнул я с искренней радостью.

— Приходите в семь. Вы знаете, в Женеве рано ложатся. — Хорошо!

И мы пошли по мосту в разные стороны.

В назначенное время я прибежал к Тверитинову и застал у него большую компанию. Из пожилых людей там были только двое: генерал Домбровский, сочувственно ходивший иногда в своей туатурке с эполетами на наши эмигрантские собрания, и его жена, очень добродушная и приветливая дама. Они приехали на зиму в Женеву к своей дочке, белокурой симпатичной девушке, студентке Женевского университета, и пришли к Тверитинову с нею тоже специально, чтоб познакомиться со мною. Но это еще не были для меня самые интересные особы из публики, которую я видал в качестве гостей на эмигрантских митингах и заседаниях Интернационала. Здесь были еще три особы, давно обратившие на себя мое внимание.

Когда я не был еще членом Интернационала и приходил на его заседания в качестве гостя, я почти всегда видел там молодое трио из юных девиц, сидевшее обыкновенно как раз против меня на другой стороне залы собрания.

Одна из них — молодая грузинка, которую мне назвали княжной Гурамовой, — была особенно эффектна своей поразительной южной красотой. Ей было не больше семнадцати лет. Среднего роста, с полным бюстом, но тонкой талией, она сидела между подругами и восторженно следила своими большими черными глазами за пылкими речами Шалэна, который, по-видимому, говорил всегда исключительно для нее, хотя они и не были лично знакомы друг с другом.

Вторая из трио была имеретинка Церетелли, высокая, стройная шатенка, с замечательно милой, уменьшкой, приветливой го-

ловкой, а третья была Николадзе, сестра известного грузинского писателя. Она не была красива, но явно играла у них руководящую роль.

И вот все это молодое трио, на которое я часто заглядывался в Интернационале, было здесь представлено в группе молодежи, просившей Тверитинова познакомить меня с нею.

Все тотчас обступили меня и начали расспрашивать о моих приключениях в народе и о выводах, к которым я пришел в результате своей пропаганды. Они с величайшим вниманием слушали мои рассказы.

— Мы все очень сочувствуем этому,— сказала мне Церетелли, когда я окончил первый свой рассказ,— но мы любим также и науку. Для нее мы приехали сюда, и теперь жалко с ней расстаться.

— Да и со мной было то же самое,— ответил я.— Мне тоже очень трудно было расстаться с нею.

— Неужели! — радостно воскликнула она.— Значит, вы не отвергаете науки?

— Ну, конечно, нет.

С этого момента мы сразу стали как будто давнишними друзьями.

— Из нас троих только одна Като,— сказала Церетелли, кивая на Николадзе,— уехала сюда из дома при сочувствии родных. Меня едва-едва пустили, да и то лишь вместе с Като. Мы все три подруги и одновременно кончили курс в Тифлисском институте.

— А я,— сказала Гурамова своим музыкальным голосом.— даже просто убежала из дому, меня ни за что не хотели пускать. Меня пустили проводить их до парохода и не дали заграничного паспорта. Мне было очень горько видеть, как они перешли через мостки, а я осталась на набережной смотреть на них, казавшихся мне такими счастливицами. Но тут вдруг раздался крик: человек упал в воду! Жандармы, стоявшие на мостках и не пропускавшие никого на пароход без заграничных паспортов, бросились вытаскивать его, а я тем временем перебежала через мостки и спряталась в каюте парохода до его отхода. А больше уже нигде не спрашивали паспортов.

Это мне чрезвычайно понравилось.

— А как же вы теперь?

— Из Женевы я сейчас же написала родителям обо всем, и им ничего не осталось делать, как выслать мне по почте паспорт и прислать белье, потому что я убежала лишь в том, что было на мне.

— А упавшего в воду вытащили?

— Да, сейчас же, так что виновник моего пребывания здесь остался цел и невредим.

От этих разговоров с чистосердечной, милой, искренней молодежью на меня как бы повеяло ароматом полевых цветов, как будто кругом меня запели первые жаворонки весны.

Мне вспомнилось утреннее свидание с Лисовским, вспомнились одинокая загородная прогулка и размышления по поводу стебельков засохшей травы, и я воскликнул радостно в глубине своей души:

— Нет-нет! Не все еще завяло на свете! На смену увядающим там цветам вырастают другие.

И я почувствовал душой, что еще сто́ит жить на свете.

— Вы никогда не поднимались на горы? — спросила меня в конце вечера Гурамова.

— Нет! — печально ответил я. — Из эмигрантов никто не ходит в горы, и все мне говорят, что надо подождать весны и что теперь нельзя взобраться даже на Салев. Провалишься в снегу в расселину, и никто не найдет до весны.

— А, может быть, и можно! — воскликнула она. — Попробуйте завтра! Взберетесь, насколько окажется возможным.

— Да, попробуем! — сразу присоединился я к ней, от всего сердца радуясь, что нашел себе, наконец, компаньонов и для путешествий.

Горы уже давно непреодолимо влекли меня к себе.

В следующий же день, едва настало утро, я вышел вместе с этими тремя восхитительными девушками из предместьев Женевы к подножию возвышающегося над нею Салева. Они, как истинные горянки, проводшие детство в кавказских долинах, очень любили природу.

— Побежимте! — воскликнула Церетелли. — Здесь никто не смотрит на нас!

И мы все пустились наперегонки, пока у более слабой Като Николадзе не захватило духа до такой степени, что она, наконец, села на камень.

Все выше и выше поднимались мы по крутой тропинке, на которой снег был почти очищен бушевавшими ветрами. Мы находились на северном, теневом склоне горы, и солнце было закрыто ее вершиною, хотя внизу, за пределами ее гигантской тени, яркие лучи заливали все огромное голубое пространство Женевского озера, ближайшие заливы которого вместе с вытекающей из него лентой Роны стали вырисовываться, как на карте, перед нашими глазами. Город был далеко внизу, словно на плане, и его высокие здания как будто прижались к поверхности земли.

Мы взобрались, наконец, на перевал, в седловину между дву-

мя соседними вершинами, и разом ахнули от восторга перед открывшейся картиной.

Перед нами, весь покрытый белой пеленой снега и залитый солнечными лучами, расстилался отлогий южный склон Салева, медленно понижавшийся по мере удаления от нас и затем обратно поднимавшийся вверх, образуя вдали на фоне голубого неба мощную белую вершину, сияющую под лучами солнца и бросающую вниз голубоватые, огромные зубчатые тени.

— Монблан! — воскликнули мы все вместе, уже зная, что он прекрасно виден с Салева.

Мы долго стояли неподвижно и смотрели вдаль, не говоря ни слова.

— Как мощны, — думалось мне, — должны быть силы, согнувшие таким гигантским выгибом геологические напластования земли, лежащие перед нами в яркой белоснежной одежде! Как ничтожны все наши личные мелочные дрызги перед их судом!

Это вершина Монблана, покрытая вечными снегами, звала наши души к великим делам и великим подвигам.

И в моей душе наступило успокоение. Когда мы, возвратившись вниз, растались, обещав часто видеться, и я снова попал в кафе Грессо, в эмигрантскую среду, я чувствовал себя совсем спокойным и даже не придавал значения словам встреченного мною Лисовского, что он не оставит без отщущения публичного срама, который, по его мнению, был ему нарочно устроен при выборах в Интернационал.

10. Как мы воспроизвели речь человека, которую никогда не слышали, и что из этого вышло

В кафе Грессо было только что получено письмо от Клеменца из Берлина, и вся редакция нашего «Работника», кроме меня, вместе с новопринятым в нее Саблиным, была в полном сборе и в большом волнении.

— Знаешь! — крикнул мне Саблин, раньше чем я успел поздороваться, — Клеменц пишет, что в Петербурге судили недавно рабочего Малиновского за социалистические убеждения и приговорили к семи годам каторги за то, что он осмелился высказать их перед судом.

— Да, — торжественно сказал Жуковский. — Теперь дело наше стало на прочную почву. Заговорила рабочая масса! Это не то, что горсть учащейся молодежи! Мы уже поручили Рулю (так фамильярно здесь звали Ралли) написать по этому поводу передовую статью для «Работника».

— Завтра же утром будет готова,— ответил Ралли своим обычным нервным голосом.

Он, очевидно, был очень возбужден и польщен порученной ему задачей.

— Ты ничего не имеешь против этого? — спросил он меня.— Может быть, хочешь написать сам?

— Нет! Нет! Что ты! — запротестовал я.— Это твоя специальность.

— Да! — ответил Жуковский.— Никто лучше Руля не напишет чувствительной статьи. Это уж мы испытали по опыту. Ты ведь читал наши общие книжки: «Парижскую коммуну» и «Сытые и голодные»?

— Как же, читал. «Коммуну» еще в России, а «Сытых и голодных» — как только приехал сюда.

— Правда, что там есть и юмористические, и трогательные, и объективные страницы?

— Да.

— А знаешь, как эти книги были написаны?

— Знаю: тобой, Эльсницем и Ралли вместе.

— Тут мало сказать, что вместе,— вмешался Ралли,— а важен метод. Прежде всего мы втроем поручили Эльсницу собрать материалы и изложить фактическую основу книги. Он это всегда прекрасно делает. Затем рукопись поступила к Жуковскому, едкий юмор которого ты уже знаешь, и он подпустил туда комических соображений насчет буржуазии.

— И рукопись увеличилась вдвое! — перебил его Саблин, многозначительно подняв вверх палец левой руки и как бы наставляя им меня на путь истинный.

— Ну, я,— скромно заметил Жук,— делал, что мог. Только я завел разговор об этих книгах не для себя, а чтоб подчеркнуть совсем другое. После Эльсница и меня рукопись поступила к Рулю, чтоб он подпустил туда чувства.

— И она разрослась от этого втрое! — опять перебил Саблин, обращаясь ко мне с тем же серьезным, поучающим мою неопытность жестом левой руки.

— И ты верно сам заметил,— продолжал Жуковский, морщась, но как бы не слыша саблинских вставок,— что в наших коллективных сочинениях есть и фактичность, и юмор, и особенно много чувства.

— Да, да,— опять перебил его Саблин, не способный удержаться от острот ни при каких обстоятельствах.— Эти книги производят поразительное впечатление. В читателе против его воли перемежаются все чувства. Читая место Эльсница, он делается страшно серьезен и глубокомыслен, потом, перебежав

на строки, вставленные сюда Жуком, хватается за бока от неуправляемого порыва смеха, а затем, попав на строки Руля, вдруг чувствует, что слезы умиления ручьями льются из его глаз. Так чтение это перебрасывает его все время от одного ощущения к другому.

Тут, заметив, что лица обоих авторов начали сильно передегериваться нервными гримасами, Саблин сказал им обычным естественным тоном:

— Не сердитесь! Я же шучу! Вы ведь знаете, уж такой мой язык. Конечно, обе ваши книги вышли очень хорошие!

Те промолчали.

— Так ты, Руль,— обратился он специально к Ралли,— смотри же, подпусти и теперь как можно больше чувства, чтобы слезы лились рекою у читателя!

Ралли скромно взял письмо Клеменца и пошел домой писать, не особенно, по-видимому, довольный саблинской характеристикой «Парижской коммуны» и «Сытых и голодных». Но она до известной степени была верна: коллективное творчество редко придает однородность книге.

На следующее утро, едва собралась наша редакция, явился и Ралли с листком исписанной бумаги, нервничая до того, что у него по временам не хватало дыхания для окончания начатой фразы, и стал читать нам свое произведение. Начало его было составлено из обычных общих фраз, сделавшихся уже шаблонными в заграничной литературе. В середине было написано:

«Беззубые судьи стали спрашивать у Малиновского:

— Правда ли, что ты хотел убить царя?

— Неправда,— ответил Малиновский,— незачем мне было убивать царя. Не один царь причина народных страданий, не было бы царя, баре да купцы все же продолжали бы властвовать над народом... Не царя убивать надо, а идти всякому да правдивому человеку на заводы да фабрики, в деревни, села и города сговаривать народ на общее дело. Надо думать с рабочим народом общую думу, надо думать о том, что надо делать, чтоб освободиться от сытых? Как вести это дело? Такова моя дума,— говорил Малиновский сенаторам.— Я заранее знаю, что в ваших сытых умах не найду честности. У сытых нет правосудия, потому что нет правды. Вашу честность я презираю! Судите меня по вашим законам, но, куда бы вы меня ни послали, везде и всегда я стану сговаривать голодных на борьбу с барями, царем и купцами!» *

* См «Работник», 1875, № 2 (в рукописном отделении Академии наук).— Н. М.

После этого была нарисована яркая картина ослобнения сенаторов от такой речи «простого рабочего» и сообщение, что суд приговорил его к семи годам каторги.

Я не успел еще прочесть письма Клеменца, которое вчера тотчас же унес с собой Ралли, но мне сразу показалось, что слова Малиновского сочинены здесь же, в Женеве.

— Речь сообщена Клеменцем? — спросил я, протягивая руку за его письмом.

— Конечно, нет! — ответил Ралли. — Она восстановлена мною.

— А что же пишет Клеменц?

Я взял письмо и прочел место о Малиновском. Там было просто сказано:

«Движение вступило, наконец, на верную последнюю дорогу. За него взялись сами рабочие. Недавно в Петербурге при закрытых дверях особое присутствие Сената осудило на семь лет каторги рабочего Малиновского. Он держал себя твердо, никого не выдал. Вот они выходят на сцену истинные деятели, один из которых стоит тысячи наших интеллигентов!»

Это было все. На меня напало сильное сомнение.

— Как же ты, Руль, мог восстановить речь на суде, когда тут не приведено даже ее содержания? А вдруг Малиновский говорил что-нибудь другое?

— Но что же другое мог он говорить? — возразил Ралли. — Ведь мы же знаем социально-революционные убеждения! Ничего другого он не мог сказать! Конечно, мы здесь не гонимся за соблюдением каких-нибудь «но» или «и», но содержание мы всегда можем восстановить с полной точностью.

— Конечно, и я говорю не о стенографической точности со всеми знаками препинания, — возразил я, — но вдруг и содержание было совсем не такое?

— Ну, что же, если ты недоволен моим изложением, напиши сам лучше, — совсем обиженно ответил он, — я сейчас же разорву свое.

И он нервно приготовился рвать свой листок.

— Да полно же, Руль, — воскликнул я, хватая его за руку. — Разве я больше тебя знаю об этом? Я ровно ничего не хочу писать! Я только боюсь, как бы нам не промахнуться.

— Но промах здесь невозможен, — поддержал Жуковский своего приятеля. — Руль ведь правильно говорит, что, будучи социалистом-революционером, Малиновский не мог по сущности сказать ничего другого. А мы гонимся здесь только за сущностью.

— Да! Да! Конечно! — воскликнули один за другим Саб-

лин, Гольденберг и приглашенный на совещание Грибоедов. — Сущность речи изложена здесь превосходно, и, раз ты не можешь представить ничего взамен изложения Руля, мы должны напечатать его статью!

И статья была тотчас же отдана в набор. Она была помещена на первой странице под названием: «Слесарь Марк Прохоров Малиновский», и так как остальной набор был уже давно готов, то номер с нею вышел на третий же день и был направлен Зунделевичу в Кенигсберг для немедленной отправки в Россию³⁶.

Прошли две недели.

Мы снова заседали вечером в своей обычной задней комнате кафе Грессо, как вдруг почтальон принес письмо, адресованное в этот ресторан для Саблина.

— От Клеменца, господа, — воскликнул он с ударением, так как Клеменц тогда пользовался особенным уважением, и, распечатав, начал читать вслух:

«Пьяны вы что ли были все в редакции, или у вас всех одновременно случился припадок острого помешательства, когда вы печатали в «Работнике» целую речь от имени Малиновского? Что с вами было? Он на суде ровно ничего подобного не говорил, да и вообще не произносил речей. Когда первоприсутствующий спросил его: признаете ли вы себя принадлежащим к социалистам-революционерам, он только ответил «да», и этим все кончилось. Он даже отказался от последнего слова. Откуда же все это взяли? Кто вас так жестоко мистифицировал?»

Тут у Саблина запершило в горле, и он остановился.

Вот так ловко восстановили мы речь, которой никогда не слышали! — мелькнуло у меня в уме.

Рали сидел красный до ушей.

— Но Клеменц сам виноват! — воскликнул, наконец, он. — Если Малиновский не говорил того, что мы напечатали, то как же мог он утверждать, что с этого процесса начинается новая эра социально-революционного движения, что один такой рабочий стоит тысячи интеллигентных? Он сам мистифицировал, а теперь сваливает вину на нас.

— Да, господа! — поддержал его опомнившийся только теперь Жуковский. — Мы сейчас же должны все написать Клеменцу наши упреки. Разве стали бы мы восстанавливать речь, которой никто никогда не произносил? Клеменц написал нам так, что всякий, получив его письмо, подумал бы, что Малиновский высказал сенаторам свои убеждения, и я утверждаю, что в таком случае он сказал бы именно то, что мы напечатали!

— Да, да! — воскликнул Саблин, — надо сейчас же все это поставить на вид Клеменцу! Так нельзя поступать с товарищами!

И они немедленно принялись писать укоризненный ответ, под которым заставили подписаться и меня. Но я вместо простой подписи написал фразу: «Как ты поживаешь?», под которой и начертил свою фамилию. Я не мог считать правыми и нас в этом трагикомическом литературном *qui pro quo*, что откровенно и высказал своим друзьям.

Однако это литературное приключение оказало мне большую услугу.

Потом, уже через много лет, читая сочинения древних и средневековых авторов, работавших в еще большем мраке, чем мы за границей, и находя в них целые речи древних греческих или латинских философов и деятелей, я, наученный собственным личным переживанием, ясно видел и в них «воспроизведения никогда не звучавших в воздухе речей» по тому же методу, по которому Ралли воспроизводил слова Малиновского. «Что другое мог произнести тот или этот святой или философ, кроме того, что я сейчас написал от его имени?» — рассуждал древний монах или историк, лишенный всяких источников при составлении его биографии или речей, для которых он слышал только заголовки.

Там же за границей имел я много случаев для наблюдения за возникновением и развитием легенд³⁷.

Вы, положим, получили письмо от приятельницы из Саратовской губернии, где она рассказывает вам, что нашла крестьянина, вполне сочувствующего ее убеждениям. Желая обрадовать товарища по изгнанию, вы ему говорите секрет: в Саратовской губернии ведется пропаганда, уже есть сочувствующие. Тот бежит к другому и радуется его, прибавив к слову «пропаганда» прилагательное «широкая» и сказав, вместо вашей фразы: «есть сочувствующие», ее видоизменение: «есть много сочувствующих». Услыхав это, второй слушатель бежит к третьему, своему приятелю, и уже шепчет: «получено известие, что вся Саратовская губерния, во всех своих уездах, готова к восстанию, почти весь народ сочувствует». Этот третий, до которого известие дошло на второй или третий день, встретив вас самих, передает вам известие в еще более расширенном виде: «уже не только вся Саратовская губерния, но и соседние с нею совсем готовы подняться по первому слову усеявших эту местность пропагандистов».

Вы не узнаете в такой вариации своего собственного скромного сообщения и говорите:

— Да, я тоже на днях получил от одной приятельницы известие, что там ведется дело.

А ваш приятель бежит далее и говорит опять по всему кругу: — Слышали? Уже из двух источников получено известие о Саратовской губернии!

Так описывает цикл за циклом спираль преувеличений и достигает, наконец, гигантских размеров.

Я не раз с интересом наблюдал в эмиграции такое развитие всяких легенд о далекой России и разматывал такие клубки, расспрашивая последовательно своих знакомых и переходя от последующего к предыдущему. Иногда оказывалось, что циклическая передача первоначального источника шла в нескольких различных направлениях, приобретая несколько видоизменений, а потом все эти трансформации сходились вместе, и из одного маленького события вдруг возникал ряд больших, совершенно различного содержания, и каждая вариация уживалась рядом с другой, как в религиозных книгах современных народов уживаются в независимом виде явные вариации тех же самых первоисточников.

Да и вся наша эмигрантская атмосфера страшно напоминала мне жизнь первых христиан в эпоху гонений, начиная от страстной веры в быстрое возрождение братства всех народов и кончая взаимной нетерпимостью различных сект и фракций.

11. Кошмар

Прошло недели две. Ничто не предвещало грозы.

Тяжелая сцена невыбора Лисовского в Интернационал казалась ушедшей в прошлое. Я уже несколько раз приходил на собрания своей секции в качестве ее полноправного члена, мечтая основать отделения Интернационала в России, как только удастся возвратиться в нее. С восторгом посещал я лекции знаменитого географа Элизе Реклю и познакомился с ним лично. По-прежнему бегал читать книги по общественным вопросам под ивы островка Руссо на Роне к подножию его памятника и спал по ночам, вместо постели, на куче революционных изданий на полу нашей типографии. И наука и практическая деятельность, казалось, шли у меня полным ходом.

Я поднимался еще несколько раз на вершину Салева, но уже в одиночестве, чтоб ничто не нарушало интимности моих «свиданий» со стихийным миром гор, цветов и неба, тихо напевавших моей душе свои таинственные рассказы. Я видел чудный закат солнца над безлюдной пустыней, открывавшейся вдруг за перевалом горы в нескольких километрах от людного города.

лежавшего у ее подножия по другую сторону. Я видел с вершины Салева, как во мгле зажигались внизу, в Женеве, ряды фонарных огоньков, вырисовывая своими светлыми рядами точек все ее улицы, как будто на плане. А по другую сторону все снежные равнины огромной безлюдной пустыни были залиты розовым отблеском вечерней зари, и могучая, вечно снежная вершина Монблана горела еще под последними красными солнечными лучами, как раскаленный уголь.

С эмигрантских и редакционных собраний я бегал к Тверинову, к Домбровскому и чаще всего к моему трио курсисток, совсем влюбленный в Гурамову и Церетелли и не способный решить, которая из них лучше.

И вдруг произошло событие, которое сразу выбросило меня из обычной колеи моей жизни. Мне тяжело даже вспоминать о нем, но без него мой очерк эмигрантской жизни с ее развинченными нервами был бы слишком не полон.

В один поздний тусклый, туманный вечер, когда моросил легкий дождь, я отправился на обычное вечернее собрание в кафе Грессо. У самых его окон я встретил Лисовского, ходящего без шляпы по тротуару под мелким дождем взад и вперед, с каким-то необычно растерянным видом. Он не замечал ничего окружающего. Он даже и меня не узнал.

— Почему вы не идете в кафе? Ведь вас промочит совсем! — сказал я ему.

— Я сейчас войду! — сказал он, вздрогнув и тупо уставившись на меня. — Этого нельзя оставить без объяснения. . . Пусть все выслушают меня сначала. Потом я сам уйду.

— Да в чем же дело?

— Я, наконец, разделаюсь с Гольденбергом за все его интриги против меня. Я дал ему по роже, а они вытолкали меня, не выслушав моих объяснений. Пойдите и скажите им, что меня должны выслушать! И призовите потом меня. Я буду здесь вас ждать.

У меня замерло сердце: значит, вышел крупный скандал! Что же делать мне, считающему Лисовского нервнობольным, одержимым манией преследования? Ясно, что никто из вытолкавших его на улицу не захочет теперь его слушать.

— Да вы совсем с ума сошли! — сказал я ему, наконец, опомнившись. — У вас конвульсии, а вы хотите еще объясняться! Идите домой! Я найду к вам утром проведать, а теперь я должен бежать к оскорбленному вами Гольденбергу и прежде всего выслушать его.

— Но моя шляпа осталась там! — сказал он еще более растерянно.

— Я принесу вам вашу шляпу!

Я быстро вошел в кафе и оттуда в заднюю комнату, из которой слышался гул знакомых голосов.

— А вот и сам всеобщий миротворец! — раздался громовый бас гиганта Грибоедова при моем виде. — Пожалуй-ка к нам, ты, говорящий, что все здесь хороши, проповедующий передавать другим только хорошее, а дурные слова и угрозы хоронить в своей душе, чтобы не расстраивать друг другу нервов! Ты, может быть, давно знал, что здесь готовилось, но до сегодня тоже хоронил в душе, чтобы сберечь наши нервы?!

И он уставился на меня осоловевшими глазами.

В один миг я окинул взглядом всю комнату. В ней в разных позах сидели Гольденберг, Жуковский, Саблин, Ралли, Аксельрод и еще несколько эмигрантов вокруг нашего обычного стола, посредине которого стоял теперь целый бочонок с красным вином, а перед каждым из них недопитые стаканы. И все они были явно пьяны. Никогда ничего подобного не было в этой комнате. Все мы раньше пили зесь вино из своих отдельных полубутылок, лишь понемногу.

— Да что ты! — воскликнул я. — Неужели ты думаешь, что я не предупредил бы?

— А теперь откуда же ты все знаешь? — торжествующе прогремел Грибоедов. — Уж не Лисовского ли утешать изволил?

— Да нет же! Я его только встретил у самых дверей сюда, и он попросил меня вынести его шляпу!

— А! Ему нужно шляпу! — крикнул Саблин. — Так я сам вынесу ему ее!

И, поднявшись на нетвердых ногах, он вышел мимо меня в переднюю комнату, взял со стола какую-то шляпу и, отворив стеклянную входную дверь ресторана, швырнул ее на улицу в кого-то, а затем возвратился на свое место.

Я протиснулся и сел рядом с Гольденбергом, щеки которого были все залиты слезами, а волосы — водой, и крепко молча пожал ему руку.

— Расскажи мне, — обратился я к Саблину, — как же произошло все это безобразие?

— Да очень просто! — с гневом ответил он. — Сидим мы все вон там, в общей зале, и мирно разговариваем, как вдруг входит тот негодяй и, не говоря ни слова, хлесь Гольденберга по голове так, что с него очки соскочили и разбились. Гольденберг, конечно, швырнул Лисовского на пол, а тот ухватил его руками, повалил вместе с собой, вцепился ему в волосы и начал с ним кататься по полу. Мы все вскочили и стояли в остолбенении. Аксельрод подошел осторожно к обоим катающимся и тыкал

пальцем то того, то другого, говоря своим кротким голосом: «Довольно же, перестаньте же!» А те, ясно, ничего не слышат. Мосье Грессо выскочил из кухни с топором в руках, а мадам Грессо бросилась на середину комнаты и кричит: «J'aime mon sieur Goldenberg!» (я люблю господина Гольденберга!). Наконец Грибоедов догадался, схватил со стола графин с водой и вылил ее обоим на голову, а как только оба встали, я схватил Лисовского за шиворот и вышвырнул на улицу.

Я чувствовал, что в этот печальный вечер, когда обида была так свежа, мне не уместно высказывать свое мнение, что у Лисовского был истерический припадок, и он действовал в состоянии невменяемости.

«Буду говорить это завтра, — подумал я, — когда успокоятся, а теперь надо прежде всего развлекать Гольденберга».

— Как все это грустно! — сказал я, не в состоянии найти никакой другой фразы, и замолчал, обрадовавшись, что более находчивый Саблин, повернувшись к Гольденбергу, явно с такой же целью отвлечения, сказал ему:

— А однако же мадам Грессо призналась тебе в любви, говоря: J'aime...

— Полно, полно! — с испугом перебил его Гольденберг. — Уж говори, по крайней мере, по-русски, чтоб она не поняла, что ты смеешься над ней.

Саблин прикусил язык, а готовившаяся к смеху остальная публика разом сомкнула губы.

Грибоедов вновь тупо уставился на меня, и заметив, что передо мною нет стакана с вином, снова загремел своим могучим басом:

— А ты что же не пьешь?! Ты, я вижу, трезвыми глазами на нас пьяных хочешь смотреть? Видеть все наши недостатки? Так не быть тому! Пей и ты, пока сам не будешь таким же, как мы, пока не будешь пьянее нас и не свалишься под этот стол! Пей, миротворец!

И, отвернув кран от бочонка на столе, он налил мне полный стакан вина.

— За твое здоровье! — сказал я Гольденбергу и осушил его до конца.

— Вот это так! — воскликнул Грибоедов. — Теперь пей второй стакан за здоровье Саблина, вытолкавшего Лисовского! А потом будешь пить за каждого из нас, пока не свалишься под стол.

— Да, да! — заговорили все остальные. — Напоим его пьяным, ведь никто из нас еще не видал его таким.

— Вот тогда мы и посмотрим, что ты из себя представ-

ляешь, — продолжал Грибоедов. — У пьяного душа нараспашку! Вот мы и увидим, что у тебя на душе! Пей еще!

Я начал соображать, как бы мне выйти из этого отчаянного положения, но оно тотчас же представилось мне в таком виде. Грибоедов, чтоб разрядить нервную атмосферу после ужасного скандала, решил отупить головы присутствовавших вином и велел выкатить полный бочонок. В этом разгадка появления бочонка... Буду же поддерживать его игру. И нимало не сопротивляясь, я начал по каждому новому требованию собеседников выпивать мелкими глотками, чтоб протянуть долее время, стакан за стаканом.

Я почувствовал, что стал здесь как бы громоотводом. Всеми окружающими овладела какая-то мания напоить именно меня. Я все время был центром общего внимания и едва отставлял стакан от губ, пользуясь каждым переходом речи на другую тему, как кто-нибудь почти сейчас же обращал на меня глаза и кричал:

— Смотрите! Он уже не пьет!

— Пей! — ревел тогда Грибоедов и сейчас же дополнял мой стакан до краев.

Грибоедов не был политическим эмигрантом; он служил котролером в Государственном банке в Петербурге, но всей душой сочувствовал начавшемуся революционному движению, и его петербургская квартира была всегда приютом для лиц, разыскиваемых правительством по политическим делам. Он был другом известного петербургского доктора Веймара, умершего потом в Сибири на каторге, и писателя Глеба Успенского.

О физической силе Грибоедова ходили легенды.

Раз они все трое шли по Невскому проспекту из ресторана, не твердые на ногах и около какой-то площади натолкнулись на стоящий тут казенный деревянный домик для городских.

Теперь нет таких домиков вроде беседок, но в описываемое мною время они были, и задний темный чулан служил там помещением для арестованных на улицах, пока городской шел за извозчиком или с докладом в свою часть. Городской выругал их пьяницами, они выругали его, а он позвал из домика своего товарища и, арестовав, запер всех троих на замок в заднем темном чулане своего дома. Затем оба городских ушли.

Все трое, постучав достаточно в дверь и не получив ответа, начали напирать на нее, но она оказалась слишком крепкой, с железными толстыми засовами. Грибоедов заметил, что при их работе трещал угол домика. Наперев на него вместе с Веймаром, он выдал весь этот угол, и все трое вышли в образовавшееся широкое отверстие и благополучно ушли домой. Сюда,

за границу, он поехал вместе со мной и Саблиным лишь на несколько недель, взяв из Государственного банка временный отпуск.

Теперь я чувствовал, что мне уже не увернуться от его бдительного надзора, и потому только оттягивал время, выпивая свои все подновляемые стаканы еще более мелкими глотками, но почти не отставляя от губ.

Наконец, я почувствовал, что не могу более терпеть. В растянутом от вина желудке начались спазмы, и вино начало подниматься вверх к горлу. Я встал, чтоб выйти.

— Стой! Куда идешь? — загремел Грибоедов, хватая меня своей железной рукой.

— Пусти! Я только на минуту. Сейчас вернусь.

— Честное слово? Не удерешь?

— Честное слово.

— Ну тогда иди! — сказал он, выпуская меня.

Он ударил кулаком по столу так, что все стаканы и сам бочонок подпрыгнули.

— Мы здесь все верим честному слову! — закончил он торжественно.

Я быстро выбежал на внутренний дворик ресторана, и там во тьме все мое вино возвратилось в мой рот, а через него на мостовую. В голове стало сразу легче. Я почувствовал себя сильно освежившимся и, после нескольких минут хождения по дворику с открытой головой под мелким дождем, возвратился к товарищам.

— Смотрите! — загремел Грибоедов, — он все еще на ногах! Не быть этому! Пей еще.

И в меня опять начали вливать стакан за стаканом.

Но от нервного ли напряжения этого вечера, или просто от свойств организма, благодаря которому спиртные напитки никогда в жизни не действовали на твердость моих ног и связность речи, я вынес с честью и это испытание. Подливая из бочонка мне двенадцатый или пятнадцатый стакан, Грибоедов вдруг увидел, что бочонок опустел и из крана ничего не льется. Это обстоятельство привело его сначала в полный столбняк. Он нагибал бочонок всеми способами, тряс, чтобы услышать внутри плеск, но там явно ничего более не было. Он вновь тупо уставился на меня.

— Вырвался! — загремел он. — Вырвался! Все еще может стоять на ногах! Ну, так веди же нас с Саблиным на квартиры!

Один уцепился за одну мою руку, другой — за другую, и мы пошли, слегка пошатываясь, по темным женевским улицам.

Было три часа ночи. Я их довел до отеля дю-Нор, где отпер дверь запасным ключом, экземпляр которого дается в Швейцарии каждому постоянному жильцу, поднялся с ними до их комнат, уложил в постели и затем побрел в свою типографию, где и нашел себе забвение на своей куче листов типографской бумаги.

Я проснулся утром со страшной головной болью. В моем рту, как выражаются пьяницы, на другой день после выпивки «было так мерзко, как будто квартировал целый эскадрон жандармов».

Кошмар предыдущего вечера встал в моем уме во всех своих мельчайших подробностях. Я не винил своих друзей. Я понимал настроение этих чистых по натуре, но больных, разбитых жизнью душ, стремящихся к идеалу и вдруг натолкнувшихся на такую житейскую прозу в своей собственной среде.

Мне вспомнился мой переход через границу, благоговейное чувство будущей близости к ветеранам революции, к патентованным героям.

— Разочаровался ли ты в них теперь? — спрашивал меня один внутренний голос моей души.

— Нет! Тысячу раз нет! — отвечал ему другой. — Ты не имеешь даже права разочаровываться! Ты был похож на пылкого юношу, который попросил бы своего отца показать ему истинных героев, и отец повел бы его в дом инвалидов. Да! Там этот юноша действительно увидел бы только патентованных героев, и каждый их недостающий член подтверждал бы их героизм. Вот у этого глаз был выбит пулей, когда он впереди всех бросился на неприятельское орудие, но с тех пор начал все видеть вкось. Вот у этого нога была оторвана ядром, когда он вырвал неприятельское знамя, но с тех пор он не может правильно ходить. А вот у того нервы, порванные близким взрывом бомбы, остались до того испорченными, что у него начинаются судороги при каждом волнении. Кто способен упрекнуть их за это? Кто решится сказать, что они не герои? Ведь самые их слабости и недостатки и есть их патенты на героизм! У тех, кто только притворяется героями, их никогда не будет. Те будут всегда целы и невредимы. . .

— Да! Здесь, в Женеве, я нашел то, что искал. Я увидел здесь истинных патентованных героев революции, я получил возможность пользоваться их дружбой и любовью, но я нашел их уже израненными и искалеченными в тяжелой борьбе. Я нашел их именно в доме инвалидов, как и следовало мне ожидать, если бы я ехал сюда более опытным!

12. В поисках истины

Дни потянулись за днями, и, чем далее шло время, тем труднее мне становилось лавировать между моими нервноболезными друзьями.

Сначала я хотел устроить так, чтоб Лисовский извинился перед всеми, присутствовавшими при его припадке. Но он не признавал себя больным, как не признают и все помешанные, которым кажется, что весь мир помешался, и лишь одни они здоровы. Он был глубоко убежден в своей правоте и обвинял тех, которые не хотели его выслушать после сцены в кафе-ресторане. От одного моего предложения извиниться с ним сделался вновь нервный припадок и настоящие судороги языка. Казалось, что язык его никогда не будет в состоянии остановиться в своих упреках, почти целиком составленных из явной лжи и извращений.

Но самое худшее оказалось в том, что в тогдашней женевской эмиграции у Лисовского нашлись и защитники, ставшие сразу на его сторону. Это, кроме Шебунов, смертельно обиженных на редакцию «Работника» за непомещение их стихов и статей, были все малозаметные люди. Личный вопрос тотчас перешел в партийный, в котором я решительно не мог стать ни на ту, ни на другую сторону, так как объяснял всю эту борьбу из-за пустяков общей нервностью участников, которой у меня самого не было. Увидев меня случайно разговаривающим с Лисовским, на меня сейчас же начали дуться сторонники Гольденберга и причислять к своим врагам.

— Ну, что же иди к ним, если они тебе так нравятся! — говорил мне их укоризненный взгляд.

А сторонники Лисовского говорили мне прямо:

— Мы знаем, вы всегда с нашими врагами!

Каждая партия старалась сначала перессорить меня со своими противниками обычным в таких случаях воздействием на мелочное самолюбие. Чего, чего только не передавали мне якобы говоренного на мой счет за глаза той и другой стороной! Будь у меня хоть капля их собственной нервозности, я тоже давно начал бы кувыркаться в конвульсиях! Но нервозности у меня не было, и я мог все время владеть собою. Однако боль в душе становилась все сильнее и сильнее.

Я вновь бросился в науку и начал поглощать на своем любимом месте, среди лазурной Роны под ивами островка Руссо, том за томом всевозможные социологии и политические экономии, имевшиеся в эмигрантской библиотеке, а также и истории всех революций. В последних я всегда находил на первом плане борьбу с политическим гнетом, а на наших собраниях узнавал,

что все эти революции были буржуазные, что наша цель не в них, что в некоторых республиках живетса народу еще хуже, чем в монархиях. Здесь мне чувствовалась та же истеричность, те же нервные конвульсии, заставляющие говорить людей заведомую ложь.

Разве наша цель, думал я, только лишь в том, чтоб народ жил богаче, а не в том, чтобы он был умственно развитее и граждански свободнее?

С такими мыслями пришел я однажды к Ткачеву. Мы с ним очень сблизились, потому что у него, так же как и у меня, не было нервов.

Он писал какую-то книжку для народа или статью. В моей последующей жизни я одно время считал ее тождественною с появившейся потом «Хитрой механикой» Варвара, так как нашел в последней почти такое же место, как в ниже рассказанной здесь своей беседе с Ткачевым, хотя «Хитрая механика», так мне говорили, и была написана совершенно независимо от Ткачева. Ткачев и его жена по обыкновению встретили меня самым радушным образом. Налив себе по стакану чаю, мы, как всегда, расселись в полутьме у горящего камина в его рабочем кабинете.

— Я теперь пишу для народа о косвенных налогах, — сказал он мне, — и хочу воспользоваться таким оригинальным примером. Мужик требует в кабаке рюмку водки, а волшебница, стоящая сзади невидимкой, хочет показать ему, что при этом происходит. Мужик опрокидывает рюмку в горло — хлоп! И вдруг слышит у себя за спиной трижды: хлоп, хлоп, хлоп! — Кто это там пьет? — спрашивает он, оглядывается и видит: становой, министр и царь выпили по рюмке, и все они, показав кабатчику на мужика пальцем со словами: «он заплатит», исчезли.

Мужик берет огурец и закусывает, жуя. Слышит: сзади тройное жевание. Оглядывается — опять жуют они все трое по огурцу и исчезают, показав на мужика пальцем со словами: «он заплатит». Как вам нравится? Наглядно здесь показано, как обыватель при косвенных налогах платит невидимо за все начальство, скрывающееся за спиной торговца и фабриканта?

— Да, очень хорошо! — ответил я. . .

Мы с ним долго говорили в этот вечер; жена его, очень интеллигентная женщина, вставляла иногда свои серьезные замечания. . .

— Итак, — сказал Ткачев, как бы резюмируя мои мысли, — вы хотите прежде всего политического переворота и Соединен-

ных штатов Европы, как орудия для последующего равномерного распределения умственных и материальных богатств человечества?

— Да, — ответил я. — И если бы я издавал теперь революционный журнал, я назвал бы его «Свет и Свобода!» А под заголовком поставил бы девизы: «Свобода слова и печати, личной и общественной деятельности. Демократическая федеративная республика и гражданское равноправие женщин. Всеобщее обязательное обучение и организация труда!» Это были бы ближайшие задачи.

— А далее?

— А дальнейший путь показало бы само будущее. . .

13. На вершине Салева и у подошвы его

Солнечный луч пробрался на несколько минут в мою спальную — типографскую наборную — и упал на мое лицо, когда я еще лежал на полу, обложенный печатными листами. Он и разбудил меня. Я взглянул на часы. Было уже около десяти утра.

— Проспал! — подумал я. — Это потому, что сегодня воскресенье, и наши наборщики не пришли на работу.

Я выглянул в окно на голубое небо, на солнце, уже готовящееся вновь уйти за выступ второго правого дома, представил себе, как хорошо теперь на вершине Салева, и голос стихийной природы вновь заговорил со мною. Я быстро оделся, побежал в кафе Грессо выпить чашку кофе с булкой, молоком и маслом и побежал за город. Там было чудно хорошо под легким покровом выпавшего ночью снега. В тени было слегка морозно, на солнце — даже жарко. Я быстро начал взбираться на перевал. Мне вновь захотелось бегать и прыгать и, заметив, что, куда ни простирался мой взгляд, никого нет кругом, я даже расцеловал ветки нескольких кустов по дороге и сказал им:

— Здравствуйте! Здравствуйте! Вот я снова возвратился к вам!

Весь день до самого вечера я проходил по горам и, наконец, усталый сел на камень на самой верхней части Салева и долго созерцал с него белую вершину Монблана, поднимающуюся за мощным выгибом земной коры между Салевом и мною. Я созерцал попеременно все другие горы, бледную луну, показавшуюся, как круглое облачко, на северо-востоке одновременно со спускающимся к закату солнцем, и грядущим перистым облакам, про-

тянувшихся, как белые, вымытые дождями скелеты рыб и ящериц, разложенных рядом по голубой небесной степи. Мысли и мечты, виденные когда-то образы людей и предметов, слышанные когда-то слова перемежались между собой и складывались в какие-то пестрые калейдоскопические конфигурации, от которых не хотелось отрываться. Так бы, казалось, и просидел целую вечность, мечтая и не сходя с этой вершины.

Алая заря загоралась на западе. Догорела красным углем вершина Монблана, освещенная солнцем. Я начал, наконец, спускаться со склона, встретился с какими-то двумя подозрительными людьми, которых принял за пограничных браконьеров, так как тут шла граница Франции и Швейцарии. Они быстро направились за мной, держа свои ружья наперевес.

— Ограбят и столкнут с обрыва, — пришло мне в голову, и на душе стало жутко. Я ощупал рукою в кармане свой револьвер, с которым и здесь не расставался. Он был тут. Но как он мне поможет против внезапного выстрела сзади?

А вдали ожидала меня страшная крутизна.

Увидев справа от себя огромную впадину каменоломни, стена которой шла несколькими отвесными уступами выше человеческого роста, я стал быстро спрыгивать с одного уступа на другой, цепляясь за предыдущий руками, и в несколько прыжков был далеко в глубине под ними. В последний раз взглянул я на их темные силуэты, едва рисующиеся высоко надо мной на темно-голубом фоне неба, где уже сияло во всей своей красе созвездие Ориона, и исчез за поворотом скалы, сократив этим обычную обходную форму³⁸.

Вечером я вновь сидел в уютном кабинете Ткачева вместе с его милой женой, в полутьме, у пылающего камина.

— Я уже обдумал ваши ереси, — сказал он мне, — и пришел к заключению, что если вы выскажете их вашим здешним друзьям, то они побьют вас камнями из опасения, что ваши «математические» расчеты могут оправдать историческое существование буржуазии и капитализма.

— Да я уже пробовал говорить с ними, но никто из них не хотел меня даже слушать. Они очень горячий народ и потому перебивают на второй же фразе и после этого говорят сами свое, а не возражают по существу. . .

— Вам было бы лучше посвятить себя науке, чем революции, — сказал Ткачев.

— Я бы и посвятил себя ей, если б у нас была гражданская свобода. Но как могу я тихо работать в своей лаборатории, когда кругом гонения и преследования, когда сама наука порабощена и стеснена в области своих выводов? Мне страшно

трудно было расстаться с мечтой детства быть ученым, но вы видите — пришлось.

— Мне очень жаль вас, — сказал Ткачев серьезно. — По всем моим впечатлениям с самого начала нашего знакомства, вам следовало бы именно прежде всего готовиться к профессуре.

Наступило общее долгое молчание.

Ткачев, насколько я мог судить, во всем соглашался со мною, хотя и не высказывался определенно, ограничиваясь в нашем разговоре простыми вопросами.

Угли в камине совсем потухли. Моя исповедь тоже пришла к естественному концу, и на моей душе стало легче. Надо было расходиться.

Прощаясь, я заметил на столе у Ткачева книжку Шиллера «Вильгельм Телль».

— Дайте мне ее на ночь, — сказал я ему уходя.

Камин догорал, и красноватый полусвет в кабинете Ткачева делался все темнее и темнее.

Я встал, чтоб идти домой, если можно было назвать домом наборную мастерскую, где я по-прежнему ночевал на гряде типографской бумаги.

— Приходите завтра, — сказал Ткачев, — еще потолкуем по этому предмету. В сказанном вами много такого, о чем я никогда еще не думал.

Я вышел на темную улицу, и в моем уме зародились бодрые свежие мысли. Мне уже давно хотелось кому-нибудь исповедаться.

На следующий вечер я хотел снова бежать к Ткачеву, чтобы узнать, не придумал ли он мне каких-нибудь серьезных возражений, но мне не удалось. День оказался «субботный», вечер наших обычных заседаний Интернационала.

Я ходил теперь на них всегда с моими юными приятельницами Гурамовой, Церетелли, Николадзе и часто присоединявшейся к нам Домбровской. Я сильно подружился с ними всеми. Когда у меня было слишком тяжело на душе от окружавшей меня эмигрантской нервозности, я убегал к кому-нибудь из них, и их свежие молодые души вносили свой свет и в мою. Конечно, я им не рассказывал ничего из того тяжелого, житейского, от которого я к ним бежал. Мы говорили и мечтали о великих и бескорыстных делах, и будущее казалось нам таким привлекательным!..

14. Назад в Россию

Была почти полночь, когда я вышел от Ткачева с книжкой в руках. Луна уже склонилась к горизонту, и вечные созвездия неба тихо совершали свою обычную процессию над уснувшим городом. Но над землей начиналась буря. Сильный порывистый ветер налетел с озера на меня из-за углов зданий и нагонял с востока клочья разорванных облаков.

Я пришел в свою комнату в типографии, разделся в обычном углу, но вместо того, чтобы спать, зарывшись в кучу типографской макулатуры (как называются испорченные типографские листы), я поставил около себя керосиновую лампочку и, подложив к стене под свою спину новую связку такой же макулатуры, принялся читать гениальную драму Шиллера, которой когда-то так увлекался в детстве.

Один за другим проходили в моем воображении художественно очерченные образы старинных швейцарских заговорщиков, собравшихся при лунном свете на берегу озера в уединенной долине Рютли. Вот подымавшаяся буря прибывает к берегу лодку, на которой везут Вильгельма Телля на вечное заточение в подземной темнице Кюснахтского замка, но он получает возможность скрыться в свои родные горы, клянется отомстить порабителю его страны. . . Вот едет и сам порабититель по горной долине, говоря своим приближенным: «Сломлю упорство швейцарцев, уничтожу дерзкий дух свободы». . . Но стрела Вильгельма Телля, во весь рост подымавшегося над высоким утесом, пронзает ему сердце. А вот и заключительная сцена, когда граждане освобожденной Швейцарии собрались вокруг его дома и кричат: «Да здравствует Вильгельм Телль, да здравствует вольный стрелок, наш избавитель!»

Я встал по окончании чтения со своей груди революционных изданий в сильном волнении. Я не мог более спать. Ключ от входной двери был всегда у меня, и я пошел по улице, борясь со встречным ветром, на набережную Женевского озера. Я старался решить по своей совести: что тут гуманно и что жестоко? Что доблестно и что позорно? Что нравственно и что безнравственно?

Я шел все далее и далее в глубокой тьме. Все небо было уже покрыто тучами, и ни одна звезда не светила мне сквозь них. Только озеро глухо рокотало о чем-то и хлестало своими огромными волнами о каменную набережную, обдавая меня брызгами пены. В эту ночь я решил возвратиться в Россию. Утром я сказал о своем решении Саблину, который первый пришел ко мне в типографию, когда я еще лежал в своих бумагах.

Он молча и быстро прошелся несколько раз взад и вперед по небольшой комнате.

— И я еду с тобой! — сказал он, наконец. — Я знаю, нам долго не прожить в России. Ты ведь сам читал во «Вперед» список разыскиваемых. В нем верно описаны наши приметы. Но лучше погибнуть в тюрьме, чем из нашего добровольного изгнания смотреть, как погибают там другие.

— Ну, полно! Раньше, чем погибнуть, мы, может быть, кое-что успеем сделать...

— Так когда же мы уезжаем? — спросил он.

— Как только добудем денег на обратную дорогу. У меня теперь ничего нет, кроме долга у Грессо за обеды.

— У меня то же! — ответил он. — Хочешь, я напишу Клеменцу, чтоб выслали из Петербурга?

— Да, напиши сейчас же. Вон там на наборной кассе перо и бумага.

Он пошел писать. Я продолжал сидеть на своей бумажной постели на полу и думал о новом неведомом, открывающемся перед нами. Мне вспомнилось, как четыре месяца назад в темную осеннюю ночь я мчался в вагоне одетый крестьянином из Ярославля в Москву после своих скитаний в народе. Мой спутник мирно спал, а я вышел на площадку вагона и смотрел в непроглядный мрак, в который несся наш поезд. Тысячи огненных искорок, вылетая из трубы невидимого локомотива, кружились и носились тогда около меня среди таинственной тьмы, оставляя за собою длинные извилистые светящиеся ниточки. Казалось, что это был своеобразный мир хвостатых существ с яркими огненными головками, и я летел среди них во мраке, неизвестно куда, вместе со своим поездом и со всей землей, в мировом пространстве.

— Куда меня несет этот поезд? — спрашивал я себя и не находил ответа.

И вот он передал меня другим поездом и вывез в свободную Швейцарию, на берег огромного лазурного озера среди высочайших гор, покрытых вечным снегом. Но не для того, чтоб я здесь остался навсегда, а чтоб показать мне ярко и отчетливо те идеалы, к которым я должен стремиться. Скоро другой такой же поезд, в такой же огненной непроглядной тьме помчит меня с Саблиным в новое, неведомое будущее, в обратную сторону, но не назад! Нет, не назад! Та Россия, из которой я когда-то выехал, осталась далеко в мировом пространстве, в котором летят планеты и звезды. Россия, в которую я скоро приеду, будет уже другая, новая, лишь исторически связанная с прошлогодней. И, может быть, и у моих тамошних друзей, как и у меня, окажутся новые взгляды на способы борьбы.

— А как же написать о «Работнике», в котором мы теперь оба очутились редакторами? — спросил меня Саблин.

— Напиши, что это дело налажено и останется таким же и без нас. Его будут продолжать Жуковский, Ралли, Эльсниц и Гольденберг. А мы будем полезнее в России даже и для него, так как будем иметь возможность посылать недостающие теперь сообщения из России.

Саблин снова принялся писать.

— Кончил! — сказал он. — Хочешь приписать?

Я прибавил несколько слов о бесполезности далее жить за границей и, выйдя вместе с Саблиным, опустил письмо в почтовый ящик. Через две недели мы получили деньги, но не оттуда, откуда ждали. Вера Фигнер, давно видевшая, как тяжело мне жить дольше за границей, прислала мне сто рублей из своих, а Саблин получил от кого-то другого.

Все наши друзья были взволнованы нашим отъездом. Они были убеждены, что мы едем на гибель. Мы были первые политические эмигранты, разыскиваемые правительством для тюрьмы и каторги и возвращающиеся после нескольких месяцев жизни снова в Россию не с покаянием, а чтоб продолжать свое дело. Ранее нас никто из эмигрантов этого не делал. Русский режим казался ужасным для того, кто смотрел на него из свободной европейской дали, и мрак русских рудников и казематов казался оттуда слишком непроглядным.

Все партии вышли провожать нас на перрон железной дороги. Он весь был полон, и иностранная публика с удивлением смотрела на нас, как на каких-то знаменитостей.

Жуковский, Гольденберг и его многочисленные сторонники стояли ближе всех, затем толпа учащейся молодежи, и, наконец, прибежал и сам Лисовский со своими немногими приятелями. Они стояли несколько поодаль, как партии. Молодежь поднесла нам цветы. Но у меня было не радостно, а страшно больно на душе. Мне было очень тяжело видеть здесь Лисовского, зная, как это должно быть больно для Гольденберга. Я, конечно, и ранее не скрывал ни от кого, что считал Лисовского нервно-расстроенным человеком, и не гнал его вон, когда он приходил ко мне. Но я всегда избегал упоминать его имя при Гольденберге.

И вот он сам здесь и напоминает о себе из-за меня, хотя я и простился с ним и его друзьями предусмотрительно еще накануне. Насколько безоблачно трогательны и отрадны были бы для меня такие проводы без напоминания о дикой сцене в кафе, настолько же были они теперь и тревожны и тяжелы.

Но вот кондуктор певуче протянул обычные слова: *Le train*

part à Lausanne! Asseyz vous messieurs, mesdames! (Поезд идет в Лозанну! Садитесь господа, дамы!).

Все бросились обнимать и целовать меня, и только одна половина — Саблина, прекратившего знакомство с группой Лисовского. Это опять поставило меня в неловкое положение по отношению к моему товарищу, и хотя я сохранял все время такую внешность, как будто бы считал все совершенно естественным, но в глубине моей души было очень тяжело. Мне страшно хотелось, чтоб поезд, наконец, двинулся, и необычные проводы меня обеими ненавидящими друг друга партиями пришли благополучно к своему естественному концу.

Но вот кондукторы вошли на свои платформы, локомотив издал свой громкий протяжный вопль, и вагоны медленно двинулись в путь. Все провожавшие нас бежали по перрону вместе с нами, наполовину высунувшимися из двух соседних окон нашего третьего класса, и пожимали на ходу наши руки в последний раз. Потом заколыхались в воздухе многочисленные платки. Мы с Саблиным тоже махали из окон своими, пока платформа со всей ее толпой не скрылась за углом какого-то железнодорожного здания.

Как легко стало у меня на душе! Все тяжелое в этих проводах, казалось, вмиг исчезло вместе с их благополучным окончанием. Осталось только одно светлое, трогательное! И эта радость еще удесятерилась от сознания, что и среди провожавших меня партий вместе с их уходом в разные стороны произошел такой же процесс душевного облегчения, как и у меня.

— Да. Конечно, трогательно было видеть, что все пришли тебя провожать, — сказал Саблин, как бы отвечая на мою мысль, — но и тяжело было смотреть, как обе стороны делали вид, будто не замечают друг друга. Я рад, что это кончилось благополучно.

Мы сели друг против друга у одного и того же окна и начали прощаться с пробегавшими перед нами одна за другой знакомыми картинами Швейцарии.

— Наши проводы в Россию вышли такими пышными, — сказал, наконец, Саблин, — что нам надо хорошенько подумать и о том, как бы замести свои следы. Такой отъезд не может остаться незамеченным всякими здешними шпионами.

— Но мы и без того заметем свои следы. Ведь мы пробудем два дня в Кларане у Эльсница, дня четыре в Берне у Веры и с неделю в Берлине, у Клеменца. Потом остановимся на день в Кенигсберге у Зунделевича. Этого совершенно достаточно, чтобы спутать все расчеты шпионов, если таковые были на платформе.

— Да, это верно, — сказал он, — но все же нам нужно наблюдать за нашими спутниками в пути.

Мы осмотрели вагон, но в нем явно не было ни одной подзрительной личности.

Мы пробыли два дня в Кларане, где не было у нас знакомых, кроме семейства жившего тут Эльсница, приехавшего в Женеву только по субботам и остававшегося на утро воскресенья.

Мы вместе с ним прошлись по кларанским холмам, у южного подножия которых уже зеленели кусты, и кое-где глядели из травы первые весенние цветочки. Затем мы уехали в Берн и явились к Вере, жившей в пансионе вместе с Дорой Аптекман, высокой худощавой и трудолюбивой девушкой, тоже изучавшей медицину в Бернском университете. Она была по внешности совершенной противоположностью Вере. Насколько Вера была общительна и приветлива, настолько Дора была замкнута и суха; насколько первая была разностороння и впечатлительна ко всему происходящему, настолько вторая казалась равнодушной. Они и по внешности были два антипода, а между тем жили вместе, их обеих сближало упорное стремление к достижению раз намеченной цели, но Аптекман была упорнее — никакие посторонние увлечения не могли заставить ее сойти с раз начатого пути, и она одна из двух окончила потом курс и после долгих усилий и экзаменов в России добилась-таки официального звания врача.

— Как хорошо, что вы прямо приехали ко мне! — воскликнула Вера. — Вы надолго здесь останавливаетесь? В таком случае я вежливо перенести ваши вещи в соседний номер. Он свободен. Там вам будет хорошо и, главное, близко от меня.

И, позвонив, она дала распоряжение пришедшей мадмуазель.

Вера была все та же, какой она явилась передо мной в первый день нашего знакомства, когда я почти сразу влюбился в нее и обсуждал с нею вдвоем различные моральные и общественные проблемы так, как если б ее словами говорила мне сама моя совесть. По правде сказать, я был влюблен в это время во многих. Я не забыл еще и юной гувернантки моих сестер, и Алексеевой, и Батюшковой, и Лебедевой, и Лизы Дурново, но они остались далеко в России. Здесь же у меня были три предмета: Олико Гурамова и Машико Церетелли в Женеве, а в Берне — Вера Фигнер. Но Вера отличалась от них во многом: она была сильна душою, она была серьезнее и глубже, и это сразу чувствовалось.

Вот почему, взвешивая всех троих в своем сердце, я находил, что перевес остается за нею, хотя по-прежнему я не признавался в любви ни одной женщине, считая себя обреченным на гибель за свободу своей родины.

Но я был очень счастлив смотреть теперь на Веру, слушать звук ее голоса. Каждое ее слово казалось мне полным глубокого смысла.

— Вот, — сказал ей Саблин, — мы и возвращаемся в Россию.

Она серьезно взглянула на нас своими ясными блестящими карими глазами. Потом после минуты молчания сказала:

— Я понимаю вас.

Она ничего не прибавила более, но эти ее простые слова показались мне полными такой глубины, что на них можно бы было написать целые томы комментариев и все-таки не исчерпать их значения.

— И какие проводы были нам устроены! — продолжал Саблин. — Все партии, все возрасты от мала до велика пришли нас провожать. Вся платформа была полна. А трогательнее всего было грузинское трио студенток, поднесших нам цветы: Олико, Машико и Като! Вы ведь знаете их?

— Да, видела в Женеве.

— Я так тронут, — закончил Саблин, — что сейчас же напишу им прощальные стихи. Уже сложился в голове первый куплет.

И, взяв карандаш, он начал писать на листке бумаги, произнося вслух каждую написанную строку:

Я вышел в поле. Ветры выли.
Неслися тучи надо мной,
И вспомнил я Гурамишвили,
О ней скорблю больной душой.

— Вы знаете, — перебил он сам себя, — что Гурамишвили это по-грузински то же, что Гурамова. А теперь перехожу к Церетелли:

Я в лес вошел. Шумели ели,
Летели листья на траву,
И вспомнил я о Церетелли,
Ее душой к себе зову.

— А теперь, — воскликнул он, — я мысленно обращаюсь к Като Николадзе:

Пришел домой я. Что ж грущу я?
Скорблю ль о прошлом? Нет, не то!
Отрады в прошлом не найду я,
Я вспомнил о своей Като!

Он торжественно отодвинул от себя бумажку. Мы смеялись.

— Непременно пошли им! — воскликнул я. — Это их очень растрогает!

— Однако как легко вы пишете стихи, — сказала Вера. — А вот я так за все время моей жизни составила только одно, да и то когда мы ехали в тарантасе по тряской дороге:

Трух-трух-трух!
Повозка едет на мух!
И из мух вылетает пух.

Мы снова смеялись, никому — даже мне, ожидавшему от нее всего великого, — не пришло в голову, что в глубине ее души скрывается родник самой чистой поэзии, которая обнаружится лишь через несколько лет в одиночестве Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей!³⁹

Так мало мы знаем души людей, да и сами эти души так мало иногда знают самих себя!

Мы пробыли с Верой несколько дней. Мы ходили вместе гулять в сосновый лес за Берном, который она особенно любила. Мы осматривали вновь круглую яму с историческими бернскими медведями, которым бросили по булке. Потом она повела нас к своему знакомому, бернскому писателю Брусу, юмористически описав сначала его аскетическое жилище.

— Он во многом похож на вас, — сказала она мне, — вы жили среди революционных изданий в типографии, а он нанял себе крошечную комнатку на чердаке. В нее нет никакого хода. Вы видите дверь высоко наверху стены и не знаете, как к ней подняться. Но вы трижды кричите: Брус! Брус! Брус! И тогда дверь вверху стены отворяется, и в ней показывается сам Брус. Он спускает вам деревянную лестницу, и вы поднимаетесь по ней.

— Ну, а если крикнуть только два раза?

— Тогда вы не получите никакого ответа. Это значит, пароль сказан неверно.

Но когда мы с нею пришли к Брусу, то жилище его оказалось не так оригинально. Лестница к нему наверх хотя и была очень крутая и узкая, по типу чердачных, но все же постоянная, а сам Брус оказался очень живым и приветливым молодым человеком, впусившим нас по простому стуку в дверь без всяких паролей.

Возвратившись домой, я написал длинное прощальное письмо моим южным женевским друзьям — Машико, Олико и Като, так как лучшее воспоминание, оставшееся у меня от Женевы, были именно они со своей искренностью, любовью к науке и свежими душами, не помятыми еще жизнью. Мое письмо было целая поэма в прозе и заняло около тридцати двух страниц. Потом я перешел в соседний номер к Вере и был рад, что застал ее одну. Мне хотелось перед отъездом поговорить с ней.

Она полулежала на своем диванчике с медицинской книгой в руках, но при моем приходе положила ее на стол и сказала:

— Так вы, в самом деле, уезжаете завтра?

— Да, мы и без того дольше, чем предполагали, оставались здесь с вами.

Она подумала и прибавила:

— Мне очень хотелось бы, чтоб вы здесь пробыли еще немного. Неизвестно, что будет с вами в России. Но я не имею права вас задерживать. Я сама в нерешимости. Мне тоже хочется уехать. Одной половиной я живу в России вместе с уехавшими туда друзьями, а другой — здесь, чтоб окончить то, для чего приехала. Я постоянно думаю: что скажут многочисленные враги высшего женского образования, когда из сотен поступивших сюда студенток окончат только единицы? Не скажут ли они, что теперь доказана наша прирожденная неспособность к высшему образованию? Мы первые, все на нас смотрят с интересом и ожиданием, а враги хотят только одного, чтоб большинство из нас ушло, не доучившись.

— Но ведь ваши подруги ушли не по неспособности, а для другого дела, которое сочли более важным.

— А кто будет это разбирать? Вот причина, по которой я хочу продолжать учиться до последней крайности.

— Да, так и надо делать, — заметил я. — Но я чувствую, что и вы, как я, не будете в состоянии учиться, когда ваших подруг в России всех посадят в тюрьмы и сошлют в Сибирь на медленную гибель.

— Да, я очень боюсь этого, — ответила она печально. — Но я все же постараюсь не бросать научной дороги до последней крайности. А вы теперь пойдете ли снова в народ, когда возвратитесь в Россию?

— Я еще не знаю, что буду делать. Теперь много моих друзей мучится в тюрьмах, хотелось бы попытаться освободить их и начать вместе с ними более активную борьбу. Вот в последнем письме Клеменц зовет меня ехать с ним вместо России в Америку, на Кубу, где началось республиканское восстание. Мне очень хотелось бы принять в нем участие, и я поеду туда, если в России не удастся найти товарищей для заговора, который привел бы к гражданской свободе и дал бы возможность всем открыто высказывать свои убеждения.

— А в Москве вы будете?

— Непременно побываю, хотя для своих целей я должен теперь переселиться в Петербург.

— Я хочу вам дать большое письмо к моим подругам, уехавшим отсюда и действующим теперь среди московских рабочих.

Вы можете поручиться, что оно не попадет в руки жандармов? Я там буду писать откровенно.

— Могу, — ответил я без колебаний. — У меня всегда револьвер в кармане, и я никого не подпущу к себе раньше, чем не уничтожу всего, что нужно.

— А как уничтожите?

— Разорву на клочки, скатаю в комочки и проглочу.

На следующее утро она дала мне свое послание, написанное мельчайшим почерком на самой тонкой бумаге. В нем было около пяти листов, и дано оно мне было без конверта, чтоб я мог легче проглотить его по частям в случае опасности.

Она проводила нас до поезда, и мы расстались, махая друг другу платками, пока было видно.

15. Обрыв

Наш приезд в Берлин прошел без всяких приключений. На вокзале нас встретил Клеменц и поместил у знакомых. Мы прожили там с неделю, ходили три раза на собрания социал-демократов, происходившие в большой зале какого-то ресторана, устроенной в виде аудитории с рядами скамей и с проходами между ними. Ораторы по вызову председателя, выходили на трибуну и с нее произносили речи. А остальная публика слушала их со своих скамеек, прихлебывая пенящееся пиво, разное симое мальчиками, бегавшими туда, где раздавался стук пустой кружки по узенькому столику перед нею. Эти однообразные стуки служили как бы аккомпанементом каждой речи.

Прения носили здесь несравненно более деловой, спокойный и систематической характер, чем у нас в Женеве — в Интернационале. Чувствовалось, что тут говорят люди, не оторвавшиеся от своей среды, от родной им жизни, что здесь слова — только подготовка реального дела. Я многого не понял, так как плохо знал тогда немецкий язык. Но председатель вскоре после нашего прихода проведал от кого-то, что мы — «русские нигилисты», как, не спросив нашего согласия, окрестили нас тогда.

— Граждане! — сказал он публике, вставая и указывая на нас, — предлагаю всем приветствовать явившихся к нам первых русских товарищей.

Весь зал задрожал от рукоплесканий. Все глаза на несколько минут направились прямо на нас. Ближайшие крепко пожимали нам руки. А мы, в волнении от неожиданности и удовольствия, могли только кланяться на все стороны, восклицая:

— Danke herzlich! Danke herzlich!

Но ничего другого от нас и не требовалось.

Растроганные до глубины души, ушли мы в этот вечер домой. И снова, в непроницаемом мраке безлунной ночи, то с грохотом, то с воем помчал нас железнодорожный поезд. Он направлялся прямо на восток и доставил нас утром следующего дня на русскую границу, в Эйдкунен.

Было ли у нас хоть малейшее предчувствие, что он вез нас в давно приготовленные для нас каменные могилы, где нам придется годы томиться без солнечного света, без чистого воздуха? Мы хорошо знали, что за Эйдкуненом нас ожидает большая опасность, но как могли мы предугадать трагическое окончание здесь нашего пути?

— Возвращаться много опаснее, — задумчиво сказал мне Саблин, — чем бежать из России. При бегстве, перейдя границу, оказываешься в безопасности, никто не может гнаться по иностранной территории, а теперь, наоборот, всякий заметивший нас стражник может преследовать нас, сколько хочет.

— Да, конечно, — ответил я. — Но, может быть, все же переберемся благополучно. А потом, внутри России, нас труднее будет ловить.

А между тем, судьба уже определила, что здесь наш первый жизненный путь резко обрывается перед распахнувшейся уже для нас по ту сторону границы дверью темницы.

Да, то что должно случиться, неизбежно случится. Я говорю это вовсе не потому, что сделался фаталистом. Я хочу сказать только одно: корни всех совершающихся или грядущих событий вросли глубоко в прошлое, и это я часто чувствую и теперь...

Проходя мимо Петропавловской крепости, я думал не раз:

— Вот политический узник сидит там в своей темнице, и будущее кажется ему беспросветным. Он думает теперь только об одном: как бы хорошо поскорее умереть! А между тем вдали за толстыми каменными стенами его темницы вечно рокочут народные волны, и, может быть, где-то садовник уже посеял те цветы, которыми осыплют его, свободного, среди всеобщей радости и ликований, и эта теперешняя жизнь в темнице будет казаться ему лишь долгим тяжелым кошмаром.

Однако, скажете вы, какое же отношение имеют все эти отвлеченные размышления к приближающемуся концу настоящего рассказа?

Да очень простое! Они и есть его истинный конец. Еще за долго до того, как я приехал из свободной Швейцарии на русскую границу, еще в то время, когда я, маленький, бегал с сестрами

на берегу пруда и делал из песка пирожки, где-то в далеком лесу росли деревья, которым суждено было привезти меня сюда. Я рос и они росли, я начал учиться в гимназии и мечтать о научных открытиях и об освобождении всего человечества, а деревья эти были срублены, и из них начали делать вагоны. Теперь эти вагоны исполнили свою роль в моей жизни и уехали обратно, чтобы исполнить то или иное назначение в жизни других людей. И как мог бы я не приехать сюда, когда деревья эти появились из земли еще ранее, чем я родился на свет? Они оставили меня в виду русской пограничной платформы, а за нею, невидимо для меня, уже зияла роковая бездна, в которую я должен был, так сказать, мгновенно свалиться через несколько минут и исчезнуть в ее глубине.

Вся та полоса моей жизни, о которой я повествую в этом рассказе, все мои планы, все мои мечты и надежды резко обрываются здесь, и мне нечего больше рассказать в смысле продолжения предыдущего⁴⁰.

ПРИМЕЧАНИЯ

К АВТОБИОГРАФИИ

¹ (стр. 8). Автобиография написана 13 февраля 1926 г. Напечатана в Энциклопедическом словаре Русского библиографического института Гранат (т. 40, вып. 7—8, М., 1926, стр. 305—317), в отделе «Автобиографии революционных деятелей русского социалистического движения 70—80-х годов», с примечаниями В. Н. Фигнер (приложение к статье «Развитие социалистической мысли в России»).

Имение Борók, Ярославской области, в котором родился Н. А. Морозов, было закреплено за ним по личному указанию Владимира Ильича Ленина (ВАН СССР, № 7—8, 1944 г., стр. 36).

Впоследствии Н. А. Морозов передал это имение Академии наук, которая учредила там Верхневолжскую научную базу. Постановлением Совета Министров Союза ССР на Академию наук возложена обязанность «организовать при Биологическом стационаре «Борók» им. Н. А. Морозова в доме, где жил и умер Н. А. Морозов, музей им. Н. А. Морозова» (Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова и об обеспечении его семьи, газ. «Правда». 1946 г., 1 августа).

² (стр. 10). Липа Алексеева — Олимпиада Григорьевна Алексеева — участница кружка чайковцев; о ее пропагандистской деятельности — в тексте. Арестована летом 1875 г. Обвинялась по Большому процессу 1877 г. (193-х). Признана невиновной. Впоследствии отошла от движения.

³ (стр. 11). «Работник» — «газета для русских рабочих», — издавался в Женеве. С января 1875 г. по март 1876 г. вышло 15 номеров. Журнал «Вперед» издавался в 1873—1874 гг. непериодическими сборниками (три выпуска), в 1875—1876 гг. — двухнедельником (48 номеров), затем снова сборником (4-й и 5-й; последний — без участия П. Л. Лаврова).

⁴ (стр. 12). В составленном Третьим отделением списке участников процесса 193-х против имени Н. А. Морозова помечено: «К родителям на попечение и под надзор». В других отделах списка Н. А. Морозов назван «мещанином, незаконным сыном мологского предводителя дворянства», выбывшим «неизвестно куда» («Красный архив», № 5—30, 1928, стр. 190—195).

⁵ (стр. 16). Н. А. Морозов напечатал об этом знакомстве две статьи: «Карл Маркс и «Народная воля» в начале 80-х годов» («Каторга и ссылка», № 3—100, 1933, стр. 142—148), «У Карла Маркса» (газ. «Известия» от 7 ноября 1935 г.).

⁶ (стр. 16). Н. А. Морозова судили в особом присутствии сената по «процессу двадцати» в феврале 1882 г. вместе с А. Д. Михайловым,

Н. В. Клеточниковым, М. Ф. Фроленко, А. В. Якимовой и другими. Кроме общего обвинения в принадлежности к тайному революционному обществу, Н. А. Морозову ставилось в вину участие в покушении на взрыв царского поезда в ноябре 1879 г. Виновным он себя не признал и отказался давать показания по существу, так как это «могло бы повредить его друзьям и знакомым и послужить целям правительства» («Былое», № 1, 1906, стр. 246).

В «Отчете о процессе 20-ти народовольцев», составленном одним из присутствовавших на суде и появившемся в печати четверть века спустя, имеется следующая характеристика Н. А. Морозова: «Больше среднего роста, очень худощавый, темно-русый, продолговатое лицо, мелкие черты лица, большая шелковистая борода и усы, в очках, очень симпатичен; говорит тихо, медленно» («Былое», № 6, 1906, стр. 245).

Во время обвинительной речи прокурора Н. В. Муравьева некоторые подсудимые, в их числе Н. А. Морозов, часто протестовали против его заявлений. Суд приговорил Н. А. Морозова в числе пяти обвиняемых к вечной каторге. К смертной казни, замененной затем каторжными работами, приговорены десять человек, в их числе А. Д. Михайлов, Н. В. Клеточников, М. Ф. Фроленко. Жандармы, однако, считали Н. А. Морозова «весьма опасным революционным деятелем вследствие особенности характера его деятельности, не дающей возможности уличить его во вредном направлении» («Былое», № 8, 1907, стр. 122).

⁷ (стр. 17). Соколов Матвей Ефимович, смотритель Шлиссельбургской каторжной тюрьмы, прозванный заключенными за жестокость и мучительство Иродом.

«Первое, что меня в нем поразило, — рассказывает в своих воспоминаниях товарищ Н. А. Морозова по заключению в Алексеевском рavelине П. С. Поливанов, — это было выражение его глаз. До сих пор я не видел ничего подобного никогда и ни у одного человека; они поразительно походили на глаза крупных пресмыкающихся. Тот же холодный блеск, то же самое отсутствие мысли. То же самое выражение тупой, безжалостной злобы. В этих глазах ясно читалось, что их обладателя ничем не проймешь, ничем не удивишь, ничем не разжаобишь, что он будет так же хладнокровно и так же методически душить свою жертву, как боа-констриктор давит барана.

Отталкивающее впечатление, производимое этим человеком, еще более усиливали щетинистые подстриженные усы, выдающийся бритый подбородок и все его ухватки, напоминавшие не то мясника, не то палача, каковые звания очень шли к его плотной, коренастой фигуре с молодецки выпяченной грудью и широкими ручищами, толстые пальцы которых находились в постоянном движении, как бы отыскивая себе работу. . . Во время Крымской войны он был солдатом, и его взял к себе в денщики Потапов (бывший впоследствии шефом корпуса жандармов), а потом Соколов пошел в жандармы, но только в 1870 г. он был произведен в офицеры благодаря протекции своего бывшего барина. Однако по своей неразвитости и малограмотности употреблялся лишь на черную работу: возил арестантов на допросы, дежурил в III отделении и присутствовал иногда при обысках, так как у него не только были исполнительность и рвение, но и некоторый шпионский нюх» (П. С. Поливанов — Алексеевский рavelин, Л., 1926, стр. 114 и сл.; подробности шпионско-жандармской и палаческой карьеры Ирода-Соколова у П. Е. Щеголева — Алексеевский рavelин, М., 1929, стр. 332 и сл.).

⁸ (стр. 18). Упоминаемые Н. А. Морозовым книги изданы после выхода его из крепости: «Откровение в грозе и буре. История возникновения Апокалипсиса. С рисунками и снимками с древних астрономических карт Пулковской обсерватории». Изд. редакции журнала «Былое». П., 1907.

10 + 304 стр. Ц. 1 р. 35 к. Содержание: Часть I — Пролог. Часть II — Откровение в грозе и буре и в четырех ударах патмосского землетрясения 30 сентября 395 г. Часть III — Когда написано «Откровение в грозе и буре»? Определение времени по заключающимся в нем самом астрономическим указаниям. Часть IV — Характеристика византийской жизни IV века и послания автора Апокалипсиса к семи малоазиатским собраниям верных. Часть V — Личность автора «Откровения в грозе и буре». Иоанн Златоуст из Антиохии как революционер и демагог. Приложение — Проверочные вычисления пулковских астрономов М. М. Каменского и Н. М. Ляпина. Было несколько повторных изданий; были переводы на иностранные языки. Книга вызвала обширную литературу (свыше тридцати произведений), в том числе несколько книг: акад. Н. К. Никольский — Спор исторической критики с астрономией, 1908; В. Ф. Эрн — Откровение в грозе и буре, разбор книги Н. А. Морозова, 1907, и др. На тему этой книги Н. А. читал в разных городах лекции: Апокалипсис с астрономической точки зрения (журн. «Мир», 1908, № 3, стр. 11—18; № 4, стр. 17—23; № 5, стр. 15—23, и др. издания). Затем Н. А. Морозов упоминает в «Автобиографии» свои книги: «Пророки — история возникновения библейских пророчеств, их литературное изложение и характеристика», 1914; «Христос», т. I—VII, 1924—1932 (были повторные издания некоторых томов, отдельные брошюры, журнальные и газетные статьи по частным вопросам той же темы; есть предисловие в книге А. Немоевского «Бог Иисус», перевод Л. Я. Круковской, П., 1920, стр. 1—16).

Изложение своего исследования об Апокалипсисе Н. А. дал в письме к родным от 13 февраля 1904 г.

⁹ (стр. 18). Здесь упоминаются книги Н. А. Морозова: «Функции — наглядное изложение дифференциального и интегрального исчисления и некоторых его приложений к естествознанию и геометрии. Руководство к самостоятельному изучению высшего математического анализа», 1912; «Периодические системы строения вещества. Теория возникновения современных химических элементов», 1907; «Законы сопротивления упругой среды движущимся в ней телам», 1908; «Основы качественного физико-математического анализа и новые физические факторы, обнаруживаемые им в различных явлениях природы», 1908; «Начала векториальной алгебры в их генезисе из чистой математики», 1909. Наиболее полный список научных трудов Н. А. Морозова составлен Н. М. Нестеровой и Л. Н. Пржевальской под редакцией О. В. Исаковой (в книге: К. Морозова — Ник. Ал. Морозов. К 90-летию со дня рождения. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1944, стр. 38—46). В настоящих примечаниях названы в разных местах некоторые научные статьи Н. А. Морозова, не включенные в списки его трудов.

Из крупных работ Н. А. в области естествознания следует еще иметь в виду обширный труд «Вселенная», напечатанный во II т. сборника «Итоги науки в теории и практике» (изд. т-ва «Мир» г. П., М., 1911, стр. 605—904).

О научных трудах Н. А. Морозова имеются статьи: Акад. А. А. Марков — Об одном применении статистического метода (Изв. Академии наук, сер. VI, т. X, 1916, № 4, стр. 239—242); Н. М. Штадде — О работах Н. А. Морозова по астрономии и смежным наукам (Изв. научного института им. П. Ф. Лесгафта, 1924, т. 31, стр. 15—22); проф. В. Р. Мрочек — Н. А. Морозов, революционер-ученый (К 80-летию со дня рождения и 60-летию революционной деятельности; работы его в области химии, астрономии, математики и механики) («Мироведение», 1934, т. 23, № 4, стр. 286—293); Д. Я. Глезер — Н. А. Морозов («Природа», № 8, 1934, стр. 59—64); Н. А. Морозов (К 90-летию со дня рождения) (Вестник Ака-

демии наук СССР, 1944, № 7—8, стр. 30—36; № 9, стр. 92); отзывы на «Периодические системы строения вещества»: проф. химии П. Г. Мелликова («Одесские новости», 1907, от 17 февраля), в журнале «Современный мир» за 1907 г. (№ 3, стр. 62 и сл.) и мн. др.

Об ученых трудах Н. А. Морозова см. его «Письма из Шлиссельбургской крепости» от 25 июня 1903 г. и 13 февраля 1904 г. (в т. II настоящего издания).

¹⁰ (стр. 19). Стихотворения Н. А. Морозова изданы несколько раз. Первым легальным изданием была книга «Из стен неволи» (1906). Затем следовали «Звездные песни» (1910), за которые автор был осужден к годичному заключению в крепости. В обращении к читателям Николай Александрович писал: «Не все эти песни говорят о звездах... Нет! Многие из них были написаны во мраке непроглядной ночи, когда сквозь нависшие черные тучи не глядела ни одна звезда. Но в них было всегда стремление к звездам, к тому недостижимому идеалу красоты и совершенства, который нам светит по ночам из глубины вселенной. Вот почему я дал им это название. Некоторые из них были напечатаны ранее в сборнике «Из стен неволи». Теперь этот сборник разошелся, и не известно, когда появится вновь. Здесь я собрал все, что было написано мною после освобождения, и прибавил то, что мог припомнить из написанного в Стенах Неволи и что можно было прибавить, не рискуя конфискацией этой книжки». Предосторожность поэта не спасла его от заключения в крепостную тюрьму. Новое издание своих стихотворений без всяких предосторожностей цензурного свойства и без последующего сидения в тюрьме Н. А. Морозов мог выпустить только в Советской России («Звездные песни», первое полное издание, в двух томах, 1920—1921).

Были зарубежные издания 1880-х годов. Отдельные стихотворения печатались в журналах, включены в разные сборники образцов русской поэзии, в хрестоматии.

¹¹ (стр. 19). «Среди облаков» — рассказы, стихотворения, статьи о воздухоплавании и авиации, 1924 (на те же темы Н. А. Морозов напечатал с 1911 г. много очерков в специальных сборниках, в газетах, журналах и отдельными брошюрами). Об этой стороне деятельности Н. А. Морозова — в книге: «История воздухоплавания и авиации в СССР, по архивным материалам и свидетельствам современников». Под ред. В. А. Попова. Период до 1914 г. М., 1914 (стр. 299 и сл.; в тексте — снимки). См. еще: К. Е. Вейгелин — Очерки по истории летного дела (М., 1940, стр. 398).

Во вступительной заметке к статье «Перспективы будущего» Н. А. Морозов писал: «Когда я в первый раз взлетел на аэроплане вместе с покойным Л. М. Мациевичем, так одновременно погибшим для науки, и увидел перед собою в вихре несущегося мимо воздуха раскрывшиеся берега Финского залива с одной стороны, а с другой крыши петербургских домов, как будто грани кристаллов, вросших в землю, мне показалось, что передо мной, как некогда перед Моисеем с вершины Синайской горы, раскрылась Обетованная земля будущего человечества, когда оно, свободное, взлетит, наконец, за облака.

— Вот пейзаж, который будет привычен нашим потомкам, — думалось мне. — Какое счастье родиться и жить на рубеже двух эр нашей земной истории и хоть издали, хоть мельком увидеть абрисы будущего!

Да, завоевание воздушной стихии повлечет за собой великие изменения в общем строе жизни на нашей планете и даже в самой психологии людей, и мне хотелось бы в своей статье познакомить читателя со взглядами на этот предмет выдающихся мыслителей и высказать свой взгляд на те пути, по которым, как мне кажется, должны пойти такие изменения» (Перспектив художественного издания «Русское воздухоплавание. История и успехи». П.,

1911, стр. 29 и сл.). Статья «Перспективы будущего» предназначалась для вып. VI названного издания, как заключительная.

Статья Н. А. Морозова «Памяти авиатора Л. М. Мацневича» — в «Русских ведомостях» за 1910 г. (№ 222 от 28 сентября). Знаменитому авиатору посвящены также в книге Н. А. Морозова «Среди облаков» очерк «Гибель Мацневича» (стр. 32—34) и стихотворение «Памяти Мацневича» (стр. 197).

В предисловии к сборнику «Среди облаков» Н. А. Морозов так объяснял его появление: «Огромное значение воздухоплавания и авиации понимается теперь всеми образованными людьми. Ни одно культурное государство не может более существовать без своего воздушного флота. Желание содействовать его развитию у нас и заставило меня выпустить в свет эту книжку».

¹² (стр. 19). «На войне — рассказы и размышления». Изд. В. С. Быковского. П., 1916.

¹³ (стр. 20). Директором института им. П. Ф. Лесгафта Н. А. Морозов был избран после Октябрьской революции. Академия наук СССР избрала его почетным членом 29 марта 1932 г. по Отделениям химических и физико-математических наук. О профессоре анатомии, общественном деятеле, учредителе Высших женских курсов П. Ф. Лесгафте имеются два очерка Н. А. Морозова: «Памяти заботливого друга» (сборник «Памяти П. Ф. Лесгафта», П., 1912, стр. 174—181; там же письма Лесгафта к Н. А. Морозову, стр. 135—142), «Петр Францевич Лесгафт» (газ. «Правда», 1937 г., № от 19 сентября).

¹⁴ (стр. 20). Кроме комментируемого очерка, Н. А. Морозов напечатал, значительно раньше, такой же — в сборнике Ф. Ф. Филлера «Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей» (М., 1911, стр. 73—80). Фактическое содержание этого очерка использовано в Автобиографии 1926 г.

Дополнительные штрихи к Автобиографии имеются в статье Н. А. Морозова «Клочки воспоминаний» (газ. «Известия», 1934, № от 6 июня). В рассказе о кружке «естествоиспытателей-гимназистов» здесь сообщается: «До пятого класса я прочел уже по несколько раз Писарева, Добролюбова, Чернышевского. Я прочел и Дарвина, и Фарадея, и К. Фохта, и Гексли, и Тиндаля, и несколько астрономий».

Беглое упоминание в Автобиографии о знакомстве с К. Марксом изложено в «Клочках воспоминаний» подробнее: «Еду в Лондон к К. Марксу просить его дать для перевода какую-нибудь из своих работ. Он дает мне несколько, в том числе «Манифест Коммунистической партии».

Сообщение о научных исследованиях развито в «Клочках воспоминаний» полнее: «Я начал составлять периодическую систему основных органических веществ и вдруг увидел, что из них вышла у меня такая же периодическая система как менделеевская для неорганических, но только с добавлением нейтральной группы органических радикалов, которые лишены способности к химическим реакциям. Я пересмотрел таблицу Менделеева и увидел, что и ее можно дополнить такую же группу, и тогда аналогия обеих систем будет полная».

Но эта аналогия сейчас же показала мне, что и атомы неорганических веществ не элементарны, а сложны и составлены из двух более первоначальных элементов. А, кроме того, для полного получения менделеевской системы во все ее ряды, кроме двух первых, мне пришлось ввести и водород в особом первичном состоянии, и во все группы, за исключением теоретически введенной мною нейтральной, должны были входить два рода электронов. Один из них я назвал катодием, т. е. выделяющимся на катоде, а другой —

аноидом, выделяющимся на аноде *. Кроме того, я пришел к возможности соединения двух атомикулов катода с одним атомикулом анода, причем получается нейтральное космическое вещество, чрезвычайно легкое и все проникающее, и сделал затем вывод, что, кроме элементов, указанных Менделеевым, должны существовать их изотопы. Считая это открытие очень важным, я написал об этом целый том под названием «Периодические системы строения вещества».

Несомненно, самим Н. А. Морозовым написан большой очерк «28 лет в Шлиссельбурге» (газ. «Страна», № 3 от 22 февраля 1906 г.; в подзаголовке заявлено, что это — беседа с Н. А. Морозовым). Затем появилось в печати, наряду с публикацией отдельных «Повестей моей жизни», несколько очерков и рассказов Н. А. Морозова с автобиографическим содержанием: «Вера Николаевна Фигнер» («Первый женский календарь П. Н. Ариан» на 1907 г., стр. 342—347); «Андрей Франжоли» («Бывшее», № 3, 1907, стр. 283—289); «А. Арончик» («Еврейский мир», № 3, 1909, стр. 89—99); «Памяти В. А. Караулова — из личных воспоминаний» (газ. «Речь», 1910 г. № от 22 декабря); «В глубине преисподней — по заметкам, писанным в ней самой» («Вестник Европы» за 1913 г. № 4, стр. 213—263, № 5, стр. 132—175, № 6, стр. 54—77); «Л. Н. Толстой и современная наука — из воспоминаний» («Толстовский ежегодник 1913 г.», стр. 51—53); «Из воспоминаний о друге — памяти Д. А. Клеменца» (газ. «Речь» № 11 от 12 января 1914 г.). Некоторые из них использованы автором в «Повестях»; о других рассказах такого же характера сообщается в примечаниях к тексту «Повестей».

7 октября 1939 г. М. И. Калинин вручил Н. А. Морозову правительственную награду в связи с исполнившимся 85-летием со дня его рождения. Принюся правительству благодарность за высокую оценку его деятельности, Н. А. Морозов сказал: «Высокая награда, которой я удостоен, показывает, что моя жизнь не была бесплодной. При старом режиме у меня были идеи, которые никак в то время не могли быть реализованы и которые я мог осуществить только при Советской власти. И вот теперь, в этот памятный для меня день, я радуюсь, что дожил и живу в период величайшего торжества нашей Советской власти, громадным успехам которой будет еще дивиться весь мир» (газ. «Правда», 1939 г., № от 8 октября).

К КНИГЕ ПЕРВОЙ

¹ (стр. 23). В предисловии к I тому «Повестей» в издании 1928 г. Н. А. Морозов заявляет, что писал их «для развлечения» своей жены Ксении Алексеевны, «скупавшей» около Двинской крепости, где он отсиживал в 1912 г. одиночное заключение по приговору суда за издание своих стихотворений («Звездные песни»). Автор имел в виду помочь этими рассказами читателю «познакомиться с внутренними мотивами той первоначальной борьбы с самодержавием, которая была прологом к современной революции». В объяснительной заметке к I тому «Повестей» в издании 1933 г. Н. А. Морозов сообщает, что рассказ «В начале жизни» написан «во второй половине декабря 1902 г. в Шлиссельбургской крепости». Впервые этот рассказ напечатан в журнале «Русское богатство» (1906, № 5 и 6), затем издан отдельной книжкой (М., 1907); включался во все последующие издания автобиографических «Повестей».

² (стр. 24). «Введение» появилось впервые в издании 1933 г.

* Теперь они экспериментально установлены, только катодий назван негатроном, а анодий — позитроном — Н. М.

³ (стр. 24). Комендантом Шлиссельбургской крепости был в то время жандармский полковник Яковлев; о нем — в воспоминаниях В. Н. Фигнер, М. В. Новорусского и других шлиссельбуржцев.

⁴ (стр. 27). О родных Н. А. Морозова имеются некоторые сведения в надгробиях над могилами Щепочкиных. В Афанасьевском женском монастыре, Мологского уезда, похоронен Петр Алексеевич Щепочкин, родившийся 7 октября 1832 г., умерший 24 марта 1886 г. Это, конечно, отец Н. А. Морозова. Там же похоронены: артиллерийский поручик Алексей Григорьевич Щепочкин, умерший 20 сентября 1840 г., и его жена Вера Петровна, умершая 11 июня 1840 г. Это, по-видимому, брат прадеда Н. А. Морозова со своей женой («Провинциальный некрополь», П., 1914, стр. 977). В Алексеевском женском монастыре, в Москве, похоронены майор Петр Григорьевич Щепочкин, умерший 27 июля 1844 г., и его жена Екатерина Алексеевна, умершая 13 апреля 1848 г. Это, вероятно, прадед Н. А. Морозова со своей женой. Там же похоронен Николай Петрович Щепочкин, умерший 3 мая 1864 г. Это, по-видимому, брат деда Н. А. Морозова, опекун его отца («Московский некрополь», т. III, П., 1908, стр. 376).

⁵ (стр. 31). Н. А. имеет в виду эпизод, рассказанный в главе 7-й первой части «Войны и мира» Л. Н. Толстого.

⁶ (стр. 41). Д. М. Перевоицков был профессором астрономии в Московском университете с 1826 г. (преподавал там математику с 1818 г.); с 1851 г. — академик; его «Руководство к астрономии» вышло в Петербургском университете (1837—1839); его «Лекции популярной астрономии», читанные в Морском кадетском корпусе, впервые изданные в 1844 г., переизданы в 1864 г.

⁷ (стр. 56). «Классическое мракобесие». Имеется в виду введенная министром просвещения Д. А. Толстым система изучения в гимназиях классических (латинского и греческого) языков. Назначенный министром после выстрела Д. В. Каракозова в Александра II (4/16 апреля 1866 г.), Толстой задался целью отвлечь внимание воспитанников средней школы от революционной пропаганды. Для этого он выдвинул преподавание классических языков на первый план в программе гимназического курса. Обучение велось в духе одуряющей, бессмысленной зубрежки, делавшей этот предмет, а вместе с ним и все гимназическое учение ненавистными для воспитанников средней школы.

⁸ (стр. 63). Ник. Вас. Соколов был подполковником, служил в Главном штабе, в 1863 г. вышел в отставку. Сотрудничал в журнале «Русское слово». Свою книгу «Отщепенцы» напечатал в Петербурге легально и доставил в цензурный комитет — для получения разрешения на выпуск в свет — утром 4 апреля 1866 г., за два часа до выстрела Д. В. Каракозова в Александра II. Книга была арестована, автор предан суду. В обвинительном акте указывалось, что книга Соколова представляет собой «сборник самых неистовых памфлетов... она особенно опасна потому, что в ней коммунистические и революционные доктрины представляются в непосредственной связи с первобытным христианством» (А. Ефимов — Публицист 60-х годов Н. В. Соколов, «Каторга и ссылка», № 11—12, 1931, стр. 69).

Н. В. Соколов был приговорен к заключению в крепость на 1 год и 4 месяца, а книга была сожжена. По окончании срока наказания Н. В. Соколов «за упорное стремление распространять возмутительные идеи среди арестованных» был выслан в Архангельскую губернию, затем в Астраханскую. В 1872 г. бежал за границу. В том же году «Отщепенцы» были снова выпущены в Цюрихе; книга распространялась в России нелегально в литографированном виде («Русская подпольная и зарубежная печать», ред. С. Н. Валка и Б. П. Козьмина, вып. I, М., 1935, стр. 120).

⁹ (стр. 77). Это был Иоганн Пельконен, обучавший сапожному ремеслу участников революционного движения в петербургской и других мастерских, устроенных ими. При аресте пропагандистов в Саратове был взят в мастерской и Пельконен. Присоединенный жандармами к обвиняемым по процессу 193-х, он умер в 1876 г. в тюрьме, не дождавись суда.

¹⁰ (стр. 82). «Дубинушка» Д. А. Клеменца начиналась стихами: «Ох, ребята, плохо дело! Наша барка на мель села!». О ней — дальше в тексте.

¹¹ (стр. 90). «Где лучше? Сказка о четырех братьях и об их приключениях» написана Л. А. Тихомировым (см. его «Воспоминания», М.—Л., 1927, стр. 75, а также сб. «Русская подпольная и зарубежная печать. Библиографический указатель», под ред. С. Н. Валка и Б. П. Козьмина, М., 1935, стр. 124). Было несколько зарубежных изданий с указанием, будто книжка печаталась в Москве с разрешения цензуры; переиздания выпускались под разными названиями (см. Ив. Книжник-Ветров — Маскировка популярной революционной литературы в 70-е годы, «Книжные новости», № 22, 1936, стр. 29).

¹² (стр. 101). Врач Ив. Ив. Добровольский — один из деятельнейших помощников А. И. Иванчина-Гисарева по революционной пропаганде. Донес на них Тим. Ив. Буков («Повести», 1928, т. I, стр. 284). Врач Добровольский был приговорен по делу 193-х к 9-летней каторге, но скрылся после суда за границу. Вернулся на родину после амнистии 1905 г. Арестованная вместе с ним акушерка Мар. Плат. Потоцкая была по делу 193-х признана невиновной, но подверглась административной высылке.

¹³ (стр. 118). Рассказ «У таинственного порога» написан в Двинской крепости 4—10 сентября 1912 г.; напечатан в журн. «Голос минувшего», 1913, № 8; включен в отдельные издания «Повестей».

¹⁴ (стр. 131). Книга В. В. Берви-Флеровского «Азбука социальных наук» вышла в свет не в конце 60-х годов, как можно понять из текста, а в начале 70-х годов (1871). В конце 60-х годов распространилась книга Флеровского «Положение рабочего класса в России» (1869; советское издание, М.—Л., 1938). Об этой книге К. Маркс в письме к членам русской секции Первого Интернационала от 24 марта 1870 г. заявлял: «Это настоящее открытие для Европы... Это — труд серьезного наблюдателя, бесстрашного труженика, беспристрастного критика, мощного художника и прежде всего человека, возмущенного против гнета во всех его видах... Такие труды, как Флеровского и как вашего учителя Чернышевского, делают действительную честь России и доказывают, что ваша страна тоже начинает участвовать в общем движении нашего века» (Главный совет международного товарищества рабочих — членом Комитета русской секции в Женеве. Соч. Маркса — Энгельса, т. XIII, ч. I, стр. 353 и сл.).

¹⁵ (стр. 145). Рассказ «Лиза Дурново» напечатан впервые в журн. «Голос минувшего», 1913, № 9; включен в отдельные издания «Повестей».

¹⁶ (стр. 151). Елизавета Петровна Дурново, которой посвящен рассказ, озаглавленный ее фамилией, — дочь богатого гвардейского офицера. Ее несколько раз подвергали арестам, но выпускали под залог или на поруки знатных родственников; скрывалась за границу и возвращалась на родину с разрешения правительства. Продолжала революционную деятельность до самой смерти (1910 г.), примыкала к различным группировкам. Была замужем за революционером Я. К. Эфроном, имела девять детей; почти все они принимали участие в революционном движении. По поводу комментируемого рассказа появился в печати очерк, основанный на сообщениях родных и друзей Е. П. Дурново, опровергавших ее родство с московским губернатором П. Н. Дурново: «Все, относящееся к сановному «дяде» и его «племяннице», является не более как легендой, построенной на явных ошибках или сплошном недоразумении... Она просто

была его знакомой по аристократическим кругам... Все сведения о проживании Е. П. в доме сановного дяди, московского губернатора, не соответствуют действительности... Она жила в собственном доме ее отца Петра Аполлоновича Дурново в Гагаринском переулке на Пречистенке... Встречи и свидания, переодевание в крестьянское платье... могли происходить только в квартире отца» (журнал «Каторга и ссылка», № 12—61, 1929, стр. 145—163). Эта статья была напечатана после выхода в свет второго издания «Повестей». Однако, подготавливая к печати новое издание своих мемуаров и внося в них поправки или дополнения, Н. А. Морозов оставил без изменения рассказ «Лиза Дурново» в той части, которая комментирована в настоящем примечании.

¹⁷ (стр. 152). Рассказ «Большая дорога» впервые напечатан вместе с предыдущим.

¹⁸ (стр. 152). Из стихотворения И. С. Аксакова «Шоссе» в поэме «Бродяга» (1852); напечатано в «Сборнике стихотворений» И. С. Аксакова (М., 1886, стр. 133; было два издания, второе — без изменений).

¹⁹ (стр. 158). Из стихотворения без заглавия в поэме «Бродяга» («Сборник стихотворений» И. С. Аксакова, стр. 124; комментируемый и предыдущий отрывки из поэмы «Бродяга» включались в течение всей второй половины XIX в. в школьные хрестоматии).

²⁰ (стр. 168). Рассказ «Во имя братства» напечатан в журн. «Голос минувшего», 1913, № 9.

²¹ (стр. 188). Рассказ «Захолустье» напечатан в журн. «Голос минувшего», 1913, № 10.

²² (стр. 207). Настоящая фамилия упоминаемых в этой главе лиц — Хитрово. Автор заменил ее фамилией Петрово, так как передававший через него приветы помещику лаборант Петровской (ныне Тимирязевской) сельскохозяйственной академии Л. А. Хитрово был еще жив, когда писался комментируемый рассказ.

К КНИГЕ ВТОРОЙ

²³ (стр. 221). Рассказ «По волнам увлечения» написан в первой половине октября 1912 г., напечатан впервые в журн. «Голос минувшего», 1913, №№ 11 и 12, под названием «Во имя братства». В издании 1928 г. этот рассказ имел посвящение, адресованное К. А. Морозовой.

²⁴ (стр. 232). Вас. Сем. Ивановский бежал из Басманной части 1 января 1877 г. и эмигрировал не в Болгарию, а в Румынию, где занимался врачебной практикой. Поддерживал связи с русскими революционерами. О нем — в «Истории моего современника» В. Г. Короленко, который был женат на его сестре Евдокии Семеновне.

²⁵ (стр. 265). Из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858; Избранные сочинения, со вступительной статьей А. М. Еголина, 1945, стр. 65).

²⁶ (стр. 297). Из поэмы Н. А. Некрасова «Несчастные» (1856 г.). Цитата неточная. У Некрасова: «Ты дорог нам, — Ты была всегда Ареней деятельной силы, Пытливой мысли и труда!» (там же, стр. 53).

²⁷ (стр. 297). Редактор «Знания», дворянин, присяжный поверенный Ис. Альб. Гольдсмит и жена его Софья Ивановна были близки к революционным организациям 70-х годов. Подвергались арестам и высылке. В 1880 г. Гольдсмит предложил свои услуги жандармам. Оба были освобождены от надзора. В 1884 г. снова арестованы за сношения с народолюбцами. Освобождены под залог и скрылись за границу. Проживали

в Болгарии, где Гольдсмит был прокурором. Высланные из Болгарии, жили в Константинополе. Здесь Гольдсмиты были арестованы по требованию царских властей и доставлены в 1887 г. в Россию. Гольдсмит предложил жандармам обслуживать их за границей в русских революционных кругах. Освобожденный из тюрьмы, он, однако, вскоре был привлечен к уголовному суду за мошенничество и снова скрылся в 1888 г. за границу. Жил в Париже, где также сидел в тюрьме за мошенничество. Там он и кончил в 1890 г. свою путаную жизнь. Жена его вернулась впоследствии в Россию. После первой революции она напечатала (в журн. «Минувшие годы», № 12, 1908, стр. 84—96) статью И. А. Гольдсмита о его легальной журналистской деятельности в 70-х годах.

²⁸ (стр. 298). Софье Перовской не пришлось оставлять «придворную среду», хотя по рождению она и принадлежала к тогдашней русской аристократии. Дело в том, что вследствие характера ее отца семейная жизнь Перовских сложилась так, что ее мать большей частью жила с дочерью вне Петербурга. У девушки очень рано развились демократические склонности, и она сама сторонилась той среды, к которой принадлежала по родственным связям (А. И. Корнилова-Мороз — Софья Львовна Перовская, М., 1930; В. А. Перовский — Воспоминания о сестре, М.—Л., 1927).

²⁹ (стр. 298). Брак Чайковского с С. С. Синегуба с Ларисой Васильевной Чемодановой устроился иначе. Чемоданова не могла мириться с семейным деспотизмом отца — провинциального священника в Глазовском уезде Вятской губернии. Скрылась из дому, была достигнута отцом, возвращена в семью. Друзья помогли ей освободиться от родительского гнета, нашли ей фиктивного жениха. Тогда фиктивные браки заключались с указанной целью часто. Один из наиболее известных — брак знаменитой Софьи Корвин-Круковской с гениальным палеонтологом В. О. Ковалевским (см. Софья Ковалевская — Воспоминания детства и автобиографические очерки. Изд. Академии наук СССР, 1945). Студент С. С. Синегуб очаровал родителей Ларисы, их повенчали. Уехав от Чемоданова, молодожены занялись пропагандой. Вскоре их фиктивный брак, подобно браку Корвин-Круковской с Ковалевским и многим другим таким же, перешел в действительный. Осужденный по процессу 193-х на 9-летнюю каторгу, Синегуб был отправлен в Сибирь. Жена добровольно разделяла его участь в петербургской тюрьме и на Каре. Рассказ Синегуба об этом браке — в его «Воспоминаниях Чайковского» («Былое», № 8—10, 1906, отд. издание, М., 1929).

³⁰ (стр. 304). По поводу этого сообщения Н. А. Морозова (когда рассказ был напечатан в «Голосе минувшего», 1913, № 12, стр. 160), Всеволод Александрович Лопатин (брат шкисельбуржца) прислал в редакцию журнала заметку под названием «Освобождение Ф. В. Волховского». Здесь В. А. Лопатин заявлял, что «указания» Морозова на его «участие в покушении на освобождение Ф. В. Волховского... не верны». В действительности Лопатин, по его словам, приехал в Москву в октябре 1874 г. У М. И. Волховской он познакомился с Кравчинским, который «с места в карьер» изложил ему свой план освобождения Волховского и предложил принять участие в этом деле. В. А. Лопатин «находил этот план безумным и непрактичным» по многим основаниям и отказался от участия в его осуществлении. Что касается М. И. Волховской, то она была не «высокой, худощавой брюнеткой», а «среднего роста полная», «цвет ее волос был скорее рыжим»; вследствие «суставного ревматизма ног с трудом ходила по комнате, а бегать и совсем не могла». Сообщение об М. И. Волховской см. в тексте, стр. 295. Из слыхания последнего с первоначальным текстом («Голос минувшего», № 12, 1913, стр. 152) видно, что Н. А. Морозов посчитался только с заявлением В. А. Лопатина о том, что Волховская не была брюнеткой. В остальном он оставил свой текст без изменений. Дальше В. А. Лопатин сооб-

щает свою версию попытки освободить Ф. В. Волховского, которая отличается от рассказа Н. А. Морозова в подробностях, но в главном остается сходной с «Повестями»: Волховского жандармы схватили, когда он уцепился за сани; Лопатин отбил его, но жандармы снова поймали его и повезли в тюрьму. Лопатин, может быть, и скрылся бы в своей пролетке, но был удручен всем случившимся, «побред» пешком и также был задержан; однако его не били и даже не пытались бить.

³¹ (стр. 306). Из стихотворения Н. А. Некрасова в цикле «Последние песни» (Избранные сочинения, со вступительной статьей А. М. Еголина, 1945, стр. 238). Как выяснилось в настоящее время, стихотворение это было написано Некрасовым в 1872 г. и явилось откликом поэта на жестокую расправу версальских палачей с участниками Парижской коммуны. В русских революционных кругах 70-х годов было распространено убеждение, что это стихотворение посвящено русским революционерам, в частности, участникам процесса 50-ти.

³² (стр. 311). Рассказ «Свободные горы» написан в Двинской крепости в первой половине ноября 1912 г., напечатан в журнале «Русская мысль» (№ 10—12, 1915), включался в прежние издания «Повестей».

³³ (стр. 323). Прозвищем Шебуны заменены фамилии супругов Н. А. и З. И. Жебуновых. Оба участвовали в революционном движении. Узнав о грозящем аресте, успели скрыться летом 1874 г. за границу. В конце 70-х годов с ними был близко знаком известный впоследствии ученый, историк литературы и языковед, почетный член Академии наук Д. Н. Овсяннико-Куликовский. «Николай Жебунев, — пишет он, — помимо революционных увлечений, навлек на себя гнев и чуть ли не проклятия старика-отца, богатого степного помещика, малороссийского дворянина, еще и другим поступком: он женился на простой девушке, дочери прачки. Эта девушка, Зинаида, получила образование и обнаружила недюжинные способности. За границей, в Швейцарии, потом в Париже, она закончила свое образование, усвоила язык (по-французски говорила правильно и бойко) и стала просвещенной и развитой женщиной, не хуже многих. Живая, деятельная, очень работоспособная, она представляла собою некоторый контраст натуре мужа, который при большой живости и даже страстности темперамента обнаруживал заметные признаки помещичьей обломовщины. Он легко увлекался и скоро охладевал; мог много работать физически и мог часами валяться на диване. Она же работала, не складывая рук, — и была на все руки мастерица. Инициатива большею частью принадлежала ей. Оба они были очень интересные собеседники и всюду вносили шум, веселье, смех и задор. За всем тем оба были наделены изрядной долей легкомыслия — и то и дело переходили от одного опрометчивого шага к другому. Надо, впрочем, сказать, что в этом отношении пальма первенства принадлежала ему, Зинаида все-таки была осмотрительнее и благоразумнее. После ее смерти (по возвращении в Россию) он повел свои дела так, что от довольно порядочного состояния, доставшегося ему после смерти родителей и дележа с братьями, через несколько лет не осталось ничего, кроме долгов, и он умер почти в нищете» (Воспоминания, П., 1923, стр. 118 и сл.).

³⁴ (стр. 349). Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Железная дорога» (1864 г.). В тексте поэта: «Губы бескровные, веки упавшие, Язвы на тощих руках» и т. д. (Избранные сочинения, со вступительной статьей А. М. Еголина, 1945, стр. 115).

³⁵ (стр. 359). В. И. Ленин писал о склоках и дрязгах в эмигрантской среде: «Сидеть в гуще этого «анекдотического», этой склоки и скандала, масть и «накипи» тошно; наблюдать все это — тоже тошно... Эмигрантшица и склока неразрывны» (Письмо А. М. Горькому от 11 апреля 1910 г., Соч., т. 34, стр. 369).

³⁶ (стр. 369). Крестьянин М. М. Малиновский (Ярославской губ.) с 15-летнего возраста работал в Петербурге в мастерской медника. С 1870 г. работал на Семянниковском заводе за Невской заставой, вел среди товарищей пропаганду. В ноябре 1873 г. арестован и в октябре 1874 г. приговорен к каторжным работам на 7 лет. Умер в Белгородской каторжной тюрьме в 1877 г.

³⁷ (стр. 370). Изложенные здесь рассуждения Н. А. Морозова о том, что приписываемые древним авторам произведения сочинены в средние века, подробно развиты в книгах об Апокалипсисе, о пророках и др. (см. прим. 8 к стр. 18).

³⁸ (стр. 381). Интересное дополнение к этому рассказу — в воспоминаниях Н. А. Морозова о странствованиях по горам Швейцарии, изложенных в его девятом письме из Шлиссельбургской крепости от 8 февраля 1901 г. (см. т. II наст. издания).

³⁹ (стр. 389). Стихотворения В. Н. Фигнер, написанные между 1887 и 1897 гг., публиковались после выхода ее из крепости. Печатались в разных сборниках и журналах. Отдельной книжкой выпущены впервые в 1906 г. Последнее издание — в четвертом томе полного собрания сочинений (1932, стр. 243—297).

⁴⁰ (стр. 393). Н. А. Морозов до заключения в Шлиссельбург предполагал написать «Историю социалистического движения в России за 1873 — 1875 гг». Об этом сообщалось в объявлении «Об издании Русской социально-революционной библиотеки» (Женева, конец 1880 г.; см. «Былое», заграничное издание, вып. I, Ростов-на-Дону, 1906, стр. 174; «Каторга и ссылка», № 1—38, 1928, стр. 126; Г. В. Плеханов — Соч., т. I, изд. III, стр. 137—149).

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i>	3
<i>Автобиография</i>	8

КНИГА ПЕРВАЯ

<i>Предисловие к I книге</i>	23
<i>I. В начале жизни</i>	24
Введение к рассказу «В начале жизни»	24
1. Дедушки и бабушки. Отец и мать. Первые годы жизни	25
2. В отцовском доме. Гимназия «Общество естествоиспытателей» и что из него вышло	40
3. Конец гимназической жизни. Первое знакомство с революционе- рами	59
4. Первое путешествие в народ	81
5. Нет более возврата	101
<i>II. У таинственного порога</i>	118
1. На окне	118
2. Тревожные дни	121
3. Какое счастье быть принятым в тайное общество!	128
4. Тайная депутация	137
5. Я организую свой кружок!	139
<i>III. Лиза Дурново</i>	145
1. Перед лицом прошлого	145
2. Юная энтузиастка	147
3. Путешествие в народ из губернаторского дома	150
<i>IV. Большая дорога</i>	152
1. Иерусалимский странник	152
2. Старый дядя	158
3. Ночь в яслях	162
<i>V. Во имя братства</i>	168
1. Бой-баба	168

2. «Черный передел»	170
3. Ночь в степи под телегой	173
4. В избе, не доступной для чертей	177
<i>VI. Захолустье</i>	188
1. Неожиданный для меня триумф	188
2. Опять тревоги	196
3. Снова на окне	204
4. Я оказываюсь просто мальчиком	207

КНИГА ВТОРАЯ

<i>VII. По волнам увлечения</i>	221
1. Новые люди и новые задачи	221
2. В дырявых лаптях	232
3. Горе молодого теленка	240
4. Сукновалы	245
5. Под стогами и овинами в лесах и сеновалах	250
6. Новое бегство	260
7. Лесные пыльщики	270
8. В болоте	280
9. Бешеная скачка	286
10. Конец старого и начало нового	297
11. В дальние края	302
<i>VIII. Свободные горы</i>	311
1. Перед подножием Альпийских гор	311
2. Первые впечатления в Швейцарии	313
3. Поразительная парочка	316
4. Среди эмигрантов	326
5. Тягости редакторского звания	335
6. Радости и тревоги первой печатной статьи	341
7. На крайнем пределе последовательности	348
8. В Интернационале	355
9. Перед Монбланом	362
10. Как мы воспроизвели речь человека, которую никогда не слышали, и что из этого вышло	365
11. Кошмар	371
12. В поисках истины	378
13. На вершине Салева и у подошвы его	380
14. Назад в Россию	383
15. Обрыв	391
<i>Примечания (С. Я. Штрайха)</i>	394

*Почетный академик
Николай Александрович
Морозов*

**Повести моей жизни
Том I**

Книга отпечатана с матриц издания 1961 года

•

*Утверждено к печати
редколлекцией научно-популярной серии
Академии наук СССР*

*Редактор издательства Н. Б. Прокофьева
Художник Н. А. Сидельников
Технический редактор С. Г. Тихомирова*

•

*Подписано к печати с матриц 21/XII 1964 г.
Формат 60 × 90^{1/16}. Печ. л. 25,5 + 1 вкл.
Уч.-изд. л. 24,7 (24,6 + 0,1 вкл.). Тираж 20 000 экз.
Т-17743. Изд. № 249.
Тип. авт. № 1055*

Цена за два тома 3 р. 50 к.

**Издательство «Наука»
Москва, Б-62, Подосенский пер., 21
1-я типография Издательства «Наука».
Ленинград, В-34, 9 линия, дом 12**



Н. А. МОРОЗОВ
(середина 70-х годов)

ПОЧЕТНЫЙ АКАДЕМИК
Н.А.МОРОЗОВ

ПОВЕСТИ
МОЕЙ
ЖИЗНИ